

К Станислову



# Константин Михайлович Станюкович

## **Том 10. Рассказы и повести** (Собрание сочинений в десяти томах #10)

Константин Михайлович Станюкович — талантливый и умный, хорошо знающий жизнь и удивительно работоспособный писатель, создал множество произведений, среди которых романы, повести и пьесы, отличительные очерки и новеллы. Произведения его отличаются высоким гражданским чувством, прямо и остро решают вопросы морали, порядочности, честности, принципиальности.

В десятый том вошли рассказы и повести: «Дождался», «Свадебное путешествие», «Севастопольский мальчик», «Событие», «Мунька», «„Берег“ и море», «Собака», «Тоска», «Оба хороши» и маленькие рассказы.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

# Содержание

Рассказы и повести . . . . .	0005
Дождлся *	0005
Свадебное путешествие *	0099
Севастопольский мальчик *	0123
Событие *	0462
Маленькие рассказы . . . . .	0514
Мунька *	0559
«Берег» и море *	0596
Собака *	0741
Тоска *	0772
Оба хороши *	0815
М.П. Еремин. К.М. Станюкович. Очерк литературной деятельности . . . . .	0841
Комментарии . . . . .	0942

**Константин Михайлович  
Станюкович  
Собрание сочинений в  
десяти томах  
Том 10. Рассказы и повести**

# Рассказы и повести

## Дождался\*

### I

Валерий Николаевич Неволин, молодой брюнет небольшого роста, исхудалый, с впалой грудью и с блестящими глазами, — две недели ежедневно приходил на станцию маленького Кларана — встречать курьерский поезд из Лозанны.

Он не сомневался, что сегодня жена придет.

И в это утро Неволин особенно заботливо приделся в обновку — пару из белой с синими полосками фланели, повязал белый галстук, надушился, еще раз занялся подстриженной кудрявой бородкой и особенно внимательно разглядывал в зеркале свое смуглое землистое лицо, осунувшееся, с заострившимся носом и мертвенно-бледным лбом.

Возбужденный ожиданием, он чувствовал себя бодрее и сильнее и, радостно взволнованный, вышел из пансиона, предварив гор-

ничную Бертю, что с поездом придет жена.

Короткое расстояние до станции Валерий Николаевич прошел, не задыхаясь, хотя сентябрьское утро было жаркое.

Только подъем на небольшую лестницу, ведущую на станцию, очень утомил его. Он порывисто дышал, жадно вдыхая воздух, и в груди что-то хрипело.

Неволин передохнул у лестницы, вышел на платформу и присел на скамейку.

До прихода поезда оставалось пять минут.

— Извините... не опоздает? — спросил Неволин глухим, слегка заискивающим голосом проходившего начальника станции, приподнимая белую полотняную шляпу.

Шеф приостановился.

— Доброго утра, господин Неволин... Ни минуты опоздания! — приветливо ответил старый, сухощавый и крепкий швейцарец.

И с ласковой, подбадривающей уверенностью прибавил:

— Надеюсь, сегодня дождется.

— О, разумеется!

— Получили телеграмму?

— Жена не любит телеграмм! — внезапно

сочинил Неволин и смутился.

Эти пять минут казались ему бесконечными. Он предвкушал радость встречи и волновался еще более. Ему казалось, что с поездом что-нибудь случилось, и Неволин беспрестанно вынимал часы.

Наконец раздался протяжный свисток.

Неволин сорвался со скамейки и приблизился к краю платформы. Он, видимо, бодрился и старался крепче стоять на ногах.

Еще несколько секунд, и небольшой поезд, окутанный черным дымом, вылетел из туннеля и на всем ходу сразу остановился на станции.

— Три минуты остановки! — прокричал кондуктор.

Неволин жадно взглядывал на окна, на двери вагонов. Вышло несколько пассажиров с ручным багажом. Неволину бросилась в глаза приехавшая прелестная девочка, тоненькая, хрупкая, бледная как смерть, с букетом роз. Она весело улыбалась. И сопровождающие ее мужчина и дама старались улыбнуться девочке-подростку и, казалось, их печальные, серьезные лица просветлели надеждой.

«Привезли умирать!» — подумал Неволин.

И не думавший, что и на него смотрят, как на приговоренного, он не терял еще надежды найти замешкавшуюся жену и стал обходить все вагоны, заглядывая в окна, и видел чужие лица, внезапно становившиеся серьезными при виде взволнованного, растерянного и страшно исхудалого чахоточного.

— En voitures![1]

Поезд помчался дальше.

Неволин проводил его тоскливыми глазами и вдруг почувствовал себя одиноким, сиротливым и несчастным.

И голубое озеро, и савойские горы, и высокое бирюзовое небо с ослепительно-жгучим солнцем, и тополи, и платаны, все, все, казалось, потеряло в глазах Неволлина красоту и прелесть.

Неволин ушел со станции, избегая встретить начальника станции и сторожей. И, опустив голову, еще медленнее пошел домой.

## II

Порыв безнадежного отчаяния скоро прошел.

Он подумал о жене, вспомнил ее письма, и

ему стало стыдно за такое малодушие. Снова оживший и воспрянувший духом, он поднял голову и уверенно и вызывающе прошептал:

— Завтра приедет!

Ни в одно мгновение он не упрекнул, даже мысленно, жены за то, что она все откладывает отъезд.

Еще бы!

Не такой же он больной, чтобы Леля бросила срочную работу, оставила серьезно заболевшую мать и полетела бы к нему, точно к умирающему.

Недаром же Неволин в своих частых, длинных и влюбленных письмах постоянно повторял, что здоровье улучшается, и доктор Вернэ, необыкновенно внимательный и добросовестный старик, не сомневается в выздоровлении больного. По словам доктора, коховских палочек\* не найдено. И чахотки нет. Упорный катар легких, из-за него и слабость по временам. Но все пройдет. Следует только хорошо питаться, бояться простуды и держать строгий режим.

Неволин верил, ждал выздоровления с такою же верой, с какой ждал приезда жены, и

старался пунктуально исполнять все предписания доктора.

Только, при всем желании, не мог, как предписывал врач, не волноваться, не скучать и не худеть.

И он деликатно умалчивал в письмах, что скучает один до одури и очень волнуется, если от жены долго нет письма.

Уставший, поднялся Валерий Николаевич в первый этаж пансиона.

— Опять возвратились один, дорогой monsieur Nevoline? Что случилось? — с порывистым, горячим и, видимо, притворным участием спросила откуда-то появившаяся в коридоре хозяйка, говорившая на многих языках и на всех довольно скверно.

Это была пожилая, величественного роста дама, надушенная, напудренная, затянутая в корсет, с рыхлым, красноватым лицом, когда-то, казалось, не лишенным несколько грубоватой красоты, всегда приятно улыбавшаяся жильцам, всегда предупредительная и не без достоинства поддерживавшая репутацию и своего пансиона и своего образцового административно-хозяйственного умения.

Она, по обыкновению, была в черном шелковом платье, безукоризненно причесанная, с подвитыми прядками рыжеватых волос, с кольцами на толстых, коротких пальцах, с браслетом на руке, с брошкой и с длинной золотой цепочкой от часов, тихо колыхавшейся на внушительном бюсте.

— Ничего не случилось, госпожа Шварц... Жена приедет завтра! — слегка смущаясь, проговорил Неволин.

— Ну и слава богу!.. Вы перестанете скучать...

И, впадая в идиллический тон, хозяйка вздохнула и проговорила:

— Ничего нет тяжелее одиночества... Быть в разлуке с любимым другом — это ужасно! Я понимаю... Я сама испытала это, когда Шварц работал в Интерлакене, а я шесть месяцев оставалась здесь... И Шварц тосковал... О, как тосковал!.. Тогда мы оба были молоды...

Хотя Неволин аккуратно платил по счетам, и госпожа Шварц называла его милым и любезным жильцом, тем не менее она с удовольствием спланировала бы «милого жильца», который, того и гляди, умрет в пансионе, что

произведет тяжелое впечатление на пансионеров, еще не приговоренных, и они могут сбежать.

Да и отдать комнату, из которой только что вынесли ночью покойника, не так-то легко. Приезжие больные с глупыми предрассудками. А комната из лучших: на солнечной стороне и с «видом». Балкон на озеро и горы.

Начинается сезон, а русский и не догадывается уехать поскорей в Петербург, чтобы увидеть, по крайней мере, жену перед смертью. Эта дама что-то подозрительно не едет. А на редкость простофиля-муж каждый день встречает и не может ее встретить.

Такие соображения пробежали в голове госпожи Шварц, и она еще с большею задушевностью продолжала:

— Завтра вы будете счастливым человеком. Но я боюсь, что вы захотите показать жене Швейцарию или ломбардские озера. Там прелестно. Мой пансион лишится такого покойного и милого жильца... Но, по крайней мере, я рада, что вы здесь поправились и, смею думать, довольны пансионом... Не правда ли?

«Провались ты к черту со своими разговорами!» — подумал Неволин и слегка раздражительным тоном проговорил:

— Еще мы не решили с женой! Может быть, останемся месяц... Здесь хорошо... Я чувствую, что поправляюсь, и мне нравится ваш пансион, госпожа Шварц!

И с этими словами Неволин вошел в свою большую, полутемную от опущенных жалюзи комнату, прохладную и пропитанную острым запахом креозота и йода, с довольно приличной обстановкой для пансиона в восемь франков в сутки.

На небольшом письменном столе — «секретере» — бросались в глаза три изящные рамки с фотографическими портретами молодой женщины с милым красивым лицом, выражение которого напоминало мадонн. Особенно были хороши глаза, большие, спокойно-вдумчивые и ласковые.

Причесана она была по старой моде. Пробор посредине, гладкие начесы, прикрывающие уши, и на темени тяжелые косы, собранные в виде коронки. Видимо, эта прическа шла к молодой женщине. На одном портрете,

особенно хорошей работы, она была во весь рост. Фигура маленькая и стройная. Не худа и не полна. Руки узкие, с длинными пальцами. На безымянном пальце обручальное кольцо; на мизинце — несколько колец.

В общем привлекательная женщина.

Большой букет свежих роз красовался в вазе на японском столике около качалки. Тут же бонбоньерка с конфетами из Монтре.

Валерий Николаевич открыл шагреновую шкатулку, в которой аккуратно были сложены перенумерованные письма жены, и взял верхнее, полученное накануне.

Голова слегка кружилась. Во всем исхудалом теле чувствовалась слабость.

### III

Неволин прилег на кушетку и, с горевшими из глубоких впадин глазами, снова стал перечитывать четыре маленькие листка, исписанные крупным разгонистым почерком.

Словно бы чувствуя себя в чем-то виноватой, жена снова повторяла, почему не могла раньше приехать. Теперь маме лучше, перевод романа окончен, сдан в редакцию, гонорар получен, и она, не вводя мужа в новые

долги, может выехать на следующий день и скоро будет ухаживать за больным. Валерий совсем поправится. Петербургский доктор, отправивший Валерия в Швейцарию, говорит то же, что и кларанский. Разумеется, ничего опасного нет. Надо только беречься и не торопиться на север.

Вслед за этими, казалось, спокойными и ласковыми строками, шли тревожно-нежные, но почерк как будто был более нервный и неровный. И Неволин жадно глотал:

«Я знаю, ты сердишься, мой добрый Валерий, что принуждена была откладывать до сих пор поездку. Мне тяжело, что поневоле обманывала твои ожидания... Подчас это невыносимо... О, как сожалею, что не поехала с тобой. Теперь до скорого свиданья... Непременно завтра поеду, и на курьерском...»

Письмо, по обыкновению, было подписано: «Твоя Леля».

«Верно, осталась на день в Берлине и пришлет телеграмму, что завтра!»

— И какая она хорошая! — вырвался восторженный шепот.

И, переполненный чувством, благодарный

и умиленный, со слезами на глазах, он прильнул горячими и сухими губами к почтовому листу.

«О, как он боготворит ее!» — подумал Неволин и гордился, что так благоговейно и глубоко любит это «золотое сердце». По-настоящему любит, а не так, как многие его знакомые мужчины.

Он спрятал письмо в карман. В ту же минуту представил себе, что завтра будет здесь, около него, красивая, любимая, молодая женщина, и умиление к «золотому сердцу» исчезло. Вместо него было нетерпеливое, почти озлобленное желание влюбленного, и по праву, властного мужа.

Какая она цветущая, красивая...

А он?

Неволин сравнил себя.

И с каким чувством тоски, ожесточения и брезгливости посмотрел он на свои исхудалые, костлявые руки, бессильные и бескровные, с желтыми ногтями, — точно у мертвеца.

Он ощупал грудь — одни выдающиеся ребра. Ноги — тонки, как у ребенка, и только ко-

сти.

Как ни хотелось ему уверить себя, что поправляется, и что худоба не так уж ужасна, но он не мог не заметить, что страшно худеет и ослабел в последние две недели.

И все-таки еще не почувствовал и не сознал близости смерти. И не думал о ней.

Он так жадно хотел жить, так любил себя и все блага, которые вместе с большинством считал счастьем и, следовательно, смыслом и целью жизни, что упорно хотел верить и верил доктору, который скоротечную чахотку называл для успокоения больного катаром легких.

И чем беспощаднее и быстрее недуг разрушал еще недавно здоровое, сильное тело, тем упорнее надеялся Неволин сохранить его и пользоваться наслаждениями жизни и тем себялюбивее становился, занятый исключительно только собой и своей женой, которая давала ему счастье. А ко всему на свете стал равнодушен.

Валерий Николаевич раньше, когда был здоров, хотя и не отличался склонностью к вопросам непрактического характера, альтру-

измом и цивическими добродетелями, все-таки, помимо забот о своем благополучии, интересовался кое-чем и отвлеченным, читал умные книги, и людские невзгоды были не чужды его сердцу. Родные, близкие и знакомые не казались безразличными. А теперь, цепляясь за жизнь, человек словно бы обнажился во всей наготе животного эгоизма. Все помыслы венца творения сосредоточивались на упорном самосохранении.

И Неволин строил планы будущего.

Он мечтал, как о чем-то несомненно сбыточном, что быстро поправится, когда около будет обворожительная жена. И он уж не станет волноваться и скучать в одиночестве. Они съездят в Женеву, побывают в горах, прокатятся на пароходе по Женевскому озеру. Конечно, покажет Шильон\*. Поднимутся по железной дороге в Глион. В октябре поедут в Италию, побывают в Венеции, в Милане, Флоренции, Риме и Неаполе... И всегда вместе... А зимой вернутся в Петербург, в маленькую, уютную квартирку, настоящее гнездо, свитое умелой женской рукой.

Он думал о том, как здоровый, сильный и

пополневший, придет в министерство, и директор департамента, обрадованный, что Неволин снова будет литературно писать записки и доклады безразлично о чем, — наметит, что место начальника отделения скоро очистится, что сам министр знает о даровитом и усердном молодом человеке-чиновнике и приказал выдать ему к Новому году пятьсот рублей в возмещение расходов на излечение болезни... В шесть часов его встретит Леля, ласковая и умная, ровная и сдержанная, умелая хозяйка и очаровательная маленькая женщина, целомудренно-скромно не понимающая чар своих ласк...

Он думал, как взыскан судьбой, что встретил Лелю три года тому назад в Крыму и понял, что нашел ту... настоящую, единственную...

Мечты оборвались. Неволин заснул.

Колокол к обеду разбудил его.

Он нехотя поднялся. Освежил лицо водой, поправил галстук, пригладил бородку и спустился.

Слабый, он старался казаться молодцом на людях, когда вошел в столовую, где все жиль-

цы пансиона уже сели за стол.

#### IV

В пансионе, кроме Неволина, был только один русский.

Все знали, что Неволин каждый день встречал жену и что сегодня она не приехала.

— Едва ли бедный русский дождется жены и завтра! — успела уже сообщить хозяйка многим жильцам, прибавив не без соболезнования о напрасной трате Неволина на букет в десять франков и на бонбоньерку с конфетами в двадцать.

Все с сочувствием и в то же время не без любопытного сдержанного удивления взглянули на безнадежно больного русского, не имевшего серьезно-убитого вида несчастного мужа, к которому не едет жена. Особенно приветливо ответив на общий поклон Неволина, продолжали прилично-бесшумно есть суп.

На двух-трех лицах типичных южан-французов мелькнули сдержанно-насмешливые улыбки над упорством заблуждения русского относительно женщин. Глупость доверчивого мужа, казалось, возмущала их еще больше,

чем неприезд жены, о красоте которой давно всем рассказала госпожа Шварц, не раз любовавшаяся портретами молодой русской дамы на столе Неволлина во время его отсутствия.

Дамы, напротив, были исключительно возмущены женой и порицали ее, когда не без удовольствия говорили об ожидании несчастного русского. Оно являлось событием в пансионе, давая интересную и пикантную тему для осторожно-тихих разговоров и предположений в комнатах и на прогулках.

Больной старый пастор-швед еще с большей, казалось, гордостью смотрел за обедом на хорошенькую свою молодую жену с льняными волосами и большими голубыми, словно бы недоумевающими глазами, которая ухаживала за ним с добросовестностью сестры милосердия, благоговеино внимала каждому его слову и нередко при публике целовала его большую белую и волосатую руку, словно бы в доказательство любви, верности и покорности образцовой жены.

Два англичанина, которые не без хладнокровного презрения отнеслись к этой «истории» русских супругов, все-таки воспользова-

лись случаем, чтобы поддержать пари на пятьдесят фунтов.

Приедет ли русская леди до конца недели или не приедет?

Пари должно считаться несостоявшимся, если жена явится только к похоронам джентльмена.

— Прибавлю десять фунтов!.. — процедил старый, плотный заводчик из Бирмингама с румяным, добродушным лицом, обращаясь к соседу, как только что Неволин вошел в столовую.

— All right![2] — невозмутимо ответил молодой человек, совсем еще юноша, в смокинге и цветном жилете, с подозрительными красными пятнами на своем красивом, нежном и белом безбородом лице, не поворачивая шеи, которую подпирали высокие и туго накрахмаленные воротники.

— Шансы на моей стороне, милорд!

— Еще пять дней! — упорно прошептал юноша.

— Боюсь только, как бы пари не состоялось.

Красавец-юноша промолвил себе под нос:

— Держу двадцать пять, что состоится. Он пять дней продержится. Молодчина!

— Идет...

Чопорная, строгая, полная англичанка лет под сорок, с ослепительно белыми «лошадиными» зубами выдающейся челюсти, затянутая до того, что грудь, казалось, разорвет ажурную ткань лифа, — с взбитыми кудряшками, прикрывающими лоб, и с выхоленными крупными руками, униженными блестящими кольцами, корректно подавила громкий вздох при виде Неволлина.

— Невоспитанная и неприличная женщина! — безапелляционно чуть слышно промолвила англичанка.

Ее соседка, молоденькая рыжеволосая мисс, с изящно-тонкими красивыми чертами бледного лица, невольно чарующая своей простотой и спокойной независимостью, мягко и совсем тихо сказала:

— Вы несправедливы, тетя. Верно, есть уважительные причины, если леди не едет.

— Не может быть причин, Маб. Англичанки их не знают, когда надо исполнять свой долг, Маб!

— Лучше после обеда поспорим. Не правда ли, тетя?

И рыжеволосая девушка бросила взгляд на русского, чтоб убедиться, не мог ли он догадаться о том, что говорят.

Неволин не расслышал слов и не мог бы их понять. Разумеется, он и не подозревал, что о приезде жены и об его близкой смерти держат пари.

Он сел на конце стола, ближе к выходу, около единственного соотечественника в пансионе, писателя Ракитина, пожилого, видного блондина в хорошо сшитом темно-синем вестоне, ловко сидевшем на его барской, слегка располневшей фигуре, с кудреватými светло-русými волосами, красиво-небрежно зачесанными назад, и с подстриженной небольшой бородкой, подернутой сединой.

Неволин нередко рассказывал Ракитину о своей болезни, о скором приезде жены, о своих светлых надеждах, но чаще всего должен был лишь подавать реплики, слушая нового своего знакомого.

## V

Ракитин любил говорить и любил, чтоб

ему благоговейно внимали — и особенно женщины, не старше сорока лет и не оскорбляющие его эстетического, довольно изощренного вкуса — и чтобы не забывали — и еще лучше, если показывали ему — что он умный и талантливый писатель Ракитин и очень интересный еще мужчина, несмотря на его пятьдесят два года, для удобства, впрочем, сокращенные им до сорока восьми, тем более, что молодость его не давала повода к сомнениям.

Все в пансионе Шварц знали, что Ракитин «знаменитый» русский писатель и что приехал в Кларан оканчивать новый роман.

О своем писательстве Ракитин объявил г-же Шварц в день приезда, когда объяснил ей, зачем просит поставить в его комнату письменный стол побольше, и осведомился: нет ли по соседству больных.

Вероятно, ради большей чести для пансиона, хозяйка произвела нового жильца в «знаменитого», о чем и сказала пансионерам.

Неволин испытывал перед Ракитиным невольное чувство неловкости и даже виноватости за то, что жена, о последнем письме

которой он обрадованно сообщил ему, не приехала!

Стараясь скрыть это, он слабо пожал слабыми худыми руками полную, мясистую руку Ракитина и не без тайной зависти взглянул на его красивое, несколько самоуверенное и заносчивое лицо с умными, слегка насмешливыми, лукавыми темными глазами и стал есть суп, преодолевая отвращение к пище. И наконец, словно бы недовольный, что Ракитин молчит, проговорил преувеличенно-спокойным тоном:

— Вас удивляет, что жена не приехала, Василий Андреич?..

— Верно, что-нибудь задержало, Валерий Николаич!

— В Берлине отдыхает. Завтра и приедет.

— Получили телеграмму?

— Еще не получил... Получу.

«И ведь все еще упорно верит!» — подумал Ракитин.

Эта маленькая, красивая женщина с ангельскими глазами, судя по портретам, о которой так часто и восторженно говорил Неволин, возбуждала в Ракитине и любопытство

писателя и завзятого любителя интересных женщин.

«Наверное втюрилась. Снова что-нибудь солжет в телеграмме или в письме, и этот до idiotства ослепленный муж опять поверит, будет ждать, волноваться и ходить на вокзал. Свинство, что не едет... Могла бы приехать и скрыть от умирающего, что не любит его. На это женщины виртуозки и умеют искренно пожалеть тех, кого обманывают. Откуда такое бессердечие у этой женщины?» — спрашивал себя Ракитин.

— А если Елена Александровна завтра не придет? — осторожно проговорил Ракитин, чтобы заранее подготовить Неволина к возможному разочарованию.

— Не придет? Почему вы предполагаете, что жена не придет? — спросил Неволин.

В его взволнованном глухом голосе были и смущение, и испуг, и мольба.

Он знал, как «подло» смотрит Ракитин на женщин и с какой циничной простотой относится к ним. Это чувствуется и в его разговорах и в тех его писаниях, которые Неволин читал.

И в голову чахоточного, полного веры в любимую женщину, закралась мысль, благодаря Ракитину:

«Что может подумать Ракитин... Почему она не едет?»

— Предполагаю самую обыкновенную вещь. Что-нибудь может задержать отъезд на два-три дня! — ответил Ракитин самым, казалось, искренним тоном.

— Но ведь я читал вам вчерашнее письмо жены? — с тоном упрека промолвил Неволин.

— Да разве мало непредвиденных обстоятельств, Валерий Николаевич!

Глаза Ракитина, казалось, улыбались.

Сердце Неволина заколотилось сильнее, когда, с тревожной пытливостью заглядывая в глаза Ракитина, уже не улыбающиеся, медленно и, казалось, с трудом спросил:

— Например?

— Хоть бы рецидив болезни матери Елены Александровны...

От сердца больного отлегло. Дышать стало свободнее.

И, просветлевший, он проговорил:

— Разве что это...

И через минуту прибавил:

— Но пока этого нет, вы завтра убедитесь, что ваши пессимистические взгляды на женщин не подтвердятся... По крайней мере на жене! — проговорил с внезапным возбуждением Неволин.

— Да вы что на меня клеплете, голубчик? Разве я обобщаю свои наблюдения... Разве не знавал я прелестных, правдивых женщин? — сказал Ракитин успокаивающим ласковым тоном своего мягкого, бархатного голоса, которым владел по временам с мастерством прирожденного актера. — Да вот вам налицо пример прелестного создания... Взгляните на эту рыжеволосую мисс... Зато остальные... Например, как ее тетка с лошадиным лицом... Предложи на выбор — жениться или в Якутскую область... Конечно, последнее... Или такие лицемерные тихони, как пасторша, целующая на людях не особенно чистоплотную руку своего пастора преклонных лет и поневоле аскетического настроения... А зрелая дева из Гамбурга?.. А какой фрукт сама хозяйка? Этот маленький Меттерних, вечно улыбающаяся монументальная отставная красавица

Августа Шварц... Какая шельма, какая выдержка и какая репутация!.. Говорила она вам, как любит своего плюгавого Шварца-повара?

— Говорила.

— А вчера, рано утром, я слышал, как она его любит, когда все пансионеры спали, и «идиллия» еще не одевалась...

Ракитин бросил зубоскальство и стал прислушиваться к тихим разговорам пансионеров.

Не нравилась ему эта чинная, накрахмаленная, буржуазно-самодовольная публика. Особенно возмутили его два англичанина, когда услышал, на что они держали пари. С каким удовольствием оборвал бы он их, умея говорить по-английски!

Но он говорил по-французски довольно бойко, не стеснялся ошибками и вступал в разговор с французами.

## VI

Не прошло и пяти минут, как Ракитин уже заспорил с горбоносым, темно-бронзовым, болтливym, энергичным и решительным стариком, с седой, коротко стриженной голо-

вой, с седыми, поднятыми кверху усами и эспаньолкой. Он только что сообщил, что он рантье с тридцатью тысячами дохода, заработанного своим горбом, когда был механиком и пайщиком на заводе в Марселе, что теперь путешествует для своего удовольствия, видел много стран, но, по совести говоря, лучше Франции с ее культурой, свободой, цивилизацией и благосостоянием он не видал...

— Если б только наше правительство было построже и не поощряло мильерановских бредней\*, о, тогда...

Авторитетная самодовольная бравада типичного буржуа и вызвала Ракитина, уже раньше познакомившегося с французами, на спор. Впрочем, спор скоро обратился в лекцию Ракитина.

И он не лишил себя тщеславного удовольствия щегольнуть, хотя бы и перед «буржуями», своими смелыми взглядами, высокомерно «разделявая» общественный строй с его торжеством хищника-капитала, терпением рабочих классов, предрассудками, привилегиями и государственными людьми, служащими интересам того же капитала.

Пансионеры, видимо, были шокированы и дерзкой смелостью русского и, главное, его совсем неприличным, казалось всем, тоном, вызывающим, нервным, несколько повышенным. Словно бы Ракитин поучал идиотов.

Ракитин сиял. Он чувствовал, что в ударе и даже на чужом языке говорит хорошо.

И, возбужденный, он сам с удовольствием слушал свои закругленные, красивые и эффектные периоды, полные неожиданных блестящих остроумия и злых сарказмов, и не сомневался, что они во всяком случае производят и на «идиотов» впечатление, и что в столовой — ни звука.

А между тем он взглянул на пансионеров... и что же?

Никто не обращал ни малейшего внимания на его слова. Ему казалось, будто все нарочно перекидывались между собою словами и будто смеялись на его счет.

Дамы хоть бы взглянули на него. Ни прелестная мисс, ни хорошенькая пасторша с недоумевающими глазами. Ни две волоокские румынки проблематических лет. Ни поблекшая девица из Гамбурга, худая как спичка,

мечтательная, краснеющая и уписывающая все блюда с таким добросовестным аппетитом, будто ей было предписано: войти в тело.

Только одна мадам Шварц вытаращила на него свои подведенные глаза и бросала то умоляющие, то угрожающие, то злые, то испуганные, то наконец многообещающие взгляды, очевидно, дающие понять «знаменитому» писателю — не позорить пансиона и не разорить бедную женщину.

Два англичанина — и старый и юный — были высокомерно-равнодушны. А юный — Ракитин знал — говорил по-французски правильно и с собачьим акцентом.

И даже старый француз, которого главным образом выбрал жертвой Ракитин, и тот, хоть по временам поднимал от тарелки глаза, загоравшиеся блеском, и слушал, сдерживая раздражение, но при этом оскорбительно-насмешливо улыбался.

«Так я вам, остолопы, покажу!» — по-русски подумал Ракитин, больно задетый в своем самолюбии.

И словно бы решивший огорошить этих «идиотов», уже достаточно взвинченный, Ра-

китин с вызывающей уверенностью и спокойной развязностью сказал, повторяя слова Нитцше, что все наши ходячие мнения требуют переоценки, и прибавил:

— Возьмите хоть брак. Это одно из нелепых учреждений. В будущем форма его изменится. По крайней мере не будут обязывать супругов любить по гроб жизни и быть каторжниками. Родители поймут, как портят они своих детей...

Слова Ракитина произвели на пансионеров ошеломляющее впечатление.

Чопорно-строгая англичанка не ахнула от негодования только потому, что ахать неприлично. Но она закрыла уши руками. Глаза ее стали неподвижно-злыми. Губы что-то шептали и, казалось, призывали кары на святотатца.

— В каком мы обществе, Маб!

Старый высокий швед-пастор повел на Ракитина неумолимо-скорбный и в то же время безнадежно-суровый, тяжелый взгляд.

— Эльза! Не слушай безбожной нелепости! — строго шепнул он.

— Не буду, Аксель! — покорно ответила хо-

рошенькая «фру».

И, опустив свои голубые, словно бы еще более недоумевающие глаза на тарелку, не спеша и строго-добросовестно ела рейнскую лососину под голландским соусом, и сделалась и задумчива, быть может, оттого, что не исполнила обещания и слушала хоть и безбожные, но интересные предсказания о браке.

И остальные возмущенные дамы, старавшиеся казаться чересчур оскорбленными профанацией брака, стыдливо не поднимали глаз, но все-таки жадно слушали.

И, словно бы в оправдание такого любопытства, пожилая девица из Гамбурга смущенно промолвила:

— До чего дойдет этот наглый господин... Он забыл, что здесь и девицы!

Только рыжеволосая мисс Маб имела доблесть слушать серьезно и спокойно, не оскорбленная, казалось, речами русского.

Старый джентльмен из Бирмингама, любитель пари, спросил соседа:

— О чем может говорить этот русский? Молодой человек объяснил.

— Держу пари, что он из Бэдлама\*! — про-

цедил сквозь зубы заводчик.

— Он просто не джентльмен. Говорить за обедом неприлично-громко свои глупости! — презрительно-спокойно ответил юный лорд.

Рантье уже несколько остыл и, воспользовавшись паузой, любезно сказал Ракитину:

— Я не умею так увлекаться и убедительно спорить, как вы, и потому не смею продолжать. Но хоть мы не сходимся в мнениях, это не мешает мне уважать и любить русских. Франция и Россия — обе великодушные и благородные великие нации!

И он поднял стакан, отпил глоток красного вина и прибавил с едва слышной иронической ноткой в голосе:

— Вы, конечно, проводите такие же смелые взгляды и в ваших, вероятно, интересных книгах, которые, к сожалению, не могу прочесть.

Польщенный комплиментом, Ракитин вспыхнул и, казалось, не заметил насмешки.

И, понижая голос, ответил уже без заносчивости:

— Не совсем!

Тогда рантье-француз с еще большей лю-

безностью спросил:

— Но, вероятно, вы так же смело и остроумно указываете на... на несовершенства русской жизни, как сейчас указывали на банкротство нашего строя?.. И не сомневаюсь, что вашим общественным деятелям так же достается, как достается от наших журналистов нашим министрам?

Ракитин нервно воскликнул:

— Мы в других условиях...

И благоразумно не продолжал.

Старый француз, по-видимому, вполне удовлетворился ответом и тотчас же заговорил со своим соседом о превосходной рыбе и попросил подать ее еще.

Окинув взглядом общество, Ракитин мог убедиться, что пансионеры достаточно «огорошены» и достаточно неприязненны.

— Небось, они остались довольны... Не правда ли? — обратился торжествующе к Неволину Ракитин.

Неволин равнодушно ответил:

— Охота была вам, Василий Андреевич, кипититься.

На следующее утро хозяйка постучала в комнату Ракитина. Она вошла торжественно и серьезная в полном своем обычном «параде» и, после изысканных извинений, что осмелилась помешать его вдохновению, «позволила себе» заметить, что несомненно возвышенные мнения г. Ракитина, которые так понравились ей самой, к сожалению, взволновали и испугали пансионеров и вредно действовали на больных...

— Да вы присаживайтесь, госпожа Шварц...

И Ракитин пододвинул кресло хозяйке...

— О, не беспокойтесь, monsieur... Я на одну минуту.

Однако хозяйка присела и продолжала:

— И многие выразили мне неудовольствие на громкие споры за столом. А мой принцип: полное спокойствие жильцов, которые делают честь пансиону. Вы, как необыкновенно умный человек, конечно, согласитесь с этим принципом? — любезно и твердо прибавила хозяйка.

— А не то, госпожа Шварц, вы захотите лишиться такого необыкновенно умного чело-

века? — ответил, улыбаясь, Ракитин.

— К сожалению, я поставлена в тяжелое положение...

— А комната здесь отличная... Не жарко...

— И какой вид с балкона...

— И вид... И работается хорошо... И кормите порядочно...

— Я стараюсь! — вставила госпожа Шварц.

— Вы образцовая хозяйка и — примите вполне заслуженную дань — такая интересная женщина, что присутствие ваше за столом может только доставлять эстетическое удовольствие... Одним словом, пансион мне нравится.

И с серьезным видом прибавил:

— Простите нескромный вопрос, милая хозяйка: вам лет — тридцать?.. Или нет еще?

— Что вы?.. Вы смеетесь?.. Я старуха... Мне сорок два! — скромно промолвила госпожа Шварц, внезапно оживляясь, словно старый падаер, слышавший трубу.

— Неужели?.. А какой же у вас, значит, животительный воздух... Моложавит... Без шуток говорю! — воскликнул Ракитин, который по привычке старого юбочника говорил до дер-

зости невозможные комплименты, самодовольно уверенный, что хоть долю из вранья женщина примет за правду.

— Я когда-то была недурна, а теперь...

И госпожа Шварц вздохнула и тоже по старой привычке сверкнула когда-то многообещающими глазами.

— Так вы извините, что я вынуждена была передать вам неудовольствие пансионеров...

— Какие извинения!.. Можете быть спокойны, что больше я не поставлю вас в неприятное положение и ваших пансионеров не огорчу спорами.

— Как приятно иметь дело с таким умным человеком! Нет слов благодарить вас...

Госпожа Шварц не уходила.

И, принимая серьезно-грустный вид, с искусственно печальной торжественностью произнесла:

— Считаю своим долгом сказать, что ваш соотечественник очень плох.

— Бедняга! Еще вчера вечером я сидел у него, и он бодрился.

— Милый наш доктор только что был у Неволлина...

— И что же сказал?

— Он предупредил меня, что бедный молодой человек более недели не протянет.

— Неволин и не догадывается?

— Почти все чахоточные не догадываются.

А кажется, так легко догадаться... Я сейчас навещала Неволина... Он не встал сегодня с постели и наверно уж не встанет... И как слаб, как взволнован!..

— Отчего взволнован?

— Рано утром получил телеграмму... О, как жестока его хорошенькая жена! Как жестока! Бывают бессердечные женщины, но такие, как она, редки. Не правда ли? Вы, как писатель, знаете нас. А Неволин не знает. Он все еще надеется... А я, признаюсь, думаю, что эта дама совсем не приедет... К чему ей умирающий муж? Она, верно, забыла священный долг жены... А он так ждет, так любит! — И госпожа Шварц поднесла к глазам носовой платок. — Мне так жаль молодого человека, который так хочет увидеть жену и умирает один, на чужбине, что я посоветовала ему сейчас же ехать в Петербург...

— Умиравшему? — воскликнул Ракитин.

«И какая же ты стервоза!» — подумал он.

— Доктор находит, что больной доедет... Уже ожидание видеть через два дня жену поддержало бы его... Так бы хорошо было бы для него умереть около любимого человека... И когда я сказала о Петербурге и думала, что поездка его обрадует, Неволин — вообразите — взволновался и рассердился...

— Не оценил вашей доброты, госпожа Шварц?

Хозяйка сделала вид, что не услышала злой иронии в голосе Ракитина и не заметила его насмешливых глаз.

— Я желала Неволину добра... Разве не ужасно умереть одному, без близких?..

— Но все-таки дайте ему умереть в пансионе...

— Да разве я не хочу держать умирающего в пансионе?.. О, не говорите так, monsieur! Я не заслуживаю обидного подозрения. Я христианка! — патетическим тоном оскорбленной добродетели воскликнула хозяйка. — И я так люблю бедного Неволина. Он всегда был так добр и деликатен со мной... Так предупредительно платил вперед. И — спросите у

него — как я заботилась о нем! Поверьте, что я постараюсь, чтобы его последние дни в моем пансионе были по возможности покойны... Сегодня же позову сиделку, хотя бы на мой счет, если Неволин не вспомнит перед смертью заплатить ей...

И, словно бы в доказательство ее христианской любви к ближнему, она прибавила:

— Вы знаете, с какими предрассудками приезжие? Я понесу большие убытки, если нескоро сдам комнату — ведь комната превосходная? — после покойника... А для бедной женщины это чувствительно, но я и не подумаю мысленно упрекнуть память молодого человека... Тревожит меня только одно...

— Что такое? — спросил Ракитин.

— Я не знаю, как быть, если жена не придет, и Неволин умрет... Кого известить, кроме жены, других близких в Петербурге... Где захотят похоронить его... И вообще...

— Об этом не беспокойтесь... Я все сделаю... И заплачу по счету...

— О, пустяки... Об этом не стоит и говорить... Значит, вы примете на себя все заботы... Я так и думала... Да и кому же позабо-

титься, как не соотечественнику, да еще такому великодушному, как вы...

С этими словами она поднялась, еще раз извинилась, что помешала вдохновению, и величественно удалилась, довольная своим визитом к Ракитину.

«Свои „нелепости“ говорить за обедом не будет и пансионеров не напугает. Последний счет за Неволина и сиделке уплатит, и весьма вероятно, что после смерти Неволина перейдет в его комнату. Такой нахальный господин не может иметь предрассудков. Да и вполне здоровый человек!» — подумала госпожа Шварц.

И хоть она считала Ракитина не очень-то покладливым пансионером, требующим от горничной основательной и своевременной уборки и добросовестной чистоты сапог и платья, тем не менее нашла, что он мужчина не без вкуса, когда вспомнила его комплименты, и решила, что он будет менее требователен, если, вместо Шарлотты, назначить горничной в его номер хорошенькую молодую Клару.

Кровать была подвинута к открытому окну, и Неволину казалось, что именно это и было нужно, чтобы ему было покойнее лежать в постели и дышать легче.

С высоко приподнятой головой на подушках и с закрытыми глазами, он походил на мертвеца. Но когда открывал глаза, они блестящие, сосредоточенно возбужденные и серьезные, словно бы какая-то мысль волновала его и требовала разрешения.

Он повернул глаза к окну; голубое небо, и горы, и блеск чудного утра обратили на себя особенное, проникновенное внимание Неволина, и он с новым, доселе неиспытанным чувством восхищения взглядывал в окно.

«А он такой одинокий, такой слабый, и жена не едет!» — подумал Неволин.

И жалость к себе охватила его. Крупные слезы катились на щеки.

Он снова думал о жене и снова пробовал успокоить мучительность дум. Он сам виноват, что Леля не торопится. Она не знает, что катар так обессилил его. Зачем он не писал, что худеет и по ночам мокрый от пота? О, давно была бы она здесь, и он поправлялся

бы... Не было бы этого мучительного волнения...

Из-за него и стало хуже. Доктор только что был и не нашел ничего особенно серьезного... Временное обострение. Новое лекарство поможет... Но как долго тянется болезнь...

«И отчего Леля опять не могла выехать, как обещала!»

Эта мысль не могла отвязаться с той минуты, как Неволин получил, полчаса тому назад, телеграмму...

И он протянул руку к ночному столику за телеграммой и снова прочитал эти строки, которые заставляли сердце его биться сильнее.

«Прости. Раньше трех дней не могу выехать. Не тревожься. Телеграфируй, как здоровье. До свиданья».

Опять отложила. А Леля так нужна теперь, когда могла бы ходить за ним. Разве она не знает, что он один... один...

— Да что это значит? — мысленно спрашивал себя Неволин.

И снова упорно делает всевозможные предположения о причинах неприезда жены.

Но теперь ни одно предположение не успокаивает его... И уверенность Ракитина, что жена не приедет сегодня, и его разговоры о лживости женщин невольно припоминаются Неволину...

И какая-то мысль словно бы вдруг озарила голову Неволина. Он, казалось, все понял, и ужас исказил черты его мертвенного лица.

— Не может быть. Такая подлость!

Неволин гнал от себя прочь внезапную мысль, точно что-то ужасное и страшное. Но она, напротив, все более и более овладевала им. Он вспомнил слова жены о нездоровье ее по вечерам перед отъездом его из Петербурга, ее советы поскорей уехать в Швейцарию, ее внезапное смущение, когда он целовал ее в губы, все это являлось в новом, казалось, все объяснявшем освещении. И Неволин с какою-то поразительной ясностью галлюцинации увидал перед собою свою маленькую, изящную жену с вдумчивыми ангельскими глазами, рядом с молодым, румяным красавцем бароном Лахти, его приятелем и сослуживцем.

«А она еще так суха была с бароном. Нахо-

дила, что он самодовольный болван... А этот болван...»

И, пораженный открытием, внезапно охваченный ожесточенной обидой ревности и злобой, он вдруг почувствовал прилив силы, порывисто поднялся, присел на кровати и, задыхаясь, грозя в пространство костлявой рукой, почти что крикнул:

— Подлая! Я выздоровею и тогда... Я...

Неволин не мог продолжать. Он закашлялся. Кровь показалась из горла.

С ужасом страха и тоски в расширенных глазах смотрел он на смоченный кровью носовой платок. Неволин сразу ослабел, и голова его упала на подушки.

Прошло несколько секунд обморока.

Неволин открыл глаза, и панический страх прошел — кровь остановилась. Ему дышалось легче.

«Верно, какой-нибудь маленький сосуд лопнул», — подумал Неволин.

И теперь он еще с большей уверенностью думал, и не без злорадства думал, что новое лекарство поможет. Он начнет поправляться и уже не будет таким доверчивым мужем. Не

пойдет встречать поезда.

Перед инстинктом самосохранения и жаждой жизни бешеный взрыв прошел, и острота обиды оскорбленного человека смягчалась. Эгоизм безнадежно больного невольно старался уверить его в несправедливости подозрения, что он обманут и так нагло и бессовестно. И — главное — теперь, когда ему хуже, встреча с женой уже не представлялась, как влюбленному. Он ждал сиделку, которая сумеет ходить за ним. Ведь он болен!

И Неволин думал:

«Она обязана быть около. Не смеет не приехать к больному мужу. Не смеет! — настаивал Неволин, подбадривая себя. — Леля не лживая. Она три года любила и ни с кем даже не кокетничала... Почти всегда были вместе... Не могла бы писать такие письма и в то же время обманывать. Она честная женщина. Всегда говорила, что долг обязывает. И к чему ей лгать? Она могла бы написать, что полюбила другого. Ведь они перед женитьбой дали друг другу слово сказать, если кто из них разлюбит. И как он с ней был откровенен. Как доверчив. Как старался исполнить малейшие ее

желания. Ничего не жалел. Работал, как вол, для нее. Сколько тратил на нее! Напрасно он взволновался... Из-за этого и пошла кровь. Надо беречься. Еще пять дней, Леля приедет, и он убедится, что подозрения нелепы... Они призраки больного...»

И Неволин беспокойно подумал, что новое лекарство еще не принесли. Шварц сказала, что через четверть часа принесут.

— Свиньи! — внезапно раздражаясь, прошептал Неволин, взглянув на часы, и позвонил.

Прошла минута.

Ему казалось, что его все забыли. Нарочно никто не идет. А ведь, кажется, хорошо платит Берте.

Неволин снова звонил.

Берта, только что оторвавшаяся от уборки соседней комнаты, торопливо вошла и, приветливо улыбаясь при входе к жильцу, спросила:

— Что угодно?..

— Лекарство! — раздраженно спросил Неволин и злыми глазами смотрел на молодую, румяную и сильную горничную с вспо-

тевшим озабоченным лицом.

— Сейчас пойду.

— Не могли сходить... Это что же?..

— Но, monsieur, я не виновата. Аптекарь сказал, что лекарство может быть готово через двадцать минут... А двадцати не прошло...

— Это бессовестно со стороны аптекаря... Не правда ли?.. Прошу вас, сию минуту идите... Только подайте платок... О, господи!..

И Неволин сердился на Берту и за то, что она здорова, и за то, что она, казалось, безучастна к нему и улыбается, как и госпожа Шварц, лицемерно.

«И вообще люди большие эгоисты и думают только о себе. Он не такой эгоист!» — с наивной уверенностью подумал Неволин и вспомнил, как он заботился о Леле, как сидел целую ночь, когда она захворала.

Обозленный, он уже мысленно упрекал теперь жену и словно забыл, что она «золотое сердце» и как ухаживала за ним, когда он заболел.

И внезапно проговорил:

— Это подло!

Ему хотелось плакать и от обиды, и от

нетерпения поправиться, и от нового злого чувства к женщине, которую так особенно сильно любил, как это казалось.

Через несколько минут Берта, обливавшаяся потом, принесла лекарство и сказала, улыбаясь добрыми круглыми глазами:

— Бежала... Теперь примите, и вам будет лучше!

Он поблагодарил Берту и заискивающе попросил скорей развести один порошок в рюмке с водой. Он нетерпеливо смотрел, как она это делала. Один вид нового лекарства словно бы гипнотизировал его и внушал уверенность, что порошок поможет.

И как только он выпил до последней капли полрюмки, ему стало сразу легче. Мокрота не душила. Дышать было свободнее. Свист из груди не вылетал.

— О, благодарю вас, Берта! Идите... Мне ничего не нужно!

Берта ушла, скрывая под обычной приветливой улыбкой жалость к этому несчастному умирающему господину.

Неволин смягчился. Берта уже не казалась такой безучастной к нему. И Леля, понимает-

ся, не так виновата, и он напрасно ее подозревает. Через пять дней она придет и будет сидеть безотлучно при нем.

«О, теперь я поправлюсь!» — уверенно подумал Неволин.

И, закрывая глаза, охваченный радостным чувством какой-то необыкновенно счастливой сонной грезы, заснул, широко раскрыв рот.

Сонный порошок подействовал быстро.

## IX

Известие хозяйки о том, что Неволину, по словам врача, не протянуть и недели, и что жена прислала телеграмму о новой отсрочке, вызвало в Ракитине быстрое решение: вызвать жену к умирающему мужу.

Пусть хоть умрет верующим в нее «влюбленным дураком»!

Ракитин жалел «дурака» и обижался за него, как мужчина, который не дался бы в такой обман. Жена Неволина возмутила Ракитина. Но в то же время ему хотелось познакомиться при исключительных условиях с этой хорошенькой, «проблематической барынькой», как поспешно уже зарисовал ее Раки-

тин в своем представлении.

Он изучит «интересный тип». Недаром он быстро отгадывает женщин и до сих пор пользуется успехом у них. А теперь сердце его кстати было свободно.

Ракитин помнил адрес. Неволин не раз о нем говорил Ракитину, когда приглашал его навестить их зимой.

И, подписав «срочная», Ракитин составил следующую телеграмму:

«Если хотите застать мужа в живых и облегчить последние его минуты, немедленно выезжайте. Соблаговолите срочно телеграфировать больному о выезде».

«Небошь, прикатит после такой телеграммы, и бедняга дождетя наконец свою мадонну!» — мысленно проговорил Ракитин и вышел.

С телеграфной станции Ракитин ушел довольный. Последние дни около бедняги Неволина будет любимая жена. И, разумеется, не хотел бы себе сознаться, что очень доволен своим добрым делом и потому, что увидит эту возмущающую его бессердечную женщину, будет часто с нею вместе в комнате умираю-

щего и провожать на прогулках.

Эта программа уже пробегала в голове Ракитина, когда он возвращался в пансион, взглядывая на проходящих молодых женщин с любопытством.

У решетки сада пансиона Ракитина остановил молодой красавец англичанин в светлой фланели и, приподнимая фетр, обмотанный кисеей, любезно спросил:

— Как здоровье вашего соотечественника?

— Плох! — с умышленной резкостью ответил Ракитин.

— О-о-о! Но, надеюсь, еще протянет?

— Пяти дней не проживет! — резко и насмешливо ответил Ракитин.

Молодой человек, казалось, не считал нужным заметить резкий и явно насмешливый тон Ракитина.

Он снова значительно протянул свое: «о-о-о!» и с спокойной и вежливой настойчивостью прибавил:

— Извините, что задерживаю. Позвольте один вопрос?

— Позволяю.

— Жена вашего бедного друга приедет?

Ракитина взорвало.

Он в упор взглянул в светлые, добродушно-спокойные глаза англичанина.

«Экая уверенная молодая скотина!» — подумал Ракитин и с дерзкой насмешкой сказал:

— Не приедет!

— О-о-о!

— Вы пари проиграете!

— Благодарю вас. Очень жаль! — невозмутимо вежливо промолвил молодой человек.

И, приподняв фетр, вышел на улицу, по-видимому, несколько недоумевающий такой резкости русского писателя.

А Ракитин, обрадованный, что оборвал высокомерного англичанина, торопливо направился в пансион.

В коридоре он встретил Берту.

— Больной все еще спит?

— Только что проснулся.

— В постели?

— Приподняться хотел и не мог...

— Сиделки еще нет?

— Нет...

— О, сейчас придет... сейчас придет! —

проговорила откуда-то появившаяся хозяйка. — Я уж была у одной особы... Но только дорого спрашивает... Десять франков в сутки на всем готовом... Это будет стоить пять франков у меня... Самая дешевая цена... Угодно переговорить с особой?.. Верно, и предупредите бедного Неволлина?

Ракитин не спорил о цене, хотя и понимал, что хозяйка делает свой гешефт. Да и неловко, казалось ему, было торговаться.

«Ну и черт с тобой!» — мысленно промолвил Ракитин и, улыбаясь лукавыми своими глазами, сказал:

— Надеюсь только, что ваша особа не наведет на больного уныния?

— Простите... Я не совсем понимаю... Чем может навести уныние сиделка, которую я рекомендую? — не без достоинства проговорила госпожа Шварц и приготовилась обидеться в качестве «слабой женщины».

— Разве не понимаете, милая госпожа Шварц, чем сестры милосердия удручают?..

Ракитин рассмеялся и продолжал:

— Да своим торжественно-участливым видом, точно хочет сказать: мне жаль умираю-

щего. Или — что, пожалуй, еще хуже — обладает такой наружностью, что больной будет волноваться от раздражения.

О, она поняла. Она и не могла подумать, что такой знаменитый писатель мог считать госпожу Шварц совсем глупой. Она, слава богу, понимает, как важно для больного видеть около себя успокаивающее, приятное лицо. Это важно не только для больных, но — осмелится выразить свое мнение — и для здоровых. И она не держит в своем пансионе уродов-горничных.

— Это мое правило! — не без гордости прибавила хозяйка.

— Недурное правило, госпожа Шварц. Но сиделка?..

— Будьте спокойны за вашего соотечественника... Последние его дни не будут омрачены... Особа очень милая женщина... лицо самое располагающее и внушающее доверие... Правда, она не первой молодости, ей за тридцать, но моложавая, сильная и симпатичной наружности, вполне приличная дама... Как раз лучший возраст для своей тяжелой обязанности... Ведь для тяжкого больного

и не нужна молодая сиделка... Только могла бы стеснить... не правда ли?

Ракитин, конечно, согласился.

— О, бедный Неволин будет доволен своей сиделкой. Она любит свое дело милосердия... понимает, что больные капризны и раздражительны, и ни лицом, ни манерами, ни разговором не раздражит, а, напротив, успокоит больного...

И хозяйка значительно прибавила:

— Я тоже наблюдала больных... Приходилось!.. Так я буду ждать вашего приказания...

И, любезно поклонившись, хозяйка величественно направилась в одну из комнат, слегка повиливая своими широкими бедрами.

Когда Ракитин вошел в комнату Неволина, пропитанную запахом лекарств, и увидел неподвижную черную голову, землисто-бледное лицо и лежавшую на одеяле длинную исхудалую руку, Ракитин точно увидел покойника.

Он невольно поморщился, вдруг стал серьезен и, тихо подходя к кровати, как-то съёжился, опустил голову и будто стал меньше

ростом, словно стараясь скрыть перед Неволиным, как он высок, плотен, крепок и цветущ.

И, смягчая свой крикливый голос, тихо, без обычной подбадривающей веселости, ласково проговорил:

— Ну, как дела, Валерий Николаич?

Осторожно, тая брезгливое чувство, слегка пожал руку Неволина и присел на стул около кровати.

— Спасибо, что навестили, Василий Андреич! — обрадованно ответил Неволин. — Вернэ прописал новое лекарство, и я чувствую себя гораздо лучше... Только слабость... Завтра встану...

И, внезапно показывая раздражение более, чем его было, прибавил:

— А эта свинья-хозяйка... вообразите, Василий Андреич.

— А что?

— Предлагала ехать в Петербург... Точно сбыть меня хочет... Будто я могу умереть в ее пансионе. Но я еще не собираюсь, кажется, умереть. Катар — не туберкулез. Вернэ не врет! Да я сам знаю! — вызывающе и возбуж-

денно говорил Неволин.

— Хозяйка и не думает.

— Зачем же предлагала ехать в Петербург?

— Вы получили телеграмму... Хозяйка, верно, подумала, что Елена Александровна не может скоро приехать. Ну и подумала: вы к ней поедете.

— Разве... Но зачем я поеду?.. Это глупо... Действительно, вы предугадали вчера, Василий Андреич... Сегодня жена не приедет... Невозможно было... Сама прихворнула... ничего особенного, — сочинял Неволин. — Но через пять дней можно выехать... Непременно приедет!

— А быть может, и раньше выедет. И мне кажется, что так и будет. Прихворнула... испугалась и добросовестно предупредила... А увидит, что пустяки, и прикатит...

— Вы предполагаете?..

— Уверен. Женщины мнительны...

— Да... да... Леля мнительна, — обрадованно проговорил Неволин.

Он помолчал и возбужденно прибавил:

— И знаете что?..

— Что?

— Я рад, что вы увидите жену...

— Надеюсь, на днях.

— И тогда... Вы мало наблюдали хороших женщин...

— Верно, легче описывать отрицательные, чем положительные типы.

— А познакомитесь с женой... и опишете положительный тип... Непременно... Не думайте, что говорит ослепленный глупый муж... Сегодня и я подло усомнился в ней, и знаете почему?

— Почему?

— Нашло омрачение... Во мне какой-то злой зверь заговорил, и мне показалось, что Леля меня обманывает...

— Просто галлюцинации больного...

— Разумеется... галлюцинации... Разве я имею основание не верить... Выслушайте, Василий Андреич, и вы поймете, что не имею никаких оснований. Ни малейших!

Неволин проговорил эти слова взволнованно, с порывистым, страстным и тоскливым возбуждением трусливого человека, в котором еще тлело подозрение. Он желал, чтобы его не было и не могло быть, и чтобы

Ракитин, писатель, скептик и циник, смеясь рассказывавший, что давно разошелся с женой для общего их удовольствия, и, по-видимому, большой ухаживатель, — убедился, что он не обманутый муж, и, главное, убедил в этом того, который так горячо, казалось, говорил о том, что нет никаких оснований для постыдного подозрения.

Тогда он не будет напрасно волноваться в ожидании приезда... Или... по крайней мере, проверит словами Ракитина свои подозрения.

И, тая про себя лукавство, с особенной ласковостью просил:

— Не откажите в просьбе скучающего больного, Василий Андреич! Мне так хочется поговорить о жене именно с вами. Вы такой умный человек. Так много видели, испытали, наблюдали... Что для такого, как я, обыкновенного среднего человека многое, быть может, темно... для вас — ясно...

«Ишь лукавит! Прозрел наконец. Усомнился в своей хорошенькой мадонне и ищет эксперта. Так я и отравлю последние его дни!» — с чувством негодования подумал Ракитин.

И, забывая, что он собирается на глазах

умирающего мужа «изучать проблематическую барыньку», Ракитин даже почувствовал удовлетворенность порядочного человека. Ведь, благодаря ему, Неволин умрет на руках любимой жены верующим, что она любит.

— Только много говорить, пожалуй, и вредно... А, Валерий Николаич?.. Того и гляди, еще взволнуетесь... А вам надо скорее поправиться... А то жена придет, а вы валяетесь, — проговорил Ракитин.

— Мне не вредно говорить... Ей-богу, не вредно... Вернэ позволяет. Он и курить позволяет... И есть все позволил... И я чувствую себя отлично... И отчего волноваться... Или вам некогда?.. Писать хотите?.. Или надоело со мной сидеть?..

— Писать еще успею... И ничуть не надоело... Я с удовольствием послушаю вас, только смотрите, устанете... отдыхайте!.. — сказал Ракитин.

«Ведь теперь ему все можно! Пусть рассказывает!» — подумал Ракитин и стал смотреть в блестящие, оживившиеся глаза Неволина.

И Неволин начал:

— Да... Я человек и порядочный... И так

подло заподозрить. И кого?.. Вы увидите скоро жену, Василий Андреич... Знаете ли, неловко хвалить жену!.. Но у меня нет прилагательных слов... Я так счастлив... Три года ни тени облачка... И не иллюзии... сейчас узнаете... И вдруг было подозрение. Положим, одно мгновение... Вы сказали: галлюцинации. Хорошо. Но ведь и мгновение... жестокость. Вы писатель, сердцевед... Разве возможно порядочной правдивой женщине писать нежные письма и... обманывать?

«Конечно, возможно... Или ты даже не слышал», — подумал Ракитин.

И уверенно проговорил:

— Разумеется, невозможно.

— И главное, когда можно и не обманывать... Ведь вы не поступите так с любящей вас женщиной...

«Однако допрос?» — промелькнуло в голове Ракитина.

И, смеясь, промолвил:

— Вернее: не поступал, Валерий Николаич... Да так и лучше! Нет осложнений!

— Именно лучше... И жена такой человек, который никогда не лжет... Знаете ли, Васи-

лий Андреич, ведь меня судьба разыскала... И я часто спрашивал: за что? Леля прелестна, умна, талантлива... И какой голос!.. Я встретился с нею в Симферополе. Она жила с вдовой-матерью. На маленькую пенсию жили... Прежде я и ухаживал и влюблялся... Но в Лелю я влюбился особенно... до сумасшествия, сразу... да... Я точно нашел ту самую, единственную на свете, о которой мечтал еще в университете... Ну что ж, я не скрываю! — застенчиво прибавил Неволин.

— Да и что скрывать... Вы счастливый человек, Валерий Николаич.

— Еще бы!.. И через два месяца сделал предложение... Не испугался, что только полторы тысячи жалованья да тысяча от матери...

— И Елена Александровна сейчас же согласилась?..

— Леля сдержанная, серьезного характера... через неделю дала согласие.

«Она шла замуж не по любви!..» — решил Ракитин.

А Неволин возбужденнее и торопливее говорил:

— И чем более меня узнавала, чем сильнее чувствовала, как я ее люблю, тем более привязывалась ко мне... Говорят: один любит, другой позволяет любить... Может быть. Я боготворил ее, и она позволяла... Обыкновенно жены не жалеют мужей, а она жалела. Останавливала, когда дарил кольца, покупал платья... «Ты точно нянчишься как с куклой — не надо!» И ее мучило, что я день сидел в министерстве и по вечерам иногда частную работу брал... У нее были свои взгляды... тихая, сдержанная, с характером... достала себе переводы... и, голубушка, по целым утрам просиживала... а по вечерам читала... И всем интересуется... жизнью, литературой... И меня заставляла читать... «Не все же думать о своем благополучии!» — А мне, признаться, и некогда было. Надо о благополучии заботиться... Когда любишь жену и любишь свое гнездо, о них невольно думаешь. Положим, многое у нас скверно... так говори не говори, а все равно ничего не сделаешь... Да и уж не так скверно для нас, интеллигентных людей. И наконец я думаю, что идеал человека — личное счастье... вы вот писатели... горячитесь... вол-

нуетесь. А я, знаете ли, не понимаю, к чему так волноваться...

— Вот вы волнуетесь теперь, Валерий Николаич... Отдохните.

— О, нет... я не устал... У меня выносливая натура... До весны не знал болезни... и весной простудился... Воспаление легких... И как же Леля ухаживала!.. Доктор один молодой два раза в день ходил... Выхаживали... бедная Леля, как устала... И никуда... Не отходила от меня... и... я смел подумать!? — вдруг раздражительно прибавил Неволин.

Ракитин мягко просил его отдохнуть...

— Нет... ничего... проклятый катар... И меня врачи отправили... А Леле нельзя было ехать... со мной... Хотела... Но я... я... не позволил... К чему... тревожить... И ей хотелось окончить работу и приехать... Собиралась в начале августа... Но, вы знаете, сперва мать хворала... работа задержала... И я скрывал, что сильно похудел... Так вы поняли... поняли, что ни малейшей тени основания... И по совести скажите ваше мнение... Не бойтесь... Я не испугаюсь, если вы, как скептик, могли бы предположить: осталась одна... Муж боль-

ной был последнее время... раздражительный... возбуждал брезгливость и... влюбилась...

И, не давая возражать Ракитину, почти со злобой продолжал:

— Ведь вы это в душе полагаете?.. Ведь это?.. Не правда ли?.. А мне, как больному, хотите только отвести глаза... И разве это невозможно?.. Разве даже такой чудный человек, как жена, не может искать счастья?.. Не имеет права наслаждаться жизнью?.. Сердце разве не вольно разлюбить?.. А вот возьмет и совсем не придет!.. А вы — скептик и брак считаете нелепостью, а со мною виляете... Так я ведь не умирающий, Василий Андреич. И не такой дурак, как вы думаете!.. Не дурак!

Ракитин смутился на секунду и отвел взгляд от лихорадочно блестящих глаз чахоточного.

— Вы вздор говорите!.. — спокойно сказал Ракитин. — С какого черта вилять перед вами... Разве я воображаю, что катар ваш так опасен... Я вот возьму да Елене Александровне нажалуюсь, что вы додумались от тоски до того, что она не придет... А она возьмет да и

приедет послезавтра, чтоб вас пристыдить...

— Это она вас пристыдит!..

— Меня не за что, Валерий Николаич. А я, знаете, что придумал?

— Что?

— Сейчас добыть вам сиделку.

— Зачем?.. Не нужно!

— Нужно, Валерий Николаич! Не капризничайте. Берте не разорваться, и она неумелая... А вам нужно отлеживаться день-другой, чтобы молодцом встретить Елену Александровну! — весело, почти повелительным тоном проговорил Ракитин, быстро поднимаясь со стула и, видимо, торопясь уйти.

Больной покорно согласился на приглашение сиделки.

## Х

— А вы, Василий Андреич, не сердитесь на меня! — смягченно, почти виновато, прерывисто проговорил Неволин, жадно глотая воздух, и смотрел на Ракитина просительными страдающими глазами. — И спасибо, что посидели... И навещайте... Я ведь один... пока...

И неожиданно прибавил:

— А я сейчас шутил... Я ведь не сомнева-

юсь... Леля приедет. Приедет...

— Еще бы!.. А сердиться не за что, Валерий Николаич... Поспорили и завтра опять поспорим... Не надо ли чего?..

— Спасибо... Прикройте, пожалуйста, пледом...

И, когда Ракитин прикрыл пледом, Неволлин промолвил:

— А то знобит... И дышать трудно... Не следовало много говорить...

Ракитин обещал зайти вечером.

Очувтившись за дверями, он облегченно и радостно вздохнул. И оттого, что освободился от Неволлина, и оттого, что сам он не умирающий, а здоровый, цветущий человек и пойдет, куда угодно.

«Бедняга. Что ж, всем надо умирать!» — подумал Ракитин.

И даже почувствовал к «бедняге» неприязнь. Придется все-таки заходить к нему, врать об его поправлении и испытывать неприятные впечатления при виде этого разлагающегося человека.

— И ведь воображает, что поправится! — не без удивления мысленно проговорил Раки-

## XI

Ракитин нашел хозяйку в столовой.

Он попросил ее немедленно послать за сиделкой.

И вдруг вспомнил, что обещал сделать визит одной даме, с которой встречался в Петербурге и недавно встретился в Монтре. И он решил сейчас же ехать. По крайней мере, развлечется.

— Я не буду обедать сегодня, госпожа Шварц! — объявил Ракитин.

И нашел нужным прибавить:

— Обедаю в Веве... С одной знакомой.

— О, monsieur! — шутливо-строго сказала хозяйка и погрозила пальцем.

— Вы что же думаете? — смеясь, спросил Ракитин.

— Вы ведь опасный человек...

Ракитин от удовольствия вспыхнул. Он как-то особенно победоносно затеребил бородку и с преувеличенной напускной скромностью проговорил:

— Увы! И стар, и толст, и уж никому не опасен! До свидания. И, пожалуйста, сиделку.

— Сию минуту! — И хозяйка нажала кнопку. — Видно, какой вы старый!.. Vonne chance![3] — значительно промолвила госпожа Шварц с веселой поощряющей улыбкой.

И, сразу переходя в деловой тон и делаясь любезно-серьезной, прибавила:

— Вы знаете условия пансиона?

— Какие?

— Если не обедаете дома, плата за обед не исключается... Я обязана предупредить... Извините...

— Знаю! Знаю!

И, приподняв шляпу, Ракитин ушел и сел на трамвай.

Жена тайного советника, лет за тридцать, не оскорбляющая эстетических чувств Ракитина, элегантная брюнетка, приехавшая в Швейцарию с десятилетним мальчиком ради его слабой груди, уже порядочно соскучившаяся по Петербургу, обрадовалась приходу Ракитина.

Она с интересом прослушала о проблематической барыне, не приезжающей к влюбленному умирающему мужу, пожалела мужа, возмутилась женой, но, впрочем, старалась

найти смягчающие обстоятельства, сказав несколько прочувствованных слов о женах, которые выходят замуж, не подумав, без настоящей любви.

Так как Ракитин знал, что и Наталья Ивановна Брике не подумала перед замужеством, так как господину Бриксу за шестьдесят, то Ракитин не без большого оживления и торопливо стал рассказывать о нелепых предрассудках брака и вообще о любви и смешил молодую женщину своей веселой, остроумной и дерзкой болтовней. Она смеялась недвусмысленным рассказам старого ухаживателя и знатока женщин, улыбалась его будто бы нечаянно срывавшимся комплиентам и, в свою очередь, не оставалась в долгу, рассказывая, как приятно болтать с таким умным, талантливым писателем.

Они проболтали целый день. Обедали вместе в пансионе. Гуляли. И оба кокетничали друг с другом, довольные, что не скучали.

Расставаясь, элегантная брюнетка с вкрадчивой обаятельностью просила не забывать ее и «посмеяться вместе», как сегодня. И Ракитин, конечно, обещал и несколько раз поце-

ловал ее душистую руку.

Он вернулся домой в десятом часу, очень довольный проведенным днем.

«Пожалуй, и досмеемся до маленького романа! Мужу за шестьдесят, а она с темпераментом и, кажется, не настолько глупа, чтобы заинтересоваться здесь каким-нибудь чахоточным молодым человеком!» — думал Ракитин и весело усмехался, уверенный, что произвел на скучающую барыньку впечатление.

А тайная советница в то же время, между прочим, писала одной приятельнице в Петербурге:

«Думала, что Ракитин умнее. Он воображает себя неотразимым и с первого же визита принял аллюры ухаживателя, не понимая, что он немножко смешон со своим самомнением, брюшком, мешками под глазами и разговорами о любви... Вероятно, думает за мной ухаживать, рассчитывая на роман. Конечно, я с ним кокетничаю от скуки, и ты догадаешься, как не трудно влюбить этого „молодого человека под пятьдесят“. Но даже и это не интересно... Эти пятидесятилетние господа не в моем романе. Довольно и своего супруга, ко-

торый, по крайней мере, влюблен издали и не будет знать, что мой верный рыцарь придет на неделю в Женеву, и мы проведем с ним прелестные дни. Право, молчаливые двадцатипятилетние рыцари куда интереснее самых умных стариков, как мой влюбленный, подозрительный и требовательный благоверный, вечно говорящий о святости долга... О, какая свинья!»

Ракитин вошел в комнату и присел на балконе. Он забыл об обещании навестить вечером Неволина и был в мечтательном настроении самоуверенного женолюба, как в комнату постучали.

Мечтательное настроение сразу исчезло, когда вошла Берта и сказала, что больной уже три раза посылал за ним.

— Очень просил зайти.

— Ему хуже?

— Нет... Как будто бодрее.

— Сиделка там?

— Как только вы ушли, она пришла.

— Скажите, что приду сию минуту!

Он докуривал папиросу, чтобы оттянуть минуту посещения. Но, внезапно почувство-

вавши стыд за свое равнодушие к умирающему, швырнул недокуренную папироску, порывисто поднялся с лонг-шеза и вышел из комнаты.

Комната Неволина, слабо освещенная лампой под темным абажуром, казалась еще мрачней. Запах лекарств и спертый воздух казались невыносимыми. И самый больной в полутьме казался еще неприятнее и страшнее с его мертвенным лицом и блестящими глазами.

Сиделка, с располагающим лицом, спокойная, без фальшивой подбадривающей улыбки, но и не мрачная, сидевшая в кресле, в отдалении от кровати, и коротавшая вечер за книгой, слегка поклонилась в ответ на поклон Ракитина и мягким, приятным голосом, низковатый тембр которого словно бы успокаивал, проговорила, обращаясь к Неволину:

— Вот и пришел monsieur Ракитин. А вы так волновались... Верно, раньше нельзя было...

И плотная, моложавая женщина взглянула на Ракитина — показалось ему — особенно серьезно, словно с упреком.

— Простите, Валерий Николаич... Раньше не мог... Встретил одного издателя и, понимаете...

Но Неволин, казалось, не слушал Ракитина.

И, перебивая его, счастливым, торжествующим и взволнованным голосом, проговорил:

— Послезавтра приедет... Выехала... Прочтите телеграмму... Срочная!

Ракитин подошел к столику, взял телеграмму и прочел:

«Телеграфирую с вокзала. Завтра буду около тебя, и скоро поправишься».

Неволин не спускал глаз с Ракитина.

— Ну вот видите, Валерий Николаич... Можете спать отлично, — весело проговорил Ракитин. — И сразу смотрите лучше, чем утром.

— Еще бы... Теперь я быстро стану поправляться...

Неволин не интересовался уже более, зачем Ракитин так долго не приходил и какого издателя он встретил.

Неволин начал было рассказывать, что он ел и с каким аппетитом ел бифштекс...

Но сиделка мягко остановила Неволина:

— Не говорите много... А то спать будете хуже...

— О, конечно... конечно! — весело подтвердил Ракитин. — Не буду... Слушаю вас, добрая мадам Дюфур... О, как вы терпеливы с таким капризным больным... И как все хорошо делаете...

— Привыкла! — просто ответила сиделка.

Ракитин сейчас же ушел.

На другой день Неволин получил телеграмму из Берлина. Прошел день, и телеграмма из Базеля: «Сегодня в полдень буду».

Но Неволин уже не мог подняться с постели и уже не так волновался, как раньше. К приезду жены, казалось, был равнодушнее.

Он весь был полон мыслями о себе, о своем выздоровлении, в которое упорно верил, и какой-нибудь бульон или чай с вареньем, который вдруг требовал его капризный вкус, занимал Неволина гораздо более, чем ожидание любимой женщины.

Он уже был в том предсмертном эгоизме, когда венец творения больше всего обнаруживает в нем жалкого, цепляющегося за

жизнь с тем ее счастьем, которое так примитивно и так мало отличается от счастья животного.

Сиделка была образцовая, и от нее больной был в восторге.

И он подумал еще утром, что жена едва ли сумеет за ним так ухаживать. Она не такая сильная, умелая, казалось, угадывающая его желания. И перед женой все-таки нельзя так раздражаться, как перед сиделкой.

Неволин особенно заботливо расчесал свою бороду, вычистил ногти, попросил впрыснуть себя духами; сиделка переменяла ему рубашку и надушила носовой платок.

Берта рано убрала комнату, поставила кровать для жены на том месте, где стояла прежде кровать Неволина, и к девяти часам на столике у кушетки уже стоял роскошный букет.

Эти заботы несколько развлекли больного. Он на несколько минут оживился и снова захотел встать.

Но сиделка уговорила его не вставать.

Он не протестовал. Он слушался сиделку, и казалось ему, что с таким уходом, как ее, он

скорее окрепнет и встанет. Она как-то незаметно поддерживала его уверенность в этом, и он рассказывал ей, как он пойдет с женой до Шильона, а потом они будут гулять пешком.

— А пока я не встану... Ведь это недолго... не правда ли... Дня два-три?

— Вернэ говорил, что дня через три...

— Так уж вы останьтесь... День сидите здесь, а ночью, если понадобится, жена мне поможет.

— Не утомит ли это вашу жену? Она, пожалуй, не заснет ночь. Если хотите, я буду сидеть ночью в коридоре... И если вам нужно, вы только позвоните.

Неволин благодарил.

— А то бедная жена, в самом деле, изведется...

Около полудня Ракитин, прифранченный, с подстриженными волосами и бородкой, зашел к Неволину и спросил:

— Прикажете встретить Елену Александровну, Валерий Николаич?

— Хотел просить об этом... Вот не пускает меня добрая сиделка... встретить жену... На-

деюсь, ее узнаете по портретам...

— Полагаю.

— Так вы предупредите ее, что я похудел... чтобы не взволновалась... Должно быть, она цветущая красавица... а я...

Неволин закашлялся и, когда припадок кашля прошел, раздражительно сказал сиделке:

— Я просил вас шоколада... Мне хочется чашку шоколада... А мне не дают... Дайте же мне поскорее!

## XII

Еще бы не узнать по портретам этой необыкновенно привлекательной маленькой женщины, с большими усталыми глазами и роскошными, отливавшими золотом волосами под соломенной шляпой.

Действительно, в этом строгом, тоскливом и красивом лице было что-то, напоминающее мадонну.

Как только ее стройная, красивая фигура в светлой юбке и темной жакетке, открывавшей блузку и регат поверх свежего воротника, торопливо вышла из вагона, как к ней подошел Ракитин и изысканно-почтительно

проговорил:

— Ракитин!

В одной руке молодой женщины был небольшой чемоданчик, в другой — зонтик.

Она сдержанно и серьезно наклонила голову и спросила:

— Муж жив?

— Еще жив.

— Кажется, пансион близко?

— Да. Позвольте вам показать дорогу...

— Пожалуйста.

— Дайте мне квитанцию от багажа.

— Не беспокойтесь.

И молодая женщина отдала квитанцию сторожу и попросила его принести багаж в пансион Шварца, и пошла рядом с Ракитиным.

И ни полслова. Только «жив ли?».

«Что это за женщина?» — думал Ракитин, украдкой любуясь ею. И серьезно сказал:

— Муж о моей телеграмме не знает... Он так волновался, так нетерпеливо ждал вас, что я решил извещать вас о положении мужа.

— Благодарю за телеграмму. Я знала об его

положении.

И опять продолжала идти молча.

— Валерий Николаич просил предупредить вас, что он очень похудел. Он хотел подняться с постели, чтобы встретить вас, и не мог... И все-таки верит, что будет жить.

Выражение чего-то мучительно скорбного залегло в глазах молодой женщины. Лицо ее стало строже и, казалось, непроницаемое.

Неволина опять молчала. И только пошла скорее.

Ракитин догадался не мучить женщину своими сообщениями.

Он обиженно замолчал. И, стараясь скрыть одышку от скорой ходьбы, едва поспевал за молодой женщиной.

«Не спешила к мужу из Петербурга, а теперь торопится!» — думал Ракитин, недовольный, что программа его изучения интересной женщины с первого же начала не исполняется, «И знает ли эта барыня, что я писатель? Читала ли меня?» — спрашивал себя Ракитин, раздраженный этой почти резкой сдержанностью молодой женщины с ним.

— Вот сюда, в сад, Елена Александровна! —

проговорил он довольно сдержанно.

В саду было много пансионеров. Все знали, конечно, что приехала жена умирающего. И многие дамы взглянули на молодую женщину, еще более возмущенные ее красотой, изяществом и видом далеко не приниженной кающейся женщины.

Пожилая толстая англичанка, бесцеремонно рассматривавшая Елену Александровну в лорнет, пришла в ужас. Худая девица из Гамбурга шепнула хорошенькой пасторше с недоумевающими глазами, что русская дама просто нахалка.

— Но все-таки, надо сказать, бог ее наградил красотой! Не правда ли, фру? — проговорил пастор, обращаясь к жене.

— Я с тобою согласна, мой друг.

— Но тем не менее она не может быть хорошей. Так долго не ехать к мужу... Не так ли, фру?

— О, конечно! Как можно оставлять мужа, да еще больного.

— Ты хорошая женщина, фру. О, ты великолепная женщина, фру! И ты гораздо красивее этой дамы, фру! Я правду говорю!

— Ты слишком добр ко мне, Аксель!

Французов русская дама обворожила. С загоревшимися глазами они жадно ее рассматривали и потом зашептали, что она сложена восхитительно и что такая женщина не может не иметь любовника.

А молодой англичанин замер от восторженного удивления и, краснея, как пион, мог только протянуть:

— О-о-о!

И в то же мгновение подумал, что должен быть представлен русской леди.

После смерти ее мужа он объявит, что с первого мгновения, как увидал ее, решил ей предложить быть женой англичанина и лорда. Чек на двадцать тысяч фунтов немедленно после согласия и после брака такая же сумма по договору в ее распоряжении.

Эта внезапная мысль овладела молодым красавцем англичанином. Он не спускал восторженных глаз с проходившей молодой женщины и дал себе слово добиться ее согласия, если не здесь, то в Петербурге, куда он немедленно поедет вслед за ней... И будет ждать хоть три-четыре года.

Фабрикант из Бирмингама отдал банковые билеты проигранного пари и проговорил:

— Не правда ли, милорд, настоящая леди?

— Королева, сэръ! — строго ответил молодой англичанин.

И прибавил:

— Породистая!

Госпожа Шварц встретила Елену Александровну в прихожей и, грустно-торжественная, повела ее наверх.

— О, как бедный ваш муж будет обрадован. О, несчастный страдалец! Как он ждал вас, госпожа Неволина!.. Две недели ходил каждый день на поезд встречать вас... Но forse majeure[4] помешала вам приехать... Муж знал это и не роптал... Вы сами страдали... о, я понимаю... И вы не знали, как муж плох... Он скрывал от вас... Боялся встревожить... О, тяжелая доля облегчить последние минуты любимого человека... И как его не любить... Какой он добрый, деликатный!.. О, простите мне невольный крик души!

Госпожа Шварц не забыла, что если б не Ракитин, то она могла бы понести убытки, и потому не лишила себя удовольствия подпу-

стить яду в свои трогательные излияния, оглядывая и оценивая скромный, хотя и элегантный, костюм этой хорошенькой и чересчур мало печальной для жены умирающего мужа.

И так как «жена умирающего» ни одним словом не откликнулась на «крик души» хозяйки, то госпожа Шварц, останавливаясь в коридоре, прибавила пониженным до трагического шепота голосом.

— Вы позволите предупредить бедного мужа, что вы уже здесь... А то радость внезапного свидания может потрясти больного... Утром он был бодр, насколько возможно для него... Но всякие потрясения... Как вы думаете, monsieur Raquitine?..

Ракитин считал миссию свою оконченной. Он уже поклонился Елене Александровне, сказав, что он в ее распоряжении в эти тяжелые дни, и хотел пройти в комнату, как вопрос хозяйки заставил остановиться его и сказать ей:

— Ведь больной знает по часам, что госпожа Неволина приехала. К чему еще предупреждения... Напрасно вы так тревожитесь и тре-

вожите госпожу Неволину! — насмешливо прибавил Ракитин.

— О, в таком случае я умываю руки! — обиженно сказала хозяйка и удалилась.

— А вещи прикажите послать в комнату...

И, обращаясь к Невוליной, Ракитин прибавил по-русски:

— Эта дама шельма и большая охотница до представлений!.. Постучите, Елена Александровна, в восемнадцатый номер... Там сиделка...

Словно бы услышавшая простое нелицемерное и неоскорбительно-обвиняющее слово, Неволина подняла на Ракитина глаза, в которых мелькнуло благодарное чувство измученного человека, и торопливо прошла к восемнадцатому номеру.

Маленькая бледная рука вздрагивала, когда тихо постучала в дверь.

### XIII

Сиделка открыла дверь и чуть слышно, ласково шепнула:

— Он ждет вас... Постарайтесь скрыть от него, что он так плох... Если нужно, позвоните.

И, пропустив Неволину, вышла за двери и направилась вниз.

Как ни готова была молодая женщина к свиданию с мужем и каким худым ни представляла его себе, но, когда увидела голову мертвеца, она едва могла скрыть жалость, тоску и ужас, охватившие ее. И, опустив голову, чтобы муж не видал ее лица, с рыданием в голосе, стараясь удержать слезы, проговорила, подходя к нему:

— Вот и приехала... И ты прости, что не могла раньше, Валерий.

И она поцеловала его и припала к его исхудалой руке.

В первое мгновение Неволин не мог говорить от волнения и только прерывисто и тяжело дышал.

— Как ты меня нашла?.. Очень изменился, Леля? — наконец проговорил он.

— Изменился... Но не очень...

— Ну... Похудел... сильно... Но теперь кризис... Я поправляться начну...

— Еще бы...

И опять оба смолкли, точно оба не находили именно тех слов, какие нужны и как на-

рочно не приходят.

Неволину казалось, что он счастлив, но все-таки не так бесконечно счастлив, как должен быть и как следовало, и потому он с большим чувством, чем его было в сердце, проговорил, преувеличивая и радость и умиление:

— Милая... родная Леля... Как я счастлив... Ты около... Как я люблю тебя... Как я ждал тебя...

И, словно забывая, что поцелуи его потряскавшихся, почерневших губ не могут доставить удовольствия даже любящему человеку, он желал именно показать, как любит жену, и потому привлек ее лицо к своему и целовал и ее лицо и ее руку, хотя это его и стесняло, так как дышать ему было тяжелее и мучительнее.

И молодая здоровая женщина с ужасом чувствовала отвращение от этих поцелуев, несмотря на жалость и невольную вину перед умирающим человеком.

В эти мгновения она вспомнила все... все... И любовь без страсти к мужу... И ее привязанность без дружбы и ласки... И как он любит... любит ее и не понимает запросов ее души и

ума... И разве виновата она, что, когда он заболел, его ласки были нестерпимы... Разве виновата она, что после отъезда мужа встретила отзывчивого, умного, сильного духом и полюбила, почувствовала страсть... Настоящую, незнакомую ей раньше. И не смела ехать к мужу... Жалела его... Разве можно было скрыть... Разве успокоишь больного знанием, что не принадлежишь тому, кому хочешь... Пусть умрет без разочарования влюбленного... Пусть все ее считают бессердечной. Она знала, что он один, больной, и не ехала. И теперь ужас отворачивания, муки позднего раскаяния — именно когда любит. Зачем не любя выходила замуж...

Неволин отвел губы. И жена облегченно вздохнула. Снова жалость охватила ее, и слезы лились из ее глаз.

— Да ты что же... плачешь?.. Садись, милая, лучше в кресло... Дышать трудно... А я посмотрю на тебя...

Она торопливо села в кресло и, улыбаясь сквозь слезы, проговорила.

— Плачу... от волнения... встречи...

— Милая!.. Не тревожься... Не бойся... я по-

правляюсь!.. И какая ты красавица, Леля! Рассказывай о себе, что делала, кого видела... А мне не позволяй говорить много... Это очень вредно...

— Так не позволяю! — попробовала пошутить молодая женщина.

— Ты не умеешь, Леля... Я тебя не слушаюсь... И мне лекарство пора.

В голосе Неволлина уже слышалось раздражение.

— Я тебе дам.

— Ты не знаешь...

— Так позвать сиделку?

— Да... она знает! А ты рассказывай!..

Через минуту пришла сиделка, подала лекарство, поправила постель и подушки, подняла голову больного, и он удовлетворенно сказал:

— Леля... Она умеет... Ну, рассказывай!

Молодая женщина стала рассказывать. Но, видимо, Неволлин не особенно интересовался и часто закрывал глаза.

Тогда перед Еленой Александровной был мертвец... И она смолкала...

— Рассказывай... Рассказывай...

Она опять говорила... И скоро муж заснул... Дыхание было тяжелое. Из груди вырывался свист.

Молодая женщина отвела глаза и задумалась.

— Господи! — вдруг вырвалось у нее, когда она поймала себя на мысли о том, что смерть мужа — счастье новой ее жизни, что теперь она только знает, что значит любить, и думает о любимом человеке...

— Ты, Леля, о чем рассказывала? — вдруг сонно промолвил Неволин, вдруг открывая глаза...

— О... маме! — отвечала Елена Александровна и густо покраснела.

— Да... Она здорова?..

— Здорова...

— А ты не позволяй мне говорить, Леля...

И снова заснул.

## XIV

Елена Александровна притаилась в кресле и часто взглядывала на мужа.

Опять перед ней проносилось недавнее прошлое. И опять замужество ее представлялось ошибкой, ужасной ошибкой...

«Не ошибка... хуже. Поругание чувства... Поругание тела. Ложь... Сознательный обман доверчивого влюбленного человека, чтобы пристроиться!» — говорила возмущенная совесть молодой женщины.

Она не гнала совести. Не старалась скрыть от себя правды. Не обманывала себя оправданиями.

Напротив!

С тех пор, как полюбила, она точно прозрела всю ложь прошлой жизни и, мучительно преувеличивая свою вину, считала себя безмерно виноватой не за то, что любит другого, а за то, что вышла замуж...

Ее не успокаивали примеры. Ведь многие так же выходят замуж и после обманывают... живут и с мужьями и с любовниками.

«Так что же. Чем она была лучше продажной женщины? Она продавалась за обеспеченную жизнь только одному — вот и вся разница».

Она знала, что делала. Не глупая. В двадцать пять лет понимала, что не любовь диктовала ответ на предложение. Не уважение к чужому чувству влюбленного, а эгоизм заста-

вил ввести человека в заблуждение и продолжать его... Она чувствовала, что не любит по-настоящему, а только терпела и жалела. И женщина в ней тогда не оскорблялась. Муж мог заблуждаться, что жена его любит. Ведь он так влюблен в нее. Так старался, чтоб ей было лучше, и делал все, чтоб только доставить ей удовольствие... Он был добрый, внимательный и счастливый... А она не могла не благодарить за такую привязанность. Она не лгала, когда говорила, что привязана к нему, но лгала, что не прибавляла, что это не любовь... Не говорила, что по временам тосковала, что ей хотелось иной жизни... иного друга с иными запросами. И не было воли. Да и не было сильного желания искать иной жизни... иной среды. Не полюби она, разве давно не была бы она около него?.. Или она должна была приехать и лгать уже позорно...

Все существо протестовало против такой жертвы.

И к чему? К чему?

Но что-то говорило в ней: «должна была!..»

Молодая женщина взглянула на мертвенное лицо Неволлина.

И оно, казалось, ей говорило:

«Должна была!»

К вечеру Неволину стало хуже. Он стонал и метался, и по временам впадал в забытие и бредил о том, что завтра встанет и пойдет гулять...

Настала ночь, чудная звездная ночь.

И Неволина и сиделка не отходили от умирающего. Казалось, он уж находился в агонии... Глаза безумно горели... Он громко вскрикивал и весь горел. Никого не узнавал.

И жена и сиделка измучились, удерживая больного и ежеминутно вливая ему в рот воду с ложечки. Обе они желали, чтобы Неволин скорей умер, и обе не смели признаться в этом истинно добром желании.

Ракитин приносил Елене Александровне есть, приносил чай, но она отказывалась. Отказывалась и отдохнуть.

Теперь, когда она была уверена, что муж умрет, казалось, ей нужно было оставаться при нем.

На рассвете Неволин успокоился и дремал...

Задремала и Елена Александровна.

И вдруг ее разбудил голос мужа.

— Леля!

И жена и сиделка вскочили и увидели Неволина сидящим на постели, лицом к окну, из которого врывались снопы света поднимавшегося солнца...

Жена подошла к Неволину.

— А мне совсем хорошо... Поправлюсь... Ты рада? Леля?

— А то как же?..

— Ведь ты меня любишь?.. Не ехала... Нельзя было... Никак нельзя?.. А я был один... один... И, прости, подумал, что ты лгала в письмах. Прости... меня... Прости... Разве ты могла бы... Скажи?

Глаза умирающего впились в лицо молодой женщины. Казалось ей, что в них были и страх и мольба.

— Валерий... Успокойся... Я люблю тебя!

— Я так и знал... О, теперь мне лучше... Гораздо... Дай мне чаю... Душно...

И Неволин тяжело вздохнул, рванулся к воздуху и повалился.

Наутро уж тела Неволина в пансионе не было.

Через день его похоронили на прелестном кларанском кладбище, и в тот же день Елена Александровна уехала.

В том же поезде уехал и молодой англичанин.

## Свадебное путешествие\*

### I

Минут за десять до отхода курьерского поезда в Москву перед пульмановским вагоном\* стояла кучка дам и мужчин.

Провожавшие молодую чету Руслановых, три часа тому назад повенчанную в одной из модных домовых церквей — в «Уделах», были из «монда»\*.

Несколько хорошеньких женщин, много элегантных костюмов и шляп и тонкий аромат духов. Два красивых, моложавых, седых генерала. Офицеры блестящих полков. Юный мичман и десяток статских в модных пальто на безукоризненных фраках с цветами в петлицах.

Все казались оживленными и слегка возбужденными.

Чуть-чуть отделившись от кружка, стоял

пожилой господин с выбритым усталым лицом и равнодушным взглядом, в черном пальто и с фетром на голове.

Он говорил старому адмиралу о погоде в Крыму прошлой осенью. Слегка наклонив голову, адмирал напряженно-внимательно слушал, словно бы боялся проронить одно слово пожилого господина. В лице и в фигуре старика адмирала было что-то искательное и жалкое, хотя его высокопревосходительству не было ни малейшего дела ни до его превосходительства\*, ни до прошлогодней погоды.

Многие из провожавших Руслановых взглядывали на него значительно, с невольной раболепным чувством. Проходившие мимо мужчины, видевшие пожилого господина в его приемной и даже не бывавшие там, почтительно снимали шляпы, и лица их как будто расцветали, когда его превосходительство любезно приподнимал свой фетр с коротко остриженной заседевшей головы, не припоминая или не зная господ, кому кланялся.

Несколько ливрейных лакеев, стоявших сзади, упорно смотрели на него, и глаза их

прилично-серьезных бритых лиц, казалось, загорались горделивым восторгом перед его престижем.

Казалось, невольное и часто бескорыстное раболепие было привычно пожилому господину и не стесняло его. Он принимал его как нечто естественное, как то самое, что испытывал и сам в те времена, когда достигал высоты положения.

Мимо кучки провожающих шнырял господин, могущий внушать подозрение, не будь он вполне прилично одетый молодой человек в цилиндре, откровенно стремительный, озабоченный и победоносный, с бегающими, почти вдохновенными глазами.

Он так жадно оглядывал женские наряды, бросая более деловитые, чем восторженные взоры на женские даже хорошенькие лица, что можно было принять молодого человека за дамского портного, желающего «схватить» последнее слово фасонов платьев, жакеток и шляпок.

Немедленно выяснилось, что молодой человек не портной. Он набросился на начальника станции и, чуть не коснувшись его юпи-

терского лица своим длинным и тонким носом, с фамильярной торопливостью и краткостью допрашивал: «Кто новобрачный?.. Куда? Фамилии генералов? Посажены ли его высокопревосходительство? Кто — в белом, сером, зеленом костюмах? Кто мать молодой?.. Голубчик... Как же не знаете всех... Непостижимо!..»

Он полетел по перрону, напал на обер-кондуктора, вернулся и небрежно спросил лирейных лакеев о сиреневом платье. В несколько минут он узнал все, что требовали его обязанности, и, присевши на скамью, вынул записную книжку и стал набрасывать материал для заметки в завтрашнем номере бойкой газеты, обращающей внимание на свежесть великосветской хроники.

— Это — репортер! Завтра попадем в газеты! — с гримаской, но втайне довольная, заметила одна дама.

«Молодая» — высокая, стройная брюнетка с крупной родинкой на загоревшейся матовой щеке, возбужденная и счастливая, казавшаяся гораздо моложе своих двадцати шести, была в «стильном» сером дорожном платье и

в большой шляпе с яркими цветами, придававшей ее хорошенькому энергичному лицу что-то кокетливо вызывающее и горделивое.

Она стояла в центре кружка провожающих, обмениваясь со всеми короткими ласковыми словами. Все эти родные и знакомые, не раз подвергавшиеся ее злословию, казалось, так сердечно высказывали ей привязанность, так горячи и искренни были их пожелания, что все, все казались ей в эти минуты необыкновенно милыми, хорошими и добрыми. И она как-то невольно придавала значительность и сердечную приподнятость своим самым обыкновенным и незначащим словам.

Но вдруг по лицу молодой женщины мелькнуло выражение испуга.

— Слушай, мамочка...

Пожилая, внушительного вида, сильно молодившаяся, подкрашенная вдова известного боевого генерала, довольная, что ее Мета вышла наконец замуж влюбленная и расходы заботливой матери сократятся, — услышала своим чутким ухом тревожную нотку в голосе дочери. И генеральша с еще большей нежностью спросила:

— Что, Мета?

— Мне... Пришли в Алупку мой берет... Я забыла взять... Не забудь.

— Завтра пошлю, милая.

И, словно бы внезапно спохватившись, прибавила:

— А ты и не хотела показать, как устроишься в купе. Покажи...

— Пойдем, мама...

И когда они вошли в маленькое купе, полное букетами цветов, мать воскликнула:

— И как же хорошо... И как я рада, что ты счастливая! — прошептала мать.

— О да... да... Но, мамочка... Ведь надо Никсу сказать, — чуть слышно, взволнованно сказала Мета.

— Я говорила тебе... Не теперь только...

— А когда?

— Завтра, послезавтра... понимаешь... Как мы обворожительны! — восхищенно промолвила мать и обняла дочь. — Ну, идем, Мета.

## II

Они вернулись на платформу обе веселые.

— Ведь ненадолго прощаемся, Мета... Не правда ли?

— На месяц, мама.

«Никс так меня любит!» — подумала Мета, ища глазами мужа.

Никс, плотный, цветущий, красивый блондин одних лет с женой, с решительными, слегка наглыми голубыми глазами, с подстриженной маленькой бородкой и пушистыми, кверху вздернутыми усами, в темно-синем вестоне\* и в мягкой шляпе, ходил по перрону под руку со своим товарищем по лицу, старым другом и сослуживцем по министерству.

Далеко не счастливый по виду, молодой, озабоченный и раздраженный, он сдержанно-тихо говорил другу:

— Ради самого черта, Венецкий! Сделай все... все...

— Сделаю, Никс...

— Не забудь... Не зарежь меня... Завтра же поезжай к Александре Эсперовне. Всего удобнее в два часа... Прежде был мой час, и муж на службе... Успокой. Ври... ври, объясняя, почему я уехал, не простившись... И скажи, что, как вернусь из Крыма, буду у нее... А то, что обещал, пришлю из Алупки...

— Разве ты, Никс, и у Александры Эсперов-

ны занял?

— А ты думал, что я ей дал займы?.. Откуда? От американского дядюшки, что ли, наследство?.. Или ты мне дал?.. Одним словом, будь чрезвычайным посланцем... И благословляю тебя... В качестве утешителя сделайся другом сердца... Она...

— Свинья ты...

— Охотно верю... Но, главное, уговори моих подлецов кредиторов... Я их просил... Верят мало... Убеди, что получу же за женой средства... Со всеми расплачусь.

— Много ли берешь за женой?

— Не меньше двухсот тысяч... Есть пензенское имение. Продают... Конечно, дурак! — раздраженно прибавил Никс.

— На всякого мудреца довольно простоты...

— Еще если бы был влюблен до одурения... Решил утром сегодня предложить генеральше ультиматум... Сколько? И немедленно двадцать пять тысяч... И понимаешь, какое-то идиотство нашло... Ни слова!.. Неловко было сказать, что, кроме долгов, ничего... А ведь мог бы сегодня заткнуть все дыры... Так и обе-

щал подлецам... И теперь, если они предъ-  
вдят векселя ко взысканию... Скандал!..

— Скажи жене...

— Еще бы!.. Не броситься же под поезд!.. Я  
хочу жить как порядочный человек... Для че-  
го же ты держал сегодня над моей головой ве-  
нец?.. Мета будет прелестной женой... Влюб-  
лена, не глупа, не *terre a terre*[5] с ревнивыми  
сценами и записными книжками. Душевное  
спокойствие. Звонки не будут раздражать...  
Мирный очаг в уютном гнезде. Пора изба-  
виться от моей каторги...

Вдруг Никс нахмурился и раздраженно  
промолвил:

— Повернем... Сейчас полюбишься вот  
этим мерзавцем, который пришел сюда...

«Мерзавец» в образе почтительного швей-  
цара подошел к Никсу и, снимая фуражку с  
галуном, чуть слышно прошептал:

— Когда же? Все вам отдал, Николай Ива-  
ныч!

— Видите, женился... Получу... Вернусь че-  
рез месяц... Все получите, — почти тихо, чуть  
слышно промолвил Никс.

И внушительно и громко прибавил, сунув

швейцару золотой:

— Так смотри же, Викентий!.. Ступай!

Никто, разумеется, не догадался в чем дело.

Швейцар, по-видимому, мало обнадеженный, что скоро посмотрит на свои деньги, не особенно горячо поблагодарил и, надевши фуражку, с мрачным видом пошел к выходу.

— Нет!.. Это черт знает что... Скотина вообразил, что удираю из-за его тысячи рублей...

Пробил второй звонок.

— Так будь другом, Венецкий... Все, что просил...

— Постараюсь, Никс.

— Один месяц пусть подождут... Один месяц — и все до копейки... Телеграфируй в Алупку... Разумеется, условно...

— Конечно...

Друзья вернулись к вагону.

Начались пожатия рук, объятия, поцелуи и пожелания.

— Счастливец Никс! — говорили приятели.

— Прелестная пара! — заметила какая-то дама.

Все посторонились, когда пожилой госпо-

дин в фетре подошел к племяннице.

Он три раза поцеловал Мету, наскоро перекрестил ей лоб и сказал:

— До свидания, Мета... Если удосужишься, напиши — как погода в Крыму.

— Непременно, дядя... Будь здоров!

— Какое тут здоровье? — недовольно промолвил его превосходительство, точно Мета осмелилась желать здоровья человеку, который постоянно считает себя нездоровым и все-таки работает с утра до ночи, удивляя по временам авторов восторженных статей «железной энергией и неусыпным трудолюбием» его превосходительства.

— Ты, дядя, взял бы отпуск... Нельзя так работать! — с трогательным участием проговорила Мета. — Приезжай в Крым...

— Отдохни ты за меня, Мета! — шутливо сказал дядя.

Мета уж была в объятиях матери, а перед его превосходительством словно выплыл из-за жены Никс, почтительно наклонив обнаженную, коротко остриженную белокурую голову.

— Ну, доброго пути, Николай Иваныч! —

довольно равнодушно говорил пожилой господин, и взгляд его стал еще застланнее и, казалось, непроницаемее.

Он протянул маленькую руку в лайковой желтой перчатке и, слегка пожав руку нового родственника, не внушавшего доверия ни к его способностям, ни к его средствам, ни к его основательности, прибавил чуть-чуть мягче, но все-таки деловым тоном:

— Благо разумно сделали, что везете жену в Крым. Отдыхать и тратить деньги лучше дома, чем за границей!

Никс согласился и поспешил отойти, чтобы проститься с родными и приятелями.

Его превосходительство не стал ожидать третьего звонка.

Он сделал общий любезный поклон, сделал приветствие рукой Мете и твердой, быстрой походкой направился к выходу.

«К себе не возьму!» — бесповоротно решил он о Никсе.

И его превосходительство стал думать о весьма важной записке, которая лежала на столе в его кабинете. Его лицо оживилось. Он не сомневался, что запиской «подложит сви-

нью» одному из своих коллег.

С уходом пожилого господина в фетре почти все провожавшие Руслановых словно бы почувствовали облегчение от необходимости льстить и от невозможности позлословить насчет его превосходительства.

Тотчас же пошли сдержанные обмены впечатлений.

Сестра его превосходительства, молодящаяся генеральша, первая же шепнула дочери:

— Я думала, что он хоть теперь тебе даст пакет, Мета... Он ведь знает, что мои дела не блестящи... И я не могла...

— Скряга! — ответила Мета...

— Эгоист был, эгоист и остался!

Какая-то родственница Меты говорила блестящему офицеру:

— Кажется, мог бы подарить что-нибудь приличное племяннице... А то скверненький браслет в сто рублей... И ведь одинок... Старый холостяк...

— Ну, не совсем одинок, — заметила другая дама.

— Не очень-то ему стоит эта дама.

— Скуп!

— И жалуется, что, кроме жалованья, ничего.

— Знаем мы эти «ничего»... И вдруг где-то имение в триста тысяч.

— Не мудрено. Рыцари без страха и упрека обязательно выигрывают на свой билет двести тысяч! — проговорил какой-то статский смеясь.

Красивый седой генерал говорил другому генералу.

— Ты знаешь... Я командовал полком, а он был в то время каким-то незначительным «чинушей».

Красивый генерал подернул плечами, точно был обижен и удивлен.

— А ловкая шельма... Слышал, недавно? — ответил генерал.

И не без завистливого смеха говорил что-то на ухо другому.

— Неужели?

— Все говорят.

Пробил третий звонок. Поезд тихо тронулся.

Мета и Никс весело кивали из открытого окна купе в ответ на поднятые шляпы муж-

чин и воздушные поцелуи дам.

Генеральша, отирая слезы, крестила в воздухе дочь и воскликнула:

— Да хранит тебя бог! Пиши, Мета!

Разбившись на группы, провожающие пошли к выходу. Слышались замечания о новобрачных.

— Никс прогадал... У Меты ничего.

— А пензенское?

— Один из воздушных замков матери...  
Кругом должна.

— А у Никса?

— Долгов еще больше.

— Бедная Мета... Она так любит.

— Этого мало... Бедняга Никс!

— Толком узнай, что получает.

— Влюбились...

— Никс!? Едва ли...

— Но как они будут жить?

— Дядя устроит... Заплатит долги Никса ради Меты...

— Не из таких американских дядюшек.

— Никс сам виноват. Не женись!

— И зачем Мета пошла за нищего?



Никс волновался... «Что даст ему женитьба?»

Он прибрал к месту букеты, коробки с конфетами, саки и чехлы с зонтами.

Мета сняла шляпу, посмотрела на себя в зеркало, сняла перчатки и взглянула на свои красивые руки с кольцами на длинных тонких пальцах.

Оба сели рядом.

«О делах еще рано!» — подумал Никс и поцеловал Мету.

Мета приникла к нему. Никс не без сентиментальности гладил ее волосы.

Мета, казалось, предпочла бы более серьезные доказательства счастья Никса. Когда он был женихом, не гладил головы, а целовался.

И, переполненная чувством, она почти умиленно, восторженно прошептала:

— О, как я люблю тебя! И как я горжусь тобой. Никс.

Что Мета, давно желавшая семейных радостей и считавшая флирт одним из приятных видов спорта, была как кошка влюблена в дьявольски красивого блондина, это было естественно и понятно. Но почему она могла

гордиться Никсом, — этого не мог понять даже и при всей своей наглости Никс.

Кроме лица и сложения, он никакого повода для гордости не подавал.

Но это ему было приятно, — пусть гордится мужем!

И Мета, на которой он женился с специальной целью, ему очень нравилась. Кроме «души», у нее была и красота... Двадцать семь, правда, но моложава и свежа. Сложена отлично. Целуется вкусно, — видно, выучилась на флирте. Читает даже журналы. Умеет вести умные разговоры без претензий *bas bleu*[6]. Умеет одеваться. Влюблена и влюбится сильнее. С матерью не особенно дружна. Генеральша слишком афиширует своего юнца любовника, невозможного балбеса.

Вот все или почти все, что знает Никс о жене.

Он подумал, что пока еще не может ею гордиться.

Вот когда убедится, что даст пензенское имя...

Никс не сомневался, что оно «серьезно» и Мета обеспечена... Она не девчонка и не дура,

понимает, что порядочным людям жениться нельзя только на влюбленных девушках... И теперь домашний очаг казался Никсу такой прелестью... И Мета так мила в своем проявлении горячего порыва, что Никс как будто и не совсем лживо смягчил свой мягкий голос до влюбленной нежности, когда, крепко сжимая руку Меты в своей, говорил:

— Любимая... Родная... Моя красавица... И как хорошо мы проживем в Крыму... Море... Горы... Тепло... Прогулки... И вместе... вместе...

И Никс прибавил:

— В Москве остановимся. Хочешь, Мета?

— Конечно. Я не была в Москве... Там хорошо?

— Гостиницы недурны. Остановимся в «Дрездене». Завтракать в «Большом Московском»... Обедаем в «Эрмитаже»... Кормят хорошо... А вечером...

Никс сообразил, что в его словах нет обязательно поэтического настроения. Он говорил с женой почти так, как говорил с легкодоступной женщиной, когда возил такую в Москву дня на три. Он обещал роскошный номер, обеда в «Эрмитаже» и вечер у Омона.

И Никс понимал, что, во всяком случае, нужна «поэзия».

И он сказал:

— Мы будем счастливы, Мета.

— Если ты...

— Что?

— Не разлюбишь скоро...

— Тебя?

И Никс рассмеялся. Он хотел поцеловать Мету, но в двери постучались.

Вошел кондуктор, взял билеты и спросил, когда приготовить постели.

— В Любани. Мне есть хочется. А тебе, Мета?

И ей захотелось есть... Сегодня был поздний завтрак *dinatoire*[7].

Когда они остались одни, Мета серьезно спросила:

— Так не разлюбишь?

— Нет, нет, нет...

— Ты раньше любил, Никс?

— Никого.

— А эти твои дамы...

— Ты слышала?

— Да...

— Ну, так это были увлечения... Мимолетные связи... А теперь... Теперь совсем другое... Понимаешь... Тихий домашний очаг... Уютное гнездо... Красавица, умница жена... Милая!.. Но отчего твой дядя недоволен, что ты вышла за меня замуж?

— Он только собою доволен... И не все ли тебе равно, Никс?.. Мы любим друг друга...

— Это не мешает, Мета, чтобы твой скряга перевел меня к себе и устроил бы лучше, чем в моем министерстве.

— Мама попросит... И я, Никс... Не тревожься!

— Я не тревожусь... Надеюсь, и без дяди мы можем жить порядочно... То, что у меня, да твое пензенское... Прости, Мета, что говорю о такой прозе.

И Никс прибавил «поэзии» в поцелуе.

Напоминание о «пензенском» испугало Мету. Она почувствовала себя безмерно виновной перед Никсом и, полная раскаяния, мучилась, что во время флирта с ним как-то мимоходом сказала о «пензенском». А мама тоже говорила при Никсе о продаже пензенского... Никса обманули... Он верил... Он не

скрывал, что не имеет большого состояния...

И Мета забыла совет матери...

«Никс так любит... Он простит... Надо сию минуту сказать!» — мучительно-нетерпеливо подумала Мета и со слезами на глазах трагическим шепотом проговорила:

— Никс... Милый... Хороший... Прости...

И, вероятно, понимая, как вернее получить прощение, Мета крепче целовала Никса в губы.

Никс отвел губы, чтобы удобнее было Мете говорить, а ему слушать. Он в первую минуту не пришел в ужас от того, что рассчитывал узнать. Его мужское самолюбие было оскорблено, и он уже заранее примирялся с Метой.

«Дофлирtilась к двадцати семи летам!» — подумал он.

Снисходительно-насмешливая улыбка скользнула по его губам и, поглаживая склоненную голову Меты, Никс ласково прошептал:

— Не волнуйся, Мета... Рассказывай, родная... что такое?.. Если бы и роман был... Разве я, милая, не люблю тебя...

— И тебе не стыдно, Никс?.. — с нежным

упреком промолвила Мета...

Никс продолжал гладить голову.

Внезапно освобождая свою голову, Мета прибавила:

— Что это у тебя за привычка гладить волосы, Никс?..

Никс извинился и просил:

— Так какая у тебя, Мета, тайна? Она очень страшная? — шутя прибавил Никс.

— Она меня мучила... Хотела раньше, но...

— Говори.

— Милый! Пензенского имения нет!

Никс в первую минуту, казалось, не понял.

И прошептал подавленным голосом:

— Что?! Как?!

— И ничего у меня нет... Знай, Никс! И ты не разлюбишь своей Меты?.. Ведь нет?

И Мета хотела обвить шею Никса. Он отодвинулся.

Мета взглянула на него и... увидела совсем другое лицо.

Оно было бледное, злое и испуганное. Глаза горели резким блеском. Губы искривились. Он с нескрываемым презрением смотрел на

Мету и нервно теребил бородку.

«И он только что говорил о любви?» — подумала Мета и замерла в ужасе, не спуская с Никса влюбленных глаз.

Несколько секунд царило молчание.

#### IV

Едва сдерживаясь, Никс проговорил:

— Что ж вы со мной сделали, Марья Александровна?.. Вы обманули меня?.. Вы предполагали, что одной любви достаточно?.. Чем же мы будем жить... Как вы предполагаете?..

— О Никс... Этот тон... Ты говорил, что любишь...

— Говорил... Но я не думал, что вы вместе с матерью так подведете меня... Понимаете ли? Положение мое отчаянное... Кругом в долгах... Векселя... И я обнадежил кредиторов... А теперь... Под поезд, что ли?

Мета зарыдала.

— Никс... Никс... Ужели ты из-за денег женился?..

— Женился, надеясь избавиться от петли... Не первый, не последний. А вы мне нравились. Очень... И мне досадно, что у такой хорошенькой женщины нет средств. Поверьте,

я был бы недурным мужем богатой жены. Это естественно. Но не скрою...

— Еще чего? — спросила подавленная Мета.

— Скажи вы, что у вас ничего нет...

— Не женились бы?

— Разумеется... Оттого-то вы и ваша татап поймали меня на пензенском имении. Влюбились в меня... Но... ведь это не помешало бы нам отлично любить друг друга без обряда венчания... если бы вы без предубеждений признали эту форму счастья. А я приискал бы девушку со средствами...

Мета возмущалась и негодовала. Ей хотелось сказать Никсу, что он нечестный человек.

Но она бросилась к нему и, целуя его, шептала:

— Я люблю тебя... Прости... прости... Люби меня, Никс.

В эту минуту постучали в двери и кондуктор сказал:

— Любань! Три минуты!

Никс велел кондуктору взять его вещи.

— Это что значит? — растерянно спросила

по-французски Мета.

— Остаюсь в Любани — и в Петербург.

— А я...

— Как вам будет угодно. Или в Крым поезжайте... или в Москву и в тот же вечер домой, к маман... Отдельный вид пришлю к генеральше. Затем развод... Имею честь кланяться!

Никс почтительно снял шляпу и вышел.

— Infame![8] — сказала Мета.

И бросилась в подушку и рыдала.

## **Севастопольский мальчик\***

### **Повесть из времени Крымской войны** **Глава I** **I**

**Н**а окраине красавца Севастополя, поднимавшегося амфитеатром, на склоне горы, лепились белые домишки матросской слободки, в которой преимущественно жили жены и дети матросов и разный бедный люд.

Перед одной из хаток, в роскошное сентябрьское утро 1854 года, стоял черномазый

пригожий мальчик, здоровый и крепкий, с всклокоченными кудрявыми волосами и с грязными босыми ногами, в не особенно опрятной старой «голландке» и в холщовых, когда-то белых штанах.

На вид мальчику можно было дать лет двенадцать-тринадцать. Его загорелое лицо, открытое и смелое, с бойкими глазами, дышавшими умом, было озабочено.

По-видимому, мальчик кого-то поджидал, не отводя глаз с переулка, спускавшегося в город. Только изредка не без зависти взглядывал на середину узкой улицы слободки, где неподалеку играла в бабки знакомая компания. В ней «черномазый» был признанным авторитетом и в бабках, и во всех проказах, и в разборательствах драк и потасовок.

К нему уже прибежала депутация звать играть в бабки, но он категорически отказался.

— Маркушка! — вдруг долетел из открытого оконца слабый, глухой женский голос.

Черномазый мальчик вбежал в хату и подошел к кровати, стоявшей за раскрытым пологом, в небольшой комнате с низким потолком, душной и спертой.

Под ситцевым одеялом лежала мать Маркуши, матроска с исхудалым, бледным лицом, с красными пятнами на обтянутых щеках, с глубоко впавшими большими черными глазами, горевшими лихорадочным блеском.

Она прерывисто и тяжело дышала.

— Не идет? — нетерпеливо спросила матроска.

— Не видно, мамка! Верно, придет...

— Не зашел ли в питейный?

— Там нет... Бегал... Тебя знобит, мамка?

— То-то знобит. Прикрой, Маркушка!

Маркушка достал с табуретки старую шубейку, подбитую бараном, и накрыл ею больную.

Затем он поднес ей чашку с водой и заботливо проговорил:

— Выпей, мамка. Полегчает.

И с уверенностью прибавил:

— Скоро поправишься... Вот те крест!

И Маркушка перекрестился.

Больная ласково повела красивыми глазами на сына и отпила несколько глотков.

— Разве что не спустили тятку с «Констенкина» по случаю француза... Види-

мо-невидимо пришло их на кораблях в Евпаторию с солдатами. Хотят шельмы на берег...

— Наши не допустят!.. — возбужденно проговорила матроска, сама торговавшая до последних дней на рынке разной мелочью. Как почти все на рынке, она повторяла, что французы и англичане не осмелятся прийти к нам, а если и осмелятся, то их не пустят высадиться на берег, и союзники с позором вернутся.

Разумеется, эти толки на рынке были отголоском того общего мнения, которое высказывала большая часть севастопольского общества.

Хоть Маркушка, как и подобало шустрому и смышленому уличному мальчишке, и видал на своем коротком веку кое-какие виды и кое-что слышал на Графской пристани и на бульваре, куда бегал слушать музыку по вечерам, — но еще не знал, что французы, англичане, турки и итальянцы уже беспрепятственно высадились первого сентября в Евпаторию\* и, направляясь в Севастополь, заняли позицию на реке Альме, ожидая русских.

И потому Маркушка не без хвастливого задора воскликнул:

— Сунься-ка! Их Нахимов\* шуганет, мамка!

— Дай только ему волю. Шуганул бы...

— А кто может не дать воли... Сам царь ему Георгия прислал...

— Князь Менщик\* не пуцает, Маркушка...

— Самый, значит, главный над всеми старик... Такой худой и храмлет... Видел его раз... Ничего не стоит против Нахимова.

— Лукав старик... Все хочет по-своему... И горд очень...

Матроска, повторявшая мнение о главнокомандующем князе Меншикове со слов мужа, лихого марсового на корабле «Константин» и пьяницы, причинявшего немало неприятностей своей жене и единственному сыну Маркушке во время загула, закашлялась и не скоро отошла и могла говорить.

Испуганная приступом кашля, больная с еще большим нетерпением ждала мужа, и ей казалось, что он нехорошо поступает... Дал знать через матросика, что забежит сегодня утром, а уж одиннадцатый час, а его нет...

И она сказала:

— Ты, Маркуша, думаешь, что тятку не спустили на берег?

— Очень даже не спустили по случаю француза... Ни одного матроса нет в слободке... А то тятка бы пришел!

— А ты сбегай, Маркушка, на Графскую пристань... Шлюпку с «Костенкина» увидишь и скажи, чтобы тятка отпросился... Мамке, мол, недужно...

— А как же ты одна?

— Позови Даниловну... Посидит. Верно, дома?

— Куда идти старой карге! — не особенно любезно назвал Маркушка соседку, старую вдову боцмана.

И прибавил деловитым заботливым тоном:

— А без меня смотри потерпи, мамка! Ежели шлюпка с «Костентина» будет, духом обернись! Молоко около тебя поставлю и воду.

Маркушка поправил одеяло и шубейку на больной, поставил у кровати кружку с молоком и чашку с водой, с серьезным видом потрогал голову матери и исчез.

Через минуту он сказал Даниловне:

— Присмотрите за мамкой, бабушка... Бегу в город...

— Зачем, чертенок? — сердито воркнула боцманша.

— Затем, что мамка послала... Посидите с ней... Будьте добренькая...

— Посижу... Плоха твоя мать... Ох, плоха...

— Вы, бабушка, перед ней не каркайте... Мамка выздоровит! — решительно вымолвил Маркушка, сдерживая желание обругать Даниловну одним из ругательств, имеющихся у него в памяти в большом запасе.

— И очень ты дерзкий, дьяволенок... Весь в отца-пьяницу... Мать твоя только хорошая... Для нее и войду... А вы оба...

Но конца Маркушка не слышал.

Выйдя от Даниловны, он не удержался, чтобы не сказать на улице: «Старая ведьма!» И затем во весь дух полетел вниз по переулку.

## II

Он спустился до Петропавловской красивой церкви, пробежал мимо каменной стены, окружающей большой сад, около дома командира севастопольского порта\*, — тот сад, куда нередко по вечерам перелезал через забор и лакомился виноградом и другими вкусными фруктами, — и когда вышел на главную ули-

цу, то с галопа прямо перешел на шаг.

Во-первых, ему надо было отдышаться, а во-вторых, его поразило зрелище, которого он еще до сих пор не видал.

И он даже приостановился.

Он видел, что улица запружена матросами, которые на себе тащили большие орудия, и слышал, что орудия эти с кораблей и везут их на бульвар, чтобы поставить там, и на другие места на Южной стороне вокруг Севастополя.

Маркушка видел, как торопились куда-то адмиралы, направляясь по направлению к Графской пристани, заметил озабоченные их лица, обратил внимание, что и матросы очень серьезны, и, разумеется, подбежал к ним, чтобы увидеть среди толпы матросов с «Константина».

Кто-то сказал Маркушке, что с «Константина» матросов еще нет.

Маркушка внезапно был охвачен тем же серьезным настроением, которое видел и сразу почувствовал и в матросах, и в офицерах, бывших при них, и в адмиралах, куда-то спешивших, и в партии арестантов, которые по-

звякивали кандалами на ходу, направляясь к себе домой на блокшив обедать после работ, и в конвойных, во всех лицах, которые в это утро встретил Маркушка на Большой улице. Если б он не несся во всю силу своих ног и своей здоровой груди из слободки вниз, то увидал бы и раньше встревоженные лица.

Маркушка встретил знакомых мальчишек, прибежавших поглазеть, и от них узнал, что «крупы» (солдат) нет. Все ушли прогонять француза и англичанина.

Но и уличные мальчишки уже не говорили с прежней самоуверенностью насчет того, что француза прогонят.

За это Маркушка их обругал, наскоро подрался с одним и вприпрыжку побежал на Графскую пристань, ловко проскальзывая между пешеходами на тротуаре.

Через несколько минут Маркушка добежал до белой колоннады перед Графской пристанью и, перепрыгивая ступеньки, спустился вниз.

Перед глазами Маркушки была знакомая картина.

Ласковая синева заштилевшего большого

рейда, сверкающая под солнцем, и много военных кораблей. Вблизи у самой пристани, на мыске, каменный полукруглый форт, известный под названием Павловской батареи. Влево, у выхода в море, большие, каменные и такие же полукруглые форты в несколько ярусов со множеством амбразур, из которых чернели орудия, направленные к входу.

Никто в Севастополе и не мог подумать, что с моря может ворваться чей-нибудь флот перед этими тысячами орудий.

Никто не предполагал, что корабли придут с десантом, чтоб взять Севастополь сзади.

Маркушка стал спрашивать гребцов с военных шлюпок, дожидавшихся у пристани, нет ли шлюпки с «Константина».

Все отвечали отрицательно.

Маркушка смотрел на знакомый ему щегольский трехдечный корабль «Константин» под контр-адмиральским флагом на крьюс-брам-стеннге, который стоял вблизи Павловской батареи.

На нем, как и на других кораблях, шли работы по подъему и спуску орудий на шаланды, стоявшие у бортов.

И Маркушка догадался, отчего отец не мог забежать к матери.

Но все-таки надо исполнить ее поручение и подождать: не придет ли шлюпка с «Константина».

А в ожидании Маркушка пошел с Графской пристани на соседнюю, откуда на «вольных» больших шлюпках пассажиры переезжали из города на Северную сторону, на противоположном берегу бухты. Там было несколько строений поселка, и оттуда шла почтовая дорога на Симферополь и дальше в Россию.

Маркушка удивился, что на Северную сторону много отваливало шлюпок с дамами, и с ними был багаж. Были и отставные офицеры с пожитками.

Он видел и большие шлюпки, нагруженные домашними вещами. Увидал проходивший мимо тяжелый военный баркас с дамами и детьми и на баркасе много сундуков и чемоданов; сзади подвигалась шаланда, нагруженная мебелью и экипажами.

Маркушка был заинтересован этим необычным наплывом господ. Господа редко

переезжали на Северную сторону. Он знал, что обыкновенно пассажирами были татары с пустыми корзинами из-под фруктов и разный рабочий люд без поклажи.

Зачем господа уезжают из Севастополя, когда в нем так хорошо? И погода не очень жаркая, и по вечерам музыка на бульваре, и фруктов так много.

Любопытному мальчику очень хотелось узнать, отчего вдруг собрались барыни, как звал Маркушка всех женщин в шляпках.

Но спросить было некого.

Знакомого перевозчика, отставного матроса, известного Маркушке под именем хорошего «дяденьки», который не раз даром перевозил мальчика на Северную сторону и обратно, когда он просил «дяденьку» позволить прокатиться по морю, и не раз разговаривал с ним и если ругался, то больше ласково, — этого «дяденьки» с его шлюпкой не было.

А он бы объяснил!

Но очень скоро знакомый худощавый старый перевозчик пристал к берегу с несколькими пассажирами с Северной стороны.

Он тяжело дышал, уставший после

нескольких рейсов подряд. Пот градом катился по его изрытому морщинами лицу с маленькими острыми глазами и сизым крупным носом, и яличник наотрез отказался немедленно везти пассажиров, пока не «войдет в силу» после передышки.

Он тотчас же достал из шлюпки один из арбузов, взрезал его и стал есть сочные куски, закусывая их круто посоленным ломтем черного хлеба.

— Здравствуйте, дяденька! — обрадованно воскликнул Маркушка, подбежав к шлюпке перевозчика.

«Дяденька», которого по справедливости Маркушка мог бы называть дедушкой, кивнул мальчику коротко остриженной седой головой и вместо того, чтоб подать своему маленькому приятелю побуревшую, с вздувшимися жилами руку, протянул арбуз и ломоть хлеба и сказал:

— Закуси, Маркушка!

Маркушка немедленно впрыгнул в шлюпку и в минуту прикончил арбуз и хлеб. Затем, по-видимому, находя, что сидеть на банке для пассажиров неудобно, Маркушка вскочил на

борт шлюпки, опустив ноги в море.

Маркушка озабоченно заболтал своими грязными ногами в воде и, повернувши всклокоченную голову, слегка прикрытую такою же измызганной матросской фуражкой, какая была и на затылке «дяденьки», спросил его, указывая арбузной коркой на публику, которая суетилась около шлюпок, нагружаемых пожитками:

— Куда это они повалили, дяденька?

— Пострел ты, Маркушка. С башкой мальчонка! А не смеканул? — протянул старик.

И, покончив с куском арбуза, не без иронической нотки в своем спокойном, ленивом голосе прибавил:

— Утекают из Севастополя.

— Зачем им утекать?

— Струсили... Опасаются, как бы французы их не забрали... Известно, дуры... Зря засуетились! — понизив голос, сказал «дяденька».

Маркушка соскочил с борта и подсел к «дяденьке».

— Да разве французы могут сюда прийти, дяденька? Ведь не смеют?

И глаза Маркушки засверкали.

— То-то посмели, Маркушка, ежели высадились. Жидкий, братец ты мой, народ, а по-ди ж — полагает о себе...

— Разве допустили, дяденька?

— Допустили... Может, заманивает Менщик, чтобы их сразу, подлецов, погнать домой... Не лезь, мол, в гости... Не приглашали!.. Менщик — старая лиса. Он их объегорит...

И, словно бы внезапно озлобясь на что-то, старик возбужденно проговорил:

— А к Севастополю не подпустит... Не смеет. Ежели сразу и не прогонит француза, вернись сюда... Не оставляй без призора наш Севастополь! Не пускай сюда... французов да гличан. Только дай нам помощь... А матросики небось не отдадут Севастополя. Нахимов так и сказал: «Не отдадим, братцы!»

Маркушка жадно слушал старика и не мог сообразить, как это возможно, чтобы такой жидкий народ, как французы, мог прийти к Севастополю и чтобы наши не прогнали их немедленно, как только они высадились.

И хоть он и почувствовал, будто что-то неладно и французы могут прийти — неда-

ром же «дяденька» допускал, что «старая лиса» сразу не прогонит, и недаром же барыни утекают, — но словно бы желая избавиться от этого чувства и подбодрить себя, Маркушка, взволнованный, со сверкавшими глазами, проговорил:

— Не отдадим, дяденька!

— То-то и есть... А это пусть опасаются которые трусы, Маркушка... Есть такие... Перевозишь... Наслушаешься разговоров... А ты, Маркушка, видно, прокатиться захотел? — спросил «дяденька».

Маркушка объяснил, зачем пришел. Он рассказал, как тяжело дышит мать и как долго кашляет, и, рассчитывая, что «дяденька» все знает, спросил:

— Ведь мамка не помрет? Вы как полагаете, дяденька?

— Зачем ей помирать? Она матроска молодая. Отлежится... Простуда и выйдет. Не сумлевайся, Маркушка... Молодца! Заботливый ты сынишка!

И «дяденька» потрепал Маркушку по спине и прибавил:

— Давай на «Костентин» смахаю. Отцу ска-

жу, ежели пустят. Только вряд ли дозволят матросу на берег. Видел, какая спешка против француза...

— Спасибо, дяденька! — горячо промолвил Маркушка, тронутый предложением перевозчика. — Вот и катер отвалил с «Костентина». Попрошу гребцов... Прощайте, дяденька! Так мамка выправится, дяденька?

— Сказано — выправится! — уверенно ответил «дяденька», пожимая руку Маркушки.

И Маркушка побежал на Графскую пристань и спустился вниз.

Через несколько минут безукоризненной гребли двенадцати гребцов в белых рубашках на катере были сразу убраны весла, и катер, тихо прорезывая прозрачную синеву воды, остановился у ступеньки пристани.

Из катера выскочили два офицера — один постарше, другой молодой — и пожилой старший врач.

Увидав Маркушку, молодой мичман остановился и спросил:

— Ты что здесь делаешь, Маркушка?.. Иди за мной, чертенок. Опять дам записку снести, и получишь гривенник...

— Никак невозможно, Михайла Михайлыч!..

— Отчего?

— Мать очень больна и велела дать знать тятеньке на «Констентине»... Может, отпустят... хоть на полчаса. Попросите, барин, за тятюку. А я при мамке... хожу за ней.

— А как фамилия твоего тятюки?

— Ткаченко... фор-марсовой, ваше благородие!

Мичман достал из кармана книжку и карандаш, вырвал листок и на спине Маркушки написал просьбу отпустить на берег фор-марсового Ткаченко к умирающей жене.

«Умирающей» назвал добрый, жизнерадостный мичман для большей убедительности.

Он отдал записку унтер-офицеру на катере и велел немедленно передать старшему офицеру.

— Есть, ваше благородие.

А Маркушке мичман сказал:

— Твое дело сделано, Маркушка. Отца спустят на берег... Я прошу за него...

Маркушка благодарил.

— Доктор был у матери?

— То-то не был, ваше благородие.

— Дурак! Мне бы сказал. Иди за мной!

И, торопливо поднимаясь по лестнице, мичман кричал:

— Доктор! Иван Иваныч! Подождите!

Рыжеватый доктор остановился.

— Ну что вам, пылкий мичман?

— Не откажите, голубчик, посмотреть мать этого чертенка. Жена нашего молодца фор-марсового Ткаченки. Очень больна. Не встает с постели.

— Дюже исхудала! — вставил Маркушка.

Доктор спросил у Маркушки адрес и обещал быть скоро в матросской слободке.

— Так беги домой, Маркушка... И твой тятка и доктор придут... Обрадуй мать...

— И дай вам бог за вашу доброту, Михаил Михайлыч. Сколько вгодно буду носить вам письма.

— Скоро, Маркушка, не придется... А вот тебе гривенник... Купи себе чего хочешь.

Маркушка заложил монету для верности за щеку и пустился во весь дух домой.

Скоро, едва переводя дух, он вошел в ком-

нату, положил на табуретку около кровати виноград и несколько груш и радостно произнес:

— И тятка придет... И дохтур будет... И дяденька-яличник сказал, что ты скоро оправишься — только вылежись, мамка! Дяденька понимает, не то что какие вороны...

Озноб у чахоточной прошел. Ей было лучше. Вести Маркушки значительно подбодрили матроску.

И, любуясь своим смышленным сыном, она с радостным восхищением проговорила:

— И какой же ты умный, Маркушка! И как ты все это обработал. Рассказывай... И откуда виноград?.. Откуда дули?.. Ишь побаловал мамку... Ешь сам, я немного...

— Не стибрил ли твой Маркушка у татар?.. Он у тебя, матроска, шельмоватый! — промолвила, тихо посмеиваясь, Даниловна.

— Вот и клеплешь, Даниловна... Ах, ядовитая ты какая!.. Это ты напрасно бога гневишь... Вовсе не хорошо... Мой Маркушка не таковский!.. — говорила, волнуясь и раздражаясь, больная.

— Брось, мамка... Пусть она брешет... По-

брешет и уйдет! — презрительно кинул Маркушка.

И, не обращая ни малейшего внимания на старую боцманшу, достал из кармана штанов пару тарани и булку и сказал матери:

— Я, мамка, вот и тарани себе купил и булку для тебя... Попьешь с чаем... Знакомый мичман Михайла Михайлыч подарил гривенник... Страсть добрый... Встрелся на Графской... Он и исхлопотал, чтобы тятку пустили к нам... Он и доктора испросил... Одним словом...

И, возбужденный, видимо торопясь рассказать матери все, что видел и слышал в это чудное сентябрьское утро, воскликнул:

— А что, мамка, в Севастополе!.. Француза-то допустили на берег в Евпатории...

— Допустили? — протянула чахоточная.

— То-то допустили... И Менщик со всеми солдатами там... прогонять... Сказывают, француз жидкий народ... Прогонит обманом, если их много... И на улицах матросы... Орудия с кораблей везли... Чтобы поставить их кругом Севастополя. А многие, которые дуры, барыни наутек, зря струсили. Разве Нахимов

пустит француза в Севастополь? Дяденька так и сказал, что никак невозможно!

Отрывочные, возбужденные слова Маркушки взволновали больную в первые мгновения.

Но уверенность чахоточной, которая и не допускала мысли о том, что дни ее сочтены, слышалась в ее проникновенном голосе, когда она проговорила:

— Не придет француз! Он безбожник! Господь нам поможет... Наша вера угодней богу.

И, выпростав из-под одеяла исхудалую бескровную руку, матроска перекрестилась; ее губы что-то прошептали — вероятно, молитву и о Севастополе, и о скорейшей поправке.

Маркушка никогда не думал о таких деликатных вопросах. Он, разумеется, не понимал, чья вера лучшая, так как дружил и с «дяденькой», и со старым одноглазым татаринном Ахметкой, который нередко угащивал Маркушку в своей фруктовой лавчонке и виноградом и попорченными фруктами, дружил и с портным евреем Исайкой, жившим в слободке, который дарил ему лоскутки, помог сладить большой змей и, посылая его с поручением,

всегда давал три или пять копеек и в придачу еще — маковник или горсть рожков.

Но слова матери о французах были очень приятны Маркушке. Он перекрестился вслед за матроской и горячо воскликнул:

— Дай бог всех французов до одного перебить!

И, подсев к окну, стал чистить тарань, глотая слюни и предвкушая вкусную закуску.

Несколько минут царило молчание. Даниловна о чем-то загадочно думала, и злорадная усмешка кривила ее беззубый рот.

Старая, с угрюмым морщинистым лицом и злыми маленькими пронзительными глазами, похожая на ведьму, поднялась Даниловна с табуретки. Ее сторбленная, приземистая и крепкая еще фигура выпрямилась и стала будто выше. И, обращаясь к больной, она заговорила, слегка шамкая, каким-то зловещим голосом:

— Видно, и милосердному конец терпению... Велики грехи Севастополя... И накажет за это господь... Ой, накажет!

Матроска беспокойно вздохнула. Она чувствовала, что Даниловна закаркает, и в то же

время не спускала с нее жадно-любопытных и тоскливых глаз.

А Даниловна продолжала:

— Недаром дурачок Костя пророчил... Небось слышала, что говорил?

— Мало ли что брешет дурачок...

— Думаешь, мы умные? А он дурачок, может быть, блаженный, и бог ему внушает... Третьего дня его форменно «приутюжили» в полиции... А он никого не испугался... Поплакал и все свое бормочет... Неспроста, значит, говорит... И попомни, матроска... Быть великой беде... Не замолить грехов... Накопились на всех — и на вышних начальствах, и их барынях, и на матросах, и матросках... Господь и отступился... Может, князь Менщик изменщик перед нашим императором, ежели допустил высадку?.. Разве можно с моря допустить?.. Николай Павлыч прикажет Менщика в кандалы да с фельдъегерем прямо во дворец... «Как смел, такой-сякой, князь?..» А старый, что пустил француза, лукав, матроска... Отвертится от самого Николая Павлыча... Император не сказнит... А тем временем француз и турка нагрянут. Всех перекокошат. У

француза такие ружья, что за версту бьют\* и заговоренные Бонапартом — антихристом... Наш солдат и не видит француза, а у солдата пуля в самое сердце... Убит... И как войдут в Севастополь, сейчас турка всех жителей прикончит... без разбора сословий... Только каких молодых заберут и на корабль... вроде как в крепостные пошлют турецкому султану... И все разграбят... И камня на камне не останется... Дьявол-то во всей силе с французами объявится... Бог все ему позволит... Пропадай, мол, грешный город!.. А ты: не придут! Жалко тебя, хвораю, что не скоро тебе оправиться... Ушла бы из Севастополя со своим щенком. А я оставлю дом и... гайда... Не согласна пропадать... Прощай!..

И Даниловна пошла в двери.

Ее слова произвели на чахоточную сильное впечатление. Поражен был и Маркушка.

Но, когда он взглянул на мать и увидел выражение ужаса в ее лице и слезы на ее щеках, он бросился к матери и сказал:

— Мамка! А ты не верь... ведьме. Она брешет!..

И затем подбежал к окну, высунулся в него

и крикнул Даниловне:

— Ведьма!.. Ведьма! С перепуги набрехала... Ведьма! Старая карга! На том свете за язык привесят...

— Подлый щенок! Тебя первого француз убьет!.. — прошипела Даниловна.

— Он не придет... А вот я возьму да и убью ведьму... Только приди. Утекай лучше к французам... Сама французинька!

И Маркушка кричал, пока Даниловна не скрылась в своей хате:

— Ведьма-французинька... Ведьма-изменщица!

Матроска только простонала. Но не от боли, а от тоски и обиды за свое бессилие.

Еще бы!

Даниловна страшно накаркала Маркушке, и матроска не могла подняться с постели, чтобы по меньшей мере выцарапать глаза «подлой брехунье».

Но больная все-таки почувствовала значительное душевное облегчение, когда слышала, как хорошо «отчекрыжил» Маркушка старую боцманшу.

И с гордостью матери, любующейся сыном,

радостно промолвила:

— Ай да молодца, Маркушка! Не хуже настоящего матроса отчесал ведьму.

— То-то! Не баламуть. Не смей каркать, изменщица! — все еще взволнованный от негодования и сверкая загоревшимися глазами, воскликнул Маркушка.

— Изменщица и есть...

— А то как же? По-настоящему следовало бы прикокошить старую ведьму... Как ты думаешь, мамка?

— Ну ее... Из-за ведьмы да еще отвечать?... И так навел на ее страху... Не трогай... Слушайся матери, Маркушка!

— Не бойсь, мамка... Не трону... Черт с ней, с ведьмой. Больше не придет к нам баламутить... Наутек поползет.

Матроска успокоилась и скоро задремала.

А Маркушка, уже отдумавший «укокошить» Даниловну и довольный, что заслужил одобрение матери за «отчекрыжку» старой «карги», стал продолжать свой обед — тарань и краюху хлеба — и, прикончив его виноградом, тихонько подошел к постели.

Он взглядывал на восковое лицо матери.

Он слышал какое-то бульканье в ее горле. И он невольно вспомнил слова Даниловны.

Сердце Маркушки упало. Ему стало жутко.

Он подсел к окну и жадно смотрел на безлюдную и безмолвную улицу — не проглядеть доктора.

Но страх понемногу проходил, когда Маркушка думал о том, что доктор, разумеется, быстро выправит мать какими-нибудь каплями. И она опять войдет в силу, станет крепкая и сильная, как прежде, и с раннего утра будет уходить на рынок к своему ларьку.

И он станет проводить время по-старому. Он опять будет с нею пить чай с горячими бубликами, с ней вместе уходить и заниматься своими делами. Он навестит Ахметку и Ис-айку, побывает на Графской: нет ли офицера, который куда-нибудь пошлет, заглянет к «дяденьке» и прокатится на шлюпке, поглазет на лавки в Большой улице, пойдет к матери на рынок пообедать с нею, потолкается на рынке, поиграет в бабки с товарищами в слободке, потом пойдет купаться на «хрустальные воды» — в затишье Артиллерийской бухты около рынка — и вечером на бульвар или

на Графскую и спать домой.

«Разумеется, доктор выправит мамку, и дяденька говорил, что мать не умрет. Зачем ей умирать?»

И, успокоенный за мать, Маркушка уже не смущается более ни мертвенностью ее исхудалого, изможденного лица, ни слабостью, ни ознобом, ни свистом, вылетающим из ее груди, ни прерывистым, трудным дыханием.

И в голове Маркушки пробежали мысли о французе, которого пустили, о пушках, которые видел утром, о толпе, матросах, об отъезде барынь, о словах «дяденьки», о Менщике, ушедшем со всеми солдатами не пускать в Севастополь, о гривеннике доброго мичмана, об адмиралах, куда-то спешивших, о Нахимове, который обнадежен матросами.

А палящий зной так и дышал в маленькое оконце... В низенькой комнате охватывала духота... А Маркушка так устал, летавши во весь дух на Графскую в обратном.

И Маркушка перестал думать. Он невольно приклонил лицо к подоконнику и моментально заснул.

— Протри зенки, Маркушка! — раздался над ухом мальчика грубоватый, с легкой сипотой голос.

Внезапно раскрывший глаза, Маркушка спросонья хватился бы затылком о раму низенького оконца, если бы большая, шершавая и вся просмоленная рука не лежала на его всклокоченной голове.

— Отчепни двери... А то дрыхнете, как зарезанные...

Маркушка сорвался с места.

— Кто там? — словно бы в полусне прошептала матроска.

— Тятка пришел! — радостно сказал Маркушка и побежал в сени снять щеколду с дверей.

— Ну, как мамка? — пониженным голосом, казалось, спокойным, проговорил приземистый, черный как жук матрос лет сорока, с загорелым смуглым лицом, заросшим черными волосами.

— Здорово исхудала... И не ест... Доктор придет сейчас.

— Доктор? Кто добыл?

— Мичман Михайла Михайлыч... Встрел

на Графской, когда за вами бегал, и сказал, что мамка больна.

В знак одобренья фор-марсовой с «Константина» Игнат Ткаченко, в белой праздничной матросской рубаше и в парусинных башмаках на босых ногах, потрепал по спине сына и вошел в комнату.

Целую неделю не видел матрос жены и, как увидал ее, то едва не ахнул — до того за неделю она изменилась.

Матрос понял, что в эту комнату пришла смерть.

Но он скрыл от больной свое тоскливое изумление, когда подошел к ней. Он только осторожнее и словно бы боязливо пожал ее восковую руку с желтыми длинными ногтями и с еще большего шутиливой грубостью проговорил:

— А ты что это вздумала валяться, матроска?.. Ден пять тебе отлежаться и, смотри, опять во всем своем парате в поправку...

— То-то и я обнадежена... А ждала тебя... Думала: загулял...

— Дура ты, Анна, и есть... Не спускали... Оттого и не пришел. И сейчас отпустили всего

на один час... Разве что завтра отпустят.

— То-то зайди...

— А то, думаешь, не зайду... Скоро и вовсе на баксион переберемся... Тогда буду забегать. По другой части будем... вроде как крупа... На сухопутье...

И матрос стал рассказывать, что приказано затопить несколько кораблей на входе на рейд и остальные корабли разоружить... Орудия со всех кораблей на батареи и матросов к своим пушкам... И Нахимов будет и на сухой пути начальником... И Корнилов\* тоже. Башковатый адмирал... И оба они просили Менщика вытти всему флоту к французским и английским кораблям... Сцепиться, мол, с ними и — будь что будет, а изничтожить неприятельский флот... А Менщик не допустил. «Вы, говорит, адмиралы, зря только себя изничтожите... На них корабли все с машинами жарят под парами... Куда хотят, туда и иди, вроде как праходы... А вы-то что с одними парусами? Ежели ветра не будет — что вы поделаете?.. А он всех и перетопит... Будет себе палить, как ему вгодно, и шабаш!..» Нахимов и покорился... Ничего не поделаешь...

И матрос примолк.

— Так как же, Игнат? — спросила матроска.

— Насчет чего, Аннушка? — переспросил матрос, отводя взгляд, чтоб не смотреть на эти тревожные лихорадочные глаза, глубоко запавшие в глазницы.

— Значит, он придет к нашему Севастополю? Господь допустит?

— Ни в жисть! Нахимов с матросами не допустит. Всех французов перебьет! — с задорной уверенностью и не без отваги воскликнул Маркушка, сообразивший, что отец не забегал по дороге в питейный и, следовательно, зря не треснет.

Однако на всякий случай Маркушка попятился к дверям.

Матрос не поднял своих клочковатых, нависших бровей, придававших его добродушному лицу свирепый вид, и не сжал руки в здоровенный кулак.

Он взглянул на Маркушку с какою-то ласковой жалостью, точно понимал, что мальчик скоро будет сирота.

Но для порядка отец все-таки не без строго-

сти проговорил:

— Видно, давно не клал тебе в кису, Маркушка!

— На прошлой неделе наклали, тятенька!

— То-то давно! — усмехнулся матрос. — Во все ты стал отчаянный, Маркушка! Скажи пожалуйста, какой вырос большой матрос. Рассудил!

И, обращаясь к жене, прибавил:

— Не сумлевайся, Аннушка... не оконфузимся... Скоро обозначится война. Князь Меншик окажется, какой он есть генерал против французского, ежели к десанту не поспел... Еще, может, поправится... Ну и то, что у их все стущера\*, а у наших таких ружей нет. У француза стущер далеко бьет, а нашему ружью не хватает дальности. Вот тебе и загвоздка.

— Зачем же нашим не роздали стущеров? — нетерпеливо спросил Маркушка.

— Ой молчи, Маркушка... Не перебивай... Съезжу!

— Слушай, что отец говорит, Маркушка! — ласково промолвила матроска.

Матрос продолжал:

— К строку не изготовили этих самых стущ-

церов. Солдатику и обидно. И ежели Менщик в полном своем генеральском понятии да командует: «В штыки, братцы!» — крупа не осрамит своего звания и врукопашную... Не так обидно... Француз — известно, жидкий народ — похорохорится... однако не сusterпят штыка... И драйка к своим кораблям и гайда домой... «Ну вас!.. Не согласны»...

Маркушка даже щелкнул языком от удовольствия.

Но Маркушкина спесь была значительно сбита, когда после минутной паузы отец раздумчиво проговорил:

— И опять-таки обмозгуй ты, Аннушка: какие есть генералы при солдатах? Есть ли при рассудке в них отчаянность и умеют ли распорядиться солдатом? Это как и по нашей флотской части. Ежели начальник с флотским понятием, зря не суетится — и матросу лестно, и никогда он не обанкрутит начальника... За Нахимова Павла Степаныча куда вгодно... То-то оно и есть... Какое от Менщика будет одоление — скоро узнаем... Хучь и приди француз — а за Севастополь постоим... Живыми не отдадимся...

Несколько времени царило молчание.

— Завтра на баксион перебираться... — промолвил Игнат.

— А жить где? — спросила жена...

— В землянках...

— И харч, как на корабле?..

— Все по положению по морскому довольствию... И наш командир будет начальником баксиона... И прочие офицеры... палить будем, ежели француз придет... А за тобой, Аннушка, кто приглядывает? — вдруг спросил матрос.

— Да кто? Все Маркушка... Заботливый. Вроде как нянька ходит за матерью...

— А Даниловна?

— Сидела давеча, как Маркушка за тобой бегал.

— Небось больше не придет! — вмешался в разговор Маркушка.

— Отчего это?

— Она ведьма и изменщица... Я не пущу ее, тятенька! — решительно воскликнул Маркушка.

И, волнуясь и спеша, он рассказал, почему именно Даниловна изменщица и злющая

ведьма, и не отказал себе в удовольствии похвастать, как он «отчесал» боцманшу.

Слушая Маркушку, матрос только усмехался, видимо довольный не менее матери, что «мальчонка башковат, и пестует мать, и форменно изругал боцманшу».

— А какая она изменщица?.. По какой такой причине? Она, братец ты мой, не изменщица... Даниловна злющая и много о себе полагает. А за брехню ты, Маркушка, правильно отчекрыжил.

И, обращаясь к жене, сказал:

— Небось, как был жив боцман, она не посмела бы шипеть, как гадюка... У него рука была тяжелая... Держал свою гадюку в понятии... С рассудком был боцман... И пьянствовал в плепорцию.

В эту минуту к домику подъехали дрожки.

— Доктор, мамка! — доложил Маркушка и, просветлевший, побежал встретить доктора.

Пожилой сухощавый доктор с рыжими волосами и бачками вошел в комнату, потянул длинным носом, и на его лице пробежала гримаса.

— Ну и душно здесь...

— Точно так, вашескобродие! — ответил матрос, вытянувшись перед доктором. — И дух чижелый... — прибавил он.

— Твоей жене, Ткаченко, и дышать труднее... Как тебя, матроска, звать? — спросил доктор, приблизившись к больной.

— Анной, вашескобродие! — взволнованно и внезапно пугаясь, ответила матроска.

Доктор взглянул на ее лицо и стал необыкновенно серьезен.

— Ты, Анна, не волнуйся... Нечего меня бояться... Твой матрос знает, что я не страшный.

Рыжий доктор в белом кителе проговорил эти ободряющие слова с шутливой ласковостью. Но его мягкий голос слегка вздрагивал. Добрый человек, он был взволнован при виде умирающей молодой женщины, спасти которую невозможно и которой надо спокойно врать, чтобы она не отчаялась, узнав свой приговор. А бедняга как чахоточная, разумеется, и не догадывается, что дни ее сочтены.

— Не бойся, Аннушка... Господин старший доктор добер... Вызняет, что в тебе болит внутреннее, и поможет, — сказал Игнат.

— Я не боюсь, вашескобродие! — промол-

вила матроска слабым, глухим голосом и старалась приподняться, но не могла и бессильно уронила голову на подушку.

— Не подымайся... не надо, — приказал доктор.

И подумал:

«К чему беднягу беспокоить осмотром. Не все ли равно?»

Но добросовестность врача говорила о долге и об обязанности облегчить хоть последние минуты потухающей жизни.

И, по-прежнему необычайно серьезный и точно в чем-то виноватый, рыжий доктор еще мягче и ласковее проговорил, вынимая из кармана молоточек и стетоскоп:

— Вот послушаем, что у тебя, Аннушка... Не бойся... Не бойся...

Доктор опустил свое ухо к трубке, уставленной у груди... Слушал, потом постукивал, потом опять приложил свое ухо к сердцу Аннушки.

Она испуганно и стыдливо закрыла глаза.

Матрос напряженно-серьезно смотрел на лысую, блестящую потом голову. Маркушка, напротив, был торжественно весел. Ему каза-

лось, что доктор узнал, что внутри мамки, пропишет капли, и мамка пойдет на поправку.

Доктор поднялся, прикрыл одеялом матроску и увидал ее жадный вопросительный взгляд...

— Простудилась... Надо тебе полежать... Пропишу капли, и станет легче...

— И скоро можно встать, вашескобродие? — нетерпеливо спросила матроска.

— Скоро! — не глядя на больную, проговорил рыжий доктор.

Он отошел к окну, присел, отдышался, вырвал из своей записной книжки листок, прописал рецепт и, казалось, чем-то раздраженный, подозвал Маркушку.

— Беги в госпиталь, получишь даром пузырек с каплями и... А кто присматривает за матерью?..

— Я.

— Ты? — удивленно спросил доктор.

— Он башковатый, вашескобродие... Все время не отходит от матери! — серьезно промолвил отец.

— Ласковый! — протянула матроска.

Доктор потрепал Маркушку по голове и сказал:

— Как принесешь, дай матери десять капель в рюмке воды... Сумеешь отлить?

— Потрафит! — заметил Игнат.

— К ночи дать еще десять. Завтра утром опять десять капель... Мать лучше будет спать... Не буди... Понял?

— Понял... Мамка ведь скоро поправится от капель, вашескобродие?

— Да...

— Дай вам бог здоровья! — радостно проговорил Маркушка.

И сказал отцу:

— Тятенька! Пока буду бегать за каплями, спроворьте матроску Щипенкову посидеть около мамки... А я живо обернусь!

С этими словами Маркушка исчез и понесся вниз.

— Славный у тебя мальчик, Аннушка... Ну, поправляйся... От капель будешь спать. Сном и уйдет болезнь... Завтра заеду... Не благодари... Не за что!.. — проговорил доктор.

И, обратившись к матросу, прибавил:

— Перетащи кровать с больной к окну... И

немедленно!..

— Есть, вашескобродие!

Доктор вышел. За ним пошел матрос и крепко притворил двери.

Доктор остановился и сказал:

— Попрошу старшего офицера, чтоб на ночь тебя отпустили домой.

— Премного благодарен, вашескобродие... Видно, крышка ей? — чуть слышно спросил матрос.

И лицо Ткаченко стало напряженно серьезным.

— Пожалуй, до утра не доживет. Она и не догадывается. Не показывай ей, что смерть пришла...

— Не окажу себя, вашескобродие. Жалко обанкрутить человека.

— То-то.

Доктор уехал.

Угрюмый матрос постоял на улице, выкуривая маленькую трубку.

Затем спрятал ее в штаны и, возвратившись в комнату, проговорил:

— Ну, Аннушка, переведу тебя на новое положение... У окна скорей пойдет выправка.

Матрос передвинул кровать...

— Небось лучше?

— Лучше... Не так грудь запирает...

— Вот видишь... Сейчас пошлю к тебе Щипенкову, пока Маркушка не обернется... А я на корабль...

— Когда зайдешь, Игнат?

— Может, на ночь отпустят... Так за Маркушку за няньку побуду. И побалакаем, а пока до свиданья, Аннушка.

— Отпросись, Игнат...

— А то как же?

— Отпустят?

— Старший офицер хоть и собака, а с понятием. Отпустит.

— Наври. Скажи, мол, матроска дюже хвора...

— Форменно набрешу... А как ты придешь ко мне на баксион и старший офицер увидит, скажу: «Так, мол, и так... Доктур быстро выправил мою матроску!»

#### IV

Вечером, в восьмом часу, Ткаченко пришел домой.

Больная спала. Дыхание ее было тяжелое и

прерывистое. Из груди вырывался свист. Маркушка, свернувшись калачиком, сладко спал на циновке, на полу у кровати, и слегка похрапывал. Комната была залита лунным светом. С улицы долетали женские голоса. Говорили о войне, о том, что будет с Севастополем, если допустят француза.

Матрос осторожно разбудил мальчика.

Маркушка вскочил и виновато сказал отцу:

— Маленько заснул... Мамка все спит... На поправку, значит...

— Ты, Маркушка, иди спать в сени... Выспись...

— А если мамка позовет?

— Я буду вместо тебя на вахте... Ступай! — почти нежно прошептал матрос.

Матрос присел на табуретке и скоро задремал. Но часто открывал глаза и прислушивался...

В слободке царила мертвая тишина. В городе часы пробили двенадцать ударов. Доносились протяжные оклики часовых: «Слушай».

Матрос поднялся и заглянул в лицо боль-

ной. Облитое светом, оно казалось мертвым.

Матроска вдруг заметалась и открыла большие, полные ужаса глаза.

— Испить, Аннушка?..

— Тяжко... Духа нет... О господи!

— Постой, капли дам...

— Дай... Спаси!.. Игнат!.. Родной!.. Смерть!

Матрос дрожащими руками налил капли в рюмку с водой и поднес ее к губам жены. Она вдруг вытянулась и вздохнула в последний раз. Наступила жуткая тишина.

Матрос перекрестился и угрюмо поцеловал лоб покойницы.

Игнат до рассвета оставался в комнате.

Заснуть он не мог и курил трубку за трубкой. В голове его неотступно проносились воспоминания о покойной, об ее правдивости, верности и заботливости. Он вспоминал, как хорошо они жили четырнадцать лет и только пьяным, случилось, ругал ее и бил, но редко и с пьяных глаз.

И чем больше думал матрос о своей жене, тем мучительнее и яснее чувствовал ужас потери. На душе было мрачно.

— Прости, в чем виноват! Прости, Аннуш-

ка! — взволнованно шептал матрос.

Наконец стало рассветать, и матрос вышел из дома. Он разбудил Щипенкову и просил ее честь честью обмыть покойную и одеть. Скоро они положили ее на стол. От Щипенковой Игнат пошел звать одну знакомую старую вдову-матроску, умевшую читать псалтырь, прийти почитать над покойницей и затем зашел к старику плотнику — заказать гроб.

Когда матрос вернулся, в сенях Маркушки уже не было.

Он был в комнате, смотрел на покойную и безутешно рыдал.

— То-то, Маркушка! — мрачно проговорил матрос.

— Тятенька!.. Разве мамка взаправду умерла? — воскликнул Маркушка. — Тятенька!

— Взаправду...

— Как же доктор говорил?

— Чтоб не тревожить... А он сразу мне сказал, что смерть пришла... Ничего не поделаешь... Нутренность была испорчена.

Матрос послал Маркушку просить священника, а сам ушел на корабль, обещая прийти к вечеру...

Через день хоронили матроску.

За гробом, выкрашенным олифой, шли рядом матрос и Маркушка; за ними десяток матросок.

Батюшка опоздал к выносу, и вынесли гроб около полудня.

День стоял теплый, но серый. Дул слабый ветер.

Все провожавшие услышали какой-то тихий гул в воздухе, точно слабые раскаты далекого грома.

И матроски оглядывались на Северную сторону, откуда, казалось, доносился гром, и крестились.

— Это пальба слышна... Менщик не пускает француза! — вымолвил матрос, прислушиваясь.

Маркушка стал креститься.

Возвращаясь с кладбища, отец говорил Маркушке:

— Понаведывайся ко мне на четвертый баксион. Около бульвара... А живи у Щипенковой... Будешь помогать ей...

— Я бы к дяденьке лучше.

— Что ж... Ежели возьмет... А потом обмоз-

гую, где тебе находиться... может, и к тетке в Симферополь пошлю...

— Я бы здесь...

— А ежели бондировка?..

— Что ж... к вам бы бегал, на баксион...

— Глупый... А убьют?..

— Зачем убьют... Уж позвольте, тятенька, остаться...

— Там видно будет, какая будет тебе моя лезорюция... а пока прощай, Маркушка... Завтра приходи на баксион... к полудню... Вот тебе два пятака на харчи, сирота!

У бульвара они разошлись. Матрос пошел на бульвар, а Маркушка на Графскую пристань.

Он снова видел матросов, везущих пушки, слушал отдаленную пальбу и вдруг, охваченный тоской по матери, горько заплакал, направляясь к Графской пристани.

## Глава II

### I

«Дяденька», старый яличник Степан Трофимович Бугай, только что вернулся с Северной стороны и видел там первого раненого офицера в Альминском сражении\*.

Его привезли в коляске.

Яличник видел полулежащую крупную фигуру с черноволосой головой без фуражки, с мертвенно-бледным красивым молодым лицом. Он видел напряженно серьезное лицо военного врача, сидевшего бочком в коляске, лакея в «вольной» одежде на козлах рядом с ямщиком и двух донских казаков на усталых лошадках, провожавших коляску.

Когда раненого перенесли на катер, чтоб переправить к морскому госпиталю, молодой ямщик на минуту остановился около кучки любопытных и сказал, что привез важного офицера, которому вначале сражения оторвало ногу ядром, и по случаю того, что «барин княжеского звания и страсть богатый», для него обрядили коляску и запрягли курьерских со станции, чтобы лётком доставить в Севастополь. Пусть, мол, доктора приложат все свое старание для князя из Петербурга.

Ямщик прибавил, что по дороге обогнал пешеходных раненых солдат, которые плелись к Севастополю, а видел и таких, «кои истекали кровью в степи».

Ямщик поехал на станцию. Два казака, мо-

лодые, запыленные и довольные, подъехали к кучке у пристани и спросили, где бы можно закусить, отдохнуть, покормить коней и тогда уж вернуться к своей части.

Бугай спросил казаков: как наши управляются с французом и пойдет ли он наутек, на свои корабли.

Один казак ответил, что по началу еще неизвестно. Однако уже много наших он перебил и поранил. Его видимо-невидимо, и наши ружья зря палят.

— Ничего не поделаешь против ступцов! — не без важности прибавил другой казак.

В нескольких шагах остановилась татарская маджара\*. Казаки переглянулись и подъехали к ней.

Не прошло минуты, как верхушки двух пик были увенчаны несколькими арбузами и дынями, и казаки отъехали с веселым смехом.

Старый татарин только сверкнул глазами, полными злобы.

Подъехал фаэтон с господином и растерянной дамой. Они приехали с ближнего своего

хутора и наняли Бугая перевезти в Севастополь.

По дороге пассажиры толковали между собой о том, что будет с их домом, если придут союзники или наши. Наверное, все разорят. Пожилой господин, по-видимому грек, бранил князя Меншикова за то, что у нас мало войска. Из-за этого татары волнуются и многие уж бросили хутора и пошли в турецкий лагерь, чтобы служить им лазутчиками и быть проводниками.

— Надеются, шельмы, что Крым отойдет к туркам! — прибавил пожилой обрусевший грек.

Бугай перевез пассажиров и никому из товарищей-яличников не сообщил первых нехороших известий.

«Еще правда ли?» — подумал старый яличник.

Однако был в подавленном мрачном настроении. Он как-то лениво попыхивал дымком из трубчонки, которую держал в еще крепких белых зубах, и часто сердито и тревожно взглядывал за бухту, напряженнее прислушиваясь к отдаленному гулу выстре-

ЛОВ.

Раскаты были чаще и, казалось, слышнее.

И Бугай снял шапку и истово перекрестился.

— Дяденька! — окликнул Маркушка, утирая грязным кулаком глаза, полные слез.

Мальчик, подошедший к ялику, не походил на прежнего смелого и бойкого Маркушку.

Он напоминал собой бездомную собачонку, прибежавшую искать приюта и ласки.

— Что мамзелишь, Маркушка? Попало за шкуру, и не скуль! — сердито сказал «дяденька», поворачивая голову.

— Дяденька!.. Мамка... По-хо-ро-ни-ли! — протянул мальчик, точно оправдываясь.

К горлу подступали рыдания. Но Маркушка старался сдерживать их.

В темных глазах мальчика стояло такое отчаяние, что угрюмое выражение лица старого яличника быстро смягчилось.

И он глядел на Маркушку, не роняя слова.

Его молчание было тем проникновенным и участливым молчанием, которое дороже слов. Бугай точно понимал, что всякие слова

утешения бессильны и фальшивы.

И Маркушка чувствовал, как тоска отчаяния смягчалась под ласковым, почти нежным и слегка смущенным взглядом маленьких глаз «дяденьки».

— Что же не валишь в шлюпку, Маркушка? — наконец проговорил Бугай. — Скоро на ту сторону. Прокатимся. Отсюда нема пассажира. Больше оттуда... С хуторов повалили.

Маркушка вошел в ялик и притих, довольный, что нашел себе приют на ялике, под бортом «дяденьки».

— Отец на баксионе?

— На баксионе.

— Ты обедал?

— Нет. Тятка дал грошей... Куплю чего-нибудь.

— Поешь!

С этими словами Бугай достал из ящика под сиденьем булку, копченую рыбу и небольшой кусок мяса.

— Все съешь, а кавун на закуску... То-то и скусно будет.

Пока Маркушка ел, яличник раздумчиво посматривал на мальчика, и когда тот при-

кончил обед и принялся за арбуз, Бугай сказал:

— А пока что у меня живи... День будешь вроде рулевого на ялике, а на ночь в мою хибарку... Хочешь, Маркушка?

Маркушка ответил, что очень даже хочет и тятюку просил, чтобы к «дяденьке».

— А отец что?

— Позволил. Пока, говорит, ежели вы дозволите. А там, мол, видно. Но только тятюка в Симферополь хочет услать... к тетке...

— И поезжай!

— За что, дяденька?

— За то!

— Мне бы остаться, дяденька... И тятюку просил остаться... Хучь бы и бондировка... Я бы к тятюке на баксион забегал... Только бондировки не будет... Менщик ловок... Не допустит. Теперь он чекрыжит их, шельмов... Расстрел их, дьяволов, идет!

— То-то еще неизвестно. Ешь себе кавун, Маркушка... И как бог даст!

Бугай снова стал очень серьезен. Он нахмурил брови и стал прислушиваться.

— Слышишь, Маркушка?

— Что-то не слышать, дяденька!

— Значит, конец стражению! — прошептал строго Бугай.

С судов на рейде пробили шесть склянок.

— Едем! — сказал Бугай.

Он отвязал конец, прикрепленный к рыму на пристани, отпихнул шлюпку, сел на среднюю банку, взял весла и приказал Маркушке сесть на сиденье в корме, на руль.

— Умеешь править? — строго спросил яличник.

— Пробовал, дяденька! — ответил Маркушка и самолюбиво вспыхнул.

— Не зевай... Рулем не болтай. На дома держи... Вон туда... Видишь? — сказал, указывая корявым указательным пальцем на белеющееся пятно построек на противоположном берегу.

— Вижу, дяденька! — несколько робея, промолвил Маркушка.

Бугай поплевал на свои широкие, мозолистые ладони и стал грести двумя веслами.

Он греб как мастер своего дела, ровно, с небольшими промежутками, сильно загребывая лопастями воду.

И шлюпка ходко шла, легко и свободно разрезывая синеющую гладь бухты играющей рябью.

Проникнутый, казалось, ответственностью своей важной обязанности, Маркушка, необыкновенно серьезный и возбужденный, с загоревшимися глазами, устремленными вперед, вцепившись рукой в румпель, правил, стараясь не вилять рулем и видимо довольный, что нос шлюпки не отклонялся ни вправо, ни влево.

Рулевой и гребец молчали.

По временам Бугай вглядывал назад, чтоб проверить направление ялика, и удовлетворенно посматривал на серьезного маленького рулевого.

И на середине бухты проговорил с легкой одышкой:

— Молодца, Маркушка! Ловко правишь!  
Маркушка зарделся.

В эту минуту он чувствовал себя бесконечно счастливым.

— Встречные шлюпки оставляй влево...

— Есть! Влево! — ответил Маркушка, перенявший обычный матросский лаконизм слу-

жебных ответов от отца и других матросов.

И, когда встретил вблизи ялик, Маркушка осторожно переложил руль, и ялик, полный пассажирами, прошел в расстоянии сажени.

— Бугайка! — крикнул яличник. — Солдаты подходят... Раненые!.. Сказывают, француз одолел!

Бугай нахмурился и налег на весла.

## II

Когда шлюпка пристала, несколько яликов, полные солдат, отваливали.

При виде того, что увидал на Северной стороне Маркушка, сердце его замерло.

И он с ужасом воскликнул:

— Дяденька!!

— Видишь: раненные французом! — сердито сказал Бугай.

— А он придет?

Старый яличник не ответил и проворчал:

— И что смотрит начальство! По-рядки!

Большое пространство берега перед пристанью было запружено солдатами в подобранных и расстегнутых шинелях. Они были без ружей, запыленные, усталые, с тревожными и страдальческими лицами. словно ис-

пуганные овцы, жались они друг к другу небольшими кучками. Большая часть сидела или лежала на земле. Тут же сгруппировались телеги и повозки, переполненные людьми. Никакого начальства, казалось, не было.

Среди людей раздавались раздирающие крики о помощи, вопли и стоны. Слышались призывы смерти.

Никакой медицинской помощи не было. Военных баркасов для переправы раненых в госпиталь еще не было.

Покорная толпа ожидала... То и дело подходили новые кучки и, истомленные, опускались на землю.

Маленький, заросший волосами военный доктор, сопровождавший первый транспорт тяжелораненых, то и дело перебегал от телеги к телеге и старался успокоить раненых обещаниями, что скоро доставят их в госпиталь. Он встречал молящие, страдающие взгляды и глаза, уже навеки застывшие.

Врач бессильно метался, зная, что помочь невозможно.

И, вспомнив что-то, он подошел к шлюпке Бугая, в которую уже бросилось человек два-

дцать раненых, и, обратившись к молодому бледному офицеру с повязкой на голове, из-под которой сочилась кровь, проговорил:

— Сейчас поезжайте в госпиталь, Иван Иваныч... Бог даст, рана благополучная... Пулю вынут скоро.

И, словно бы желая облегчить свое раздражение, прибавил:

— Вы видели, Иван Иваныч... Видели, что здесь делается? Час приехали, и нет шлюпок. Ведь это что же? Как я перевезу тяжелораненых... Куда я их дену? Уж десятки умерло... А сколько еще подъедут. Это черт знает какие порядки... Даже корпии не хватило...

Прибежал откуда-то пожилой моряк, смотрел на бухту и ругался:

— Хоть бы вовремя предупредили... Давно бы были пароходы и баркасы, а то... Разве я виноват? Доктор! Вы понимаете, каков штаб у Меншикова!.. Не знал ли он, что будут раненые?!

— Это ужасно... Ведь люди! — возмутился доктор.

Тогда моряк вошел в середину толпы и крикнул:

— За баркасами послано, братцы! Потерпи. Сейчас вас перевезут!..

Но доселе безропотно ожидавшие, казалось, взволновались словами моряка.

Из толпы в разных концах раздались слова:

— Бросили здесь, как собак!

— С раннего утра не ели.

— Хоть бы перевязали... Истекай кровью!

— В город доставьте... Не давайте умирать!

— Он нагрянет...

— Всех нас и заберут!

Раненые зашевелились. Многие стали подниматься.

Тогда моряк во всю мощь своего голоса крикнул:

— Сиди, братцы! Не слушай дураков! Он не придет. Наша армия не пустит.

С этими словами он быстро вернулся к пристани и крикнул Бугаю:

— Стоп отваливать!

С ближайшей телеги донесся голос:

— Менщик пустил... Пропали мы!

— Врешь! — закричал на раненого моряка.

Он достал из кармана листок бумаги и на-

писал карандашом на ней несколько слов.

— Ты, рулевой мальчишка! — сказал моряк Маркушке.

— Есть, вашескобродие.

— Знаешь квартиру Павла Степаныча Нахимова?

— Как не знать.

— Сбегай немедленно к нему и передай записку.

— Есть!

В ту же минуту сбоку, вокруг толпы, подъехал к пристани на крымском славном иноходце молодой запыленный офицер в адъютантской форме.

Он соскочил с седла, бросил поводья сопровождавшему его казаку и крикнул на отвалившую только шлюпку Бугая:

— Вернись... Возьми...

Бугай затабанил, и шлюпка была у пристани.

— Еду с письмом от главнокомандующего к Корнилову! — взволнованно проговорил адъютант, пожимая руку знакомого моряка.

— Ну что?.. Какие вести?

— Плохие...

— Отступили?..

— В беспорядке!.. Срам... Кирьяков с дивизией перепутал...

— А куда армия?..

— Отступаем на Инкерман... Ночуем там...

— А союзники?

Офицер пожал плечами.

— Идут за нами... Может, и в Севастополь!.. — ответил чуть слышно офицер.

И, пожав руку моряка, вошел в шлюпку, и она отвалила.

Наконец показалась большая флотилия больших гребных судов, плывших на Северную сторону для перевозки раненых в город.

Старый яличник наваливался на весла, угрюмый, не проронивший ни слова и прислушивавшийся к подавленному тону разговоров своих пассажиров.

— Дяденька! Идут! — радостно крикнул Маркушка.

Он стоял у руля в маленьком кормовом гнезде сзади переднего сиденья на ялике.

«Дяденька» Бугай быстро повернул голову, взглянул секунду-другую на военные баркасы и катера и удовлетворенно прошептал:

— Слава тебе господи!

Маркушка правил рулем добросовестно.

Весь отдавшийся своему делу, он не слышал, о чем разговаривали перед его носом два офицера: оба усталые, бледные, молодые, со сбившимися повязками — один — на голове, другой — на шее.

Офицер с повязкой на голове, блондин с грустными, вдумчивыми глазами, говорил тихим голосом, полным безнадежной тоски, об Альминском сражении.

— И что могли сделать двадцать пять тысяч наших, почти безоружных со своими кремневыми ружьями, против семидесяти тысяч союзников, отлично вооруженных? Они могли только умирать благодаря генералам, поставившим солдат под выстрелы... Уж потом приказали отступать, когда уж пришлось бежать...

Слезы дрожали в глазах блондина, и он еще тише сказал:

— И какая неприготовленность!.. Какое самомнение!.. Ведь все думали, что закидаем иностранцев шапками... Вот как закидали!

— Быть может, еще поправимся... Дай нам

хорошего главнокомандующего, хороших генералов...

— Прибавьте пути сообщения, чтоб поскорей пришли из России войска... Прибавьте порядок — видели сейчас на Северной стороне, — прибавьте хорошее вооружение и многое... многое, что невозможно... Нет, надо необычайную глупость неприятеля, чтоб мы могли поправиться... И знаете ли что?

— Что?

— Нас разнесут... Понимаете, вдребезги? — прошептал блондин.

И еще тише прибавил:

— Для нашей же пользы.

— Какой?

— Еще бы! Мы избавимся от самомнения и слепоты... Пойдем, отчего нас разнесут. В чем наша главная беда... О, тогда...

Молодой офицер внезапно оборвал... Его большие славные глаза словно бы сияли какою-то восторженностью, и в то же время в них было что-то страдальческое.

Он слабо застонал и схватился за голову. Лицо побледнело.

Сидевший по другую сторону старый сол-

дат поднес к побелевшим губам офицера крышку с водой, еще оставшейся в манерке.

— Испейте, ваше благородие.

Офицер отпил два-три глотка и благодарно посмотрел на солдата.

— Ты куда ранен? — спросил он, казалось не чувствуя острой боли.

— В живот, ваше благородие.

— Перевязан?

— Никак нет. Сам по малости заткнул дырку, ваше благородие. В госпитале, верно, осмотрят и станут чинить.

Скоро шлюпка пристала.

На пристани стояла небольшая кучка. По-видимому, это были рабочие из отставных матросов. Больше было женщин: матросок и солдаток.

Мужчины помогли слабым выйти из шлюпки и предложили довести до госпиталя. Двум раненым офицерам привели извозчика, и они тотчас уехали. Ушел и адъютант.

А солдаты пока оставались на пристани. Бабы их угощали арбузами, квасом и бубликами, расспрашивали, правда ли, что француз придет и отдадут Севастополь. И многие пла-

кали.

— Брешут все!.. А вы главные брехуны и есть! — крикнул Бугай.

Он только что получил тридцать копеек от трех офицеров и на такую же сумму оделял медяками «своих пассажиров».

— Пригодятся, крупа! — сердито говорил Бугай.

Единственный свой пятак Маркушка торопливо, застенчиво и почти молитвенно положил в грязную руку солдата с короткой седой щетинкой колючих усов, который казался мальчику самым несчастным, страдающим из раненых, внушающим почтительную, словно бы благоговейную жалость взволнованного сердца.

Солдат покорно, без слов жалобы, сидел на земле, такой изможденный, сухенький и маленький старичок, запыленный, с разорванной шинелью на плечах, без сапог, в портянке на одной ноге и с обмотанной пропитанной кровью тряпкой на другой, с сморщенным, почти бескровным лицом, на щеке которого вместе с какой-то черной подсыпкой выделялся темно-красный большой сгусток за-

пекшейся крови. Правая рука была подвязана на какой-то самодельной повязке из серого солдатского сукна.

— Спасибо, мальчонка! Выпью шкалик за твое здоровье! — бодро проговорил раненый солдат. — Еще починят. До свадьбы заживет! — прибавил он с улыбкой, и грустной и иронической, посматривая маленькими ожившимися глазами на свою руку и ноги.

Какая-то матроска угощала квасом. Старик добродушно сказал:

— Квас квасом, а ты спроворила бы, бабенка, шкаликом. Вот тебе семь копеек, что дедушка с внуком дали. А затем можно и до госпиталя доплестись.

Маркушка подбежал к Бугаю и спросил:

— Бегу к Нахимову, дяденька, с запиской?

— Беги! Если уеду — жди здесь.

— Лётом обернусь. Еще застану.

И полетел на Екатерининскую улицу.



Был шестой час на исходе.

На Графской пристани и на Екатерининской улице были небольшие кучки морских офицеров, чиновников и дам.

Почти на всех лицах были подавленность и изумление. Везде шли возбужденные разговоры о только что полученной вести — что наши войска разбиты и в беспорядке отступают, преследуемые союзниками.

Раздавались восклицания негодования. Обвиняли главным образом Меншикова за то, что он с такими солдатами и был разбит так ужасно.

Что теперь будет с Севастополем?..

По Большой улице проезжал старый генерал на усталой лошади, один, понурый, в солдатской шинели, простреленной в нескольких местах.

Это был корпусный командир, один из участников Альминского сражения, только что приехавший от отступающих войск. С балкона губернаторского дома, на котором сидело несколько дам и двое молодых инженеров, хозяйка, пожилая жена адмирала, окликнула знакомого генерала.

Он остановился у решетки сада и, поклонившись, извинился, что не может зайти.

— Что будет с нами, любезный генерал? — по-французски спросила адмиральша.

Генерал сказал, что знает обо всем Меншиков и более никто. И, пожимая плечами, точно он ни в чем не виноват, проговорил, что благодаря глупости одного генерала и странной диспозиции\* главнокомандующего мы должны были отступить... А у него шинель прострелена во многих местах. Его вовремя не поддержали и... оттого потеряна битва...

И негодуяще прибавил:

— Знаете, что сделал главнокомандующий? Он с поля сражения послал своего адъютанта Грейга\* в Петербург к государю — и вообразите! — приказал Грейгу доложить все, все, что видел, и что письменную реляцию\* пошлет завтра... Разве это не дерзость?.. Так огорчить государя?!

С этими словами генерал уехал.

Все изумились дерзости Меншикова. Дамы печалились главным образом тем, что государь будет так огорчен. О множестве убитых и раненых как будто не вспомнили.

Торопливо выскочившая из фаэтона дама, из севастопольских «аристократок», вбежала на балкон и, поздоровавшись со всеми, взволнованно сказала:

— Знаете ужасную вещь?

И рассказала, что только что умер в госпитале Н красавец гвардеец, только приехавший из Петербурга... У него была оторвана нога ядром, и прожил несколько часов.

Большая часть присутствующих дам знали покойного, и все пожалели, что такой красивый, молодой и богатый князь погиб. Это ужасно... ужасно!

— Не он один убит! На войне бывает много убитых и раненых! — произнес вошедший из комнат на балкон хозяин, высокий, слегка сутуловатый, худощавый адмирал, видный, живой и моложавый, несмотря на свои шестьдесят лет.

Озабоченный и насупившийся, он проговорил эти слова резким, отрывистым тоном, поздоровался с приехавшей дамой, женой одного из адмиралов, и присел вблизи общества, сидевшего вокруг стола.

При адмирале все примолкли и принялись за фрукты.

Через минуту молодая адмиральша обратилась к хозяину:

— Но все-таки мне скажите... Должны ска-

зять...

— Что-с?

— Что будет с Севастополем? Меншиков разбит... Мы беззащитны. Отдадим Севастополь? Французы будут здесь?

— Надо еще взять Севастополь. Возьми-ка его! — вызывающе сказал адмирал. — Вы повторяете нелепые слухи, слухи! — прибавил он раздраженно.

— Вы только хотите успокоить. Но надо же знать. Бог знает что случится в эту же ночь.

— Ночью вам нужно почивать, сударыня. И примите мой добрый совет.

— Какой?

— Не слушайте болтовни и сами меньше болтайте... Да-с!

Дама сделала обиженное лицо.

— Вы очень нелюбезны, Андрей Иваныч! Мы в таком волнении. Не знаем, к чему приготовиться... Муж молчит. Я уверена, что мосье Никодимцев не откажет нам объяснить.

И молодая женщина спросила молодого инженера, недавно приехавшего из Петербурга:

— Скажите... Легко взять наш Севастопо-

поль?

И другие дамы стали просить инженера.  
Инженер помялся.

Но через минуту серьезно и с солидным видом проговорил:

— Если неприятель хорошо осведомлен и воспользуется нашим поражением, то...

— То вы, молодой человек, говорите вздор! — грубо перебил адмирал, сердито ерзая плечами. — Какое поражение?! Мы отступили — вот и все.

Инженер покраснел.

— Вы ничего не знаете о положении Меншикова! — уже не так резко сказал хозяин. — А я знаю!

И прибавил:

— Я только что виделся с Корниловым. Он получил письмо от главнокомандующего. Он отступает к Севастополю и ночует на Северной стороне. И неприятель не преследует. А у нас еще наши батальоны моряков да пять тысяч новых защитников.

— Извините за вопрос, ваше превосходительство, кто новые защитники? — осторожно спросил инженер.

— Арестанты! Они будут молодцами и заглядят свои преступления!..

Адмирал говорил уверенно и властно.

Но слова его нисколько не убедили молодого инженера. Он решил про себя, что адмирал ничего не понимает. Однако, чтоб не нарваться на новую грубость, поспешил поддакнуть адмиралу и почтительно прибавил, что его предположения ошибочны.

Адмирал метнул на инженера взгляд, в котором скользнуло гневное выражение.

Дамы несколько успокоились.

А между тем адмирал отлично знал критическое положение Севастополя и нарочно оборвал «глупого болтуна», как обозвал мысленно адмирал инженера.

Как и многие отличные моряки, но не особенно прозорливые и безусловно верившие в военную силу и мощь России, адмирал не верил высадке неприятеля, а потом, когда явились корабли, адмирал почти был уверен, что Меншиков не допустит высадку. Но, когда и в этом пришлось увериться, поражение наших войск под Альмой было неожиданностью для старого моряка николаевского времени.

Разделяя самоуверенность с большей частью людей той эпохи, адмирал высокомерно относился к тем немногим, которые ожидали серьезных бед от войны, и с удовольствием читал модное тогда хвастливое стихотворение, которым зачитывалось общество.

Стихотворение это начиналось следующим куплетом\*:

*Вот в воинственном азарте  
Воевода Пальмерстон[9]\*  
Поражает Русь на карте  
Указательным перстом.*

И адмирал, не допускающий и мысли о какой-нибудь серьезной опасности Севастополю, все откладывал отправку своей семьи и подсмеивался над теми сослуживцами, которые торопились выслать жен и детей вслед за известием, что огромный флот союзников вошел в Черное море, направляясь к крымским берегам.

Зато в этот день восьмого сентября 1854 года ошеломленный, подавленный и бессильно обозленный адмирал понял, что не сегодня-завтра союзники могут взять Севастополь, оставленный гарнизоном, и главноко-

мандующий союзных войск станет властным хозяином Севастополя и займет тот большой, окруженный прелестным садом, уютный казенный дом, в котором живет теперь с большой семьей он, командир севастопольского порта и военный губернатор.

Четверть часа тому назад он виделся с Корниловым — этим признанным всеми вершителем и распорядителем Севастополя. Недаром же Корнилов своим умом, доблестью и силою духа умел вселять веру в него.

Негодующий на главнокомандующего, он показал адмиралу только что полученную им от князя Меншикова записку.

В записке князь писал, что оставляет Севастополь. Если он не может спасти его, то спасет армию от уничтожения. Чтобы не быть отрезанным от сообщения с Россией, от двух дивизий, уже пришедших в Крым, он в ту же ночь, после небольшого роздыха войскам, начнет фланговое движение, оставивши неприятеля влево. Соединившись с новыми войсками, он пойдет на неприятеля.

«А Севастополь уже будет уничтожен!» — подумал адмирал, прочитавши записку глав-

нокомандующего.

Не сомневался в этом и Корнилов. Но он решил защитить Севастополь с горстью моряков и умереть с ними, защищая город. В ту же ночь все способные носить оружие должны ожидать неприятеля. С арестантов долой кандалы!

Никто не мог подумать, что союзники, после Альминской победы, не решатся идти брать Севастополь\*, что, не зная его беззащитности, они пойдут на южную сторону, чтобы начать осаду, и что Севастополь падет только через одиннадцать месяцев героической защиты.

Адмирал посидел несколько минут на балконе, вернулся в свой кабинет и снова продолжал работать вместе с двумя адъютантами, диктуя соответствующие распоряжения.

И скоро вышел, сел на лошадь и поехал объезжать город, успокаивая взволнованных жителей.

#### IV

Маркушка, посланный с запиской к Нахимову, через две минуты добежал до неболь-

шого дома и вошел в незапертый подъезд.

В прихожей сидел матрос-ординарец.

— Нахимов дома? — спросил Маркушка.

— Ад-ми-ра-ла? Да зачем тебе, мальчишка, адмирала? — спросил маленький черноволосый молодой матросик.

И вытаращил на Маркушку свои пучеглазые, ошалевшие и добродушные черные глаза.

— Дело! — значительно и серьезно сказал мальчишка.

— Дело?

И матросик прыснул.

— Да ты не скаль зубы-то, а доложи сей секунд: «Маркушка, мол, пришел...»

— Скажи пожалуйста!.. С каким это лепортом? Не накласть ли тебе в кису да по шеям?..

— Как бы тебя Нахимов не по шеям, а я письмо принес с Северной; приказано Нахимову беспременно отдать. Можешь войти в понятие?.. Доложи! — громко и нетерпеливо говорил Маркушка.

— Так и сказал бы! А то хочешь, чтоб тебя, охальника, да по загривку. Да черт с тобой, мальчишка! — добродушно улыбаясь, сказал

ординарец. — А нашего адмирала, братец ты мой, дома нет. Будь дома, я тебя, ерша, пустил бы в горницы и без доклада. Адмирал не форсист... Он простой... От кого же у тебя письмо?

— От флотского барина. А ты, матрос, укажи, где найти Нахимова. Обегаю город и разыщу.

— Спешка?

— То-то. Так не держи. Сказывай.

— По баксионам, верно, объезжает. Каждый день на баксионах. Как, мол, стройка батареев идет... Поторапливает.

— Ну, бегу...

— Стой, огонь! Подожди! К восьми склянкам обещался быть. Минут через пять вернется! Садись вот около, да и жди!

Маркушка присел на рундуке в галерее.

— А ты зачем был на Северной, Маркушка? Живешь там?

— Нет... Тятка мой на четвертом баксионе, а я рулевым на ялике дяденьки Бугая! — не без достоинства проговорил Маркушка.

— Ишь ты?.. Рулевым? Да тебе сколько же, мальцу, годов?

— Двенадцатый! — вымолвил Маркушка.

«Кажется, не маленький!» — слышалась, казалось, горделивая нотка в голосе, и серьезное выражение лица.

И сказал, что только на ялике привез двадцать пассажиров раненых.

— А сколько их на Северной осталось! Страсть. Лучше и не гляди на них... Жалко! Так стон стоит! А призору им не было... Только теперь пришли баркасы. Заберут! — говорил взволнованно Маркушка.

И с озлоблением прибавил:

— Все он, подлец, перебил... И сколько нашего народа... И вовсе стуцером обескуражил наших... А он за нашими и в ночь придет на Северную... Разве что Нахимов не пустит...

Но уж в голосе Маркушки не было уверенности.

— Ишь ты, чего наделал Менщик! — испуганно вымолвил матрос.

— Стуцер... И силы мало!.. — воскликнул Маркушка.

— А вот и Нахимов приехал! — сказал матрос и вскочил.

Вскочил и Маркушка и увидел Нахимова, подъезжавшего на маленьком конике к

крыльцу.

## Глава III

### I

**Н**ахимов ловко слез с небольшого гнедого иноходца и, слегка нагнувши голову, быстрыми и мелкими шагами вошел в галерею.

Обожаемый матросами за справедливость, доступность и любовь к простому человеку, уважаемый как лихой адмирал, уже прославившийся недавним разгромом турецкой эскадры в Синопе\*, и впоследствии герой Севастополя, — Нахимов был среднего роста, плотный, быстрый и живой человек, казавшийся моложе своих преклонных лет, с добрым, простым, красноватым от загара лицом, гладко выбритым, с коротко подстриженными рыжеватыми с проседью усами. Небольшие светлые глаза, горевшие огоньком, были серьезные, озабоченные, и в то же время в них чувствовалась доброта.

И от всей его фигуры, и от строгого, казалось, выражения лица, и от нахмуренных бровей так и дышало необыкновенной про-

стотой, правдивостью и почти что детской бесхитростностью скромного человека, казалось и не подозревавшего, что он герой. Он думал, что только делает самое обыкновенное дело, как может, по своей большой совести, когда ежедневно рисковал жизнью, объезжая во время осады бастионы, чтоб показаться матросам, и они понимали, что действительно это их адмирал.

Он был в потертом сюртуке с адмиральскими эполетами, с большим белым георгиевским крестом на шее. Из-под черного шейного платка белели «лисея», как называли черноморские моряки воротнички сорочки, которые выставляли, несмотря на строгую форму николаевского времени, запрещающую показывать воротнички. Из-под фуражки, надетой слегка на затылок, выбивались пряди редких волос.

Нахимов увидал уличного черноглазого мальчишку в галерее и быстро повернул к нему.

Глаза адмирала стали приветливы, и в его голосе не было ни звука генеральского тона, когда он отрывисто спросил:

— Что тебе, мальчик?

— Письмо с Северной стороны! — ответил Маркушка, вспыхнувший оттого, что говорит с самим Нахимовым, и подал ему записку.

Тот прочитал и спросил:

— Зачем там был?

— На ялике... рулевым...

— Матросский сын? Как зовут?

— Маркушкой!

— Александр Иваныч! — обратился Нахимов к вышедшему из комнаты своему адъютанту, моряку. — Немедленно съездите-с к Корнилову... Показать-с записку. А в госпиталь сам съезжу-с... Лошадь.

— Самовар готов, Павел Степаныч!

— Отлично-с! А мальчику дайте, Александр Иваныч, рубль. Рулевой-с... Иди, Маркушка, на кухню... Скажи, чтоб тебе дали чаю...

— Очень благодарен... Но я должен на ялик, Павел Степанович...

— Вот-с, Александр Иваныч... И он... понимает-с!.. Молодец, Маркушка... Славный ты черноглазый мальчик...

Адмирал ласково потрепал по щеке Мар-

кушку.

Адъютант дал Маркушке рубль.

И адмирал и адъютант вышли на улицу. Им подвели лошадей, и они уехали.

А Маркушка, обрадованный похвалой Нахимова и наградой, которую считал богатством, спрятал его в штаны и побежал со всех ног на пристань... Он встречал кучки раненых солдат. Увидал их и на пристани, только что выходявших из яликов.

Бугая не было.

Маркушка присел и слышал, как яличники говорили о том, что на Северной видано не видано сколько раненых солдат и что многие не хотят в госпиталь и просились на ялики.

Вернулся Бугай, и опять на его ялике солдаты...

Только что они вышли, как Маркушка вошел в шлюпку, сел на руль и восторженно сказал Бугаю:

— Ну, дяденька... И какой Нахимов простой... И какой добрый... И как наградил!..

— А ты думал как!.. Известно: Павел Степаныч... Передохну, и поедем... Раненые так и валят... И куда их, бедных, денут?.. Никакого

распоряжения. Хоть на улице без помощи... На военные шлюпки, кои опасно раненные, отбирали доктора...

— Нахимов распорядился... Послал адъютанта... Только что приехал с бакционов... Самовар дома готов... А он опять на лошадь, да и в госпиталь... — сообщил Маркушка.

— Не по его ведомству... По доброму сердцу только хлопочет... И ничего не схлопочет... Госпиталь битком набит... И около раненые... Ничего для них не распорядился Менщик... Вовсе о людях не подумал... А еще сказывали: умен... Одна в ем гордость... И себя обанкрутил... И Севастополь как, мол, хочет, — тихо и угрюмо говорил Бугай...

— Придет, что ли, к нам француз?..

Бугай промолчал.

— И всех перебьют?.. И город изничтожит!.. Ведьма-боцманша вчера каркала.

— Не бойсь, Нахимов и Корнилов живыми не отдадут Севастополя!.. Уж приказ вышел всем матросам быть в готовности... И арестантам, слышно, будет освобождение... И кто из жителей способен — защищай город, коли Менщик такой человек оказался... Что ж,

Маркушка... Ежели придется умирать — небось умрем! — прибавил с каким-то суровым спокойствием Бугай словно бы про себя.

Маркушка снова вспомнил, что мать умерла, и подумал, какой он дурной сын, что забыл ее.

И она, бледная, худая, трудно дышавшая, с большими ласковыми глазами, как живая представилась перед ним, и такое необыкновенно тоскливое чувство и такая жалость к себе охватили впечатлительного мальчика, что он притих, словно подшибленная птица, и слезы подступали к его горлу. И напрасно он жмурил глаза, стараясь остановить взрыв горя.

«Мамка... Мамка! Отдал бы мамке рубль!» — подумал Маркушка.

И он еще больше жалел мать и словно бы еще сильнее почувствовал ужас ее смерти и то, что никогда больше не увидит ее, не услышит ее голоса, и ласковая ее рука не пригладит его головы...

— О господи! — вырвалось из груди мальчика тихое восклицание тоски и словно бы упрека. Маркушка отвернулся к морю, и пле-

чи его вздрагивали, и слезы невольно текли из его глаз...

Бугай услышал эти слезы и в первое мгновение подумал, что Маркушка испугался его слов о том, что придется умирать, ежели придет француз.

И старый яличник сказал:

— А ты не бойся, Маркушка... Тебя не убьют со стуцера. Пойми, братец ты мой, зачем мальчиков убивать? Никто ребят не убивает... Иродов таких нет... И ты не реви... Я тебя сохраню... Спрячешься у меня в хибарке, ежели что... Не показывайся на улицу... А как затихнет, выходи и гайда из Севастополя...

Маркушка повернул голову и, обливаясь слезами, решительно проговорил прерывистым, вздрагивающим и словно бы обиженным голосом:

— Я, дя-де-нька, не бо-юсь... Не уй-ду! Я с ва-ми!.. И вы мне ру-жье дай-те... Я францу-за за-стре-лю!.. А мамку жал-ко!..

И слезы еще сильнее полились из глаз Маркушки, оставляя грязные следы на его не особенно чистом лице.

— Ишь ты... вояка какой! А мальчикам ру-

жья не полагается... Прежде войди в возраст... Тогда дадут. Ты у меня, Маркушка, молодца во всей форме... Не впадай в отчаянность насчет мамки, братец ты мой! И Павел Степаныч заметил, какой ты молодца. Может, мамке и лучше на том свете...

«Ишь ты бедняга-сирота!..» — подумал старый яличник.

И ласково прибавил:

— Не бойсь, бог твою мамку не обидит... Она была хорошая матроска.

— В рай назначит? — осведомился Маркушка, озабоченный, чтобы мать была там.

— Беспременно в рай! — убедительно и серьезно промолвил Бугай.

— А ведь там, дяденька, хорошо?

— Чего лучше!.. Однако отваливаем!

Через минуту шлюпка направилась на Северную сторону.

Старик и мальчик молчали. И оба были тоскливы.

## II

После коротких южных сумерек быстро стемнело.

Бугай со своим рулевым сделал еще два

рейса с ранеными. В десятом часу старик уж так устал, что нанял за себя гребца и велел перевозить раненую «крупку», а денег не просить.

— А мы с тобой, Маркушка, пойдём спать! — сказал Бугай.

Но вместо того чтобы подняться прямо в гору, в слободку, они пошли по Большой улице.

На улице часто встречались раненые солдаты. Проезжали верхами куда-то офицеры и казаки. Дома все были освещены; из открытых окон доносились тихие разговоры, и лица у дам были испуганные. Мужчин почти не было.

Бугай и Маркушка не повернули и у дома командира порта. Они увидели большое общество дам на балконе за чаем. Свечи освещали встревоженные лица.

— Не успели наутек! — прошептал Бугай.

— А что с ими будет? — спросил Маркушка.

— Спрячутся по подвалам...

— А самого губернатора?

— В плен возьмут — вот что!

Они подходили к Театральной площади, вблизи бульвара, в конце которого был четвертый бастион.

Среди темноты видны были костры на площади, и там стояли и сидели матросы. Ружья их стояли в козлах... Моряки-офицеры ходили взад и вперед...

— Дай только тревогу, что француз идет на Севастополь, небось мы его примем! — проговорил Бугай, стараясь подбодрить себя и разогнать мрачные мысли. — Вон и Павел Степаныч... Везде поспеваает...

Нахимов только что приехал. Он приказал не строить войска, слез с лошади и, сопровождаемый несколькими старшими моряками, обходил матросов.

И среди этой горсти, готовой не пустить целую армию, не было паники. Нахимов так спокойно говорил и шутил, что, казалось, никто не думал о неминуемой смерти.

Бугай и Маркушка пошли наверх, в слободку, и скоро вошли в хибарку, как звал старый яличник свою маленькую комнату в одной из хат матросской слободки...

Бугай зажег свечку, устроил Маркушке на

полу постель, дал ему одеяло и подушку и сказал:

— Давай спать, Маркушка!

Маркушка через минуту уже крепко спал.

А Бугай разделся, помолился перед образом, стоявшим в переднем углу его необыкновенно чистой и аккуратно прибранной комнаты, и лег на свою узенькую койку...

Но долго еще заснуть не мог и несколько раз подходил к раскрытому окну, взглядывал в темноту ночи и прислушивался.

Поздно вечером Корнилов вернулся в Севастополь от Меншикова, который остановился на реке Каче. По словам историка Крымской войны[10], «Корнилов прежде всего распорядился о размещении по госпиталям и лазаретам раненых, прибывающих с поля сражения. На северной стороне рейда ожидали их шлюпки для переправы через бухту, а на пристанях южного берега стояли люди с носилками. Вся дорога вплоть до госпиталя и казарм, назначенных для приема раненых, была освещена факелами. И всю ночь тянулись по ней мрачные тени, говорившие о наших поте-

рях».

И всю ночь в Севастополе шла работа.

Тысяча двести человек рабочих, матросов и добровольцев усиленно укрепляли, под руководством Тотлебена\*, северное укрепление на Северной стороне, которое должно было защищать город, если бы сюда бросился неприятель... А встретить нападение шестидесятитысячной армии приходилось всего десяти тысячам матросов и солдат.

Корнилов знал, что эта защита — верная смерть, но решил умереть. Он взял на себя оборону Северной стороны, а Нахимов с тремя тысячами матросов должен был защищать самый город.

Работали всю ночь и на оборонительной линии.

Как только союзники высадились и Меншиков ушел с армией на позицию к Альме, адмирал Корнилов стал распорядителем защиты. И новые батареи и укрепления повсюду, откуда можно было ждать неприятеля, вырастали благодаря Тотлебену словно бы чудом в несколько дней.

В городе кипела необыкновенная деятель-

ность все дни и ночи.

Работы в порту были прекращены; мастеровые и арестанты принялись за постройку укреплений.

Все рабочее, какие только были под рукою, писаря, вахтера, музыканты, певчие были назначены на работу, но всех их было не более восьмисот человек. Жители города сами спешили туда, где строились укрепления и устраивались преграды неприятелю.

«Телеги, лошади и волы, тачки и носилки, принадлежащие частным лицам, по доброй воле, без требования, употреблены были для перевозки и переноски различных предметов. Полиция, обходя дома, звала обывателей на работу, но, случалось, долго стучалась в двери, чтобы услышать от ребенка, что отец и мать давно ушли туда без всякого приглашения. Таких работников разного звания, пола и возраста собралось около пяти тысяч человек».

Была и такая батарея, которая была насыпана только одними женщинами. Батарея эта до конца осады Севастополя сохранила название «девичьей»...

Тревожная ночь прошла.

### III

Утром в городе было известно, что Меншиков накануне ночью приезжал и что разбитая армия после ночевки на Каче придет вечером, девятого сентября, к Южной стороне Севастополя.

Но эти вести не были утешительны. Рассказывали, что Меншиков немедленно же уйдет с армией к Бахчисараю, чтобы обойти союзников и соединиться с войсками, идущими из России.

Севастополь, с его портом и флотом, оставался на произвол неприятеля.

Утром, девятого сентября, Корнилов собрал знаменитый военный совет из адмиралов и командиров. Он сказал, что ввиду возможности появления союзной армии, которая займет высоты на Северной стороне, неприятель принудит наш флот оставить настоящую позицию и затем овладеет северными укреплениями. Тогда неприятельский флот войдет в Севастополь, и самое геройское сопротивление не спасет черноморского флота от гибели и позорного плена.

И Корнилов предложил совету:

— Выйдем в море и атакуем неприятельский флот. В случае успеха мы уничтожим неприятельские корабли и лишим союзную армию продовольствия и подкрепления, а в случае неудачи сцепимся на абордаж, взорвем себя и часть неприятельского флота на воздух и умрем со славою!

Совет молчал.

Большинство не сомневалось, что этот героический план бесполезен и что, во всяком случае, если бы мы и взорвали часть неприятельского, несравненно сильнейшего и имеющего винтовые корабли, флота, то это не достигло бы цели — спасти город. Другая часть неприятельского флота, специально боевая эскадра, посланная для атаки нашего флота, могла отрезать нас или вместе с нами ворваться в Севастополь. И тогда гибель нашего флота все-таки не спасла бы города.

Среди моряков мысль — преградить вход неприятельскому флоту на севастопольский рейд и запереть свои корабли — обсуждалась уже со дня высадки неприятеля.

Но ввиду такого предложения, щекотливо-

го для моряков, уже не раз показавших, что они не боятся смерти, когда она нужна, — да еще сделанного таким уважаемым и любимым вождем, как Корнилов, — долгое время продолжалось молчание.

Никто не решался сказать то, что по совести считал необходимым. Никто не смел предложить своими руками потопить те самые корабли, которые были для них так дороги и близки, признав их бессилие, и отказаться от звания моряка, которым так гордились черноморцы.

Умное, энергичное и бледное лицо Корнилова, казалось, сделалось еще бледнее и серьезнее. Его тонкие губы вздрагивали.

Молчал и он, понимая, что молчание совета говорит о несогласии подчиненных, которых он хорошо знал как мужественных и храбрых ревнителей долга.

Так прошло несколько длинных, томительных минут.

Все-таки никто не высказал воистину гениальной общей мысли, которая на время и спасла Севастополь.

Наконец поднялся курчавый, черноволо-

рый, пожилой капитан, с привлекательным, но некрасивым, рябым лицом и блестящими глазами.

Это был известный лихой моряк, побывавший в молодости в плену у черкесов после схватки с ними, известный неустрашимостью и веселым характером моряк, капитан первого ранга Зорин.

Он взволнованно громко сказал, обращаясь к совету:

— Хотя я не прочь вместе с другими выйти в море, вступить в неравную битву и искать счастья или славной смерти, но я смею предложить другой способ защиты: заградить рейд потоплением нескольких кораблей, выйти всем на берег и защищать с оружием в руках свое пепелище до последней капли крови[11].

Корнилов не соглашался. Тогда поднялись громкие разговоры. Большинство совета все-таки соглашалось с предложением Зорина.

Но Корнилов упорствовал.

Вдруг ему доложили, что Меншиков приехал в Севастополь и находится на одной из батарей на Северной стороне.

Корнилов распустил совет, приказал быть готовыми к выходу в море и уехал к главнокомандующему.

Адмирал доложил князю, что он не согласен с мнением совета, и объявил, что выйдет в море.

Меншиков же вполне согласился с советом и приказал затопить корабли на фарватере.

— Я не могу исполнить приказания вашей светлости!

— Ну, так уезжайте в Николаев, к своему месту службы, как начальник штаба черноморского флота и портов! — резко сказал главнокомандующий.

И с этими словами приказал своему ординарцу попросить к себе командира севастопольского порта.

— Остановитесь! — воскликнул Корнилов. — Это самоубийство... то, к чему вы меня принуждаете... Но чтобы я оставил Севастополь, окруженный неприятелем, невозможно! Я готов повиноваться вам!

И через пять дней корабли были затоплены\*.

День девятого сентября был для севасто-

польцев жутким. Все ждали неприятеля... Все работали, воздвигая укрепления... Корнилов был везде.

К вечеру собрались под Севастополем, на так называемом Куликовом поле, наши войска и расположились бивуаком. Меншиков ни с кем не совещался. Видимо, никому не доверяя, сидел он в маленьком домике, угрюмый, раздраженный, разглядывая карту Крыма, и погруженный в мрачные думы.

Одиннадцатого сентября он отдал приказ, которым возложил оборону всей северной части Севастополя на Корнилова, а заведование морскими командами, назначенными для защиты южной части, — на Нахимова.

Разумеется, князь не сомневался, что, несмотря на геройство Корнилова с его десятью тысячами моряков и двумя батальонами пехоты, несмотря на геройство Нахимова с тремя тысячами моряков, — Севастополь обречен на гибель, если союзники догадаются идти на Севастополь.

И Меншиков торопился уйти от союзной армии и соединиться с подкреплениями, чтобы спасти весь Крым и взять Севастополь об-

ратно, если его неприятель уже возьмет.

Никто в точности не знал его намерений. Все знали только, что главнокомандующий бросает Севастополь ввиду неприятеля, и в эти дни князя Меншикова называли «Изменщиковым».

Даже рассказывали, что светлейший продал Севастополь английскому главнокомандующему лорду Раглану\*. Рассказывали, будто бы союзники посылали к Меншикову с предложением, чтобы город сдался и ключи были посланы в главную квартиру, и на это князь отвечал: «Ключи я потерял под Альмой, а Севастополь брать вам не мешаю»...

«И взял да и ушел ночью в Бахчисарай!» — прибавляли в Севастополе.

#### IV

В эту памятную ночь разбитые войска Меншикова не долго спали под Севастополем на бивуаках на Куликовом поле. Надо было во что бы то ни было скрыться от неприятеля, как скрывается от охотника затравленный, обессиленный зверь, чтобылизать раны и удрать под его носом. Обоз был раньше послан по боковой дороге к Симферополю, в об-

ход союзников.

В маленьком домике, закрытом деревьями, сидел за деревянным столом главнокомандующий, задумавший свое смелое фланговое движение.

Это был высокий, худой, болезненный на вид старик, с коротко стриженной седой головой, с темными пронизательными глазами, от взгляда которого веяло холодом, надменностью и умом. Его бледно-желтое лицо то и дело морщилось, и губы складывались в гримасу, точно он испытывал какую-то боль.

Он был в пальто с генерал-адъютантскими погонами. Один в комнате сидел он за столом и писал письмо императору Николаю Первому, которого был любимцем. Откровенно писал о своем поражении, напоминая, что давно уже просил сильного подкрепления войсками и способными генералами, и просил сменить его более достойным главнокомандующим.

Затем он писал еще письма и, когда кончил, выпрямился и поднял голову и, казалось, стал еще надменнее и сумрачнее.

Тихим, слегка гнусавым голосом он проговорил:

— Полковник!

Из соседней комнаты вышел полковник, исполнявший в то время обязанности исправляющего начальника штаба и интенданта.

— В полночь уходим на Симферополь... Маршрут всем начальникам известен. Проводники есть?

— Точно так, ваша светлость!

— Штаб не напутал, по своему обыкновению? — с насмешливой, презрительной улыбкой промолвил князь.

— Никак нет, ваша светлость! — докладывал полковник, моргая своими бегающими глазами.

— Ступай и поезжай снова сказать корпусным командирам, что в полночь выступать... И как можно тише... И позови ко мне...

Он минуту подумал и сказал:

— Позови дежурных адъютанта и ординарца...

Начальник штаба был рад, что князь, языка которого все боялись, не очень сердит на своего приближенного и не выгонит его из армии, а оставит его интендантом.

Это было выгодно и вполне безопасно, тем

более что в те времена солдаты не смели жаловаться начальству, которое часто само было сообщником интендантов и вместе с ними обирало солдат.

Надменный князь почти никогда и не показывался войскам и словно бы презирал солдат, не обмолвливаясь с ними ни одним словом и даже не здороваясь. Нечего и говорить, что он не входил в положение и нужды солдат и был нелюбимым и чужим главнокомандующим, не внушавшим даже веры в свои боевые способности и мужество.

И только в утро Альминского поражения, — вину которого все, конечно, сваливали на князя Меншикова, — он, хладнокровный, со своей насмешливо-презрительной усмешкой старого скептика и царедворца, не верующего ни в бога ни в черта, ездил шагом перед войсками, не обращая внимания на снаряды и на пули. И потом, бледный и задыхавшийся от бешенства, он напрасно останавливал, потрясая нагайкой, бегущих солдат и бранил отборной бранью генералов и офицеров, бежавших вместе с другими.

Полковник, казалось, уже избавившийся

на сегодня от ядовитых замечаний уставшего и раздраженного старика, блестящая карьера которого, и административная и военная — он прославился взятием Анапы\* в турецкую войну 1829 года, — омрачилась таким поражением, повернулся, чтобы уйти и исполнить приказания старика.

Но он, движением своей длинной, желтоватой и худой руки, остановил своего подчиненного «на все руки», как звал его в среде штабных главнокомандующий.

Старик, казалось, еще более сморщился, и тонкие его губы, над которыми вздрагивали седые короткие усы, казалось, искривились, когда он поднял глаза на почтительно склонившегося полковника и спросил:

— Накормлены ли солдаты? В исправности ли обоз?

— Солдатики отлично накормлены. На первой же стоянке им будет горячая пища, ваша светлость! — с уверенной хвастливостью ответил полковник. — Обоз в порядке, ваша светлость! — прибавил он и щелкнул почему-то шпорами.

Старик секунду-другую всматривался в

красивое, оживленное и почтительно озабоченное лицо полковника своими пронизывающими, холодными и злыми глазами и вдруг чуть слышно спросил:

— И ты не обкрадываешь солдат?

В презрительном тоне главнокомандующего слышалась почти уверенность в том, что интендант обкрадывает солдат.

Недаром же он слышал сегодня, как солдаты говорили о червивых сухарях.

Полковник побледнел и растерялся от такого неожиданного вопроса.

Но в следующую же секунду он справился с волнением испуга. С умением отличного актера прикинулся он невинно обиженным человеком и вздрагивающим голосом «со слезой» проговорил:

— Ваша светлость! Осмелюсь доложить, что я помню присягу и долг чести. Мне дорог солдат, ваша светлость... И его обкрадывать?!

Кажется, князь не только не поверил этим несколько театральным словам и театральной обидчивости полковника, но только убедился в их лживости.

И обыкновенно сдержанный, высокомер-

ный и холодно любезный, главнокомандующий словно бы отдался во власть внезапно охватившего его бешеного гнева и с дрожащими челюстями и загоревшимся взглядом почти прохрипел:

— Если солдаты будут получать гнилье и будут голодны, — надену на тебя арестантскую куртку... Не забудь...

С этими словами князь указал на двери.

— Наш старик сегодня не в духе! — стараюсь казаться развязным и веселым, проговорил полковник, обращаясь к нескольким офицерам штаба, сидевшим и дремавшим в соседней комнате.

И велел казаку подать свою лошадь.

Вошедшему адъютанту главнокомандующий, значительно уже отошедший, вручил конверт и с любезной насмешливостью проговорил:

— Даю тебе случай повидать невесту... Поезжай в Петербург и отдай письмо в собственные руки государю...

— Слушаю, ваша светлость! — ответил молодой высокий блондин.

— Не думаю, чтобы тебя сделали фли-

гель-адъютантом за эти вести! — грустно усмехнувшись, продолжал старик. — Если государю будет угодно спросить о том, что здесь, расскажи, что видел... Можешь побранить и меня. Скажи, что я ухожу, и доложи его величеству, где встретишь дивизии у Дуная... Поедешь в Симферополь через Ялту... По этой дороге не попадешь к ужину к неприятелю... Лучше поужинай в Севастополе и немедленно на фельдъегерской тройке... С богом, любезный барон!

И князь протянул свою тонкую, костлявую руку.

Ординарца, молодого гвардейского офицера, приехавшего из Петербурга и немедленно прикомандированного к штабу, светлейший послал с письмом к главнокомандующему дунайской армией князю Горчакову\*, о скорейшей высылке двух дивизий.

— Ты, конечно, приехал сюда, рассчитывая, что в первое же сражение свершишь подвиг и получишь георгия... А вместо этого — поскорей будь у Горчакова... Попроси у него ответ и скорей возвращайся... Тогда, быть может, и Георгий от тебя не уйдет!

Разумеется, и молодому офицеру было приказано ехать через Ялту.

Отправивши двух курьеров, старик достал карту Крыма и особенно внимательно рассматривал дороги, окружающие Севастополь, и через несколько минут позвонил.

Вошел старый камердинер.

— Позови ко мне фельдъегеря Иванова и подай, братец, мне чаю.

Явился коренастый, маленький фельдъегерь, и тотчас же старый камердинер подал чай, лимон, сухари и вышел.

— Ты, Иванов, сообразительный человек?

— Не могу знать, ваша светлость! — зычным голосом ответил, несколько выкачивая большие круглые глаза, коренастый фельдъегерь, казалось, никогда не думавший о том: сообразительный ли он человек, или нет.

Старик поморщился.

— Не кричи, Иванов...

— Слушаю-с, ваша светлость! — совсем тихо промолвил фельдъегерь.

— Вот видишь: ты — сообразительный человек. Так и знай... Так слушай, и чтобы ни одна душа не знала о моем приказании. Полу-

чишь от меня бумаги, адресованные в Петербург... Сию минуту сядешь на тройку и поедешь так, чтобы попасться к неприятелю и тебя взяли в плен... Понял?

— Понял, ваша светлость... Поеду, значит, будто заблудился ночью...

— Ты, братец, совсем сообразительный человек! — промолвил главнокомандующий, и по его усталому лицу скользнула улыбка. — И за это я произведу тебя в офицеры и дам денежную награду... Семья есть?

— Жена и трое детей, ваша светлость!

— Что бы ни случилось, они теперь же будут награждены за твой подвиг... Понял, что надо, чтобы неприятель перехватил бумаги?

— Точно так, ваша светлость... И в бумагах, значит, написано для отвода глаз, ваша светлость.

— Молодец, Иванов!.. Ты получишь георгия... Я не забуду тебя... Получи в канцелярии прогоны и подорожную до Петербурга и вот тебе...

Скуповатый князь дал пять золотых и прибавил:

— Надеюсь, хорошо исполнишь поруче-

ние. Через час будешь в плену... и тебя немедленно приведут к генералу... На допросе говори, что наша армия в Севастополе и что там пятьдесят тысяч... Говори, что на Северной стороне много батарей... А то говори, что ничего не знаешь...

— Только, мол, приехал из Петербурга. В точности исполню, ваша светлость! Приму смерть, ежели придется, уверенный, что сироты не пропадут без отца...

— Зачем такому молодцу умирать... Только будешь в плену... А как будет мир, вернешься офицером и с Георгием... С богом!

Через пять минут фельдъегерь Иванов сел на перекладную, перекрестился, велел ямщику ехать на Северную сторону и затем по боковой дороге рядом с большой.

— А если француз, ваше благородие?

— Проскочим... Темнота! — отвечал фельдъегерь Иванов.

И снова крестился, почти не сомневаясь, что едет на верную смерть.

## V

Предпринимая свое фланговое движение, князь Меншиков не сделал никакого распоря-

жения, не отдал ни приказа, ни приказание по войскам. Все делалось на словах. И потому только слепое счастье избавило армию Меншикова от истребления.

В ночь на двенадцатое сентября двинулась его армия.

Баталионы шли скорым шагом не по дороге, а «воробьиным путем», как говорили солдаты. Разговор был шепотом. Трубок не велено было курить. Полки за полками подымались на Мекензиеву гору. Дорога оставлена была для артиллерии и обозов, а солдаты шли целиком по каменистому грунту, покрытому терновым и кизиловым кустарником. Шли дубняком, шли лесом, карабкались на высоты и делали привал. Путь был трудный, утомительный. Запрещали даже шептать и приказывали мягче ступать на землю ногами.

Не зная дорог и не имея карты окрестной местности, войска блуждали, сбивались с пути... На Мекензиевых высотах в лесу попались навстречу английские разъезды. «Неприятель вежливо посторонился и дал русским дорогу».

До рассвета ни русские, ни союзники не

подозревали, что их разделяет только темная ночь и что они находятся так близко друг возле друга.

С рассветом дело объяснилось.

Все три главнокомандующие с удивлением заметили, что они, по выражению Нахимова, «играли в жмурки и обменялись позициями»: мы шли с юга на север, а союзники почему-то побоялись брать Севастополь с севера, шли с севера на юг.

Но опять бездарность главнокомандующих союзных войск спасла нашу армию, которая настолько ушла вперед, что уже не могла быть атакована неприятелем.

В Севастополе вздохнули, когда с возвышенностей увидели длинную синюю ленту французов, направляющихся в обход Севастополя на Южную сторону, и скоро было видно, что неприятель не решится немедленно штурмовать город.

И каждый день нерешительности союзников давал севастопольцам возможность усиливать оборону города, совсем плохо укрепленного, несмотря на то, что и в Петербурге, и князь Меншиков уже давно знали о готовя-

щемся нападении на Севастополь. И будь главнокомандующие союзников решительнее и лучше осведомлены о слабости укреплений и на Южной стороне, они могли бы легко войти в Севастополь с распущенными знаменами.

Но город не терял надежды защищаться, хотя Меншиков и бросил Севастополь.

Но союзники ничего не предпринимали в ожидании перехода их флота к Балаклаве и выгрузки осадных орудий. А в это время благодаря энергии и находчивости Корнилова, одушевлявшего всех, на Южной стороне выростали батареи. В две недели было сделано то, чего не подумали сделать за несколько месяцев раньше.

По-видимому, никто не рассчитывал, что наша плохо вооруженная армия будет так разбита, несмотря на отвагу и храбрость солдат. По-видимому, не думали, что князь Меншиков, вельможа и умница, не имел способностей военачальника.

В то время все в Севастополе видели в Корнилове того единственного, решительного, необыкновенно талантливое и мужествен-

ного человека, который мог спасти Севастополь. И севастопольцы еще лихорадочнее укрепляли родной город и не теряли надежды защитить его, хотя Меншиков и бросил Севастополь.

В течение десяти дней об армии не было ни слуха ни духа. Меншиков не знал, что с Севастополем, где неприятельская армия. Он точно скрывался.

А Корнилов, одетый в блестящую генерал-адъютантскую форму, окруженный свитой, объезжал вдоль всей оборонительной линии, приветствуемый громкими криками матросов и солдат.

И он остановился и сказал войскам:

— Царь надеется, что мы отстоим Севастополь. Да нам и некуда отступать: позади море, впереди — неприятель. Князь Меншиков обманул и обошел его, и когда неприятель нас атакует, то наша армия ударит на него с тыла. Помни же, не верь отступлению. Пусть музыканты забудут играть ретираду\*. Тот изменник, кто протрубит ретираду! И если я сам прикажу отступать — коли и меня! [12]

Раздалось громкое «ура».

А матросы прибавляли:

— Умрем за родное место!

«В эти немногие дни, — говорит историк, — Корнилов, проявивший необыкновенную деятельность и добровольно принявший всю ответственность перед отечеством, был неизмеримо выше его окружающих. Это был человек, сделавшийся руководителем обороны не по старшинству, а по своим способностям и энергии. Хладнокровный в столь трудных обстоятельствах, Корнилов смотрел на дело прямыми глазами, не увлекаясь, но и не отчаиваясь».

Ободря защитников Севастополя утром пятнадцатого сентября, на другой день после рекогносцировки\* союзных главнокомандующих в ближайших окрестностях города, Корнилов в тот же вечер писал своей жене:

«Наши дела улучшаются. Инженерные работы идут успешно. Укрепляемся, сколько можем, но чего ожидать, кроме позору, с таким клочком войска, разбитого по огромной местности, при укреплениях, созданных в двухнедельное время... Если бы я знал, что это случится, то, конечно, никогда бы не согласился

затопить корабли, а лучше бы вышел дать сражение двойному числом врагу... С раннего утра осматривал войско на позиции: шесть баталионов солдат и пятнадцать морских, из матросов. Из последних четыре приобучены порядочно, а остальные и плохо вооружены, и плохо приобучены. Но что будет, то будет — других нет. Может, завтра разыграется история. Хотим биться донельзя. Вряд ли поможет это делу. Корабли и все суда готовы к затоплению. Пускай достанутся развалины Севастополя».

По счастью, союзники не думали о штурме. Они приготавливались к правильной осаде.

Севастопольцы вздохнули и ждали армии.

Меншиков между тем выжидал подкреплений и продовольствия и, сам не зная, что с Севастополем и где армия союзников, обнаруживал нерешительность и, видимо, не имел определенного плана.

Это был далеко не тот князь Александр Сергеевич Меншиков, которого знали и видели под Анапой и Варной в 1829 году. Теперь это был человек, подавленный силою обстоятельств, недоверчивый до крайности, недо-

вольный своим положением и всеми окружающими.

Но зато и Меншиковым были все недовольны. Особенно солдаты. Они чувствовали презрение вельможи и отчаянного крепостника, не понимающего солдата, выносливого, терпевшего все ужасы войны, обираемого и покорно умирающего солдата.

И он имел еще бессердечие доносить в Петербург, что солдаты дрались под Альмой дурно, тогда как они умирали в бою и должны были бежать главным образом благодаря самому главнокомандующему и генералам. А Меншиков сваливал все свои ошибки на подчиненных и на войска.

Только семнадцатого сентября князь узнал, что Северная сторона совершенно свободна, и восемнадцатого сентября он подошел к Севастополю.

Севастопольцы с радостью смотрели на подходившие войска.

С этого дня защитники видели, что их уже не горсть против армии союзников.

Как только вернулись войска и стало известно, что дорога на Симферополь свободна

и от неприятеля и от разбоев татар, часть которых перешла к неприятелю в Евпаторию, обложенную отрядом нашей кавалерии, пришедшей из России, — все семьи адмиралов, генералов, офицеров и крымских помещиков и все более или менее состоятельные жители выехали из Севастополя.

Он заметно опустел.

Оставались только военные, многие отставные матросы, рабочие и мужики. Остались матроски и солдатки, не пожелавшие оставить мужей и сыновей в опасности.

## Глава IV

### I

Оба главнокомандующие — Сант-Арно\* и лорд Раглан, едва ли способные полководцы — не сомневались, что после решительной победы под Альмой они без труда возьмут Севастополь с Южной стороны, не совсем укрепленной, как сообщали союзникам татары.

Но когда неприятельские армии, не особенно торопясь, подошли, наконец, к Севастополю и союзники увидели с высот линию укреплений, окружающих Южную сторону,

то сочли себя преднамеренно обманутыми татарами. И несколько проводников татар были повешены.

Татары, конечно, были правы, когда пять дней тому назад говорили о беззащитности Севастополя, и сделались невинными жертвами.

Действительно, в эти дни, когда Меншиков с армией был под Бахчисараем, выжидая подкреплений, а союзные армии направлялись к Южной стороне Севастополя, севастопольцы воздвигали с поражающей быстротой ряд новых укреплений, опоясывающий город на протяжении семи верст. В две ночи и один день было поставлено более ста больших орудий.

Работали севастопольцы и день и ночь: и матросы и все жители города.

По словам историка, «в земляных работах участвовали все, кто только мог: вольные мастеровые, мещане, лакеи и, словом, все свободные люди, женщины и дети. Женщины носили воду и пищу, засели за шитье мешков и кулей; дети таскали землю на укрепления».

Несмотря на быстроту сооружений оборо-

ны, немедленный штурм города, в котором было не более пятнадцати тысяч плохо вооруженных защитников, отдал бы его во власть неприятеля; большая часть севастопольцев была бы перебита, и условия мира были бы унижительнее для России.

Французский главнокомандующий Сант-Арно, желавший угодить своему императору, Наполеону Третьему, которому помогал в перевороте и в измене против республики, которой оба присягали, — этот генерал хотел после бомбардировки идти на приступ, чтоб назвать падение Севастополя «крестинами Второй империи», еще только недавно основанной...

Но Сант-Арно, уже серьезно болевший, почувствовал себя безнадежным в тот самый день, как привел свою армию к Севастополю. Главнокомандующий принужден был сдать армию и уехал, чтоб умереть по дороге в Константинополь.

Новый главнокомандующий французской армии Канробер\* и лорд Раглан, главнокомандующий английскими войсками, колебались, и прошло несколько дней, пока они совеща-

лись о том, что делать: штурмовать Севастополь или вести правильную осаду.

Нечего и говорить, что отъезд Сант-Арно и каждый день нерешительности и промедления главнокомандующих были на руку севастопольцам.

Они усиливали оборону, улучшали укрепления и к четырнадцатому сентября на оборонительной линии могли поставить уже сто семьдесят два орудия.

Прошла еще неделя, когда союзники приступили к осадным работам. И в эти дни русские говорили:

— Союзники пришли полюбоваться Севастополем нашим.

— Видно, ждут, чтобы Меншиков атаковал их, как вернется с подкреплениями.

Меншиков хоть и вернулся, но не смел и думать об атаке. Пока подкреплений было очень мало, и главнокомандующий мог усилить севастопольский гарнизон войсками. В лагере, на Северной стороне, у Меншикова оставалось только двадцать тысяч солдат.

«Была в его распоряжении только что прибывшая в Крым кавалерийская дивизия. Но

она была поставлена около Евпатории для наблюдения за турецким корпусом, укрепившимся в этом городе, для охранения наших сообщений с Россией и для успокоения края. Татары на полуострове волновались и разбежались из селений».

Пользуясь отсутствием жителей, войска наши были полными хозяевами деревень и совершенно разорили все окрестное население. Главная часть богатства, домашний скот, был отогнан, другой — взят войсками. Грабили не только татар, но и русских помещиков в Крыму.

Безжалостное разорение татар оправдывалось тем, что они изменники оттого, что разбежались, и, следовательно, их нечего жалеть.

Но одно официальное сообщение того времени взывало к жалости.

Вот что доносил главнокомандующему доблестный майор Гангардт, имевший по тому времени большое гражданское мужество — говорить правду:

«Татары Евпаторийского уезда, без сомнения, сами навлекли на себя те бедствия, кото-

рые теперь испытывают. Но, рассмотрев все обстоятельства, сопровождавшие быстрое подчинение целого уезда власти неприятеля, нельзя не сознаться, что мы сами виноваты, бросив внезапно это племя, — которое, по религии и происхождению, не может иметь к нам симпатии, — без всякой военной и гражданской защиты от влияния образовавшейся шайки фанатиков. Надобно удивляться, что врожденная склонность татар к грабежам не увлекла толпу в убийства и к дальнейшему возмущению в прочих местах Крыма, долго оставшихся без войск. Я убежден, что изыскания серьезного следствия докажут, что в татарском народе далеко нет того духа для измены, какой в нем предполагают, и потому следовало бы принять решительные меры, чтобы жалкое население многих деревень Евпаторийского уезда, разбежавшееся от страха, что казаки их перережут, и лишившееся через то всего своего имущества, не погибло от голода и стужи с приближением суровой зимы».[13]

## II

В первую ночь на новоселье у «дядьки»

Маркушка спал отлично. И ему снились те чудные сновидения, которые часто балуют людей, испытывающих наяву тяжелое горе.

Мать Маркушки, веселая, здоровая, с добрыми глазами, была около. Она говорила ласковые слова своему любимцу и гладила его кудрявую голову.

И Маркушка во сне счастливо улыбался.

Бугай, по обыкновению рано вставший, уже выходил на улицу, полюбовался чудным ранним утром, еще дышавшим свежестью, посмотрел на любимый им Севастополь с его глубокими бухтами, над которым солнце тихо поднималось по бирюзовому небу, помолвился и пошел за бубликами к старому своему приятелю, татарину-булочнику Ахмету.

— Что, брат Ахметка? — промолвил Бугай, пожимая руку татарина.

— Думал: они ночью придут!

— Видно, бог лишил рассудка француза и гличанина. Не пришли.

— Придут, Бугай.

— Встретим, Ахметка!

— Аллаху все известно.

— А ты, Ахметка, чего не уходишь?

— Куда уходить?

— К турке... Сказывают, ваши бунтуют...

— Испугались русских и бунтуют. Русский не понимает татар, какие они народ... А мне зачем уходить?.. Привык здесь. В Байдар отцы жили, и я умру там, если аллах дозволит... Под султаном земли не дадут... Там скорей человеку секим-башка.

— То-то оно и есть... Живи, братец ты мой, на своем месте. Ты, Ахметка, с рассудком. А у бога все люди равны! — неожиданно прибавил Бугай.

— На сколько тебе бубликов, Бугай?

— Давай на две. У меня постоялец — Маркушка.

— Хороший Маркушка! — сказал татарин.

Бугай взял бублики и пошел домой.

С кораблей и с ближайших батарей донесся звон колоколов, отбивавших две склянки — пять часов утра. Город еще спал, но вокруг слышался гул работы. Слободка поднималась. Из хат выходили мужчины и женщины, направляясь к окраине города. У многих были ломы и лопаты. У баб — мешки. Все топились.

Старик яличник спросил знакомого отставного матроса:

— Где батареи работаешь?

— Около четвертого баксиона. Отсюда ближе! — на ходу ответил старый матрос, слегка прихрамывая на одну ногу, давно переломанную на корабле, когда сорвался с реи и упал на палубу.

— Как он придет — увидит, как встретим! — хвастливо проговорил какой-то подросток.

— И матроски пригодятся, дедушка. Подсыпем земли! — смеясь, проговорила молодая женщина.

— И Севастополя, дедушка, не отдадим! — возбужденно воскликнула другая.

— Молодецкие внучки и есть! — ответил Бугай.

Он вошел к себе, заварил чай и только тогда разбудил своего маленького приятеля.

Маркушка быстро оделся и вместе с «дяденькой» стал пить чай.

Мимо открытого окна проходили люди.

И Маркушка спросил:

— Это куда наши идут, дяденька?..

— На работу... Помогать строить батареи, Маркушка...

— Пустите, дяденька, и меня к тятке на баксион... Приказал проведать...

— Сходи...

— Может, дозволите и подсобить на стройке батарей... А вечером на ялик, дяденька...

Бугай ласково посмотрел на мальчика и сказал:

— Вместе пойдем.

— Куда?

— Туда, куда люди пошли...

— А как же с яликом?

— Ты молодца... Сердце-то подсказало, что там, — и старый матрос указал пальцем по направлению к бульвару, — мы с тобой нужнее, чем на ялике... Не торопись... выпей еще стакан... Бублики ешь.

Через пять минут яличник и его маленький подручный уже шли на пристань, и Бугай предложил нанятому им на ночь человеку остаться на день, а то и на два или три...

— А ты?

— Мы с Маркушкой землю копать... А у тебя ноги больные... Сиди на шлюпке да гребь,

пока мы не придем... Так, что ли?..

Дело было слажено, и Бугай с Маркушкой пошли.

— На рынок зайдём, Маркушка. Как зашашабашат на работе — будем с обедом.

Рынок, расположенный у Артиллерийской бухты, был менее оживлен, чем бывал обыкновенно в ранние часы утра. Но все-таки толкались толпа покупателей и покупательниц; среди говора выделялись громкие голоса торговков.

На небольшой площади рынка стояли маленькие лавчонки, палатки, ларьки и столики. Висели туши быков, свиней и баранов. Повсюду кучи овощей; высились горы арбузов, дынь, и стояли корзины с фруктами. У самого берега продавали свежую камбалу, султанку и бычков. Там же можно было купить устрицы и мидии. А в стороне валялась любимая народная вяленая тарань.

Бугай купил хлеба и соли, огурцов, кусок ветчины, несколько арбузов, две бутылки кваса и на копейку леденцов, все уложил в кулек и сказал:

— Ловко пообедаем, Маркушка... Валим!

Они свернули на Екатерининскую (большую) улицу. Середина ее была запружена матросами, которые тащили большие орудия. То и дело на тротуарах попадались раненые солдаты. Изредка проезжали татары верхами.

Окна большей части домов были закрыты ставнями.

— Нахимов небось встал! — промолвил Бугай, указывая на раскрытые окна в квартире адмирала. — И Корнилов, может, и ночь не спал... в заботах... А есть которые начальники и дрыхнут... Ну, да Корнилов их разбудит... Он сонь и лодырей обескуражит... Не таковский!

Мимо проехал шибкой рысью высокий молодой полковник в белой фуражке, с перекинутым через плечо тонким ремнем, на котором болтались длинный круглый футляр и подозрная труба.

— А это анжинер Тотлебев! — сказал Бугай, переиначивая фамилию Тотлебена. — Сказывают: скорый и башка по своей части... Всем стройкам начальник... До его не знали, как приступить, а как приехал с Дуная — закипела работа... Поедет за город, оглядит кругом и

тую же минуту: «Здесь, мол, стройте баксион. Здесь батарея. Здесь, мол, насыпай потолще вал»... И так, Маркушка, вокруг города объезжал... А на эти дела Тотлебеv, я тебе скажу, собака и глаз... Наскрозь видит...

— А что у него сзади болтается, дяденька? — спросил любознательный мальчик.

— Труба подзорная... Знаешь?

— Знаю.

— И планты.

— Какие планты?

— Нарисовано, значит, как строить. Дал плант офицеру и... понимай. А прекословить не смей... Сказывали люди, что в ем большая амбиция... Ему одному, значит, чтобы все уважение. И без его чтобы никто не касался...

— И строгий, дяденька?

— Строгий... Однако не зудит, даром что из немцев... Немец, Маркушка, завсегда донимает словами... На то и немец... Любит, чтобы по порядку вымотать душу... Был у нас на «Тартарарахах» (корабль «Три иерарха») старшим офицером один такой немец... В тоску ввел... Спасибо Нахимову... бригадным тогда был... Ослобонил матросов... «Переводись, говорит,

немец, в Кронштадт... А у нас, говорит, в Черном море, немцу не вод».

Скоро Бугай и Маркушка вошли на большой бульвар, на окраине города, на горке, заканчивающейся обрывом... Внизу синелась Корабельная бухта. На другой стороне бухты высились доки, слободки, и за ними белела башня над Малаховым курганом.

Бульвар лишился деревьев. Они были срублены. На конце бульвара уже стояла батарея...

Впереди бульвара почти был готов четвертый бастион; из амбразур чернели орудия. Вся местность вокруг была полна рабочими, рывшими и насыпавшими новые укрепления...

Бугай и Маркушка вошли в бастион.

Занятые работой матросы не обратили на пришедших внимания. Офицеры были тут же и наблюдали за работами.

Все работали быстро и возбужденно, видимо стараясь скорей привести свой бастион в боевую готовность и в такой порядок, к какому привыкли на своих кораблях. И чувствовалось, что у всех уже есть что-то любовное к

своему бастиону, какое бывает у хозяйственных людей, устраивающих свои жилища на долгое время.

— Гляди, Маркушка! — проговорил Бугай, указывая на большие корабельные пушки, дула которых смотрели в амбразуры, прорезанные в вале, за которым мог скрываться человек от пуль. — Из эстих самых и будем встречать гостей орехами. А где, братцы, тут Игнат Ткаченко? — обратился Бугай к ближним матросам.

Маркушка уже увидал отца у последнего орудия, в конце бастиона, и побежал к нему.

Он обкладывал фашинником «щеки» амбразуры\*, вполголоса мурлыкая какую-то песенку.

— Здравствуйте, тятенька! — проговорил мальчик.

Отец поднял голову, и по его лицу пробежала радостная улыбка.

— Здравствуй, Маркушка... И дурак же ты... В шабаш приходи! — воркнул Ткаченко.

Однако бросил работу, пожал руку сына и торопливо промолвил:

— Видишь, спешка... Где живешь?

— У дяденьки Бугая... В рулевых...

— В кису не накладывал тебе?.. — с ласковой шутливостью спросил матрос.

— Не накладывал...

— Не за что... Твой Маркушка молодец! — промолвил подошедший Бугай.

— Зачем, Бугай, не на ялике?

— Сюда работать пришли... И Маркушка пожелал...

— Правильно, Маркушка. Потрудись за Севастополь!.. А пока лясничать некогда... Не похвалят и меня и тебя, дедушку с внуком... Начистит зубы батарейный... У нас и на баксионе, как на корабле...

С этими словами Ткаченко принялся за работу у амбразуры.

— А ты, Игнашка, комендором? — спросил Бугай.

— Комендор.

— Смотри, шигани его!

— Шигану... Только приходи!

— Пообедаем с Маркушкой и зайдем...

— То-то зайди, братцы... А за Маркушку спасибо, Бугай... Сирота ведь!

— Форменный рулевой... Ну, валим, Мар-

кушка. Тятку повидал и на работу!

Через несколько минут наши добровольцы были уже за бастионом, где шла работа.

Каждый из них получил по лопате, встали в длинный ряд рабочих и принялись рыть землю.

Бугай и Маркушка работали изо всех сил, сосредоточенно и молча. Маркушка увидел, что не один он был такой мальчишка. Он заметил, что среди вольных рабочих были и приятели-мальчишки, и знакомые девочки, и матроски из слободки.

И Маркушка ожесточеннее рыл каменистую землю.

Вдруг в первых рядах раздалось «ура» и подхватило следующие рядами. Закричали «ура» Маркушка и Бугай и сняли шапки.

В нескольких шагах остановился на лошади высокий, сухощавый, слегка сторбленный Корнилов.

Еще громче кричали «ура».

Серьезное и умное лицо Корнилова, бледное и утомленное, дышало энергией и решимостью. Усмешка играла на его тонких губах.

Он махнул рукой. Все смолкли.

— Спасибо, братцы! — проговорил он, повышая голос. — К вечеру вы и батарею поставите. Уверен... И врага не пустим в Севастополь! — прибавил адмирал.

— Не пустим! — раздался в ответ восторженный крик.

— Еще бы пустить с такими молодцами! — крикнул Корнилов.

Он хотел было ехать дальше, как заметил старика Бугая.

И припомнил лихого марсового и отчаянного пьяницу на корабле «Двенадцать апостолов», которым Корнилов прежде командовал.

— Кажется, старый знакомый... Бугай? — спросил адмирал.

— Точно так, Владимир Алексеич! — отвечал старик, обрадованный, что Корнилов не забыл прежнего фор-марсового.

— Чем занимаешься?

— Яличник, Владимир Алексеич!

— Вижу — прежний молодец. Спасибо, что здесь, Бугай!

И адмирал кивнул головой и поехал шагом дальше, сопровождаемый адъютантом.

«Ура» пронеслось еще раскатистее. И словно бы стараясь оправдать уверенность Корнилова, рабочие, казалось, еще ретивее и быстрее продолжали работу... И насыпи батарей поднимались все выше и выше.

— Небось вспомнил марсового! — промолвил про себя Бугай, наваливаясь со всех сил на лопату.

А после слов Корнилова Маркушка, казалось, чувствовал себя необыкновенно сильным и уверенным, что врага не пустим.

— Ведь не пустим, дяденька?

— Не пустим, Маркушка!.. Да не наваливайся так... Полегче... Надорвешься, Маркушка!..

Палящее солнце уже было высоко. Жара была отчаянная. Рабочие обливались потом, но, казалось, не обращали на это внимания, и почти никто не делал передышки.

В одиннадцать часов прозвонили шабаш на целый час.

И много баб и детей, только что пришедших из города, уже раскладывали на черной земле принесенные ими мужьям, отцам и родственникам посуду и баклаги с обедом.

— Давай, Маркушка, и мы пообедаем. Кулек-то у нас с важным харчем... Проголодался? — спрашивал Бугай, вынимая съестное и раскладывая его на своем пальтеце.

— Не дюже, дяденька...

— Видно, уморился? Ишь весь мокрый, как пышь из воды.

— Маленько уморился... Но только передохну и шабаш... Не оконфузю Корнилова. А главная причина — жарко!

— А ты ешь, и не будет жарко... Ветчина-то вкусная с булкой... Ешь, мальчонка... И огурцы кантуй... Очень даже хорошо с сольцей...

Маркушка ел торопливо, рассчитывая воспользоваться шабашем, чтоб сбегать на бастион — посмотреть на него и проведать отца. Не отставал и Бугай и промолвил:

— Даром, что седьмой десяток, а зубы все целы! Отпей и кваску, Маркушка... Отлично!

И ветчину и огурцы они быстро прикончили...

— Теперь давай кавуны есть.

Но Маркушка деликатно отказался. Однако арбуз взял.

— Да ты что же, Маркушка?

— Тятке бы снес...

— Добер же ты, Маркушка. Однако ешь... Мы тятке и два принесем... Хватит и на нас...

После того как Маркушка съел арбуз, старый яличник подал мальчику сверток с леденцами.

— Это ты один ешь... А мы с твоим тяткой этим не занимаемся. А ты любишь?

— Очень даже... Спасибо вам, дяденька.

— Завтра опять будет тебе такая прикуска... А теперь пойдём на баксион...

Когда Бугай с Маркушкой пришли на баксион, матросы, разбившись артелями, еще сидели, поджавши ноги на земле, за баками и только что, прикончив щи, выпрастывали мясо, разрезанное на куски. Все ели молча и истово, не обгоняя друг друга, чтобы каждому досталось крошево поровну.

— Чего раньше не пришли? — спросил Ткаченко. — Скусные были шти... А теперь присаживайся, Бугай и Маркушка... Хватит и на вас.

— Присаживайся! — поддержали и другие обедавшие.

— Сыты, матросики... Обедали... Может,

Маркушка хочет...

Не захотел и Маркушка и, подавая отцу два арбуза, промолвил:

— Это вам... Дяденька позволил.

— А надоумил принести тебе, Ткаченко, твой Маркушка, — вставил Бугай.

— Ты? — спросил Ткаченко.

— Я, тятенька! — ответил мальчик.

— Молодца... Отца угостил...

И все похвалили Маркушку.

— У меня карбованец есть для вас! — неожиданно произнес Маркушка, обращаясь к отцу.

И, доставши из кармана штанов серебряный рубль, подал его отцу.

— Откуда карбованец? — строго спросил черномазый матрос и нахмурил брови.

— Сам Нахимов дал! — горделиво объявил Маркушка.

— Павел Степаныч! — воскликнул Ткаченко. — Да как же ты с Павлом Степанычем говорил?

Маркушка рассказал, как он «доходил» до Нахимова, и отец, видимо довольный своим сыном, сказал:

— Провористый же ты, Маркушка... Мальчонко, а отчаянный... Никого не боится... А ежели к Менцику... дойдешь? — шутил Ткаченко.

— Дойду.

— А если Менщик велит тебя сказнить?

— За что?

— А так. Велит сказнить и... шабаш!

— Сбегу от него и прямо к Нахимову... Так, мол, и так... Как он решит...

Матросы смеялись.

Когда убрали бак, Ткаченко разрезал два арбуза на десять частей, и вся артель съела по куску; затем все разошлись и кое-где прилегали заснуть до боцманского свистка.

Ткаченко поговорил несколько минут со своим приятелем Бугаем и с Маркушкой, и скоро матроса потянуло ко сну.

И он прилег около орудия.

Захотелось соснуть после обеда и Бугаю.

И он сказал Маркушке:

— Валим домой... на стройку батареи... Там я сосну, и ты отдохни... И твой тятка хочет спать...

— Это Бугай верно говорит. Через склянку

разбудят...

Маркушка просил остаться. Он не помешает отцу. Он ходит здесь и посмотрит, как на «баксионе».

— Очень занятно. Дозвольте, тятенька!

— Ну что ж... Погляди... Ишь любопытная егоза! Да смотри не опоздай на работу, землекоп!.. Пока прощай, Маркушка! А завтра приходи к обеду.

— Не опоздаю... завтра прибегу в обед! — проговорил Маркушка.

И, засунув в рот два последние леденца, пошел по бастиону и разглядывал все, что его интересовало.

А смышленного мальчика интересовало все.

Когда Маркушка отошел, Ткаченко остановил Бугая и сказал:

— Все под богом ходим... Придет он, пойдет на штурм, может, и убьет, а то бондировкой убьет.

— К чему ты гнешь, Игнат?

— А к тому, чтобы поберег сироту... Маркушку, пока он войдет в понятие.

— Он и теперь в понятии... И будь споко-

ен... Маркушку поберегу.

— Спасибо, Бугай!

— Пока прощай, Игнашка.

Бугай вернулся на стройку. Там царила тишина. Усталые, все после обеда крепко спали на земле.

А Маркушка тем временем спустился вниз, обошел бастион, прошел по рву, увидел, где пороховой погреб и где лежат бомбы.

Кто-то указал на маленькие землянки, где жили офицеры.

Маркушка хотел уже идти на стройку, как из одной землянки вышел знакомый мичман, Михаил Михайлович Илимов.

Он весело окликнул Маркушку и спросил, зачем он здесь?

Маркушка объяснил, что «строит батарею», а в шабаш заходил к отцу, а теперь «бакцион» обглядывал.

— Любопытно?

— Очень даже, Михайла Михайлыч! — ответил Маркушка.

И после нескольких мгновений прибавил:

— Дозвольте просить вас, Михайла Михайлыч!

— Что тебе?

— Разрешите мне поступить на баксион!

Молодой мичман вытаращил глаза.

— Да ты с ума сошел, Маркушка? Видно, не понимаешь, о чем просишь?..

— Очень даже понимаю, ваше благородие.

— Ведь тут, Маркушка, только теперь любопытно, а как придут союзники... да как начнут бомбардировать, могут убить тебя...

— Да что ж...

— Ты еще мальчик... Тебе рано воевать.

— Я заслужил бы, Михайла Михайлыч... В какую должность пристроите — буду стараться... Будьте добреньки...

— Не смей и думать... Лучше уезжай из Севастополя.

— Не поеду... Пока я рулевым... А ежели вы не определите на баксион, буду просить Нахимова. Он меня знает... Видит, что я, слава богу, не маленький...

Мичман смотрел на маленького, худенького, востроглазого мальчика с серьезным умным лицом и расхохотался.

— Что ж, просись... Только и Павел Степаныч не назначит... Поверь, Маркушка. Маль-

чиков на смерть не посылают... Вот услышишь, как будет бомбардировка, тогда и сам не захочешь сюда...

— Что ж, подожду бомбировку, и ежели не испугаюсь... буду проситься...

— Какое же думаешь место?

— Какое угодно... Только, чтобы был в защитниках... Не оконфузю вас... Мало ли какое дело найдется и для мальчика.

— Хвалю за твою отвагу... Но мальчикам еще рано сражаться... Выбрось это из головы, пока мал... А как вырастешь... тогда другое дело... И ни у кого не просись... Ну, до свидания, Маркушка. Пока неприятеля нет, зайди ко мне... Я покажу всем такого мальчика!

Маркушка ушел с бастиона. Во всю дорогу он мечтал о том, как будет защищать Севастополь, и решил после первой же бомбардировки проситься на бастион.

Бугай спал и только делал гримасы, когда злые мухи бегали по его лицу, щекотали губы и нос.

Тогда Маркушка присел около «дяденьки» и, найдя камышовку, стал обмахивать ею лицо своего пестуна и друга, раздумывая о том,

как решит «дяденька» насчет «баксиона».

Пробил колокол, и все поднялись. Через минуту принялись за работу.

К вечеру зашабашили.

На смену дневных рабочих на работу пришли ночные. Были зажжены смоляные факелы, разгонявшие мрак ночи, и рабочие рыли землю и насыпали ее. А матросы уже привезли орудия на сооружаемую батарею.

Усталые вернулись Бугай и Маркушка домой, напились чаю и легли спать.

Но прежде чем заснуть, Маркушка рассказал Бугаю об отказе мичмана и его намерении проситься у Нахимова.

— Не просись, Маркушка... Не будь глупым, не твое это дело! Вот ежели бы взрослых людей не было, потребуют и нас, стариков... А мальчонков грешно звать на войну... И напрашиваться нечего без нужды на смерть. Шорцу своего не показывай зря, Маркушка... И ничего хорошего нет, коли приходится людей убивать... Я с черкесами дрался... Видел, как люди друг друга убивают... И сам двух пристрелил... Ты думаешь, приятно?.. Небось собаку зря не убьешь, Маркушка!.. Не просись

туда, куда тебя не зовут!.. А теперь спи, Маркушка!

## Глава V

### I

Это первое бомбардирование Севастополя было тем ужасным крещением людей страданиями и смертью, которое словно бы предупредило о том, каковы будут последующие бомбардирования, когда осадные укрепления подвинутся еще ближе к нашим, станут вырывать по тысяче человек в день и дадут полуразрушенному Севастополю кличку «многострадального».

Четвертого октября союзные батареи, обложившие кольцом наши, были готовы, и все предвещало, что на другой день будет бомбардировка.

Армия Меншикова по-прежнему стояла на Северной стороне. Гарнизон Севастополя был достаточен для прикрытия бастионов и батарей. Но солдаты были без всякой защиты от ядер и бомб, «так как в первую бомбардировку еще не было сделано ни блиндажей, ни закрытых путей для сообщения между бастионами».

Раннее утро пятого октября было пасмурное, и стоял такой туман, что не было видно в нескольких шагах.

Но в шестом часу утра стало проясняться. Туман таял.

Загрохотали выстрелы с ста двадцати орудий союзников, и в ту же минуту стали отвечать наши бастионы и батареи. Снаряды осыпали наших: все, кроме прислуги при орудиях и офицеров, старались скрыться от ядер и бомб, а скрыться было некуда.

По счастью, начальство догадалось отвести солдат прикрытия в ближайšie улицы города. Там опасность сравнительно была меньшая.

«Стрельба по городу и окружающим его укреплениям с каждым часом усиливалась, и в самое короткое время все пространство, разделяющее двух противников, покрылось таким густым пороховым дымом, что и на близком расстоянии не было возможности видеть предмета. Облака порохового дыма, несясь над городом, скрывали от глаз не только все батареи и всю окрестность, но и самое солнце. Свет его померкнул, и оно казалось раска-

ленным шаром или кровавым кругом, медленно опускавшимся над горизонтом. Были такие минуты, когда вокруг ничего не было видно, кроме дыма, прорезываемого огненными языками, вырывавшимися из орудий. О правильном прицеливании не могло быть и речи; приходилось наводить орудия по сверкавшим огонькам неприятельских выстрелов».

«Тучи снарядов скрещивались в воздухе; одни летели к нам, другие к неприятелю. Ядра, бомбы, гранаты, камни, щебень, земля и пыль — все завертелось и закружилось в воздухе».

Ветра не было. Воздух был так сгущен, что трудно было дышать.

От непрерывного гула орудий и от сотрясения, производимого выстрелами, казалось, трепетала земля.

Смерть летала по бастионам и по городу в виде бомб и гранат, лопающихся и разлетающихся осколками, которые осыпали войска, стоявшие на улицах. Ядра и бомбы взрывали мостовую и разрушали стены домов.

Оставшиеся в городе жители скрывались в

своих домах и в погребах. Но находились женщины, старавшиеся помочь солдатам, подавая им, истомленным от жары и духоты, воду.

Одна дама, передававшая стаканы чая в окно офицерам, которые с флотским баталионом была на улице, у дома, говорила:

— Господа офицеры! Помните, что женщина присоединила Крым к России\*, а вы, мужчины, смотрите, не отдайте его неприятелю!

И офицеры и матросы, конечно, обещали не отдать.

Бабы, под градом снарядов, обносили солдат водой.

— Жалко вас! — просто говорили бабы.

Арестанты, выпущенные в этот день Корниловым и посланные на бастионы, более других поврежденные неприятельскими снарядами, по словам историка «Крымской войны и обороны Севастополя», оказывали бесстрашие наравне с «неотверженными» людьми.

«Они тушили пожары на бастионах, заменяли подбитые орудия, подносили на бастионы воду, снаряды и подбирали раненых. С по-

следними они обращались с большим состраданием: бережно клали на носилки, помогали им повернуться как удобнее, поили водой и несли осторожно, чтобы сотрясением не вызвало страданий. Арестанты отличались особенною предупредительностью ко всем вообще нижним чинам, они угощали их водкою, приносили закуску, отдавали последнюю копейку».

После первого бомбардирования одна артиллерийская батарея была поставлена в Севастополе.

По словам одного из служивших на батарее, «погода в то время стояла скверная; моросил непрерывный дождь, сопровождаемый холодным ветром, пронизывающим до костей. Местность обратилась в грязь; негде было спрятаться от дождя. Видя, что солдаты валялись под дождем, ничем не прикрытые, арестанты принесли на батарею несколько лодок, лежавших на берегу бухты, укладывали солдат и покрывали их лодками. Таким образом наши солдаты, защищенные от дождя, могли спать эту ночь».

А арестанты, разумеется, мокли и не до-

гадывались, какими истинно добрыми людьми были эти «отверженные».

И большая часть их была убита в Севастополе.

К часу дня бомбардирование стало еще ужаснее, когда англо-французский флот подошел на близкое расстояние и стал громить прибрежные батареи и город.

Один из бойцов на прибрежной батарее пишет:

«Воздух, пропитанный исключительно дымом, не совмещал уже в себе звуков. Хотя одновременно стреляли около тысячи пятисот орудий, но звук их не был громоподобен — он превратился в глухой рокот, как бы в хлокотание, покрываемое свистом и визгом снарядов, в несчетном множестве проносившихся над нами. Только рев собственного орудия при выстреле резко отделялся в этом море несвязных звуков и царил над нами до своего повторения».

## II

При первых же выстрелах Корнилов и Нахимов поскакали на оборонительную линию.

Нахимов сам распоряжался стрельбой на

пятом бастионе и, по обыкновению, был в эполетах. По обыкновению, он не обращал внимания на опасность. А на бастионах было очень жутко. Достаточно сказать, что в этот день на одном бастионе три раза переменили прислугу у орудий.

В начале бомбардировки Нахимов был слегка ранен в голову, и, когда один офицер заметил, что адмирал ранен, Нахимов сердито ответил:

— Неправда-с!

И, потрогав рукой окровавленный лоб, прибавил:

— Слишком мало-с, чтобы об этом заботиться. Слишком мало-с!

Скоро на пятый бастион приехал и Корнилов, объезжавший всю оборонительную линию.

Разговаривая с Павлом Степановичем, Корнилов долго следил вместе с ним за тем разрушением, которое производили снаряды в неприятельских укреплениях. Оба они стояли открыто под самым сильным огнем союзников; ядра свистели около, обдавая их землею и кровью убитых; бомбы лопались вокруг, по-

ражая своими осколками прислугу у орудий.

«Трудно себе представить, — говорит автор цитируемой мною книги, — что-либо ужаснее этой борьбы. Гром выстрелов слился в один гул над головами сражающихся. Тысячи снарядов бороздили укрепления и разносили смерть и увечья повсюду».

Нет сомнения, что оба адмирала понимали неудобство этого разговора под ядрами и не сомневались, что их храбрость известна всем и что сохранение жизни важно для самого дела. Но они хотели показать пример бесстрашия всем.

Напрасно адъютант старался увести Корнилова с бастиона, докладывая, что присутствие его доказывает недоверие к подчиненным, и уверял, что каждый исполняет свой долг.

— А зачем же вы хотите мешать мне исполнять мой долг? Мой долг видеть всех! — отвечал Корнилов.

И поехал на шестой бастион.

Он вернулся в город и вскоре снова поехал на бастионы. Адмирал опять был на четвертом и третьем бастионе и приехал на Мала-

хов курган.

Корнилов хотел было взойти на верхнюю площадку каменной башни, которая особенно заботила англичан, и их батареи старались ее разрушить. Снаряды ложились около башни, и остаться около нее было крайне опасно.

Вот почему начальник дистанции контр-адмирал Истомина\* решительно не пустил на площадку своего начальника и сказал, что там никого нет. И адъютант Корнилова снова просил адмирала вернуться домой.

— Пойдите, мы поедем еще к полкам, а потом домой.

Он постоял несколько минут и в половине двенадцатого сказал:

— Теперь поедем!

Но не успел сделать трех шагов, как ядро оторвало ему левую ногу у самого живота.

Адмирал упал. Его подняли, перенесли за насыпь и положили между орудиями.

— Ну, господа, предоставляю вам отстаивать Севастополь. Не отдавайте его! — сказал Корнилов окружавшим и скоро потерял память, не проронив ни одного стона.

Он пришел в себя только на перевязочном пункте.

Заметив, что его хотят переложить на носилки, но затрудняются, чтобы не повредить рану, Корнилов сам через раздробленную ногу перекатился в носилки, и его отнесли в госпиталь.

Врачи не сомневались, что смерть близка.

Чувствовал и Корнилов ее приближение и ждал этой минуты со спокойствием.

— Скажите всем, — говорил он окружающим, — как приятно умирать, когда совесть спокойна.

И скоро в беспамятстве умер.

«После него у нас не оказалось ни одного человека в уровень с событиями того времени», — пишет один из участников.

И многие записки и словесные отзывы севастопольцев единогласно говорят, что «Корнилов был единственный человек, который мог бы дать совершенно иной исход крымским событиям: так много выказал в эти немногие дни ума, способности, энергии и влияния на своеобразного князя Меншикова».

### III

В это туманное раннее утро пятого октября Маркушка с Бугаем пришли на пристань к своему ялику. Улицы были полны солдатами, шедшими к оборонительной линии. Скакали верховые офицеры и казаки. Встречались бегущие мужчины и женщины с пожитками, направляющиеся к пристаням... В тумане все казались какими-то силуэтами, внезапно скрывающимися...

Маркушка чувствовал что-то жуткое на душе. Бугай уже сказал ему, что сегодня ждут «бондировки» и, пожалуй, он пойдет на штурм.

— Большая будет драка, Маркушка! — прибавил Бугай.

— А мы перевозить людей будем, дяденька? — спросил, видимо недовольный, Маркушка.

— Всякий при своем деле. И яличники требуются. А ты, умник, думаешь, нужны мы, старый да малый, на баксионе? Вовсе пока не нужны. А понадобится — пойду...

— И я с вами, дяденька!

— Не егози, Маркушка!

Ялик возвращался с первого рейса, когда вдруг зарокотала бомбардировка.

Казалось, сразу все изменилось вокруг. И город, и бухта, и небо. С каждой минутой гром становился сильнее и непрерывней. Черные шарики летали в воздухе с обеих сторон со свистом и каким-то шипением, и над городом повисла туча дыма.

И невольный ужас охватил мальчика. И ужас, и в то же время какое-то любопытное и задорное чувство, которое влекло Маркушку туда, где, казалось ему, и он что-нибудь да сделает в отместку этим «дьяволам», пришедшим в Севастополь.

Но в эти первые минуты страх пересиливал другие чувства.

И мальчик, широко раскрыв глаза, слушал грохот и взглядывал на старого яличника, словно бы удостовераясь, что «дяденька» здесь, около.

Бугай был спокоен и проникновенно серьезен.

Он перестал грести, снял свою обмызганную шапку, поднялся и, глядя на город, медленно и истово перекрестился и горячо про-

МОЛВИЛ:

— Помоги нашим, господи!

И еще тише прибавил, принимаясь за весла:

— Много пропадет нынче народу!

— Дяденька! — окликнул Маркушка.

— Ну?

— Вы говорите, много пропадет от этих самых? — спросил он, указывая вздрагивающей рукой на летящие снаряды.

— Много... И от ядер и от бомб... Разорвет, осколки разлетятся и... смерть... либо ногу или руку оторвет...

Маркушка примолк и слушал. И впечатлительному мальчику представлялось, что каждый этот шарик убивает людей и среди адского грохота падают окровавленные люди.

«Много пропадет народа!» — мысленно повторил Маркушка слова старого матроса.

И, охваченный вдруг миролюбивым чувством, он спросил:

— И зачем, дяденька, убивают друг друга?

— Война.

— А зачем война?

— А зачем ты дерешься с мальчишками?..

Значит, расстройка... Так, братец ты мой, расстройка и между императорами. Наш один против императора, султана и королевны...

— Нашего, значит, зацепили?..

— Из-за турки... Обидно, что Нахимов под Синопом турку ожег... И пошла расстройка... Ну и французского императора наш государь оконфузил... Опять он в амбицию...

— А как оконфузил?

— Очень просто. Французский император не из настоящих... А так, из бродяг... Однако как-никак, а потребовал, чтобы все ему оказали уважение... И все уважили... Стали называть, по положению, братцем... А наш Николай Павлович император не согласился. «Какой, говорит, мне братец из бродяг»... И назвал его для форменности, чтобы не связываться, другом... Понял, Маркушка?

— Понял...

— Вот и дошло до войны... Французский император подбил аглицкую королеву, и пишут нашему: «Не тронь турку». А наш ответил вроде как: «Выкуси, а я не согласен!» — Ну, разумеется, надеялся на свою армию и флот! — прибавил Бугай.

— А у его, дьяволов, стуцер, дяденька!

— Что ж, по правде говоря, и флот с машинами. Эка он палит!! — вдруг оборвал Бугай.

На пристани стояла встревоженная толпа. Преимущественно были женщины с детьми и с пожитками. Среди мужчин — большей частью хилые, больные и старики. Все торопились переезжать на Северную сторону.

Все суетились, и в толпе раздавались восклицания:

— Голубушки... И в слободку он жарит... И несколько хат разметало...

— В улицах ядра и бомбы... Солдат так и бьют... И двух матросок убило. Показались матроски на Театральной улице... И наповал...

— Ребенка убили... Махонький... В кусочки!..

— Не приведи, господи... Ад кромешный!..

— Нашим матросам-то как на баксионах!.. Голубчики!..

— Сказывают, будет штурма...

— Пропали наши домишки... Разорил нас он.

— А Менщик не показывается...

— Корнилов и Нахимов там... Подбадривают!..

— О господи!..

— А дурачок Костя... не боится. Пошел на баксион... Бормочет себе под нос...

— Дедушка, родненький! Возьми и меня! — крикнула одна девочка, подбегая к Бугаю.

— Садись, девочка, около меня. А ты чья? — спросил Бугай, отваливая от пристани.

Худенькая черноглазая девочка заплакала и сквозь слезы отвечала:

— Сирота! Матросская дочь.

— У кого жила?

— У тетеньки. А тетенька ушла... А меня оставила...

— К кому же ты?

— Ни к кому, дедушка... Никого у меня нет.

— Ишь ты!

Но тут же на шлюпке нашлась добрая женщина, которая обещала приютить девочку в Симферополе.

А Бугай дал девочке две серебряные моне-

ты и ласково сказал:

— Пригодится, девочка!

После нескольких рейсов пассажиров уже не было. Бугай с Маркушкой закусили, и лодочник заснул в шлюпке, не обращая внимания на адский рокот.

Привык к нему и Маркушка, и он уже не приводил его в ужас.

Не ужасали его и носилки с мертвыми телами, которые, как груз, складывали на баркас на Графской пристани... И как много этих мертвецов, окровавленных и изуродованных, с черными от пороха лицами, с закрытыми глазами, в ситцевых и холщовых рубахах и исподнях. Почти на всех покойниках не было шинелей, мундиров и сапог.

Маркушка заглядывал в носилки, заглядывал в баркас и невольно искал отца.

И он спросил одного солдата-носильщика:

— Ткаченко, комендор на четвертом баксионе, жив?

— Не знаю, малец... Слышно, там сильно бьют... Оттуда к Корабельной бухте выносят... А мы солдатиков носим... Коих на улице убило.

Маркушка вернулся к ялику.

По-прежнему кругом грохотало. А Бугай спал.

Мальчик опять отошел от ялика и вышел на улицу.

У пристани и Морского клуба сидели солдаты, поставив ружья в козлы. Офицеры курили и о чем-то болтали. Здесь не было видно ни ядер, ни бомб.

Маркушке очень хотелось вблизи увидеть их.

Он пробежал между солдатами, добежал до собора... Опять ни ядра, ни бомбы... И он побежал дальше...

Мимо то и дело проносились носилки, перед которыми солдаты расступались и крестились...

Несмолкаемый рокот казался оглушительней. Но Маркушка не обращал на него внимания и побежал по Большой улице...

И вдруг остановился... Он услышал совсем близко резкий свист; несколько ядер шлепались о мостовую. И вслед за тем шипение... Что-то упало, казалось, рядом, что-то вертелось и горело...

— Падай, чертенок!.. — раздался чей-то повелительный голос.

И вслед за тем чьи то руки схватили мальчика за шиворот и пригнули к земле.

В ту же минуту раздался треск, и Маркушка увидал, как осколки разлетелись среди солдат, и раздались стоны.

Маркушка поднялся. Около него стоял моряк — штаб-офицер в солдатской шинели.

— Ты зачем здесь? — сердито спросил моряк.

— Поглядеть.

— На что?

— На ядра...

— Глупый. Хочешь быть убитым? Пошел назад. Брысь! — крикнул моряк.

Маркушка не заставил повторять и побежал со всех ног.

А моряк, улыбнувшись, проводил глазами Маркушку и пошел к оборонительной линии, то и дело прислушиваясь к свисту ядер и невольно наклоняя голову.

У дома главного командира проносили носилки. Маркушка заглянул и увидел знакомого мичмана Михайла Михайловича. Бледный,

он слегка стонал.

— Михайла Михайлыч! — воскликнул Маркушка.

— Маркушка! — ласково сказал раненый мичман. — И не смей проситься на бастион... Вот видишь, как там... Понесли меня...

— Поправитесь, Михайла Михайлыч!

— Надеюсь... Легко ранен...

— А тятка, Ткаченко... жив?

— Жив был...

Маркушка проводил несколько минут раненого и, простившись, побежал на пристань.

По дороге он услышал, что убит Корнилов, и принес это известие Бугаю.

Бугай нахмурился, перекрестился и проговорил:

— Другого такого не найдем!.. А ты куда бежал?

Маркушка рассказал, и старый яличник сердито сказал:

— Ой, накладу тебе в кису, если пойдешь... смотреть бомбы!.. Раскровяню твою харю!

К вечеру все стихло. Рокот прекратился. Люди облегченно вздохнули и дышали вечер-

ней прохладой.

Вечер был прелестный. На небе занялись звезды, и море так ласково шептало.

И только огненные хвосты ракет, по временам горевшие в темном небе, да шипение бомб говорили, что смерть еще витает над городом.

Но скоро смолкли и английские батареи.

Маркушка и Бугай пошли домой. Но дома уж не было. Хибарка, в которой они жили, представляла собой развалины, и приятели нашли на ночь приют в одном из целых домиков слободки и решили на другой день перебраться вниз.

«А на баксион к тятке все-таки сбегаю!» — подумал Маркушка перед тем что заснул.

На следующее утро грохот пальбы разбудил Маркушку.

— Ишь черти! Опять бондировка! — промолвил мальчик, поднимаясь с соломенной подстилки на полу.

## Глава VI

### I

После первого ужасного бомбардирования защитники всю ночь исправляли повре-

ждения бастионов и батарей.

Некоторые сильно пострадали. Особенно — третий бастион, почти сравненный с землей.

На нем три раза была переменена орудийная прислуга, убитая или раненая. Ничем не прикрытые, под градом ядер, бомб и гранат, матросы продолжали стрелять по неприятельским батареям, как вдруг неприятельская бомба пробила пороховой погреб и страшный взрыв поднял на воздух часть третьего бастиона и свалил его в ров вместе с орудиями и матросами-артиллеристами.

«Бастион буквально обратился в груды земли; из числа двадцати двух орудий осталось неподбитыми только два, но и при них было лишь пять человек».

Почти все офицеры были убиты или ранены. Сто матросов погибли при взрыве.

Обезображенные и обгорелые трупы их валялись во рву и между орудиями: там груды рук, тут одни головы без туловища, а вдали, среди грохота выстрелов, слышались крики торжествующего врага. Бастион представлял картину полного разрушения, и в течение

нескольких минут не мог производить выстрелов из своих двух орудий.

Казалось, исчезла уже «всякая возможность противодействовать артиллерии неприятеля. Оборона на этом пункте была совершенно уничтожена, и на Корабельной стороне (где находился третий бастион) ожидали, что неприятель, пользуясь достигнутым им результатом, немедленно пойдет на штурм», — пишет автор «Истории обороны Севастополя».

Но офицеры и матросы сорок первого экипажа, стоявшего близ бастиона, бросились на помощь третьему бастиону. Скоро загревели выстрелы из двух орудий и на соседней батарее, чтобы отвлечь внимание неприятеля от третьего бастиона, стали кричать «ура» и открыли частый огонь против чужих батарей.

За ночь надо было восстановить третий бастион и исправить другие. Пришлось насыпать брустверы и очищать рвы, устраивать траншеи, заменить подбитые орудия.

К утру все бастионы были готовы.

Севастополь после вчерашней бомбардировки, казалось, стал еще грознее, и союзни-

ки увидали, что взять Севастополь не так легко, как казалось. Его укрепления словно бы снова вырастали. Поднимался и дух защитников после ужасной бомбардировки, не сгубившей Севастополя.

Нахимов, посетивший на другой день прибрежную батарею № 10, отбивавшуюся от орудий целого флота, за потерю которой опасались тем более, что она могла быть сбита и занята десантом, — Нахимов приказал собрать матросов и сказал:

— Вы защищались, как герои, — вами гордится, вам завидует Севастополь. Благодарю вас. Если мы будем действовать таким образом, то непременно победим неприятеля. Благодарю, от всей души благодарю!

«Крепость, — доносил князь Меншиков, — которая выдержала такую страшную бомбардировку и успела потом в одну ночь исправить повреждения и заменить все подбитые свои орудия, — не может, кажется, не внушить некоторого сомнения в надежде овладеть крепостью дешево и скоро».

## II

Это осторожное донесение главнокоманду-

ющего, питавшего только «некоторое сомнение» в возможность потерять Севастополь, было, казалось, одним из редких обнадеживающих донесений императору Николаю Первому и своих не мрачных взглядов на положение Севастополя.

Сам главнокомандующий, один из любимейших императором деятелей того времени, сам признавал то, что казалось невероятным. Начальники, офицеры и даже сами войска, — словом, все то, что считалось нашей гордостью и главным козырем, поддерживающим могущество России и внушающим страх Европе, — все это, по мнению князя Меншикова, бесспорно умного человека, — было самоуверенное заблуждение.

Князь не раз предупреждал еще до объявления войны, что необходимо более войск, чем у него есть: «Небо помогает большим войскам», — острил он и прибавлял, что необходимо укрепить Севастополь с Южной стороны. Но его донесения вначале не исполнялись, и десант большой союзной армии застал нас врасплох не по вине одного Меншикова.

И затем он уже не раз жаловался и государю, и министру, и князю М.Д.Горчакову о недостатке способных генералов и особенно офицеров. Корпусные командиры не внушали доверия князю. «Это будет истинное несчастье, если б генерал Д. стал во главе армии», — говорил Меншиков об одном корпусном командире.

Генерала Липранди\* главнокомандующий считал «хитрым и двуличным», а про офицеров генерального штаба писал: «Все находящиеся у меня, за исключением одного или двух, полнейшая ничтожность, в том числе и N, неспособность которого ниже всякой критики».

Понимал, казалось, общее заблуждение насчет нашей военной мощи не один только скептик и недоверчивый князь.

Даже князь Горчаков, главнокомандующий дунайской армией и сочинивший песенку, в которой даже англичане и французы названы «басурманами» и которую распевали наши солдаты[14], в то же время, посылая войска и генералов из дунайской армии в подкрепление разбитой уже под Альмой ар-

мии Меншикова, писал ему не всегда утешительные сведения.

«Что же касается до генерала NN, то его я не знаю, но говорят, что он бестолков. Чтобы сколько-нибудь вознаградить за его глупость, я ему придал генерального штаба подполковника, одного из лучших моих офицеров»[15].

Затем князь Горчаков писал князю Меншикову о том же генерале: «Позвольте вам напомнить, что NN большой дурак (*est un grand bete*) и что совершенно необходимо ему запретить атаковать неприятеля. Вся его обязанность заключается в ведении малой войны, потому что иначе он настолько глупо атакует укрепления, что без сомнения будет во вред его дивизии и покроет его стыдом». В другом письме князь Горчаков пишет: «Наши кавалерийские офицеры вообще ничего не понимают в такой войне». А о посылаемых войсках сообщает: «Войска, вам посылаемые, хороши, но вы не поддадитесь на их хвастовство. Они скажут, что готовы штурмовать небо. Дело в том, что они будут стойки при защите данной местности, но не ждите от них смелых атак. У неприятеля слишком большой

над нами перевес в вооружении. Храбрейшие из начальников и офицеры бросятся как сумасшедшие и будут выведены из строя, а войско покажет тыл. Говорю по опыту».

Свалил потерю Альминского сражения «на малодушие и неопытность» солдат и Меншиков, а между тем мнение о наших солдатах двух главнокомандующих совсем не согласно с тем, что говорили о солдатах знаменитые полководцы — наши и иностранные — и что показывали большая часть войн и осада Севастополя.

Впрочем, и князь Меншиков, понявший в Севастополе многие наши заблуждения насчет многого, казалось, понял, что и сам он, на которого было возложено такое трудное дело, — тоже одно из заблуждений — считать его даровитым и энергичным полководцем.

И мрачный, одинокий, недоверчивый, не сообщавший никому своих планов, вдобавок больной и знающий, как нелюбим он в войсках и во флоте, — он не верил в дело, которому служил, и скоро уж доносил государю, что едва ли Севастополь долго продержится и не лучше ли сжечь его и вывести армию.

Меншиков жил на Северной стороне, в скромном помещении, устроенном в форте. Он почти не показывался на оборонительную линию, не показывался и войскам, и, видимо удрученный тяжелыми думами, хотя и работал не покладая рук, но видел и чувствовал, что не может поправить дела — не может выгнать неприятеля. Он не скрывал от себя, что дороги ужасны, что продовольствие войск отвратительно, злоупотребления неисчислимы, раненые и больные мрут как мухи без призора, подвоз пороха и снарядов затруднителен. Броситься же на «авось» с армией на неприятельскую — для этого князь Меншиков был слишком умен и недостаточно беззаветен и пылок, чтоб рисковать всей армией и, в случае поражения, отдать неприятелю весь Крым.

И, несмотря на понукания из Петербурга на решительные действия, Меншиков имел храбрость не соглашаться с советами самого государя и медлил, ожидая новых подкреплений.

«Я настаиваю в Петербурге, — пророчески писал он тому же главнокомандующему ду-

найской армии, князю Горчакову, еще до высадки, — на необходимости подкрепления потому, что если наши морские силы будут уничтожены, то в течение двадцати лет мы будем лишены всякого влияния на Востоке, так как все доступы к нему как морем, так через княжества, будут для нас недостижимы».

Но подкреплений не посылалось. В Петербурге надеялись, что и с маленькой армией Меншиков не пустит врага. И только когда наша армия была разбита и Севастополь оставался почти в беззащитном положении, тогда только стали посылать подкрепления, и то по небольшим частям и в общем в недостаточном количестве.

«Ни генералов, ни офицеров», — писал он. «Рекогносцировка, сделанная по моему приказанию, не имела никаких других последствий, как обнаружение неспособности полковых и бригадного командиров», — сообщал Меншиков Корнилову.

«К довершению хлопот, — жаловался Меншиков в письме к князю Горчакову, — не могу достигнуть правильного устройства провиантских транспортов. Три транспорта оказа-

лись попорченными и сгнившими до того, что даже при недобросовестной сортировке их нельзя употреблять в пищу. Плут Сервирос заставил принять этот транспорт, задержав с намерением остальные. К тому же дурные дороги и без того их задерживают. Так мы живем изо дня в день — к крайнему моему огорчению и заботам. Торопить присылкою провианта положительно некого. Я писал в Петербург о присылке интенданта, но когда он будет прислан и какой-то еще будет!»

Во многих письмах Меншиков писал:

«Я изнемогаю от усталости и забот и не вижу выхода из своего положения. Утешительного ничего, а зато сплетен — гибель».

Несомненно умный человек, он понимал, что нужен гений военачальника и организатора, чтобы при таких беспорядках, какие обнаружило наше бессилие, несмотря на самоуверенность в свою силу и веру в безукоризненный порядок в военном управлении, возможно было надеяться на успех.

И Меншиков, казалось, не имел никакой надежды и не скрывал этого от императора. Он ждал скорой потери Севастополя.

В Петербурге, где не обращали внимания на просьбы Меншикова о серьезной защите Крыма, после поражения нашего под Альмой боялись потери всего Крыма.

Только бездарность полководцев союзников и воистину необыкновенная выносливость и мужество солдата и матроса, которые одиннадцать месяцев защищали Севастополь, несколько ободрили нас и спасли от несравненно тяжелых условий мира.

В каких условиях жили защитники поздней осенью и зимой, читатель может понять хотя бы из следующих строк, которые я беру из «Истории Севастопольской обороны».

«Защитники Севастополя положительно валялись в грязи, на открытом воздухе, в дождь и в бурю, в мороз и метель. Единственной защитой их от холодных ветров были сложенные насухо из камней стенки, ямы или рвы, кое-как прикрытые сверху. Командиры бастионов помещались в землянках столь малых, что едва можно было вытянуться во весь рост человека. Если на батарее бывала еще одна такая землянка для нескольких офицеров, то такая батарея считалась с

роскошным помещением. Никто не мог раздеться. Ноги прели, потому что по месяцу и более никто не снимал сапогов. Иной пробовал прилечь на голой земле, но холод и сырость гнали его прочь. Хорошо, кому удавалось пристроиться под навесом насыпи или прислониться к станку, на котором лежало орудие, — положению такого счастливец все завидовали».

Но солдатам едва ли было лучше.

«Находившиеся на укреплениях войска не имели ни крова, ни теплой одежды. С самого начала осады солдаты принуждены были сами изобретать средства для защиты от дождя и стужи. В то время солдаты не имели еще полшубков[16] и довольствовались мундиром и шинелью. В дождливую погоду они мастерили себе такие башлыки из рогожи, смотря на которые дивовались и свои и французы. Рогожи эти выдавались для того, чтобы солдаты подстилали под себя в землянках или сараях, где им случалось ночевать. Обыкновенно один куль выдавался на двоих: его резали вдоль на две части, так что каждому доставалось по готовому, сшитому углу. Отправляясь

в цепь или на часы, солдат захватывал с собою принадлежащую ему половину куля. Надев его на голову, он защищал себя от дождя и непогоды».

«Жизнь, которую не выносит ни один каторжник, была обыкновенною жизнью каждого из защитников», — прибавляет историк.

Сильное бомбардирование продолжалось несколько дней подряд и затем продолжалось ежедневно, но несколько легче и не общим, а имеющим целью разрушить укрепления в некоторых пунктах обороны.

Тем временем траншеи и укрепления продвигались ближе и ближе, и, несмотря на мужество защитников, главнокомандующий был безнадежен и мрачен.

Но в нем не было доблести сознать свою неумелость и просить о назначении другого главнокомандующего. Только через несколько месяцев после новых поражений в сражениях, когда и в Петербурге увидели военную бездарность князя и решили сменить его, Меншиков решительно просил об увольнении и бросил армию до приезда нового главнокомандующего, князя Горчакова.

Ничего не мог сделать и новый главнокомандующий, сам настаивавший в Петербурге на смене Меншикова.

### III

Он сваливал всю вину на Меншикова, и сражение, которое Горчаков дал союзникам, вынужденный Петербургом, показало то же, что и во время начальства Меншикова. Наши солдаты дрались как львы, но были разбиты и потеряли около семи тысяч. Оказалось, что снова не было точности и ясности в распоряжениях полководца: один генерал начал, не понявши слова «начать», присланного главнокомандующим через адъютанта; другой генерал, видя, что рядом бьют своих, не подал им помощи, потому что не было приказа — словом, снова вышла путаница и беспаточь.

Историк, хоть и не считает князя Горчакова таким плохим военачальником, как Меншиков, дает о нем такую характеристику: «Как главнокомандующий он не вполне удовлетворял тому высокому званию, в которое был облечен. Военная искра, находчивость, смелость и быстрота соображения не состав-

ляли принадлежности князя Горчакова. Напротив, он был человек крайне рассеянный и в высшей степени нерешительный. По своей нерешительности он упускал иногда удобный случай для действия, часто менял приказания, а по рассеянности нередко даже и противоречил себе».

И князь Горчаков через восемь недель после приезда в Севастополь уже говорил, что «со времен Петра Великого под Прутом\* ни одна армия не находилась в столь дурном положении, в каком нахожусь я в настоящее время». Хотя новый главнокомандующий имел в своем распоряжении несравненно более войска, чем имел Меншиков, тем не менее считал свое положение безысходным и просил императора Александра Второго об оставлении Севастополя до штурма. И если потом оставил эту мысль и даже мечтал о возможности решительных действий, то обязан был влиянию присланного из Петербурга генерал-адъютанта Вревского\*.

Рассказывая о недостатке генералов и офицеров и о том, что многие генералы выбыли из строя по болезни, князь Горчаков «с гру-

стью должен был заявить военному министру, что на самом деле не болезнь, а другие причины заставили некоторых уклоняться от исполнения своих обязанностей; что пароксизм болезни у таких лиц обыкновенно наступал только тогда, когда они получали неудобное для них назначение. Называя по именам тех генералов, в болезни которых он сомневался, князь Горчаков писал, что генерал Хрущев\* действительно болен, а между тем не желает оставить ряды армии». Одним словом, Горчаков только подтверждал мнение предшественника, которого считал виновником своего безвыходного положения.

Разумеется, не один Хрущев был такой. История Севастополя показывает многих генералов (Семякин, Хрулев\* и другие), которые не «болели» кстати, когда солдаты и матросы умирали.

Нечего уже говорить о таком боготворимом матросами и солдатами Нахимове, именно за то, что он был там, где были и они, всегда простой, доступный, скромный и истинно храбрый, без тени рисовки.

И когда один севастополец при встрече с

доблестным адмиралом сказал, что он напрасно не бережет себя, и прибавил: «что будет с Севастополем, если его не будет», — Нахимов сердито нахмурился и ответил:

— Не то вы говорите-с! Убьют-с меня, убьют-с вас, это ничего-с! А вот если израсходуют князя Васильчикова[17] или Тотлебена, это беда-с!

А адмирал Истомин, убитый на Малаховом кургане, в ответ на опасения подчиненных обыкновенно говорил:

— Я давно уже в расходе и живу пока на счет французов и англичан!

## Глава VII

### I

Рано утром, через три дня после первой ужасной общей бомбардировки, как и в предыдущие дни, загрохотали орудия. Но стреляли сразу не все неприятельские батареи, и наши отвечали только из тех бастионов, на которые был направлен огонь неприятеля.

Старик Бугай, только что молча окончивший пить чай в подвале одного из домов внизу, около рынка, на берегу Артиллерийской

бухты, вдруг неожиданно сердито произнес, обращаясь к Маркушке:

— А ты как думал, Маркушка?

И, не ожидая ответа, прибавил:

— Небось слышишь, чертенок?

— Слышу, дяденька. Бондировка!

— То-то и есть! — несколько остывая, промолвил Бугай. — Здесь внизу что, пока нам слава богу... И выпалились на новоселье... И чаю попили. Сюда еще не дохватывают... А напередки что будет... Выкуси-ка!

— Прогоним дьяволов — вот что будет.

— Не бреши, Маркушка. Не форси по своему рассудку. За форц знаешь ли что? Учат!.. И тебя следовало бы съездить по уху... Не хвастай!.. Он, братец ты мой, свою линию, шельма, ведет...

— Какую, дяденька? — нетерпеливо спросил Маркушка, уверенный, что Бугай не съездит по уху, а только пугает.

— Прежде проворонил штурму, не посмели их начальники, когда Менщик пропадал, и мы одни пропали бы... Понял, что обмишурился... Так теперь думает обескуражить нас бондировкой, разорить наши баксионы и на

штурму... Но только еще погодить надо... Прежде вовсе разори, да и перебей людей, тогда и бери Севастополь, ежели Менщик не войдет в полный свой ум... Сказывали: лукав. А где же твое лукавство, скажи на милость? — спросил Бугай, словно бы обращаясь к самому главнокомандующему.

И так как главнокомандующий не мог ответить старому отставному матросу, то он сам же за него ответил:

— Вы, мол, братцы, пропадай на баксионах с Павлом Степанычем[18], а я не согласен пропадать. Сижу себе на Северной, на хорошем харче, пью вино шипучее за обедом по старости лет. А к французу с солдатиками не сунусь. А вы, севастопольцы, как вгодно... Отбивайтесь и помирайте!..

— А отчего, дяденька, Менщик не сунется? — спросил опять Маркушка.

— Оттого, дьяволенок. Чего пристал?! — сердито окрикнул Бугай и даже взглянул в упор на мальчика строгими глазами, казавшимися совсем суровыми от нахмуренных клочковатых бровей, — точно именно Маркушка и виноват в том, что Меншиков, по

мнению Бугая, не обнаруживает никакого лукавства и не желает «сунуться» к «французу».

— Валим на ялик... Небось как огрел его француз под Альмой, так никакой смелости в нем нет. Вовсе обескураженный... Видел вчера Менщика, когда садился в катер?.. Будь вместо его покойный Корнилов или Нахимов, совсем другой вышел бы военный оборот. Небось не оконфузили бы себя и солдатака... Валим на ялик, Маркушка!

— Дозвольте, дяденька, прежде на баксион сбегать... тятку проведать... Еще жив ли?

— Я тебе дозволю... Не форси, говорят!.. На ялик! — грозно крикнул Бугай и погрозил кулаком.

И уж дорогой Бугай, видимо не сердитый, проговорил:

— Вечером сходим... Отчего не проведать. А зря лезть на убой — один форц. Живи, пока бог тебя терпит! Вырастешь, поймешь Бугая...

## II

Молодой, совсем бледный офицер в солдатской шинели, поддерживаемый статским господином, сел в ялик. Солдатик-денщик уложил два чемоданчика, господский мешок и —

поменьше — свой и сел на носу ялика.

— На северную! — нетерпеливо и взволнованно проговорил офицер задыхаясь.

— Не волнуйся, Витя! Не говори громко. Тебе вред но, голубчик. Что говорил старший врач?

И хоть статский, совсем юноша, походивший на офицера и, по-видимому, брат, и старался казаться молодцом и подбадривать брата, но голос его был встревоженный и испуганный, и мягкие лучистые глаза светились грустью.

Ничего молодецкого не было в этом здоровом, дышавшем свежестью лице и в крепкой, сильной фигуре.

Напротив, в юноше было что-то мешковатое и необыкновенно милое, доброе и тоскливое.

Как только ялик отвалил, офицер встрепенулся, как птица, выпущенная из клетки. К бледному, почти мертвенному лицу с красивыми заострившимися чертами и ввалившимися глазами, большими и лихорадочно блестящими, прилила кровь.

Не без усилия поднял он болезненно белую

и точно прозрачную исхудалую руку с голубыми жилками и, глядя на Севастополь, крестился.

И, полный благодарного счастья, промолвил:

— О, скорей бы только домой... Дома поправлюсь. Ты увидал бы, брат... Неужели ты нарочно приехал сюда, чтобы поступить в юнкера?

— И тебя повидать... И в юнкера.

— О, не оставайся, Шура... Не оставайся... Но я, офицер, должен был драться... И две пули. Видишь, на что я похож...

— Поправишься, Витя... Не говори.

— Мне лучше... Ничего... Не мешай... Не поступай в юнкера. Умоляю! Ты не знаешь, что за ужас война. Это бойня... Смерть... смерть везде... И ради чего убивать друг друга?.. Довольно с меня... Слава богу, что подалее отсюда... И не вернусь сюда... О, нет... нет... Окончится же война, и я в отставку... Называй меня трусом, Шура... Но я делал то, что и другие... Стоял в прикрытии на четвертом бастионе и смотрел, как люди падали с оторванными головами, без рук... без ног...

Стон... крик... Я не прятался... Было жутко, но стыдно перед солдатами, а то бы убежал... А на ночной вылазке... Я и хуже зверя, когда, бросившись в неприятельскую траншею, убил француза... Ведь он просил не убивать. А я, как опьяненный кровью, еще пырнул штыком в человека, и кровь брызнула... «Бей, руби!» — кричал я... пока не упал, и то думал, что смерть... Вынесли солдаты — вот и этот Прошка, мой денщик... Милый... славный! — говорил офицер, показывая головой на бело-брысого солдатика.

А солдатик то поглядывал на воду, то прислушивался к грохотанию бомбардировки. Но дым и бомбы были далеко, и он, видимо, был так же счастлив, как и офицер.

— Не волнуйся, Витя...

— Не оставайся, Шура... Или получить крест хочешь?.. О милый... Когда с вылазки меня перенесли на бастион и я открыл глаза, многие офицеры подходили и говорили, что я молодец... Полковой тоже... Обещал представить к Анне с мечами... А я, как вспомнил вылазку и как убивал, — мне было ужасно стыдно... невыносимо постыдно... И я плакал...

плакал — и за себя и за людей... Я ведь не смел думать, что буду таким зверем... И ты, милый, добрый Шура, станешь таким же зверем... Уедем вместе... Подумай... Ты только вчера приехал... Мы не наговорились даже... Как позволил тебе папенька, Шура... И бедная маменька...

Юноша и сам начинал колебаться, а главное, он вспомнил предостережение врача о том, что брат опасен. И раны, и злая лихорадка... То и дело может умереть на дороге...

— Ну, хорошо, Витя. Я отвезу тебя домой...

— И останешься?..

— Поеду, Витя... Потом... позже...

— Я уговорю тебя... Прежде раздумай...

Будь на службе — иди, если призовут... это понятно... Убьют или ранят... Чем мы лучше солдат... Ведь наш бригадный называет их пушечным мясом, как и Наполеон их зовет... А ведь Наполеон — гениальный разбойник, вот и все... Я много читал о нем... Он просто... одного себя любил... И знаешь что, Шура?

— Что?

— Будет же время, когда не будет войн... Наверное, не будет! — возбужденно прогово-

рил офицер.

Он утомился, примолк и сконфуженно улыбнулся, взглядывая на яличника словно бы виноватыми глазами и почти испуганный, что вызовет в старом Бугае осуждающий взгляд.

Бугай и Маркушка, жадно слушавшие офицера, были под сильным впечатлением чего-то диковинного и в то же время обаятельного.

Этот офицер возбуждал и жалость и какое-то невольное восхищение и признаниями, и самообвинениями, и доселе несслыханными словами об отвращении к войне, и просьбами брата не идти на войну, и самым его необыкновенно милым, открытым лицом, над которым, казалось, уже витала смерть, которой он не чувствовал, а напротив, ехал полный надежды и счастья.

И он, и все, что он говорил, дышали искренностью и правдой.

Это-то и почувствовалось старым и малым: Бугаем и Маркушкой.

Старик ни на мгновение не осудил мысленно молодого офицера. Напротив, внутрен-

не просиял и словно бы умилился и смотрел на офицера проникновенным взглядом. В нем было и удивление, и ласка, и жалость.

— А ты отставной матрос? — спросил молодой офицер, успокоенный и обрадованный ласковым взглядом Бугая.

— Точно так, ваше благородие...

После секунды возбужденно прибавил:

— А вы душевно обсказывали, ваше благородие... Лестно слушать, ваше благородие... Не по-божьи люди живут... То-то оно и есть...

Бугай навалился на весла.

— Вот видишь, Шурка, — радостно сказал офицер брату...

И прибавил, обращаясь к Бугаю:

— Это ты отлично... Не по-божьи люди живут... Нехорошо! О, скоро люди будут жить лучше. Непременно...

Через четверть часа ялик пристал к Северной стороне.

Офицер остался на ялике, а брат его пошел на почту добывать лошадей.

Денщик-солдатик пересел к офицеру.

— А ты, Маркушка, сбегай за свежей водой! Может, барину испить угодно! — сказал

Бугай.

— Спасибо, голубчик... А мальчик славный! — промолвил офицер, когда Маркушка побежал.

— То-то башковатый, ваше благородие. Небось поймет, что вы насчет войны обсказывали. А то на баксион просится... Отец матрос у него на четвертом... Мать его недавно умерла... Так сирота со мной... Гоню его в Симферополь... А то того и гляди убьет, а он... не согласен... Ну да я его не пущу на убой, ваше благородие...

— Еще бы...

Бугай несколько времени молчал и наконец таинственно проговорил:

— Вот вы сказывали, что лучше будет жить людям... И прошел слух, будто и у нас насчет простого человека скоро войдут в понятие и пойдет новая линия. И будто перед самой войной было предсказание императору Николаю Павловичу. Слышали, ваше благородие?

— Нет. Расскажи, пожалуйста...

И Бугай начал:

— Сказывал мне один человек, ваше благо-

родие, что как только француз пошел на Севастополь, отколе ни возьмись вдруг объявился во дворец старый-престарый и ровно лунь, вроде быдто монаха. И никто его не видал. Ни часовые, ни царские адъютанты, как монах прямо в царский кабинет императора Николая Павловича. «Так, мол, и так, ваше императорское величество, дозвольте слово сказать?» Дозволил. «Говори, мол, свое слово!» А монах лепортует: «Хотя, говорит, ваше величество, матросики и солдатики присягу исполнят по совести и во всем своем повиновении пойдут, куда велит начальство, и будут умирать, но только, говорит, Севастополю не удержаться». — «По какой причине?» — спросил император. «А по той самой причине, ваше величество, что господь очень сердит, что все его, батюшку, забыли...»

— А ведь это правда... Забыли! — перебил офицер.

— И вовсе забыли, ваше благородие! — ответил Бугай.

И продолжал:

— «И для примера извольте припомнить мое слово: француз и гличанин победит. И то-

гда беспременно объявите свое царское повеление, чтобы солдатам и матросам была ослабка и чтобы хрестьянам объявить волю, а не то, говорит, вовсе матушка Россия ослабнет, француз и всякий будет иметь над ней одоление». А император, ваше благородие, все слушал, как монах дерзничал, да как крикнул, чтобы монаха допросили, кто он такой есть... Прибежали генералы, а монаха и след простыл... Нет его... Точно сквозь землю провалился...

— Тебе рассказывали, голубчик, вздор... Как мог явиться и пропасть монах? Это сказка... Сказка, которой поверили те, которые ждут и хотят, чтобы сказка была правдой. Но она будет, будет после войны!.. Верь, Бугай!..

Бугай перекрестился.

В эту минуту прибежал Маркушка и принес воду.

Офицер с жадностью выпил воду, поблагодарил Маркушку и, раздумчиво взглядывая на него, вдруг сказал:

— Маркушка! Поезжай со мной в деревню!

— Зачем? — изумленно спросил мальчик.

— Будешь жить у меня... Я буду учить тебя,

потом отдам в училище... Тебе будет хорошо. Поедем!

— Что ж, Маркушка... Поблагодари доброго барина и поезжай... Тебе новый оборот жизни будет... А то что здесь околачиваться! — говорил Бугай.

— Еще ни за что убьют! — вставил солдатик.

— Спасибо вам, добрый барин. И дай вам бог здоровья, и всего, всего, что пожелаете! — горячо сказал Маркушка. — Но только я останусь в Севастополе! — решительно и не без горделивости прибавил Маркушка.

— И дурак! — сказал Бугай, а сам, втайне довольный, любовно взглядывал на своего мальчика-приятеля.

— Пусть и дурак, а не поеду. Никуда не поеду. Что ж я так брошу и тятку и вас, дяденька!.. А вы еще гоните! — обиженно вымолвил мальчик.

Никакие убеждения офицера не подействовали.

Приехала наконец почтовая телега, запряженная тощей тройкой.

Молодой офицер и брат-юноша простились с Бугаем и Маркушкой, оставили ему адрес, чтоб он приехал, если раздумает, и скоро телега поплелась.

Бугай перекрестился и промолвил:

— Живи, голубчик! Спаси его господь!

— Бог даст, выживет! — промолвил Маркушка.

— Ну, валим назад, Маркушка... И какой ты у меня правильный, добрый чертенок! — ласково сказал Бугай. — А вечером проведем тятю на баксионе! — прибавил он.

## Глава VIII

### I

После жаркого осеннего дня — такие дни в Крыму не редкость — почти без сумерек наступил вечер.

Он был ласково тих и дышал нежной прохладой.

Плавно, медленно и торжественно поднимался по небосклону полный месяц. Красивый, холодный и бесстрастный ко всему, что творится на земле, он обливал ее своим таинственным, серебристым, мягким светом, полный чар.

И недвижимые в мертвом штиле рейды и бухты, и белые дома и домишки Севастополя, и притихшие бастионы и батареи, и окрестные возвышенности — словом, все это казалось на лунном свете какой-то волшебной декорацией.

А звезды и звездочки, сверкающие словно бы брильянты, засыпавшие бархатистое темное небо, трепетно и ласково мигали сверху.

— О господи! — невольно вырывался из груди не то восторг, не то вздох.

И люди еще сильнее чувствовали прелесть этого вечера.

Ведь он мог быть каждому и последним!

Но пока вечер свой. Стрельба прекратилась с обеих сторон. Люди устали убивать друг друга и хотели отдыха.

Словно бы утомилась и насытилась за день и сама смерть.

Она притаилась и не показывалась на людях даже редкими светящимися точками бомб, с тихим свистом взлетающих в воздух, чтобы шлепнуться среди людей и разорваться.

Смерть сводила теперь последние счета

не публично.

Она витала в переполненных госпиталях и на перевязочных пунктах, где тяжелораненные и тяжелобольные, уже обреченные, должны были расстаться с жизнью в этот чудный вечер.

И немногие сестры милосердия, эти самоотверженные подвижницы любви к ближнему, в первый раз появившиеся в русских госпиталях, едва успевали, чтоб облегчить последние минуты умирающих, выслушать последние просьбы о поклонах далеким близким и трогательную благодарность за ласковый уход доброй сестры.

Это были первые ласточки милосердия.

И как же полюбили солдаты и матросы этих сестер, бывших для страждущих в полном смысле пестуньями. Они и давали лекарство, перевязывали раны, говорили ободряющие слова, читали книги, писали письма, духовные завещания и умиляли не привыкшего к ласке солдата терпением и кротостью.

— Хоть потолкайся, матушка, около меня, так мне уж будет легче! — говорил один тяжело раненый солдат.

Вот что писал в своем «Историческом обзоре действий Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных» знаменитый хирург Пирогов\*, благодаря энергии которого положение раненых значительно улучшилось со времени его приезда в Севастополь.

«Для всех очевидцев памятно будет, — пишет наш знаменитый хирург, — время, проведенное с двадцать восьмого марта по июнь месяц 1855 года в морском собрании. Во все это время около входа в собрание, на улице, где так нередко падали ракеты, взрывая землю, и лопались бомбы, стояла всегда транспортная рота солдат под командою деятельного и распорядительного подпоручика Яни; койки и окровавленные носилки были в готовности принять раненых; в течение девяти дней мартовской бомбардировки беспрестанно тянулись к этому входу ряды носильщиков; вопли носимых смешивались с треском бомб; кровавый след указывал дорогу к парадному входу собрания. Эти девять дней огромная танцевальная зала беспрестанно наполнялась и опоражнивалась; приносимые

раненые складывались, вместе с носилками, целыми рядами, на паркетном полу, пропитанном на целые полвершка запекающею кровью; стоны и крики страдальцев, последние вздохи умирающих, приказания распорядившихся — громко раздавались в зале. Врачи, фельдшера и служители составляли группы, беспрестанно двигавшиеся между рядами раненых, лежавших с оторванными и раздробленными членами, бледных как полотно от потери крови и от сотрясений, производимых громадными снарядами; между солдатскими шинелями мелькали везде белые капюшоны сестер, разносивших вино и чай, помогавших при перевязке и отбиравших на сохранение деньги и вещи страдальцев. Двери зала ежеминутно отворялись: вносили и выносили по команде: „на стол“, „на койку“, „в дом Гуцина“ [19], „в Инженерный“, „в Николаевскую“. В боковой, довольно обширной комнате (операционной) на трех столах кровь лилась при производстве операций; отнятые члены лежали грудами, сваленные в ушатах; матрос Пашкевич — живой турникет\* морского собрания (отличавшийся искусством прижи-

мать артерии при ампутациях) едва успевал следовать призыву врачей, переходя от одного стола к другому; с неподвижным лицом, молча, он исполнял в точности данные ему приказания, зная, что неутомимой руке его поручалась жизнь собратов. Бакунина\* постоянно присутствовала в этой комнате, с пучком лигатур\* в руке, готовая следовать на призыв врачей. За столами стоял ряд коек с новыми ранеными, и служители готовились переносить их на столы для операций; возле порожних коек стояли сестры, готовые принять ампутированных. Воздух комнаты, несмотря на беспрестанное проветривание, был наполнен испарениями крови, хлороформа; часто примешивался и запах серы — это значило, что есть раненые, которым врачи присудили сохранить поврежденные члены, и фельдшер Никитин накладывал им гипсовые повязки.

Ночью, при свете стеарина, те же самые кровавые сцены, и нередко еще в больших размерах, представлялись в зале морского собрания. В это тяжкое время без неутомимости врачей, без ревностного содействия сестер,

без распорядительности начальников транспортных команд: Яни (определенного к перевязочному пункту начальником штаба гарнизона князем Васильчиковым) и Коперницкого (определенного сюда незабвенным Нахимовым), не было бы никакой возможности подать безотлагательную помощь пострадавшим за отечество. Чтобы иметь понятие о всех трудностях этого положения, нужно себе живо представить темную южную ночь, ряды носильщиков при тусклом свете фонарей, направленных ко входу собрания и едва прокладывавших себе путь сквозь толпы раненых пешеходов, сомкнувшихся в дверях его. Все стремятся за помощью и на помощь, каждый хочет скорого пособия: раненый громко требует перевязки или операции; умирающий — последнего отдыха; все — облегчения страданий».

## II

В первый период осады Севастополь еще не представлял собою груды развалин.

Неприятельские укрепления еще не приблизились к нашим, и снаряды не долетали, как позже, во все концы города, и дома, в

дальних от оборонительной линии улиц, были обитаемы.

Во многих частных домах были помещены раненые. Большой казенный дом командира порта, с огромным садом, был цел. Еще красовался Петропавловский собор, построенный в древнегреческом стиле, с красивой колоннадой, хотя несколько колонн уже были разбиты бомбами. В казенных и частных домах квартировали адмиралы, генералы, штабные офицеры гарнизона и оставшиеся еще семьи офицеров-моряков. Раненые офицеры-моряки оставались дома, чтоб пользоваться уходом немногих жен или матерей, не покидавших Севастополя и после жестоких бомбардирований.

Не уезжала, конечно, из города и большая часть матросок, торговок и обитательниц слободок. Они только выбрались из них подальше от снарядов и устраивались на новых квартирах, но многие и оставались в своих домишках, скрываясь в погребах днем и не теряя надежды, что не лишатся своего достоинства.

«Прогонят же наконец француза! Получит

Менщик подкрепления, пойдет на неприятеля, и город останется цел!»

Оставались в городе и некоторые лавочники, и торговцы, и многий бедный люд, привыкший к насиженному месту. Появились с разных концов и люди, хотевшие воспользоваться случаем скоро нажититься.

И, вдали от бастионов, Севастополь был полон той обычной мирной жизни, которая по временам напоминала прежний оживленный город черноморских моряков.

Рынок по-прежнему был оживлен. Он служил центром всех новостей, слухов, судачения, перебранок торговков, умевших ругаться не хуже боцманов, и критических замечаний отставных старых матросов, не стеснявшихся и бранить и высмеивать Меншикова.

На большой Екатерининской улице по-прежнему многие магазины и лавки не закрывались, и нередко днем, под грохот орудий, женщины заходили в лавки. Приказчики так же клялись, и дамы так же торговались, как прежде, покупая ленточки, прошивки или новую шляпку, чтоб вечером, после бомбардировки, показаться в люди, на Граф-

скую пристань или на бульвар Казарского, наряднее и авантажнее.

Даже на бастионах, где ядра и бомбы чуть ли не ежеминутно приносили увечья и смерть, появлялись и бойкие ярославцы, умевшие «заговаривать зубы» своими веселыми и остроумными присказками, и офицеры-владимирцы\*, и хохлы, и греки, и евреи — все эти «маркитанты» с жестянками разных закусок, ящичками сигар, табаком, спичками, бутылками вин и даже сладостями, раскупаемыми, не торгуясь, офицерами. Появлялись и торговки с рынка с булками, бубликами, колбасой и квасом для продажи солдатам и матросам. Похаживал и сбитенщик, выкрикивая в блиндажах о горячем сбитне. Заходил и старый татарин Ахметка с корзинами, полными винограда. Забегали и храбрые прачки, стиравшие на господ на бастионах.

Все они рисковали жизнью ради хорошей наживы и надежды на бога и на «авось».

Но многие неустрашимые матроски, приносившие на бастионы своим матросам кое-что съестное, булку, выстиранную рубаху и доброе ласковое слово, рисковали жизнью

только любви ради.

И напрасно матросы приказывали матроскам не ходить и казались сердитыми, втайне необыкновенно счастливые этими посещениями, — быть может, в последний раз.

Эти счастливицы особенно наказывали этим «глупым» с «опаской» возвращаться, под пулями, в город.

Забегали и дети-подростки.

Матросы грозили «форменно проучить» их, если еще осмелятся прийти сюда.

А сами, тронутые своими неустрашимыми детьми, горячо целовали их, словно бы прощаясь навсегда, и удерживали тоскливые слезы, стараясь не показать их своему мальчику, товарищам и начальству.

«И у других останутся сироты. И сколько уж осталось!» — невольно думали защитники на бастионах.

Недаром же матросы говорили в последнее время осады:

— Хоть по три матроса на пушку останется, еще можно драться, а как и по три не останется, ну, тогда шабаш.

А один солдат на вопрос главнокомандую-

щего князя Горчакова, обращенный к солдатам на втором разрушенном бастионе: «Много ли вас здесь на бастионе?» — ответил:

— Дня на три хватит, ваше сиятельство!

И Нахимов, незадолго до своей смертельной раны, однажды сказал начальнику бастиона, доложившему своему адмиралу, что англичане заложили батарею, которая будет поражать его бастион в тыл:

— Что ж такое? Не беспокойтесь... Все мы здесь останемся!

### III

В этот прелестный октябрьский вечер рестораны двух лучших гостиниц Севастополя были полны офицерами. Моряки, пришедшие с бастионов, шутя говорили, что отпущены со своих кораблей «на берег» и «на берегу» можно поесть и посидеть по-человечески. Что на своих «кораблях» опасно — не говорили, но зато рассказывалось много о том, на каком бастионе лучше блиндажи и лучше кормят, где удачно стреляли и подбили пушки на неприятельских укреплениях, кто проигрался в карты, кто выиграл прошлую ночь. Ели, пили, шутили. Передавались слухи о том, что

Меншиков решился послать большой отряд на рекогносцировку. Генерал Липранди несколько раз ездил к главнокомандующему со своим планом, и на днях будет дело. Конечно, подсмеивались над старым князем, который не показывается с Северной, и войска не знают его в лицо. Анекдотов ходило в то время много и про князя Меншикова, и про генералов, и молодежь смеялась.

Артиллеристы и пехотные офицеры, приехавшие с позиций, сидели отдельными кучками и с невольным уважением посматривали на тех, которые приходили с бастионов. Особенно с третьего и четвертого, на которых было очень жутко.

И молодой пехотинец, пришедший с оборонительной линии, где стоял полк для прикрытия, не без гордости сказал, что во время бомбардировки много перебило и в полку...

— Несообразителен полковой командир... Оттого и били солдат. Не догадался отвести людей подальше и скрыться в ложбинке... А говорил ему командир бастиона!.. — резко заметил пожилой штаб-офицер, моряк с перевязанной головой, сидевший за бутылкой пор-

тера вблизи пехотинцев, среди которых ораторствовал молодой прапорщик.

— Позвольте объяснить, что полковому было приказано, где стоять... И он не смел не исполнить приказания! — обиженно заметил прапорщик.

— То-то и дурак! Такого полкового Павел Степаныч Нахимов давно бы турнул... А вы, молодой человек, не петушитесь... Лучше выпейте со мной портерку... Прошу, господа, — обратился штаб-офицер к кучке офицеров и крикнул: — Карла Иваныч, спроворьте дюжину портерку! За это англичан хвалю... Выдумали отличный напиток.

К штаб-офицеру подошло и несколько мичманов.

— Позвольте и нам присоединиться, Иван Иваныч.

— А то как же? Карла Иваныч! Еще дюжину!

— А вы, верно, ранены? — спрашивал юнец артиллерист, только что приехавший в Севастополь.

— Пустяки... Перевязал фершал...

— И вы на бастионе?

— А где ж? Я служу на четвертом!

— Счастливый! — восторженно проговорил юнец.

Штаб-офицер усмехнулся:

— Счастья мало, молодой человек, быть убитым или искалеченным... Не завидуйте такому счастью и не напрашивайтесь на него...

Ресторан гостиницы немца Шнейдера был битком набит. Одни уходили, другие приходили.

На бульваре Казарского[20] играла музыка. Теперь севастопольцы выходили по вечерам гулять на этот маленький бульвар, прежде обыкновенно не посещаемый публикой.

До войны «весь Севастополь» выходил вечером гулять в большой, густой сад, на бульвар «Грибок», где ежедневно играла музыка. Теперь на «Грибке» стояла батарея, сад был вырублен. Под обрывом «Грибка» чернел четвертый бастион.

Маленький бульвар Казарского был полон.

На главной аллее ходили взад и вперед принарядившиеся немногие севастопольские дамы, большей частью жены и родственницы

моряков, и две-три дамы, оставшиеся, чтоб ходить за ранеными. Все они вышли подышать воздухом и взглянуть на людей в мирном настроении и гуляли по большой аллее в обществе мужей и знакомых, отпущенных с бастионов, пока неприятель замолк на ночь.

Болтали, шутили, смеялись. Разговаривали обо всем, кроме того, что ежедневно было на глазах и о чем как-то невольно избегали говорить, — о смерти.

Штабные адъютанты, и особенно приехавшие из Петербурга блестящие молодые люди, франтовато одетые, точно в Петербурге, они держались своего кружка, словно бы чуждаясь плохо одетых армейцев и громко говоривших моряков, не особенно заботящихся о свежести своих костюмов и свежести «лиселей» — воротничков, которые черноморские моряки всегда носили, несмотря на правила формы, запрещающие показывать воротнички.

Приезжие, казалось, интересовались более всего петербургскими делами, служебными и светскими сплетнями и воспоминаниями и если и говорили о войне, то по большей части

повторяли мнения своих генералов и, разумеется, снисходительно-ядовито бранили главнокомандующего, князя Меншикова, который далеко не особенно любезно принимал приезжих из Петербурга с рекомендательными письмами тетушек или влиятельных генералов. Он не удерживал приезжих в своем штабе, не предлагал никаких занятий, советовал возвращаться в Петербург, не давая случая отличиться и получить крест, или посылал в адъютанты к своим генералам.

Особенно недолголюбивал Меншиков флигель-адъютантов\*, подозрительно думая, что они приезжали, чтоб быть соглядатаями и распространять еще большие сплетни в Петербурге. И с саркастической усмешкой старого Мефистофеля он любезно предлагал им посмотреть, как действуют бастионы.

— Нахимов возьмет вас с собой... Он любезный адмирал и каждый день во время бомбардирований объезжает все бастионы. Осмотрите все и доложите государю, что видели! Впрочем, я попросил бы вас отвезти письмо к его величеству, очень важное и спешное. Завтра оно будет готово. А сегодня

отдохните. Дороги ведь отчаянные. Верно, устали, полковник! — говорил старый князь и иногда приглашал к себе обедать. «Чем бог послал», — прибавлял главнокомандующий, скупость которого и более чем скромные обеды были давно всем известны, как и обычные его замечания за обедами о вреде объедения и особенно опьянения. Недаром же на стол ставились только две бутылки дешевого вина.

— Как угодно, ваша светлость! — с почти-тельной эффектацией отвечал один приезжий, скрывая далеко не приятные чувства к этому холодному и злому старику, который даже не спросил о том, что думают о Севастополе в Петербурге, и ехидно предложил человеку с блестящей карьерой немедленно быть раненым или убитым. Не для того же он приехал!

«Не все такие счастливцы, как Нахимов!» — подумал приезжий, которому эти ежедневные объезды бастионов показались в эту минуту даже ни к чему не нужной бравადой чудака адмирала. И, наконец, можно спросить у него о том, что делается на бастио-

нах, и потом рассказать в Петербурге об ужасах войны и о неспособности выжившего из ума главнокомандующего, так встретившего полковника, посланного военным министром с секретными письмами к князю Меншикову.

Ответ приезжего, видимо, понравился старику, и он гораздо любезнее промолвил:

— Большое спасибо... Отдохни и к шести обедать... Поговорим... А теперь видишь...

И старик указал на письменный стол, заваленный бумагами, и с горькой усмешкой прибавил:

— Все это надо прочесть и подписать... И сейчас приедут с докладами... До свидания, любезный полковник!

#### IV

Теперь этот полковник, побывавший у Нахимова, пообедавший у князя Меншикова и день отдохавший под рев и грохот бомбардировки на квартире, вблизи Графской пристани, своего прежнего товарища по полку, капитана генерального штаба, — после объезда притихших бастионов был на бульваре.

Красивый, изящный и элегантный молодой блондин, недовольный, несколько свысо-

ка глядел на сева­сто­поль­ских за­щит­ни­ков. Он был раз­оча­ро­ван ими — до то­го они мало го­во­ри­ли о вой­не, так мало, по его мне­нию, по­ни­ма­ли об­щую идею ее, не зна­ли выс­шей по­ли­ти­ки Пе­тер­бур­га и бы­ли, осо­бен­но мор­я­ки, хо­ть и го­сте­при­им­ны, но слиш­ком фа­ми­льяр­ны с го­сте­м, то­чно он не фли­гель-адъ­ю­тант, а за­уряд­ный то­ва­рищ, и не ин­те­ре­со­ва­лись, за­чем он при­ехал и за­чем ез­дит по ба­стио­нам. И кто-то да­же про­сто­ду­шно-гру­бо­ва­то за­ме­тил, что те­перь нет ни­че­го ин­те­ре­сно­го.

— Днем куда ин­те­ре­снее! — при­ба­вил ка­кой-то ми­чман.

Бре­зг­ли­во уди­в­лял­ся пол­ко­в­ник и гряз­и в блин­да­жах, и рав­но­ду­шию к пла­тью и белью, и от­сут­ствию дис­ци­п­ли­ны мор­я­ков, раз­го­ва­ри­ва­ю­щих со сво­ими на­чаль­ни­ка­ми то­чно с то­ва­ри­ща­ми. Да­же к На­хи­мо­ву, как пе­ре­да­ва­ли мор­я­ки, в это у­тро один ма­тр­ос об­ра­тил­ся с фа­ми­льяр­ным во­про­сом:

— Все ли здо­ро­во, Па­вел Сте­пан­ыч?

И На­хи­мов до­бро­ду­шно от­ве­тил:

— Зо­ро­во, Гря­дко, как ви­дишь!

Уди­в­лял­ся пол­ко­в­ник, что ма­тр­осы не

вставали и не снимали шапок перед начальством. Таково было приказание Нахимова.

И полковник, расхаживая под руку с капитаном генерального штаба по аллее и горделиво осаниваясь под любопытными взглядами дам, продолжал передавать приятелю свои севастопольские впечатления:

— Я рассчитывал послужить отечеству — сделать здесь дело. Думал, что главнокомандующий воспользуется мною... оставит при себе, а он... гонит в Петербург... Завтра же я должен ехать с какими-то особенно важными письмами... Накормил меня отвратительным обедом, угостил рюмкой кислятины и после обеда пять минут поговорил со мной о том, что он похварывает и что у него нет способных людей... Вот и все напутствие. Передайте, говорит, в Петербурге, все, что видели. Отдохните и утром... с богом... Хорошо тоже и ваш прославленный Нахимов... Я думал, что он в самом деле замечательный человек, и счел долгом представиться ему в полной парадной форме... как следовало... А он, как бы ты думал, встретил меня?..

— Разве не любезно?..

— Очень даже просто и оригинально... Пожал руку, просил садиться и удивлялся, что я в таком параде. «Мы не в Петербурге-с. Надолго ли в Севастополь?..» Я доложил, что главнокомандующий посылает меня завтра же обратно с важными бумагами и что счел долгом представиться такому знаменитому адмиралу. Он только крякнул, сконфузился и молчал... И наконец сказал: «Хороший сегодня день, а как погода в Петербурге?» — «Скверная, ваше превосходительство». А он: «Извините, молодой человек, меня зовут Павлом Степанычем!» Опять молчит. Я спросил, что думают в Севастополе о своем положении? Полагал, что объяснит мне. Есть же у него соображения?.. И вместо того обрезал: «У нас не думают-с, а отстаивают Севастополь-с! Сегодня у англичан два орудия подбили-с с третьего бастиона, а с четвертого-с взорвали пороховой погреб-с!» Через минуту вошел в кабинет адъютант Нахимова. «Идите, говорит, Павел Степаныч, обедать, а потом отдохните и, верно, опять поедете на бастионы». — «А как же-с!» И, вставая, адмирал приветливо сказал мне: «Пообедайте с нами. Мундир свой

лучше расстегните»... Был второй час, я только позавтракал, поблагодарил, прибавил, что очень счастлив познакомиться с таким героем, и стал откланиваться. Он даже вспыхнул и, пожимая руку, сказал: «Все здесь исполняют свое дело-с... Какое тут геройство-с... И какое тут счастье видеть меня-с... Вот убитый Владимир Алексеич Корнилов был герой-с... Он организовал защиту-с... Благодаря ему мы вот-с еще защищаем Севастополь... Счастливого пути-с! Мирошка! Подай барину шинель!» — крикнул адмирал...

Полковник примолк на минуту и проговорил:

— Знаешь, какого я мнения о Нахимове?

— Какого?

— Храбрый адмирал, но корчит оригинала и не очень-то далекий человек... Репутация его раздута...

Но капитан генерального штаба не разделял мнения флигель-адъютанта и горячо возразил:

— Нахимов застенчив и скромн... Но он истинно герой и необыкновенно добрый человек... Он никого не корчит... и всегда

прост... Если б ты знал как любят его матросы...

— И как уважают его все офицеры! — неожиданно прибавил взволнованным голосом какой-то моряк-лейтенант, обратившись к капитану.

И прибавил, протягивая руку:

— Позвольте, капитан, горячо пожать вашу руку... На бастионах не раздуваются репутации... Это не в Петербурге и не на парадах! — значительно подчеркнул лейтенант и, пожавши руку капитана и не обращая ни малейшего внимания на приезжего, отошел к своему товарищу.

Полковник побледнел.

Он только презрительно скосил глаза на лейтенанта и, брезгливо пожимая плечами, благоразумно тихо промолвил:

— Как распущены моряки! Верно, пьяницы!

— Ты ошибаешься... Некогда им пить! — возразил капитан.

А лейтенант негодуя и громко проговорил, обращаясь к нескольким морякам:

— Ну, господа, хорош «фрукт»!

Через пять минут на бульваре уже прозвали приезжего полковника «петербургской цайцей».

И он ушел с бульвара обозленный и негодующий.

— Не вызывать же этого наглеца на дуэль! — сказал он.

В боковых аллеях было люднее. Там публика была попроще. Матроски, мещанки, торговки и горничные, принаряженные, в ярких платочках на головах, щелкали семечками и «стрекотали» между собой и с знакомыми франтоватыми писарями, мелкими торговцами и приказчиками. Отставные матросы и подростки окружали музыкантов, когда они играли, и похваливали и музыкантов и Павла Степановича, благодаря которому каждый вечер играла музыка.

— Обо всем подумает наш Павел Степанович! — говорили старики.

В боковых, более густых аллеях бульвара было оживленнее, чем на большой аллее. Было более шуток, смеха и болтовни во время антрактов.

Но, как только музыка начиналась, разго-

воры стихали, и все слушали... Все, казалось, еще более наслаждались чудным вечером. И лица, залитые серебристым светом месяца, казалось, были вдумчивее и восторженнее под влиянием музыки.

В десять часов, когда музыканты ушли, бульвар опустел. Скоро город затих.

Затихла и оборонительная линия.

На бастионах и батареях крепко спали уставшие за день люди. Бодрствовали только «вахтенные», как поморскому звали часовых, да знаменитые «пластуны» — кубанцы-казаки, залегшие впереди бастионов в «секрете», где-нибудь в балке или за камнем. Они зорко смотрели и чутко слушали, что делается в неприятельских траншеях и «секретах», совсем близких от притаившихся и, казалось, невидимых пластунов... Ни звука, ни шороха с их стороны. Казалось, они не дышали, эти ловкие разведчики, одетые в какое-то оборванное тряпье с мягкими броднями\* на ногах, с кинжалом за поясом и винтовкой, обернутой чем-то, чтоб она не блеснула на луне или не звякнула.

И нередко, словно кошка, пластуны под-

ползали к «секретам» вплотную и схватывали врасплох французов или англичан, завязывали им рты и тащили с тою же предосторожностью на наши бастионы и докладывали: «Языка добыли». А захваченные ружья продавали офицерам.

Только на двух батареях за оборонительной линией шла работа. Солдаты исправляли повреждения, сделанные бомбардированием за этот день.

А хозяева этих батарей — матросы, заведующие пушками, — отдыхали повахтенно. Часть наблюдала за работой, а другая — крепко спала.

Над Севастополем и окрестностями стояла красивая ночь. Становилось холоднее.

## Глава IX

### I

**Б**ыл восьмой час вечера, когда Бугай с Маркушкой, минуя «Грибок», подошли к четвертому бастиону.

— Вам чего? — спросил часовой у входа в бастион.

— Повидать одного матросика знакомого. А мальчонку отец! — неволью понижая го-

лос, проговорил Бугай.

— Что ж, иди. Только спят все... Вахтенных спроси...

На площадке бастиона, залитого месяцем, под заряженными пушками и у пушек лежали матросы, покрытые бушлатами, с шапками на головах. Среди тишины раздавался храп спящих.

Только несколько «вахтенных» стояли у банкета\* и по углам бастиона и взглядывали «вперед» на чужие батареи. А «вахтенный» офицер — молодой мичман, сидя верхом на пушке, поглядывал то вперед, то на звезды и тихо напевал какой-то романс.

Старик и мальчик торопливо подошли к тому углу бастиона, где стояло орудие, из которого Ткаченко обещал «шугануть» француза.

Они жадно заглядывали в лица спавших у орудия.

Пересмотрели всех.

Не было черномазого, как жук, заросшего волосами Игната. Не было ни одного из тех матросов, которых видели за обедом Бугай и Маркушка, когда были на бастионе в гостях у

Ткаченко, за несколько дней до первой бомбардировки.

Все незнакомые лица.

— Дяденька! Где же тятка? — надрывающим тихим голосом спросил Маркушка, испуганно заглядывая в глаза Бугая.

— Может, у другой орудии! — еще тише промолвил Бугай, отводя в сторону взгляд, точно чем-то виноватый перед мальчиком, который сейчас узнает, что отца нет в живых.

И спросил подошедшего вахтенного матроса:

— Где тут у вас Ткаченко?..

— Такого не знаю. Я на баксионе со вчерашнего дня... Вот мичмана спроси... Тот давно здесь... И хоть бы царапнуло... Он счастливый! — ответил матрос. — Ничего не поделаешь! — неожиданно прибавил он, словно бы отвечая себе на какой-то вопрос, появившийся в его уме.

Молодой мичман, чему-то улыбающийся, быть может луне, звездам и радости жизни, прыгнул с орудия и, подбегая к неожиданным гостям, ласково спросил:

— Да вы, братцы, кого ищете?

— Комендора Игната Ткаченко, ваше благородие...

— Мой тятка, ваше благородие! А мамка на днях умерла! — почему-то счел нужным прибавить Маркушка, словно бы инстинктивно желая отдалить ужас ответа.

И мичман это понял. И веселая улыбка внезапно сбежала с его пригожего, жизнерадостного лица.

— Твой отец жив, голубчик... Сегодня днем осколком ранило... Кажется, в ноги... Именно в ноги... Он в морском госпитале. Там поправят... Непременно поправят! — возбужденно и искренне говорил мичман.

Добрый, бесхитростный и необыкновенно простой в отношениях к людям всяких положений, этот жизнерадостный и всегда веселый мичман пользовался общей симпатией и начальства, и товарищей, и матросов, и сева-стопольских дам, и сева-стопольских торгов.

Недаром же почти все офицеры звали его «Володенькой», матросы — «Ласковым» и «Счастливым», дамы — «Милым мичманом», торговки — «Голубком», а сам Павел Степано-

вич на днях на бастионе сказал ему: «Лихой вы мичман-с!»

Впечатлительный мичман в эти минуты старался уверить и себя — и главное ради мальчика — и его в том, что Ткаченко, унесенный с бастиона без ног, оторванных осколками бомбы, — будет жив.

Чем более жалел он Маркушку с его испуганными темными глазами, тем более и сам верил, что мальчик не останется круглой сиротой.

И мичман еще возбужденнее и увереннее сказал:

— И не таких раненых починяют. А твой отец крепкий, здоровый матрос. Его легче поправить... Поверь, голубчик...

— То-то и есть, Маркушка! — поддакнул Бугай, поверивший словам мичмана. — Валим в госпиталь, Маркушка. Пустят, ваше благородие?

— Отчего не пустить? Скажи там: «Сынишка, мол, раненого на четвертом бастионе». Пустят. А то вот записку дам... знакомому доктору...

Мичман подал Бугаю клочок бумаги. По-

том подал Маркушке рубль и велел купить бутылку белого вина в лавке Софери.

— Знаешь?

— Знаю.

— Отнеси вино отцу. Рюмку выпить полезно. Верно, доктор позволит. С богом, братцы...  
Кланяйся отцу, Маркушка.

— Как назвать вас, ваше благородие?

— Скажи, от «Счастливого мичмана».

— Счастливо оставаться, ваше благородие! — промолвил Бугай.

Маркушка поблагодарил.

Они пошли в город.

Мичман вскочил на орудие. Он то посматривал в подзорную трубу на чернеющие французские батареи, то снова любовался звездным небом и подпевал.

Среди безмолвия ночи над городом и степью, насыщенными кровью, мягкий, необыкновенно чарующий баритон мичмана звучал не скорбью, а прелестью и счастьем жизни.

Словно бы ее неудержимая, стихийная мощная сила, полная веры в себя, отгоняла и мысль о возможности умереть.

Счастливый мичман, казалось, и не поду-

мал, что завтра, рано утром, смерть снова налетит, как ураган, на бастион за людьми, осыпая их бомбами, гранатами и ядрами.

И пел себе да пел романс за романсом.

## II

Бугай и Маркушка молча и скорыми шагами спустились в город. Они купили бутылку вина, пошли к пристани и отвалили на своем ялике, направляясь в южную бухту, чтоб переправиться через нее и пристать к госпиталю.

Музыка с бульвара долетала до наших приятелей.

На рейде царила тишина. Но в Южной бухте чаще раздавалась мерная гребля военных баркасов, полных раненых.

Скоро ялик пристал к пристани. Через несколько минут Бугай с Маркушкой вошли в главный подъезд госпиталя, вошли в большие сени и не могли двинуться — такая толпа людей, ожидающих помощи, была здесь. Стоял стон. Раздавались крики и мольбы о помощи.

Маркушка ахнул и схватился за штанину Бугая.

— Народу-то, господи! И как найти тятю-ку! — промолвил Маркушка.

— Найдем!..

Сени были битком набиты. В ожидании приема и осмотра раненые стояли, сидели на подоконниках, на полу. Многие лежали без сознания и, казалось, умирали. Два госпитальные служителя повторяли: «Повремените, братцы!» Писаря записывали фамилии. В толпе ходили две женщины. Они поили вином, освежающими напитками и то и дело ласково говорили:

— Подождите... Потерпите, братцы. Доктора заняты более трудными ранеными. Сейчас и вас осмотрят и всех уложат в палатах.

Одна — пожилая женщина — была в форменном коричневом платье с белым капюшоном на голове, с крестом на шее, другая — молодая — была в легком темном платье, гладко зачесанная, с обручальным кольцом на маленькой руке.

Обе, сопровождаемые госпитальными матросами с ковшами и мисками, никого не обходили и каждому находили ободряющее ласковое слово.

— Это какие же барыни? — спрашивал Маркушка.

— Одна милосердная вроде как бы казенная из Петербурга прибыла... призреть людей... Видишь — заботливая, еле ходит — устала, а обнадеживает... И хоть бы прикрикнуть... Другой зря кричит... А другая, Маркушка, вольная милосердная. Знакомая барыня, Анна Ивановна Вергежина, супружница капитан-лейтенанта... Он на баксионе, а она вон где... Осталась по доброму сердцу в Севастополе... Жалостливая...

— Ее и спроси насчет тятки...

— Как подойдет... Видишь, за делом... И всякому ответь...

Кто-то спрашивал «милосердную»:

— Матушка! А не убьют бомбой в госпитале? От баксионов близко...

— Скоро переведут госпиталь в морское собрание... Павел Степаныч уже распорядился насчет этого... А пока слава богу! — успокаивала пожилая «милосердная», как звали матросы и солдаты сестер.

Анна Ивановна, побледневшая от усталости, подошла к одному раненому, вблизи от

Бугая и Маркушки. И, когда она подала ему стакан воды с вином, старый яличник окликнул ее:

— Барыня!.. Вашескородие!.. Дозвольте обеспокоить...

Молодая дама узнала Бугая.

— Ты зачем здесь?

— По причине Маркушки... Вот он самый. Отца пришел проведать... Ранен в ноги на четвертом баксионе. Ткаченко... Допустите к нему, Анна Ивановна. Вот и письмо от Ласкового мичмана к доктору...

Анна Ивановна грустно-грустно взглянула на Маркушку, погладила его всклокоченную голову и сказала:

— Идите в третью палату. Он там... Обратитесь к сестре. Она покажет...

— А как тятка? — нетерпеливо спросил Маркушка...

Молодая женщина ничего не ответила и только указала, как пройти в палаты.

Через пять минут Бугай и Маркушка протолкались и осторожно вошли в третью палату.

## Глава X

В палате тяжелораненых, заставленной тесными рядами коек, было невыносимо душно. В ней пахло удушливым, смрадным запахом гниющего тела, крови и пота.

В полусвете от нескольких оплывших сальных свечей и серебристых, бледных лунных полос, льющихся в раскрытые окна палаты, видны были мертвенные лица людей, лежавших на койках, покрытых соломой. Многие раненые не были прикрыты, и вместо ноги бросался в глаза какой-то толстый, обмотанный бинтами обрубок. Вместо рук — те же обрубки в бинтах. Повсюду люди в перевязках.

Можно было бы подумать, что здесь лежат мертвецы, если бы в разных концах палаты не раздавались стоны и тихие голоса, полные просящей тоски:

- Пить!.. Ради Христа, пить!
- Помоги, сестрица. Родимая, помоги!
- Подойди, милосердная...
- Скорей бы пришла смерть... Возьми меня, господи!

Кто-то, казалось, в бреду, звал свою матрос-

ку. Кто-то возбужденно говорил о подбитом орудии у «француза». Кто-то упорно повторял все одни и те же слова уже коснеющим языком:

— Врешь, бомба, не убила! Врешь, подлая, не убила!

Еще минута, другая, и на слове «врешь» голос затихал навеки.

Пожилая сестра милосердия бесшумно ходила между койками, останавливаясь у зовущих, и подавала пить, утешая ласковым словом, гладила воспаленные головы, засматривала в бледные лица и, казалось, ласкала их своими большими, вдумчивыми и необыкновенно добрыми глазами. Два фельдшера разносили питье, поправляли повязки и по временам приказывали служителям выносить из палаты только что переставшего жить. На очистившуюся койку сейчас же вносили другого тяжело раненного, только что ампутированного в операционной зале, где безустанно работали морские врачи.

Маркушка был потрясен от того, что увидел.

И он забился в угол у дверей. Он весь съе-

жился и вздрагивал. В расширенных зрачках его темных глаз стояло выражение ужаса, тоски и жалости.

Застыл в угрюмом молчании и Бугай при виде этих непереносных страданий людей, ожидающих смерти.

«Уж лучше бы наповал убивало людей!» — подумал старик, невольно протестуя своим добрым сердцем.

И, повернувши окаменевшее лицо к Маркушке, погладил своей шершавой рукой понуренную, всклокоченную голову мальчика — круглого сироту, как не сомневался уже больше старый яличник.

Эта неожиданная ласка вызвала на глаза Маркушки крупные тихие слезы. Но он с решительной торопливостью вытер их своей грязной рукой и голосом, полным сдержанного рыдания, проговорил:

— Найдем тятку, дяденька! Быть может, еще мучается. Пусть не один помрет! И вина выпьет.

И чуть слышно прибавил:

— Мичман напрасно обнадежил насчет тятки, ежели две ноги оторвало!

— Много, братец ты мой, пропадает народа на войне. Надо умирать, ежели смерть придет. Всем будет крышка... Господин фершал! — вдруг остановил Бугай вошедшего в двери уставшего фельдшера.

— Что тебе?..

Старик объяснил свою просьбу: позволить провести матроса Игната Ткаченко, у которого оторваны обе ноги на четвертом бастионе.

И тихо спросил:

— Жив еще?

— Черномазый такой?..

— Он самый...

— Перевязывал, как отрезали обе ноги. Молодцом терпел перевязку. Вон у последнего окна вправо этот самый черномазый матрос. Кажется, жив.

— Выживет?

— Какое! Безнадежный! Антонов огонь уж забрал ходу. До утра вряд ли доживет. Сынишка? — махнул головой фельдшер на Маркушку.

— Сынишка.

— Так ступай с ним и объявись старшей

милосердной. Пустит, и вином угости матроса. Теперь все ему можно!

С этими, казалось, равнодушно торопливыми словами человека, уже привыкшего к крови ужасных ран, искалечений и операций, к страданиям и смерти, молодой и истомленный фельдшер, с чахоточными пятнами на обтянутых щеках и с лихорадочными, ввалившимися большими глазами, пошел к койкам осматривать, нет ли покойников, очистивших койку.

— Пойдем, Маркушка!

И словно бы Бугаю пришлось вести мальчика среди опасности, старик взял его за руку.

Сосредоточенный, серьезный, осторожно ступал он между койками, деликатно не глядел по сторонам на раненых, словно бы чувствуя, что одно уже любопытство здорового человека могло обидеть людей, большая часть которых обречена на смерть.

Так же, опустив свои испуганные глазенки, точно виноватые перед великостью людского страдания, шел, не выпуская своей руки из широкой руки Бугая, Маркушка, поблед-

невший, полный жуткого чувства тоскливого страха и едва выносивший этот ужасный, смрадный воздух.

— Вам кого? — тихо спросила пожилая сестра милосердия с усталым лицом, отходя от одной из коек.

И, взглянув на Маркушку, приветливо и участливо потрепала своей длинной, белой рукой щеку мальчика.

— Тятьку! — порывисто сказал Маркушка.

Бугай поторопился назвать отца мальчика и указал место, где койка Игната Ткаченко.

— Фершал обещал... Вы, мол, разрешите мальчонке навестить отца. Мы на баксионе узнали, где он.

Сестра как-то значительно грустно повела глазами на мальчика.

— А мать отчего не пришла?

— Недавно померла! — ответил Маркушка.

— Кто ж у тебя здесь родные, кроме отца?

— Я у дяденьки живу.

— Значит, мы с Маркушкой хоть и не сродственники, а, слава богу, довольны друг другом! — вступился Бугай.

— Отправил бы ты его из города. Мало ли

что случится.

— Уж я отговаривал. И один раненый офицер звал к себе в деревню. Упрямый мой Маркушка! Не согласен.

— Я с ним останусь, барыня! — решительно сказал Маркушка.

И прибавил:

— Где же тятка?.. Дозвольте, добрая барыня...

— Ишь ты... милый! — сердечно вырвалось у сестры.

— И вот вино...

— Можно. Идите за мной.

Сестра, по всему видно женщина из общества, словно плывущей походкой, пошла между койками.

Раненые то и дело звали сестру... То напиться, то поправить подушку, то подержать голову.

Она участливо-кротко говорила:

— Сию минуту. Приду, матросик...

И останавливалась у раненых на ближних койках, поправляла подушки, говорила несколько слов и шла дальше...

Наконец она остановилась у койки, где ле-

жал Игнат Ткаченко, и, нагнувшись к его осунувшемуся, землистому и пылающему лицу, тихо сказала:

— Гости пришли...

Глаза матроса оживились радостью, когда он увидел Маркушку и Бугая.

— Ишь ведь Маркушка... Разыскал отца... Молодца мальчонка...

Матрос говорил, стараясь бодриться и не показать, как ему худо. И он выпростал из-под одеяла руку, сжал руку Маркушки и, не выпуская ее, жадно, скорбно и любовно смотрел на сына.

И Маркушке казалось, что отец не так опасен и будет жить.

— Счастливый мичман приказал вам кланяться и посылает вина. Хорошо, говорит, для поправки...

— Хочешь, Игнат? Сестра позволила, — спросил Бугай.

Сестра уже поднесла к спекшимся губам матроса рюмку вина.

Он отпил немного и, любуясь Маркушкой, горделиво сказал сестре:

— Какой у меня Маркушка, сестрица!..

— Славный у тебя сын, Игнат! — промолвила сестра и пошла к призывавшим ее страдальцам.

А Игнат сказал Бугаю:

— Спасибо тебе... Береги сироту... У сестры мои три карбованца... Так для Маркушки...

— Будь спокоен за Маркушку... Сберегу мальчонку...

— Мне не надо... Вам пригодятся деньги, тятка.

Игнат попробовал улыбнуться, но вместо улыбки на его лице пробежала страдальческая гримаса.

— Дюже болит? — спросил Маркушка.

— Не очень... Пройдет... Прощай, Маркушка... Прощай, Бугай... А я, я... Что-то в глазах... Мутится... Где ты, Маркушка... Маркушка?..

— Я здесь, здесь, тятка!..

Но тускневшие глаза, казалось, не видели никого. Из груди его вырывались стоны.

— Тятка! Я здесь! — крикнул в ужасе Маркушка.

— Не замай... Он заснуть хочет! — сказал Бугай, утирая слезы.

— Ступай домой, Маркушка! — ласково промолвила подошедшая сестра. — Он... скоро перестанет мучиться...

Маркушка, казалось, понял и припал к холодевшей руке отца.

Через минуту Бугай увел Маркушку из палаты. Они вышли из госпиталя и сели в ялик.

Ночь была прекрасная. Луна бесстрастно смотрела сверху. Маркушка, вдыхая полной грудью чудный воздух, правил рулем, тоскливый и потрясенный.

## II

Только забрезжило перед рассветом, как Маркушка поднялся, осторожно оделся, чтоб не будить Бугая, и со всех ног бросился на Северную сторону и переправился на ялике к госпиталю.

Опять полная ранеными приемная. Опять смрадный воздух в полутемной палате. Опять, словно привидение, ходит между койками та самая сестра, которую видел вчера мальчик. Только она казалась совсем старая, осунувшаяся, истомленная после бессонной ночи.

Приход Маркушки удивил сестру милосер-

дия. Удивил и в то же время умилил ее.

Он уже был у койки, где вчера лежал отец, но вместо него лежал другой, с такими же потухающими глазами на измученном, мертвенном, обросшем волосами лице и так же, как и отец, шептавший что-то губами, и из его груди вырывались стоны ужасного страдания.

Сестра уже была около Маркушки.

— Умер? — спросил мальчик.

— Умер! — ответила сестра.

И прибавила:

— Скоро после того, как ты простился с ним... И умер героем, мой хороший мальчик.

Но то, что отец умер героем, не особенно утешило Маркушку.

— Можно посмотреть на тятку?.. — глотая слезы, возбужденно спросил он.

— Его уже увезли и похоронили на братской могиле на Северной стороне...

Мальчик на секунду сдерживался. И наконец у него вырвался крик отчаяния:

— И зачем это люди убивают друг друга... Зачем?

— Милый... Уходи скорей домой... Света-

ет... Начнется бомбардировка... Здесь долетают снаряды...

— Пусть и меня убьет!..

— Тебе жить надо, мальчик. Где ты живешь?..

— С дяденькой Бугаем.

— А он чем занимается?

— Яличник! — не без достоинства произнес Маркушка.

— А ты?

— Рулевым у дяденьки на ялике! — еще горделивее сказал мальчик.

— Ишь ведь ты какой молодец! Тебе сколько лет?

— Двенадцатый!

Решительно Маркушка особенно понравился сестре, как и вообще многим, которые несколько знакомились с ним.

И она раздумчиво проговорила:

— А все-таки тебя надо лучше устроить, Маркуша!

— Уж чего лучше быть рулевым... Я хотел было на баксион, где убили тятку, так тятка не велел и дяденька не пускает!

— Еще бы... Зачем тебе идти на смерть...

Не надо... Не надо! — взволнованно произнесла сестра.

— Зря убьют... А то искалечат, как меня! — раздался вдруг раздраженный голос с койки. — Не ходи на баксион...

— То-то... надо жить. Ты грамотный?

— Вовсе мало. Самоучкой...

— А ежели тебя обучить... многое узнаешь... И тебе будет жить лучше... Я тебя еще повидаю! — решительно сказала сестра, принявшая близко к своему доброму сердцу судьбу Маркушки. — Где ялик Бугая?

— На перевозе около Графской.

— А я буду близко... Скоро госпиталь будет в морском собрании у Графской...

— А я никуда не уеду от дяденьки! — вызывающе ответил Маркушка. — И сам научусь грамоте, если захочу... Меня никто не смеет отнимать от дяденьки...

— Да я и не думаю... Ну, ступай, Маркушка... Только вперед возьми у меня вещи отца... Он велел их передать твоему другу Бугаю для тебя... Пойдем.

Сестра провела Маркушку в свою маленькую комнату во дворе госпиталя.

Комната была полна разными свертками, мешочками и маленькими сундучками последних умерших в ее палате и просивших сестру исполнить их последнюю волю.

В углу была кровать, умывальник и стол. Портрет какого-то красивого офицера висел над кроватью.

Сестра отыскала сверток с пришпиленной к нему бумажкой, на которой было написано рукою той же доброй женщины — от кого и кому сверток и что в нем находится, и, прочитав список, показала Маркушке три серебряные рубля, старый матросский нож, крест покойной жены, шейный платок и две ситцевые рубахи и, снова завернув все вещи, передала Маркушке. Передала и бутылку вина и проговорила:

— Бугай выпьет. А ты смотри, Маркушка, через бухту к Графской переезжай, а не через Корабельную... Начнется бомбардировка, там опасно. До свидания, славный мальчик! — прибавила сестра и крепко пожала руку Маркушке.

— Спасибо вам, добрая барыня, — промолвил Маркушка...

И, взглянув на ее истомленное лицо, прибавил:

— А вам надо отдохнуть... Изморились-то за ночь...

— В восемь уйду с дежурства и высплюсь...

— То-то. И тяжелая ваша служба, милосердная барыня... Я не пошел бы на такую службу... Тяжко смотреть... А уж на тятку...

Он вдруг почувствовал себя бесконечно виноватым, что болтал и словно бы забыл отца...

И, сдерживая подступавшие слезы, вышел из комнаты.

Уже рассвело, когда Маркушка дошел до бухты. И только что он сел в ялик, идущий к Графской, как загрохотали выстрелы... Несколько ядер упало недалеко от ялика...

— Ишь ты... Опять народ бьют! — проворчал яличник, принаваливаясь на весла... — А ты, Бугайкин рулевой, чего ревешь?

— Отца убило! — резко вымолвил Маркушка.

— То-то и есть. Много сирот останется! — сердито заметил яличник.

Грохот выстрелов усиливался. Скоро обла-

ка порохового дыма скрыли от глаз часть оборонительной линии и окрестностей Севастополя.

На пристани яличники еще не собрались, и Маркушка побежал домой.

### III

При виде Маркушки с лица Бугая исчезло тревожное выражение, но зато встретил он своего друга довольно сердито.

— Это как же, Маркушка? Из-за тебя, дьяволенка, тревожишься, а ты... бегать, вроде арестанта, без спроса... Куда бегал?

— В госпиталь...

— Мог побудить... Вместе пошли бы!.. А то...

Голос Бугая уже смягчился. Он словно бы нарочно не спрашивал об отце, не сомневался, что он умер, и не хотел расстраивать и без того печального Маркушки...

И он оборвал упрек и сказал:

— Пей-ка чай... Да кантуй бублики...

— Уж отвезли на Северную... Зарыли... Вот возьмите, дяденька... А вино пейте! — говорил Маркушка, отдавая сверток и бутылку Бугаю.

И прибавил:

— А вы не сердчайте, дяденька... Не сusterпел... Захотел взглянуть... Милосердная задержала...

— Как не взглянуть... Это ты правильно... Только меня бы взял... Ну, а я, Маркушка, не сердчаю... Ты башковат. Разве не понимаешь, что ты для меня вроде быдто одного на свете заботливого внучка, — необыкновенно ласково проговорил старик...

И он нежно погладил голову Маркушки и сказал:

— Поди прежде помойся... А то вроде цыгана.

Скоро Маркушка несколько отмыл грязь со своего лица и рук.

Без Маркушки Бугай и не думал пить чай.

Старик был в большой тревоге, пока не вернулся его приемыш. Особенно он тревожился, когда началась бомбардировка. А мальчонка «отчаянный».

Бугай быстро спрятал в сундук сверток, а бутылку поставил на маленький некрашенный самодельный столик, где собран был чай, и сказал:

— Нечего его для тебя, Маркушка, беречь... А достальное все будет сохранено. И что от матери осталось — вон в другом сундуке... И все здесь твое, Маркушка, ежели как помру... И ялик тебе... Да ты не кукся... Я, значит, для примера...

Перед тем что приняться за чай, Бугай для чего-то посмотрел на бутылку и, откупоривши ее, проговорил:

— Надо попробовать, какое такое рублевое вино...

И он попробовал его из горлышка раз, другой, третий и проговорил:

— Большого скуса в нем нет, Маркушка... Так вроде быдто кваса...

Бугай опять посмотрел на бутылку, но уж с видом некоторого презрения бывшего пьяницы. Словно бы вынужденный каким-то не особенно приятным долгом порядочного матроса закончить ее, он проговорил:

— Не зря же ему пропадать!

С этими словами старик выпил остальное и сказал:

— А ведь лакают эту дрянь господа!.. Выдуй ее хоть ведро — только брюхо вспучит...

Куда водка вкусней.

— Может, вино для поправки здоровья...

— Разве что для господ... А для поправки матроса дай ты ему стаканчик-другой водки, куда полезительней...

И Бугай прикусил своими еще крепкими зубами крошечный кусок сахара и стал пить чай, заедая его пополам татарским бубликом.

Выстрелы гремели. Слышался свист и разрыв бомб.

Но о них ни Бугай, ни Маркушка не сказали ни слова, точно уже не обращали внимания, как на самое обыкновенное и привычное явление с рассвета.

Бугай в это утро был словоохотливее, чем обыкновенно, видимо желая отвлечь Маркушку от горя. Он рассказал о том, как служил фор-марсовым на корабле «Двенадцать апостолов» под начальством Корнилова, и прибавил:

— Царство ему небесное!.. Уж на что был необходимый по уму начальник, а и то убит... Ничего не поделаешь, братец мой, против ядра или бомбы... И, если дело разобрать, зачем мы хорохорились... Тоже: ни войска в плепор-

цию, ни стуцера, ни генералов... И как бы растерянный Менщик... На мирном положении оказывался умным, а как ум потребовался... и ум весь вышел... Спрятался от всех и только скулит: «Солдаты, мол, нехорошие». Ах ты... бесстыжий... Ах ты...

— То-то Изменщиковым и зовут! — поддакнул Маркушка.

— На это не посмеет. Тоже император наш не простил бы!.. Да Менщик и страсть богатый. Одних крестьян у него, сказывают, до двадцати тысяч... Так на измену он не польстился. А просто вроде как бы меня, матрозню, назначили в господа... Какой из меня барин?.. Вот так и Менщик... Ничего в своем деле не понимает! И хоть бы понял простого человека... Обнадежил бы словом. Забился на Северную... Оттуда только слышна бондировка, а его не касается. Да лепорты получает, что каждый день народ пропадает... Думаешь: Пал Степаныч зачем как каждый день на баксионы приехал, сейчас в аполетах, да на самое опасное место?

— Зачем?

— На смерть лезет... Видит: вовсе нет нам

одоления... Одна только оттяжка Севастополя... Какой Менщик... и какие распорядки... Так, по своей совести, Нахимов ищет смерти, чтоб не видать, как нас расстреливают да под конец разнесут Севастополь. Только ни ядро, ни бомба, ни пуля не берут его... Пока Пал Степаныч цел, нет-нет и надежда не пропадает... Он, наш праведник и матросам отец, мол, вызовет...

— Сказывали, дяденька, что Нахимов заговоренный. Оттого всякая пуля прочь от него! — заметил Маркушка.

— Для матросиков, видно, бог его бережет... Чтобы народ не приходил в отчаянность. А Пал Степаныч во всякую минуту готов принять смерть... Прост он с нашим братом... Понимает, что все люди одного шитья... На службе ты матрос, а душа в нем такая, как у начальника, будь ты хоть полный адмирал... Оттого и смерти не боится... А которые о себе полагают и над простым человеком зверствуют, те смерти боятся и при первой царапинке сейчас с баксиона в укромное место... «Очень, мол, непереносима конфузия», — переиначил Бугай «контузию», передразнивая

своим сиплым баском предполагаемого им трусливого офицера.

И прибавил:

— Ты понимай это, Маркушка.

— Понимаю, дяденька!

— Только на смерть зря лезть не годится... Это разве Нахимову можно... Слава богу, оказал себя во всю жизнь... И обидно ему за Севастополь... Смекнул, Маркушка?

— Смекнул...

— А ты про себя все полагал: «На баксион да на баксион!» Вырастешь — пойдешь на баксион, если понадобится. Жизнь-то, братец ты мой, ко всему приведет... А теперь своему «дяденьке» помогай пока что в рулевых на ялике...

— Я всем доволен, дяденька, около вас...

— И я доволен, что ты со мной.

— Никуда от вас и не уйду! — вдруг решительно произнес Маркушка.

— Разве сманивал кто?.. Уж не яличник ли Брынза?

— Я бы ему поднес дулю... Милосердная сестра в госпитале говорила...

— О чем?

— Тебя, говорит, Маркушка, надо лучше устроить. И жить, мол, будешь лучше...

— А ты что?

— Мне, мол, и при своем деле хорошо.

— Что же тебе советовала милосердная? Человек-то она, прямо сказать, праведный по своей работе... Дурного не присоветует мальчонке...

— Обучиться тебе, мол, грамоте надо...

— Это, брат мой, умно присоветовала... Ловко бы тебя обучить и книжку понять и писать... Чего лучше?

И Бугай призадумался.

— Я и сам обучусь, дяденька... Достать бы только такую книгу.

— Книгу мы споровим, а как без учителя... Без учителя не понять... Пойми-ка... Не хвастай, Маркушка.

Мысль о том, что Маркушка будет «форменно умный», очень обрадовала Бугая, и он придумывал, где бы найти ему учителя в безопасном месте.

А Маркушка, по-видимому и сам желавший самому почитать книжку, еще решительнее сказал:

— Я, дяденька, немного умею по складам...  
— Умеешь? — изумился старый матрос.  
— Вот те крест: умею... Сам выучился...  
— Однако и башковатый же ты, Маркушка! — протянул Бугай, проникнутый необыкновенным уважением к мальчику, выучившемуся без учителя по складам.

Это казалось ему невероятно трудным.

И в доказательство этой трудности прибавил:

— Скажи мне: «Бугайка! Пойми книжку или получи триста линьков», — я в секунду принял бы порцию линьков... А ты... сам?

Решено было насчет книги спросить «милосердную», а ежели понадобится что показать, так Маркушка спросит знакомого писарька... Он каждый день шмыгает на Северную... Дорогой и покажет...

Этот план привел в хорошее настроение старого яличника и несколько отвлек Маркушку от тоскливых мыслей...

В шесть часов утра они уже были на ялике и принялись за обычную свою работу — перевозить пассажиров из Севастополя на Северную сторону и обратно. Один греб. Другой

правил рулем.

В первый же рейс Бугай и Маркушка сходили на большую насыпь над общей могилой, постояли несколько минут, истово крестились и становились на колени. И мальчик, значительно облегченный от исполненного им долга, и Бугай, посетивший могилу бывшего приятеля, поручившего сына, и снова пообещавший в мысленных словах беречь мальчика, — оба торопливо и, казалось, спокойнее вернулись на шлюпку и, забравши пассажиров, повезли их в Севастополь.

— А милосердная придет? — спросил под вечер Бугай.

— Беспременно придет. Обещалась! — уверенно и доверчиво отвечал Маркушка.

— Как только ей оторваться от дела... Работает, добрая душа, до отвала...

— Переведут госпиталь к Графской, и сам к ней сбегая.

— Она ведь все знает... И скажет, где достать книжку! — заметил Бугай.

И действительно, сестра милосердия, не забывшая понравившегося ей Маркушку, через три дня, часу в восьмом утра, пришла на

пристань и окликнула своих друзей.

## Глава XI

### I

— Небось пришла! — шепнул, полный горделивого чувства своей правоты, Маркушка, подталкивая Бугая.

И оба, при виде сестры милосердия, встали на своем ялике и сняли шапки.

— Вот и пришла проведать маленького рулевого. Здравствуй, Маркушка! Здравствуй, Бугай... Мы ведь соседи... Вчера перебрались в морское собрание! — говорила сестра спокойно, тихо и тем грудным мягким голосом, который звучал проникновенной, охватывающей душу сердечностью.

Но особенно ласковы были глубокие глаза, большие, лучистые и грустные. Они точно светились особенным тихим внутренним светом, исходящим из них, и эти глаза делали поблекшее, усталое и худое продолговатое лицо в белом коленкоровом форменном капоре сестры милосердия необыкновенно чарующим своей прелестью высшей духовной красоты.

В Севастополе не знали, кто она и откуда.

Об этом сестра милосердия не рассказывала.

Знали и благословляли раненые только «милосердную» Ольгу.

Одному Нахимову, к которому она явилась вскоре после первой бомбардировки с просьбой разрешить ей ходить за ранеными, приезжая должна была сообщить, что она княжна Ольга Владимировна Заречная, и пояснить, что дочь того известного богача и опального сановника Заречного, который живет теперь за границей.

И княжна попросила Нахимова оставить в секрете об ее звании.

— Пусть для всех я буду сестра Ольга и, если нужно, просто Заречная!

Нахимов, сам не знавший и не терпевший тщеславия, молча, но с особым уважением пожал руку княжне, добровольно приехавшей в Севастополь на тяжелый подвиг, и, разумеется, исполнил обе ее просьбы.

— А я знал, барыня, что вы придете! — возбужденно-радостно воскликнул Маркушка.

— А почему, Маркуша?

— Обещали... И вы...

Маркушка внезапно оборвал речь.

— Что ж замолчал?.. Ну, какая по-твоему? — с вызывающей добротой спросила сестра Ольга.

И она почувствовала себя в особенно хорошем настроении здесь, на берегу моря, с Маркушкой и Бугаем, неожиданно ставшими близкими, хотя и такими далекими по своему положению, такими грязными и плохо одетыми и такими, казалось ей, мужественными и хорошими.

— И скажу, коли хотите! — самолюбиво вспыхивая, ответил Маркушка. — Вы не таковская, чтоб объегорить.

— То есть не исполнить обещания?

— Ну да... Обыкновенно: объегорить или поддедюлить! — деловито пояснил Маркушка, видимо щеголяя своим умением распоряжаться глаголами.

— Спасибо... Ишь ведь ты какой доверчивый, Маркуша.

Но эта искренняя хвала Маркушки вдруг, казалось, напомнила сестре милосердия что-нибудь невеселое, потому что она с грустной раздумчивостью промолвила:

— Не очень-то хвали, Маркуша...

— Нешто объегориваете?

— Случалось, и мне приходилось лгать...

И, снова отдаваясь хорошему настроению, именно благодаря этому жизнерадостному, впечатлительному мальчику, сестра Ольга заботливо проговорила:

— Да что вы стоите... И без шапок... Еще напечет солнцем. Садитесь и наденьте их.

Они надели свои измызганные матросские фуражки.

Но Бугай не сажился и сказал, кивнув головой на Маркушку:

— Очень обнадежен был, что вы придете... Дожидал вас...

И, спохватившись, прибавил:

— А я, старый дурак, и не предложил барыне прокатиться... Погода форменная. Может, на Северную угодно, в Голландию\*, а то в Ушакову балку... Пожалуйте, барыня! Со всем удовольствием прокатим и... не требуется платить... Милосердная... Чертенюк Маркушка! Проси барыню...

— Ловко прокатим... Передохнете от своей службы, добрая барыня.

Как благодарно улыбалось лицо бледной женщины! Как заманчиво было предложение старика яличника, поддержанное симпатичным маленьким рулевым!

Утро выдалось бесподобное.

Море так и манило и своей чарующей таинственной красотой затишья, и ласковым шепотом лениво набегающего прибоя, и нежными, как тихие вздохи, ритмическими переживаниями замлевающей синевы вод.

Оно дышало бодрящей свежестью и каким-то особым ароматом морской травы. Солнце так нежно грело с бирюзовой и, казалось, улыбающейся выси.

А утомленной бледной сестре и ее истрадавшей из-за людских страданий душе так хочется хоть короткого отдыха, хочется быть хоть чуть-чуть подальше от несмолкаемого грохота орудий и шипенья и свиста бомб и ядер, так до тоски хочется полной грудью надышаться чудным воздухом моря после спертого и смрадного воздуха палаты.

Но там, в госпитале, страдания. Там люди ждут от нее слова, взгляда, даже мановения участия...

И сестра говорит:

— Спасибо, милые... Хотелось бы прокатиться, но не могу... Через четверть часа мне на дежурство... Но как-нибудь я поеду с вами... А ты, Маркуша, отчего меня ждал?.. Или надумал уехать отсюда?.. Только скажи. Я отправлю тебя в приют или в школу...

Маркушка снова энергично замахал головой.

— Он, барыня, насчет книжки хотел вас спросить, — осторожно промолвил Бугай. — Он у меня башковатый... Сам по складам умеет... Вот он у меня какой Маркушка... И спасибо вам, барыня, он в задор вошел... Хочет сам выучиться. Так где нам такую книжку достать? А мы деньги заплатим... Сколько потребуется...

Сестра Ольга обрадовалась.

— Ай да молодец, Маркуша!..

— Только достаньте книжку, а я выучусь.

Сестра обещала через несколько дней достать азбуку и склады и предложила Маркушке заходить к ней на квартиру на четверть часа по утрам. Она ему поможет.

Но Маркушка деликатно отказался. Он и

сам может, и знакомый писарек в случае чего покажет.

— А забежать — забегу... И на ялике прока- тим вас, добрая барыня. Только прикажите.

Сестра Ольга еще несколько минут прого- ворила с Маркушкой и его пестуном, узнала, где они живут, обещала заходить на пристань и звала Маркушку к себе.

— Буду угощать тебя чаем с вареньем.

Через три дня Ольга Владимировна при- несла Маркушке азбуку.

Он стал заниматься с необыкновенным усердием. Выкрикивал склады и на ялике и дома.

## II

Наступили холода. Особенно холодны бы- ли ночи. Часто дули жестокие норд-осты.

Неприятельские батареи подвигались все ближе и ближе, и неприятельские траншеи были в очень близком расстоянии от наших.

Бомбардировка не прерывалась. Защитни- ки умирали и от снарядов и от болезней... Го- ворили, что Меншикова сменят и на его ме- сто назначат Горчакова.

— Он поправит дело! — говорили многие

севастопольцы, которым хотелось верить.

— Он разобьет французов и прогонит их домой... Не суйся!

Но пока Меншикова не сменяли, он не воспользовался скверным положением союзников во время холодов поздней осени. Подкрепления еще не прибыли, и войско неприятеля значительно уменьшилось благодаря болезням. Запасы, одежда и помещения их были едва ли лучше наших.

По словам перебежчиков, положение союзников в это время было такое же тяжкое, как и наше. Жили солдаты в палатках. Бараки еще не были устроены. Равнодушие союзных главнокомандующих к нуждам армии, пожалуй, походило на равнодушие князя Меншикова.

«Если крушение армии, — писал корреспондент англичанин в „Times“, — честь страны и положение английского государства должны быть спасены, то необходимо бросить за борт все уважения личной дружбы, официальной щекотливости и придворного прислужничества и поставить во главе управления опытность, дарование, энергию и

достоинство даже в самой суровой и грубой их форме. Нет интересов выше общего интереса, потому что с падением последнего все рухнет. Итак, нет возможных причин и извинений против немедленной смены начальников, оказавшихся недостойными исполнять обязанности, к которым призвали их протекция, старшинство и ошибочные воззрения. Не стыдно для человека не обладать гением Веллингтона\*, но со стороны военного министра преступно позволять офицеру, хотя один день, браться за исполнение обязанностей, забвение которых довело великую армию до гибели».

«В настоящую минуту, — писал другой английский корреспондент, — дождь идет как из ведра, небо черно как чернила, ветер воет над колеблющимися палатками, траншеи превратились в каналы, в палатках вода иногда стоит на целый фут, у наших солдат нет ни теплой, ни непромокаемой одежды, они проводят по двенадцати часов в траншеях, подвержены всем бедствиям зимней кампании; между тем нет, кажется, ни души, которая позаботилась бы об их удобствах, или да-

же о сохранении их жизни. Самый жалкий нищий, бродящий по лондонским улицам, ведет роскошную жизнь в сравнении с британскими солдатами, которые жертвуют здесь своею жизнью».

По словам историка «Севастопольской обороны», «с каждым днем лагерь союзников все более и более погружался в грязь; палатки не держались против ветра и дождей. Каждый помышлял о том, как бы выстроить себе пристанище и устроиться в нем удобнее. Но это удалось весьма немногим; большинство же вставало и ложилось посреди грязи, ила и сора и часто не просыпалось, потому что сырость и холод были нестерпимы».

Не имея теплой одежды и порядочного жилья, союзники к тому же терпели недостаток в пище и топливе. В течение многих дней они довольствовались корабельными сухарями, очень дурною водою и сушеным мясом, но последним в весьма малом количестве. «Исхудалые лица, небритые бороды, всевозможные и всецветные одежды, покрытые недельною грязью, ежедневно возобновляемою, — таков наш вид, столь же жалкий, как и новый», —

писал один французский офицер.

Французы не имели топлива и для согревания употребляли все, что только способно было гореть; корни деревьев, не исключая винограда, и все остатки исчезнувшей растительности шли на дрова, если только попадались под руку.

Снег для союзников был настоящим бедствием.

О бедственном положении союзников сообщали и перебежчики, но — главное — корреспонденты, бывшие при неприятельских армиях, и газеты — особенно английские — не стеснялись знакомить публику с правдой, как она ни была ужасна.

И князь Меншиков знал все это. И в Петербурге благодаря газетам знали об армии союзников едва ли не более, чем о нашей.

Если Меншиков, потерявший сражение при Евпатории, показал в донесении к государю убитых триста человек, тогда как в действительности их было семьсот семьдесят, то не мудрено, что подчиненные относились к правде еще бесцеремонней, тем более что в те времена она далеко не была удобной.

Союзники благословляли бездействие нашей армии осенью и зимой, благодаря чему они могли дожидаться подкреплений и весны.

— Наши главнокомандующие умны, — острили французы, — а русские еще умнее!

В Петербурге нетерпеливо ожидали известий о наступлении.

— Доложите князю Горчакову, — говорил князь Меншиков, отправляя в южную армию Столыпина, — что я не решаюсь атаковать неприятеля с нашею пехотою, которая получает в год только по два боевых патрона, и с кавалерией, которая после сражения при Полтаве\* не сделала ни одной порядочной атаки.

Севастопольцы, не понимавшие поведения нашего главнокомандующего в эти два месяца, едко подсмеивались над ним и его штабом:

— Два месяца почти совершенное бездействие. По три раза в день набожно смотрят на термометр и молятся норд-осту!

Матросы, ожидая смерти на своих бастионах, повторяли «выдумку» одного товарища:

— Хотел, братцы мои, господь наказать за

наши беззакония чумой. Однако показалось мало. Дай я вместо чумы накажу Севастополь Менщиком.

В это время Меншиков всякий намек на возможность атаки считал личным оскорблением и жаловался, что фельдмаршал Паскевич\* чернит его в глазах государя.

## Глава XII

### I

**В** одно ноябрьское воскресенье погода была отчаянная.

Норд-ост дышал ледяным дыханием и крепчал. К концу дня он ревел.

Ревела и бухта.

Волны поднимались в каком-то бешенстве и яростно разбивались одна о другую. Седые гребни рассыпались алмазной пылью. Ее подхватывал ветер, и бушующая бухта была подернута точно мглой.

Нечего и говорить, что ялики не могли ходить. Яличники вытащили свои шлюпки на берег и разошлись по домам.

Бугай и Маркушка, оба в полушубках, с обмотанными шарфами шеями, все-таки очень зазябли на ледяном ветре. Особенно холодно

было ногам. Они быстро направились домой и скоро вошли в свою маленькую комнату в домишке близ рынка, против Артиллерийской бухты. Домишко этот принадлежал солдатке Бондаренко, жене крепостного артиллериста, служившего на одном из приморских фортов.

В комнате было тепло. Солдатка догадалась вытопить печь. Сожители обогрелись, испытывая физическое удовольствие тепла.

— Славно! — воскликнул Маркушка.

— То-то, брат, тепло!

«А на баксионах не тепло!» — подумал Бугай, но промолчал.

Скоро крепкая, приземистая чернявая солдатка, которую Бугай называл «Ивановной», принесла разогретый борщ и кусок баранины и, между прочим, рассказала, что утром совсем близко залетела шальная бомба и убила двух мальчиков.

Бугай выпил сегодня за ужином более своих обычных двух стаканчиков водки.

— Праздник и видишь, Маркушка, какая собака — погода! Так чтоб ног не ломило! — проговорил Бугай, словно бы считая нужным

объяснить Маркушке свои соображения, заставившие его выпить полштоф. Поднес он два раза по стаканчику Ивановне.

— С праздником, Ивановна! И будьте здоровы! А борщ и барашек у вас, Ивановна, форменные. Настоящий хохлацкий борщ!

— На то я и хохлушка. С праздником!

После ужина напились чаю и зажгли салютную свечку.

Тогда Маркушка достал из-за пазухи свою довольно захватанную и грязную книжку, подсел к Бугаю и значительно произнес:

— Хотите послушать книжку, дяденька?

— Опять заскулишь рцы, мрцы... бравра? — промолвил старик, усмехаясь.

— Я по-настоящему, дяденька...

— Что ж... Попробуй! — недоверчиво сказал Бугай.

Затягивая слоги и повторяя слова с серьезным видом напряженного и нахмуренного лица, словно бы одолевавшего необыкновенно трудные препятствия, читая по-книжному и несколько монотонно-торжественно, не меняя интонации, Маркушка читал крошечный

рассказик о великодушном льве.

Бугай, казалось, не верил ушам.

Он пришел в восторженное изумление. Несомненно, Маркушка читал по книжке про льва. Маркушка являлся в глазах Бугая более необыкновенным мальчиком, чем лев, про которого так же напряженно слушал, как напряженно Маркушка читал.

Когда Маркушка наконец кончил и поднял глаза на старика, ожидая его приговора, Бугай глядел на мальчика точно на героя, свершившего нечто необыкновенное.

Словно бы еще не освободившийся от чар Маркушки и, пожалуй, отчасти и от чар полштофа, почти умиленный, Бугай в первую минуту, казалось, не находил слов.

И наконец воскликнул:

— Ну и башка. До чего дошел!

— И все можно понять, дяденька? — необыкновенно довольный, спросил Маркушка.

— Чего еще лучше?.. Слушать лестно.

— Так я, дяденька, непременно буду вам читать в книжку...

— Спасибо, мой умник... Но только не тя-

жело ли читать по книжке? Может, ушам больно или брюхо, что ли, болит? — участливо осведомился Бугай, заметивший, какие гримасы выделял Маркушка при чтении.

Маркушка рассмеялся. Он сказал, что ничего не болит и будет читать дяденьке.

Бугай уж не сомневался, что такому башковатому мальчику предстоит большая перемена жизни. Только выучится еще писать да пойдет в обучение — так покажет!.. Хоть в генералы выйдет, ежели захочет по военной части.

Но пока Бугаю хотелось угостить будущего генерала «детским припасом», как называл старик все сладкое, и выпить еще стаканчик-другой по тому случаю, что Маркушка сам выучился понимать по книжке.

И Бугай надел полушубок и исчез.

Минут через десять он уже выложил перед Маркушкой горку миндальных пряников, а перед собой поставил полштоф водки и две рюмки, было убранные.

В ту же минуту вошла и Ивановна. Бугай ей поднес и спросил:

— Скажи, Ивановна, видала ты такого баш-

коватого мальчишку, как Маркушка?..

Ивановна охотно ответила, что не видала.

И Бугай поднес ей другой стаканчик.

Скоро Маркушка прикончил пряники. И он и Бугай, оба довольные друг другом, нашли, что пора спать.

Прошла неделя, и сестра милосердия зашла проведать Маркушку.

Бугай тотчас же рассказал, что нынче Маркушка обученный и читает ему по книжке.

— Ну-ка, прочти милосердной.

Маркушка прочел. Сестра Ольга похвалила мальчика и обещала дать ему новую книжку, прописи и бумаги.

«Решительно, надо заняться Маркушей!» — думала она, взглядывая на мальчика, и, разумеется, и не думала, что скоро уж ей не придется никем и ничем заниматься.

Она видимо худела и покашливала. Заметили это Бугай и Маркушка, и оба советовали ей передохнуть.

— В свое место поехали бы, милосердная! — сказал Бугай.

— Где ваше место? — спросил Маркушка.

— Далеко, милый!.. И я никуда не поеду от-

сюда! — спокойно, решительно ответила она.

И прибавила:

— А разве, Маркуша, тебе кажется, что я так больна?

— Дюже похудали, милая барыня... Вроде как покойная мамка, когда хворь на нее напала.

— Я не больная... Я поправлюсь! — промолвила сестра и улыбнулась.

Но в этой ласковой улыбке было что-то бесконечно тоскливое.

## II

Князь Меншиков болел. Испытывавший и нравственные и физические страдания, он большую часть времени лежал в постели, не мог заниматься делами и никого не принимал к себе.

Армия была без главнокомандующего.

Наконец в феврале Меншиков просил о немедленном увольнении его.

Не выждавши нового, он сдал в один день командование начальнику севастопольского гарнизона генералу барону Сакену\* и уехал в Симферополь брать ванны.

Просьба Меншикова уже была предупре-

ждена.

До получения ее император Николай, уже больной, за два дня до своей смерти, велел наследнику Александру Николаевичу написать своему любимцу об увольнении, ссылаясь на болезнь главнокомандующего, о которой он не раз доводил до сведения государя через разных лиц, приезжавших с донесениями князя.

Никакая награда не сопровождала любезного по форме рескрипта\*.

Одновременно по приказанию государя наследник написал князю М. Д. Горчакову о назначении его главнокомандующим крымской армии.

### III

В первое время многие обрадовались новому главнокомандующему.

«Он привел с собой свежие войска, — писал один из участников войны, — обширную власть и неограниченные средства, а главное — поднял нравственный дух войск. Все надеялись, что он начнет смелые наступательные действия и сделает блистательный переворот кампании».

Ввел в такое заблуждение главнокомандующий.

Сам по характеру далеко не решительный, писавший военному министру, что край истощен и что продовольствие, одежда, госпитали и пути сообщения невозможны, князь Горчаков еще с самого приезда не верил в возможность успеха.

Но в приказе по армии, между прочим, писал:

«Самое трудное для вас время миновалось: пути восстанавливаются, подвозы всякого рода запасов идут безостановочно, и сильные подкрепления, к вам на помощь направленные, сближаются».

И приказ оканчивался упованием главнокомандующего на то, что «вскоре, с божией помощью, конечный успех увенчает наши усилия и что мы оправдаем ожидания нашего государя и России».

Прошел месяц, и радость так же скоро исчезла, как и явилась.

Подходили постепенно и подкрепления, но ежедневная потеря людей на бастионах была так велика, что надо было пополнять гарни-

зон. Горчаков просил больших подкреплений, но вначале получить их не мог. А неприятель усиливался. После взятия наших передовых редутов, обращенных неприятелем в свои, — бомбардировки наносили сильный вред бастионам, убивали массу защитников и уже обращали Севастополь в развалины.

Горчаков не раз подумывал оставить Севастополь, но не решался на этот поступок без разрешения, тем более что и по военным законам можно оставить крепость только по отбитии трех штурмов.

Император Александр Николаевич разрешил только в крайнем случае заключить капитуляцию, но ни в каком случае не соглашаться на сдачу гарнизона.

«Эта мера крайняя и которую я бы желал избежать», — прибавлял в рескрипте государь.

И Горчаков снова колебался.

— Видали вы подлость? — спросил однажды Нахимов у одного сослуживца.

Тот не понимал, о какой подлости говорил Нахимов.

— Видали ли вы подлость? Разве не виде-

ли, что готовят мост через бухту?

Нахимов не мог допустить мысли об оставлении Севастополя. Он не сомневался, что надо только умереть, защищая его.

Князь Горчаков, совершенно справедливо считавший свое положение отчаянным, тем не менее откладывал свою мысль оставить город, отбивавшийся уже девять месяцев. Он понимал, каким нареканиям подвергнется его репутация, если он оставит Севастополь, не отбив хотя одного штурма. Но в то же время сознавал, что, упорствуя в дальнейшей защите города, все равно обреченного, он потеряет и армию. Только «мир, чума или холера могут мне помочь», — писал он военному министру.

Но несколько позже, когда приближались подкрепления, князь Горчаков говорил[21]:

«Я все еще не могу решиться оставить Севастополь. При настоящем положении дел, мне кажется, следует попытаться счастье в отбитии штурма. Но если неприятель, вместо того чтобы штурмовать, возобновит ужасное и продолжительное бомбардирование, я буду вынужден отдать ему город, ибо он истолчет,

как в ступке, не только настоящий гарнизон, но и всю армию. Предыдущее бомбардирование доказывает это. Пополнив необходимые потери новыми полками, я кончу тем, что город возьмут приступом, и тогда мне не с чем будет держаться в поле».

И Горчаков в своем донесении государю писал, что «не только нельзя надеяться на какой-либо успех, но даже можно опасаться больших неудач».

Но вскоре успех обнадежил защитников.

Первый штурм был отбит.

В числе защитников на четвертом бастионе был и Маркушка.

Зимой и весной он и не думал быть там. По-прежнему он был неразлучен со своим другом, пестуном и поклонником, вместе перевозил пассажиров, беседовал о войне, о новом главнокомандующем (и Бугай и Маркушка находили, что он в очках не имеет «надежного вида» и похож на филина), вместе коротали вечера в новой квартире на Северной стороне, после того как домишко солдатки был разрушен бомбой. И Маркушка читал Бугаю книжки и однажды даже поднес ему

ПИСЬМО.

Бугай не знал, что оно было написано довольно смелыми каракулями и со смелой орфографией, но рассматривал его с необыкновенным почтением и предрекал Маркушке «вытти в генералы». И совсем умилился, когда Маркушка прочитал ему:

«Дяденька Бугай. Я никогда не оставлю тебя!»

Но на второй же день пасхи, когда началась одна из адских бомбардировок, Бугай оставил Маркушку навсегда, убитый осколком около госпиталя в морском клубе, куда ходил справиться о «милосердной».

Там Маркушка увидал убитого Бугая и узнал, что «добрая барыня» на днях умерла.

Маркушка остался совсем одиноким.

### Глава XIII

#### I

**В** этот день обезумевший от горя Маркушка не отходил от покойного Бугая.

Маркушка заглядывал в строго-вдумчивое мертвое лицо друга и пестуна и о чем-то шептал, что-то обещал ему. Он то плакал, то ругал «француза» и грозил ему. И тогда заплакан-

ные глаза мальчика зажигались огоньком.

Маркушка видел, как Бугая отнесли на баркас, полный другими мертвецами. Он тоже сел на баркас и смотрел, как Бугая вместе с многими убитыми зарыли в братской могиле на Северной стороне, после короткого отпевания старым батюшкой.

После этого Маркушка с озлобленным и вызывающим лицом мальчика, принявшего, казалось, какое-то важное решение, пошел быстрыми шагами к пристани.

Тем временем несколько яличников — большей частью отставные матросы-старички — в ожидании пассажиров решали судьбу Маркушки, которого все любили и жалели.

Решили, что надо приютить и не обижать мальчонку, чтобы ему было так же хорошо, как и у Бугая. Недаром же Маркушка был отвержен, как собачонка... Решили, что надо присмотреть и за имуществом Бугая, оставленным Маркушке.

— А вот и Маркушка! — воскликнул кто-то.

Но прежде чем объявить ему о своем решении, яличники накормили Маркушку, и затем уже седой как лушь старик, в шляпке ко-

того Маркушка пообедал тем, что надавали ему яличники, сказал:

— Никто как бог, Маркушка. А ты при нас останешься. В рулевых останешься!

— Не бойсь, никто не обидит.

— Всякий яличник возьмет такого рулевого!

— Дяденька! — начал было Маркушка.

Но седой как лушь яличник строго остановил Маркушку:

— Сперва слухай, что люди говорят! На то ты вроде корабельного юнги! После обскажешь, Маркушка!

И с разных сторон говорили Маркушке:

— За тебя богу ответим, Маркушка! Потому вовсе ты сирота!

— Не пропьем! — засмеялся кто-то из «дяденек», особенно склонный к пропиванию вещей, когда не было денег.

— Ялик твой вроде в ренду сдадим, за правильную цену.

— Деньги твои сбережем.

— И Бугая вещи, которые тебе не нужны, продадим!

— А платье его носи на здоровье... Только

укоротить маленько!

— А тебя, Маркушку, разыграем. Чтоб никому не было обидно!

— Набросаем в шапку по меченой уключине. Чью вытянешь — к тому и в подручные!

— Положим жалованье. Фатеру и харч... А водки не будет, Маркушка!

Когда все эти грубоватые и сочувственные слова смолкли, Маркушка взволнованно проговорил:

— Спасибо, добрые дяденьки!.. Но только не останусь в рулевых!

Слова Маркушки удивили старых яличников.

Несколько секунд длилось молчание.

И наконец раздались голоса:

— Уйдешь, значит, из Севастополя, Маркушка?

— Это ты надумал с рассудком, Маркушка!.. Недолга — здесь и убьют мальчонку!

Все обещали обрядить Маркушку как следует.

Ялик его продадут, и будет сирота с карбованцами. Карбованцы обменяют на бумажки, зашьют в тряпицу и повесят на грудь, а на ру-

ки на рубль мелких денег дадут. И парусинную котомку справят. И сапоги купят.

— Одним словом, хоть до самого Петербурга иди, Маркушка!

Однако все советовали так далеко не ходить, чтоб быть ближе к Севастополю.

И многие посылали в Симферополь, Перекоп и Бериславль. У одного жил брат при месте; у другого сестра замужем за лавочником; у третьего внук в кучерах. Все охотно помогут такому башковатому мальчонке поступить на место.

Не желая обижать «дедушку» — того самого старика, который уж раз остановил Маркушку, — мальчик нетерпеливо слушал и, когда яличники замолчали, обиженно и негодуяюще воскликнул:

— Из Севастополя не уйду...

Все посмотрели на Маркушку.

— Куда ж ты денешься, Маркушка? — спросил «дедушка».

— На баксион пойду!

— Убьют там тебя, чертенка!

— И пусть! Зато и я француза убью...

— Пальцем, что ли?

— Не бойсь, найду чем...

Напрасно яличники и отсоветовали и подсмеивались над Маркушкой.

Он решительно сказал, что пойдет на «баксион».

— Так и пустят мальчонку на расстрел!

— Пустят! Один мальчик из мортирки на баксионе во французов палит. И есть мальчишки, которые защищают Севастополь!\* Я за тятю и дяденьку Бугая, может, десять французов убью! — прибавил возбужденно Маркушка, сверкая глазами.

— Обезумел ты, Маркушка! — протянул «дедушка». — Если, бог даст, жив сегодня останешься и одумаешься на баксионе, — вечером же вали ко мне, Маркушка! Я на Николаевской батарее.

Маркушка молчал.

Он не сомневался, что не придет к «дедушке».

Маркушка, еще не переживший остроты горя, не забыл, что обезумев при виде убитого Бугая, дал покойнику слово отомстить за него и за отца проклятому «французу», который убивает столько людей.

Подходили пассажиры. Несколько человек село в шлюпку «дедушки».

Маркушка по привычке сел на руль. «Дедушка» перекрестился, поплевал на мозолистые ладони и загреб.

День был прелестный. Тепло и мертвый штиль. Солнце не жарило. Стояла чудная крымская весна.

— Спаси тебя господь, отчаянного, — строго и вдумчиво протянул «дедушка», когда шлюпка пристала к Севастополю.

С этими словами яличник перекрестился и перекрестил Маркушку, словно бы благословлял этого отчаянного мальчика на глупый поступок, который все-таки тронул старика.

И, пожимая руку мальчика, прибавил:

— Мне вот пора умирать, а тебе, дураку, надо жить!.. Оставайся. Все равно скоро Севастополю конец!

## II

Маркушка побежал по улицам Севастополя, мимо домов, пронизанных ядрами, с заколоченными окнами. Чем дальше шел Маркушка, тем более было пустых, разрушенных домов и развалин.

Улицы были пусты. Только, прижимаясь к стенам, проходили солдаты. Часто встречались носилки с ранеными. Изредка пробирались бабы, направляясь на бастионы к мужьям. Палисадники зеленели, и акации расцветали. Природа радовалась, ликовала весна. Но люди были сосредоточенней и сердитей по мере приближения к оборонительной линии.

Вот и театр в развалинах и за ним прежний бульвар с свежей зеленью немногих оставшихся деревьев. Зеленели уцелевшие кустарники, поднималась роскошная трава.

Здесь же, как пчелки, повизгивали тысячи пуль и шлепались на землю. Свистели ядра и разрывались бомбы. Никого не было видно. Все, шедшие на бастионы, шли траншейками, вившимися зигзагами вокруг. Но Маркушка не знал или забыл их и летел как стрела прямо по «Грибку», испуганный и в то же время обрадованный, что бежит на четвертый бастион и убьет француза.

Маркушка, казалось, и не понимал, какой опасности подвергался он, и в возбужденной голове его проносились мысли и о том, как он

«победит» француза, и о том, что он совершит какой-нибудь подвиг и ему дадут георгиевский крест. И он вдруг замирал от страха и прилегал на землю, жмуря глаза и повторяя «Отче наш», единственную молитву, которую знал, когда бомба вертелась, шипя горевшей трубкой, почти рядом с ним.

И снова вскакивал, и летел, и, наконец, задышавшийся прибежал на четвертый бастион.

Там стоял рев от выстрелов и все было застлано дымом. То и дело откатывались и заряжались орудия. На бастион сыпались ядра и пули. Молча стояли у орудий матросы. Раздавались стоны раненых. И их куда-то уносили.

Маркушка решительно не мог сообразить положения бастиона. Он только видел изрытую землю, осыпавшиеся брустверы и почерневших от дыма людей, наполнявших площадку за насыпью. Никто не обратил внимания на Маркушку.

В это самое время четвертый бастион с особенной силой отбивался от новой француз-

ской батарее, громившей бастион.

На людях Маркушка забыл страх. Он точно опьянел. Точно какая-то волна прилила к сердцу, и он бросился к сложенным пирамидкой ядрам и стал подавать их зарядчику. Вдруг около орудия упала бомба. Все прилегли. Маркушка внезапно вырвал горевшую трубку, бросил ее за банкет и подбежал к орудию, у которого подавал снаряды.

— Ай да мальчишка!

— Молодца!

— Ничего не боится...

— И вовсе маленький!

Эти восклицания матросов не заставили Маркушку возгордиться собой.

Он был слишком возбужден воинственным настроением, полным чего-то злого и жестокого, напоминающего зверька, озлобленного на охотника, и, разумеется, и не думал, что свершил подвиг, рискуя жизнью.

Свидетелем этого подвига был начальник бастиона, Николай Николаевич Бельцов, пожилой моряк в солдатской шинели с штаб-офицерскими погонами и с георгиевской ленточкой в петлице. Он всю осаду пробыл на ба-

стионе, каким-то чудом еще уцелевший. На легкую рану в руку пулей навылет, полученную еще в начале осады, он не обращал внимания и после перевязки возвратился опять «домой», как называл он свой бастион.

Его заросшее темными волосами темное лицо, под нависшими бровями с темными глазами, казалось суровым. Несколько сутуловатый, он хладнокровно и спокойно взглядывал в подзорную трубу на неприятельские батареи и только нервно пожимал плечами, когда наши снаряды ложились неправильно, то есть не несли смерти неприятелю. И тогда он сам поверял наводку.

— Ты зачем здесь, мальчик? — окрикнул моряк.

Маркушка подумал, что этот суровый человек, с длинной бородой, сейчас же прогонит его с бастиона и Маркушке не придется пристрелить француза.

Маркушка струсил.

И виновато и смущенно ответил:

— Прибежал из города.

— Ты кто?

— Сирота... Отца Игната Ткаченко здесь же

убили... И яличника Бугая убили... Дозвольте остаться, вашескобродие, — упрашивал мальчик.

— Приди после ко мне.

К вечеру французские батареи смолкли. Смолк и четвертый бастион. Многих защитников недосчитывались.

Матросы отошли от орудий и могли отдохнуть. Солдаты и рабочие стали исправлять повреждения бастиона, чтобы к раннему утру бастион снова мог отвечать неприятелю.

Матросы поужинали, и у многих блиндажей появились самовары и котелки. За чаем шли разговоры. Точно разговаривали люди, не готовые завтра же расстаться с жизнью.

Маркушка был обласкан. Все наперерыв угощали мальчика и расспрашивали, кто он и зачем пришел. На бастионе еще остался один оставшийся в живых матрос, товарищ отца Маркушки, и поэтому он считал себя имевшим больше всего прав на мальчика.

И небольшого роста пожилой матрос Кащук сказал ему:

— Ты, Маркушка, при моей орудии будешь... И со мной ешь. И слухай меня. Не вы-

совывайся зря — убьют!..

— Все равно убьют! — сказал кто-то.

— А ты не каркай! — сердито сказал пожилой матрос. — Убьют так убьют, а смерть не накликай зря...

— К батарейному, Маркушка! — проговорил вестовой батарейного командира.

Маркушка испуганно проговорил Кащуку:

— Он приказывал прийти к нему, а я забыл.

— Не бойся батарейного, Маркушка... Он только с виду страшный, а сам добер. Он и больших не обижает, а не то что мальчонка. Беги к батарейному.

— Валим в блиндаж!

Вестовой велел Маркушке спускаться за ним по крутой лестнице у двери на площадке бастиона.

Маркушка вошел в крошечную комнату, где стояли кровать, маленький столик и табуретка. Ковер был прибит к стене, около кровати, и на нем висел сделанный арестантом масляный портрет мальчика-подростка, единственного сына Николая Николаевича, месяц тому назад погибшего от скарлатины в

Бериславле, куда мальчик был отправлен отцом к своей сестре.

Николай Николаевич давно вдовел; после смерти сына он остался совсем одиноким. Обыкновенно молчаливый, он стал еще молчаливее и спасался от тоски заботами о бастионе, который привык считать своим хозяйством, и смотрел за ним с необыкновенною любовью.

Он давно уже сделал распоряжение на случай смерти, о которой не думал. После девяти месяцев на четвертом бастионе, где на глазах Николая Николаевича было столько убито и смертельно ранено людей, — он смотрел на нее как на что-то неизбежное и нестрашное. Если еще жив, то завтра — ядро или пуля вычеркнет его из живых.

И, любимец Нахимова, такой же скромный и неустрашимый человек, Николай Николаевич повторял слова адмирала:

— Или отстоим, или умрем!

Скопленные моряком две тысячи он давно завещал раненым матросам с фрегата «Коварный», которым командовал пять лет и на котором не особенно муштровал людей в те вре-

мена, когда жестокость была в моде.

В своем блиндажике Николай Николаевич жил девять месяцев, и, когда предложили ему «отдохнуть» и перебраться на Северную сторону, он ответил, что не устал, и остался, как он говорил, «дома».

После того как командир бастиона обошел батарею и указал, что надо исправить, он сидел за маленьким столиком и, отхлебывая маленькими глотками чай, попыхивал дымом из толстой, скрученной им самим папироски.

У себя он был задумчив и серьезен. Что-то грустное было в выражении его широковатого, серьезного лица, заросшего темными волосами, и особенно отражалось в глазах, когда Николай Николаевич взглядывал на ковер, с которого глядел на него портрет.

Еще было совсем светло.

Свет яркого, догорающего дня проходил в подземелье сквозь четырехугольное отверстие, сделанное в стене. Оно было закрыто не рамой, а кисейной занавеской.

— Как тебя звать? — спросил Николай Николаевич.

— Маркушкой, вашескобродие.

— А меня зовут Николаем Николаевичем.  
Так и зови!

— Слушаю.

— Кормили?

— Кормили, Николай Николаич.

— Сыт?

— Очень даже сыт.

— Так рассказывай, где жил и зачем сюда пришел?

Маркушка рассказал о том, что с ним было со времени осады. Рассказал о том, как приютил Бугай, какой он был добрый к нему.

— Сегодня его убило бомбой... Я видел, как его схоронили. И прибежал сюда... Дозвольте остаться, Николай Николаич.

— А если не оставлю?

— На другой баксион уйду, Николай Николаич.

— Разве не видел, что здесь?

— Дозвольте остаться, Николай Николаич! — повторил Маркушка.

— Оставайся... Бог с тобой...

— Премного вам благодарен, Николай Николаич, — радостно сказал мальчик. — Я при дяденьке Кашуке... Он отца знал...

— И я знал твоего отца... хороший был матрос... Но ты молодец... Не побоялся броситься к бомбе и вырвать трубку... За твой подвиг получишь медаль на георгиевской ленте. Я скажу Павлу Степановичу...

И Николай Николаевич ласково потрепал по щеке Маркушку.

Он вспыхнул от радостного, горделивого чувства.

И с ребячьим восторгом спросил:

— И можно будет ее носить?

— А то как же? Наденешь на рубашку и носи... А я велю тебе сшить и рубашку и штаны... Будешь маленьким матросиком.

Николай Николаевич смотрел на мальчика, и лицо батарейного командира далеко не казалось теперь суровым.

Напротив, оно было необыкновенно ласковое и грустное. Особенно были грустны его глаза.

И в словах батарейного командира звучала безнадежно тоскливая нота, когда он спросил:

— Тебе сколько лет, Маркушка?

— Двенадцатый.

«И Коле был двенадцатый!» — вспомнил он.

Николай Николаевич не хотел отпускать этого быстроглазого мальчика, напоминавшего осиротевшему отцу его мальчика.

И он спрашивал:

— Так ты, говоришь, рулевым был?

— Точно так.

— И, говоришь, выучился читать?

— И маленько писать... Милосердная показывала...

— Молодец, Маркушка...

И Николай Николаевич опять потрепал Маркушку и призадумался.

— Ну что ж... будь защитником... На батарее Шварца есть один такой же мальчик. Из мортирки стреляет... И бог его спасает...

— Дозвольте и мне стрелять, Николай Николаич!..

— Ишь какой... Прежде выучись...

— Я выучусь... Только дозвольте попробовать.

Батарейный командир разрешил попробовать завтра и отпустил Маркушку, испытывая к мальчику необыкновенную нежность.

На следующее утро Нахимов, по обыкновению объезжавший оборонительную линию, вошел на четвертый бастион.

Все видимо обрадовались адмиралу.

Он сказал батарейному командиру, что неприятель обратил все свое внимание на Малахов курган и на третий бастион...

— А главное, передовые люнеты\* хотят взять... штурмом-с... Прежде хотели через четвертый бастион взять Севастополь... А теперь стали умнее-с... У вас будет меньше бойни, Николай Николаевич. Вчера вы ловко взорвали у них погреб и сбили новую батарею...

И Нахимов стал обходить орудия и похваливал матросов.

— А это что за новый у вас, Николай Николаевич, комендор-с? — спросил, добродушно улыбаясь, Нахимов, указывая на Маркушку, который под наблюдением Кащука наводил маленькую мортирку.

Батарейный командир доложил адмиралу о Маркушке, об его вчерашнем подвиге и об его настоятельной просьбе попробовать стрелять из мортирки.

Нахимов выслушал и, видимо взволнован-

ный, проговорил:

— Нынче и дети герои-с.

И, подойдя к Маркушке, сказал:

— Слышал... Молодчина, мальчик... Завтра принесу медаль... Заслужил... Пальни-ка!

Маркушка выстрелил.

— Он понятливый, Павел Степанович! — доложил его «дяденька».

— То-то... матросский сын... А где я тебя видел, Маркушка?

Маркушка сказал, что приносил Нахимову записку в день Альминского сражения.

— Рулевым был на ялике...

— Точно так, Павел Степанович, — ответил Маркушка и сиял, полный горделивого чувства от похвал Нахимова.

— Поберегай Маркушку, Кащук, — промолвил адмирал и пошел с бастиона.

Через неделю Маркушка был общим любимцем на бастионе.

Он отлично стрелял из мортирки и злорадно радовался, когда бомба падала на неприятельскую батарею.

Казалось, злое чувство к неприятелю со всем охватило мальчика. Он забыл все, что

говорили ему про жестокость и ужас войны и молодой офицер, и сестра милосердия, и Бугай... Он делал то, что делали все, и гордился, что и он, мальчик, убивает людей... И как это легко.

И в то время никакой внутренний голос не шептал ему:

«Что ты делаешь, Маркушка? Опомнись!»

## **Глава XIV**

### **I**

Стояло чудное майское утро, когда началась Садская бомбардировка против передовых редутов, Малахова кургана и третьего бастиона.

Неприятель хотел снести Камчатский, Селенгинский и Волынский люнеты.

Семьдесят три орудия были сосредоточены против них, и союзники забрасывали эти дорогие для них передовые укрепления, мешавшие неприятелю подступить к Малахову кургану и всей Корабельной стороне.

На батареях люнетов было от шестидесяти до девяноста зарядов на орудие, а союзники заготовили от пятисот до шестисот зарядов на каждое орудие.

«Не отвечая на выстрелы наших батарей, французы сыпали свои снаряды в передовые укрепления, положив скрыть их с лица земли, — пишет историк Севастопольской обороны. — Дым от выстрелов покрывал собою все батареи, горы, здания и сливался в один непроницаемый туман, изредка прорезываемый сверкавшими огоньками, вырывавшимися из дул орудий. Перекатной дробью звучали выстрелы, один за другим сыпались снаряды, фонтаном подымая землю». «Тучи чугуна врывались в амбразуры, врезывались в мерлоны\*, срывая и засыпая их. В редуты падало сразу по десяти и пятнадцати бомб».

Ночью летели бомбы.

На следующее утро Камчатский люнет представлял из себя груды развалин.

С рассветом бомбардировка возобновилась по всей левой половине нашей оборонительной линии, направляя самые частые выстрелы на Малахов курган и на наши три передовых редута.

В три часа пополудни была начата жесткая бомбардировка и против правой стороны оборонительной линии.

В шесть часов у неприятеля взвились сигнальные ракеты, и французы пошли на штурм трех редутов.

Разумеется, сорок тысяч штурмующих колонн легко смяли незначительное количество наших войск. Охрана таких важных укреплений была слишком незначительна. Вдобавок один генерал приказал войска прикрытия, бывшие в его распоряжении, отвести подальше именно в день штурма, а войска не могли поспеть вовремя навстречу штурмующим.

По словам историка обороны, в Севастополе имели основание говорить, что редуты наши проданы неприятелю.

«Начальник Малахова кургана, капитан первого ранга Юрковский, просил генерала Жабокритского\* собрать войска, поставить на позицию и усилить гарнизон передовых редутов, но тот, не отвечая прямо отказом, не делал, однако, никаких распоряжений. Когда же после полудня было получено от перебежчиков известие, что неприятель намерен штурмовать три передовые укрепления, то генерал Жабокритский тотчас же сказался

больным и, вместо того чтобы принять меры и усилить войска, он, не дождавшись себе преемника, уехал на Северную сторону. Назначенный вместо генерала Жабокритского начальником войск Корабельной стороны генерал Хрулев прибыл на место только за несколько минут до штурма. Он не успел сделать ни одного распоряжения, как неприятель двинулся в атаку и овладел редутами».

На «Камчатке», как звали Камчатский люнет, чуть было не захватили в плен Нахимова.

Он, разумеется, послал и на разрушенный редут, откуда все еще слабо отстреливались, уцелевшие орудия, как вдруг послышалось: «Штурм!»

Нахимов увидел, что французская бригада приближалась к Камчатке, и приказал бить тревогу... Резерв наш на Корабельной стороне бросился на тревогу. Но едва из орудий сделали один выстрел картечью, как французы уже были в редуте.

Там было несколько десятков матросов при орудиях и триста пятьдесят солдат.

Офицеры были перебиты. Забирая в плен

наших солдат, французы схватили адмирала, который, по обыкновению, был в эполетах и с Георгием за Синоп на шее.

Но матросы и солдаты успели выручить адмирала и отступить к Малахову кургану.

Несколько попыток отбить назад редуты оказались напрасными.

По словам одного севастопольца, потеря передовых редутов подействовала хуже предсмертных известий.

Все громко говорили, что потеря редутов — не по вине солдат, а по дурной охране их и благодаря более чем странному распоряжению генерала Жабокритского.

Наши редуты принадлежали теперь неприятелю, и оттуда с близкого расстояния они громили Малахов курган. Вся Корабельная сторона была в развалинах. В Севастополе не было больше места, куда бы не долетали снаряды. Пули летели мириадами в амбразуры и наносили жестокие потери. Они свистали теперь там, где прежде не было слышно их свиста.

И матросы и солдаты жаловались, что начальство так близко подпустило неприятеля

и «проморгало» передовые редуты...

После двух дней жесточайшей бомбардировки все госпитали и перевязочные пункты были переполнены...

Главнокомандующий был в самом унылом настроении и хотел оставить Севастополь.

— Хоть бы чем-нибудь кончилось! — говорили в Севастополе, и, разумеется, шли нарекания на бездействие и нерешительность князя Горчакова, не рисковавшего на сражение в поле.

«Только богу молится, а в Севастополе бойня!» — говорили многие и желали штурма.

И через несколько дней севастопольцы дождались штурма.

## II

Чтобы подготовить успех штурма, неприятель решил накануне жестоко бомбардировать — то есть засыпать наши бастионы, город и войска снарядами из своих пятисот восьмидесяти семи орудий осадных батарей.

Нечего и говорить, что орудия союзников имели большое преимущество перед нашими. Неприятель мог сосредоточивать огонь на каком угодно пункте оборонительной на-

шей линии, а наши бастионы поневоле должны были рассеивать свои выстрелы на большое расстояние. Часто наши десять орудий какой-нибудь батареи должны были отвечать на выстрелы пятидесяти орудий, сосредоточенных против нее.

Кроме того, неприятель имел в досталь пороха и снарядов.

У нас не было пороха в достаточном количестве, и начальство отдало строгое приказание: не делать выстрелов более определенного им числа.

Доставка такой первой потребности для войны, как порох, с самого начала осады озабочивала сперва князя Меншикова и потом князя Горчакова. Бывали дни, когда в Севастополе оставалось пороха только на пять дней.

Мы, дома, не могли своевременно и достаточно получить пороха, тогда как «гости» — союзники — получали издалека морем все, что было нужно.

На каждое орудие неприятеля полагалось от четырехсот до пятисот зарядов в день.

Самое большое количество зарядов на ору-

дие на наших бастионах и батареях не превышало ста семидесяти. Да и тратить их могли только те орудия, которые должны были особенно энергично стрелять во время усиленных бомбардировок и при штурме. Остальные орудия имели по семьдесят, шестьдесят и тридцать и даже по пяти зарядов на орудие.

За несколько дней до первого штурма Севастополя с наших «секретов», то есть с далеко выдвинутых к неприятельским батареям сторожевых постов, на которых ночные часовые, преимущественно пластуны, притаившись к земле, в ямах или за камнями, высматривали, что делается у неприятеля, — с «секретов» доносили, что к неприятельским батареям каждую ночь подвозят новые орудия и снаряды.

Перебежчики сообщали, что союзники стягивают свои войска к Севастополю и уже собрано сто семьдесят тысяч, чтобы штурмовать левый фланг нашей обороны — второй, третий бастионы и Малахов курган.

Начальник штаба, которого севастопольцы прозвали за его немецкий формализм и страсть к переписке «бумажным генералом»

и «старшим писарем», низенький, прилизанный, не считавший себя вправе даже выразить какое-нибудь свое мнение, — докладывал главнокомандующему\* о словах перебежчиков и донесениях с «секретов». Князь Горчаков велел усилить оборону нашего левого фланга. И без того удрученный своим положением, он стал еще подавленнее, ожидая, что штурм заставит сдать город и, пожалуй, армию, чтобы спасти ее от уничтожения...

— Все в божией воле, дорогой мой генерал! — по обыкновению по-французски, тоскливо промолвил главнокомандующий, словно бы отвечая себе на свои тяжелые думы о Севастополе.

— Точно так, князь! — отвечал начальник штаба, стараясь, по обыкновению, быть эхом главнокомандующего.

— А в Петербурге советуют дать сражение неприятелю. Разве не сумасшествие?.. Неприятель гораздо сильнее, и позиция его неприступная.

— Точно так, князь.

— А отобьем ли штурм? На господу только надежда.

— Никто как бог, князь!

Так поддакивал начальник штаба. Потом он так же поддакивал князю, когда, под влиянием присланного из Петербурга генерала барона Вревского, главнокомандующий не считал сумасшествием дать сражение.

«При всех своих прекрасных качествах князь Горчаков, — говорит историк Севастопольской обороны, — не имел твердости довести начатое дело до конца. Придавая часто большее значение мелочным и неважным известиям, он поминутно менял свои предположения и не решался привести их в исполнение. Советуя другим брать больше на себя, быть решительными и не падать духом, князь Горчаков сам терялся при первой неудаче и даже при одних слухах, неблагоприятных для задуманного им предприятия. Как бы сомнительны ни были эти слухи, князь колебался в своих распоряжениях и только при постороннем влиянии, которому поддавался весьма легко, при энергическом настаивании он в состоянии был рассеять свои ложные опасения. К сожалению, человек, легко подчиняющийся влиянию посто-

ронных лиц, в большинстве случаев лишен самостоятельности, не имеет определенного направления и характера действия. Весьма часто такие лица следуют или более решительному настоянию, или последнему мнению. Если до истечения июня и половины июля князь Горчаков покинул мысль об оставлении Севастополя и даже мечтал о возможности наступательных действий, то он обязан был тем генерал-адъютанту Вревскому».

### III

На рассвете чудного июньского утра, дышавшего прохладой, в французских траншеях прозвучали трубы. Эти звуки не то призыва, не то молитвы были мгновенно подхвачены на английских батареях.

Как только трубы смолкли, раздался залп со всех пятисот восьмидесяти семи орудий неприятеля. Началась четвертая, усиленная общая бомбардировка Севастополя.

«После нескольких минут стрельбы, — сообщает один очевидец, — над Севастополем стоял густой, непроницаемый мрак дыма. Сильного звука выстрелов уже не было слыш-

но; все слилось в один оглушающий треск. Воздух был до того сгущен, что становилось трудно дышать. Испуганные птицы метались в разбитые окна домов, под крышами которых искали спасения».

Французы продолжали стрелять залпами.

Взошло солнце. Легкий ветер рассеял дым. Стрельба стала ожесточеннее. Особенно сильно обстреливались Малахов курган, первый, второй, третий бастионы и левая половина четвертого. Корабельная сторона была в развалинах.

В городе не было безопасного места. Длетали снаряды и до Северной стороны.

«Бастионы и батареи, в особенности левого фланга, были засыпаемы бомбами и ядрами. Мешки с брустверов, щиты из амбразур, камни, фашины, человеческие члены, — все летело в каком-то хаосе. Летавшие друг другу навстречу снаряды сталкивались и разбивались на полете. Пролетая в город, они сбивали остатки каменных фундаментов, поднимали страшную пыль и несли за собою массу камней, которые били людей, как пули, или царапали лицо, как иголками»[22].

Бомбардировка продолжалась до поздней ночи.

С рассвета до утра наши бастионы отвечали частыми выстрелами и выпустили столько снарядов, что приказано было уменьшить огонь и стрелять как можно реже, ввиду того что у нас пороха было мало и ожидали штурма.

И неприятель стал еще чаще осыпать бастионы и Севастополь.

После полудня особенно сильно бомбардировали бастионы правого фланга (четвертый, пятый и шестой бастионы с промежуточными бастионами), защищающие городскую сторону.

«В воздухе раздавался какой-то нестройный гул, визг и шипенье», — сообщает один участник. Другой записывает, что «потрясают душу эти ужасные звуки, этот грозный рев беспрестанно падающих и беспрестанно разрывающихся снарядов».

Настал вечер.

Бомбардировка не прекращалась.

Несколько изменился только способ ее.

Неприятель ослабил прицельный огонь и усилил навесный из осадных мортир — самый разрушительный. И бомбы, выбрасываемые массами, разрушали бастионы, уничтожали севастопольские дома и убивали множество защитников...

К ночи бомбардировка усилилась.

Десять неприятельских паровых судов подошли к севастопольскому большому рейду в одиннадцать часов вечера и, в помощь своим осадным батареям, стали бросать бомбы на наши прибрежные батареи и вдоль рейда по нашим кораблям.

Союзники, казалось, хотели показать весь ужас бомбардировки.

Им отвечали только прибрежные наши батареи. Бастионы, осыпаемые бомбами, молчали и старались исправлять повреждения, приготавливаясь к штурму.

Бомбардировка продолжалась. Ракеты, начиненные горючим составом, производили в городе пожары, но их не тушили, люди нужны были на более важное — и пожары сами собой затухали.

Эта ночная бомбардировка с пятого на ше-

стое июня, по словам одного очевидца, «была адским фейерверком, и ничего прекраснее не мог бы изобрести и представить на потеху аду сам торжествующий сатана».

В два часа ночи бомбардировка окончилась.

Наши бастионы торопились наскоро исправить свои повреждения и — главное — заменить попорченные орудия.

«Наиболее других пострадали Малахов курган, второй и третий бастионы; почти половина амбразур была завалена; многие орудия подбиты; блиндажи разрушены; пороховые погреба взорваны. Левый фланг третьего бастиона был так разбит, что бруствер в некоторых местах не закрывал головы. Наскоро воздвигнутые траверсы\* обрушились, и большая часть орудийной прислуги была переранена. На бастионах кровь лилась рекою; для раненых не хватало носилок, и к полудню на одном третьем бастионе выбыло из строя шестьсот восемьдесят человек артиллерийской прислуги (матросов) и триста человек прикрытия (солдат)».

«В течение дня на перевязочные пункты

было доставлено тысяча шестьсот человек раненых, не считая убитых. Последних складывали прямо на баркасы и отвозили на Северную сторону города»[23].

За эту бомбардировку вышли «в расход», как говорили в Севастополе, около пяти тысяч защитников.

Еще не замолкла канонада, как в «секрете» заметили, что в овраге, перед первым бастионом, собираются значительные силы.

Молодой поручик сообщил об этом командующему войсками прикрытия оборонительной линии.

У нас пробили тревогу. Барабаны подхватили ее по всему левому флангу оборонительной линии, и войска наши двинулись по местам, на бастионы и вблизи их. Резерв оставался в Корабельной слободке.

— Штурм... штурм! — разнеслось по бастионам. Орудия заряжались картечью. На вышке Малахова кургана заблестел белый огонь, фальшвейер — предвестник начинающегося штурма.

Был третий час предрассветной полумглы.

Осадные орудия вдруг смолкли.

Наступила на минуту зловещая тишина.

#### IV

Старый французский генерал, начальник колонны, назначенный штурмовать первый и второй бастионы, почему-то не выждал условленного сигнала к штурму.

Ему казалось, что внезапное прекращение бомбардировки и есть сигнал начинать штурм. Напрасно его начальник говорил, что он ошибается, что сигналом будет сноп ракет после белого света фальшвейера с одной батареи. Напрасно доказывал, что начинать атаку рано. Остальные колонны еще не строятся.

Старый генерал, как видно, был упрям и не любил советов.

Он приказал идти на приступ.

И из-за оврага показалась густая цепь стрелков. Сзади шли резервы. Через несколько минут французы бешено бросились на штурм двух бастионов.

Их встретили ружейным огнем и картечью. Все наши пароходы стали бросать снаряды в резервы и в штурмовую колонну...

Жаркий огонь расстроил французов.

Шагах в тридцати от второго бастиона они остановились и рассыпались за камнями. Еще раз они бросились в атаку, но снова не выдержали огня и отступили... Начальник колонны был смертельно ранен.

В это время блеснула струя белого света; за нею поднялся целый сноп сигнальных ракет, рассыпавшихся разноцветными огнями.

Для союзников это значило: «Штурмовать остальные укрепления Корабельной стороны».

А для севастопольцев: «Возьмет неприятель бастионы — взят и Севастополь».

Молчаливые и серьезные, ждали защитники штурма.

И многие шептали:

— Помоги, господи!

Главнокомандующий со своим большим штабом уже переправился с Северной стороны в город и с плоской крыши морской библиотеки смотрел на зеленеющее пространство перед Малаховым курганом, по которому беглым шагом шел неприятель...

Хотя князь Горчаков уже знал, что несвоевременный штурм одной французской колон-

ны был отбит в полчаса, но напрасно он старался скрыть свое волнение перед развязкой нового общего штурма укреплений Корабельной стороны.

И вздрагивающие губы главнокомандующего, казалось, шептали:

— Спаси, господи!

Начальник штаба чуть слышно сказал начальнику артиллерии армии:

— Главное... отступить некуда. Мост через бухту не готов!

— Что вы говорите? — рассеянно спросил подавленный главнокомандующий.

— Чудное, говорю, утро, ваше сиятельство!

— Да... Посланы еще три полка в город?..

— Посланы, князь!..

На Северной стороне толпа баб стояла на коленях и молила о победе...

Мужчины, не принимавшие участия в защите, истово крестились. Матросы, бывшие на кораблях, высыпали на палубы.

Все с тревогой ждали штурма.

А Маркушка, черный от дыма и грязи, накануне так добросовестно паливший из своей мортирки, что, увлеченный, казалось, не об-

рацал внимания на тучи бомб, ядер и пуль, перебивших более половины людей на четвертом бастионе, и на лившуюся кровь, и на стоны, — Маркушка и не думал, что надвигающаяся «саранча», как звал он неприятеля, через несколько минут ворвется в бастион и всему конец.

Напротив!

Возбужденный и почти не спавший в эту ночь, он сверкал глазами, напоминающими волчонка, глядя на «саранчу», высыпавшую из траншей, и хвастливо крикнул:

— Мы тебя, разбойника, угостим! Угостим!

— С банкета долой! — крикнул Кащук.

Контуженный вчера камнем, он сам вчера перевязал свою окровавленную голову и стоял у орудия, заряженного картечью, со шнуром в руке, спокойный и хмурый, ожидая команды стрелять.

— Я только на саранчу взгляну, дяденька!

— На место! — строго крикнул Кащук.

Маркушка спрыгнул с банкета к своей мортирке.

— Не бреши... Лоб перекрести. Еще кто кого угостит! — сердито промолвил матрос.

— Увидишь, дяденька! — дерзко, уверенно и словно пророчески, весь загораясь, ответил Маркушка.

— Картечь! Стреляй! Жарь их! — раздалась команда батарейного командира.

Бастион загрохотал.

## V

Ослепительное солнце тихо выплывало из-за пурпурового горизонта, когда густые цепи французов, с охотниками впереди, имеющими лестницы, вышли из траншей и пошли на приступ Малахова кургана, второго бастиона и промежуточных укреплений.

За цепью двигались колонна за колонной.

Показались и цепи англичан — штурмовать третий бастион.

И в ту же минуту на возвышенности, у одной из батарей, показались оба союзные главнокомандующие, окруженные блестящей свитой.

Утро было восхитительное.

Как только двинулись штурмующие, прикрытие наших укреплений, то есть солдаты, уже были на банкетах. За укреплениями стояли войска.

Все батареи наши вдруг опоясались огненной лентой несмолкаемого огня. Картечь, словно горох, скакала по полю, засеянному, точно маком, красными штанами французов и пестрыми мундирами англичан. Тучи пуль осыпали быстро приближающегося неприятеля.

Люди все чаще падали. Колонны чаще смыкали ряды и шли скорее, торопясь пройти смертоносное пространство.

Впереди шли офицеры и обнаженными саблями указывали на наши бастионы, которые надо взять...

Чем ближе подходили колонны, тем ожесточеннее осыпали их картечью и пулями наши матросы и солдаты, молча, без обычных «ура», с какой-то покорной отвагой безвыходности.

Казалось, каждый бессознательно становился зверем, которому инстинкт подсказывал:

«Не убью я тебя, убьешь ты меня!»

И пули летели дождем.

Колонны все идут. Уже они близко, совсем

близко. Хорошо видны возбужденные, озверелые лица... Не более пятидесяти шагов остается до второго бастиона... Казалось, лавина сейчас бросится на бастион и зальет его...

Но в эту самую минуту, когда, по-видимому, еще одно последнее усилие, и люди пробегут эти пятьдесят шагов, — энергия уже была израсходована...

Передние ряды остановились. Остановились и сзади... Прошла минута, другая... И колонна отступила назад и укрылась в каменоломнях от убийственного огня.

Но скоро солдаты поднялись и снова двинулись на второй бастион.

Они снова бросились вперед, пробежали «волчьи ямы», спустились в ров и стали взбираться на вал...

Их встретили штыками и градом камней...

Французы не выдержали. Бросили лестницы и отступили в траншеи...

«Вопли попавших в волчьи ямы, стоны умирающих, проклятия раненых, крик и ругательства сражающихся, оглушительный треск, гром и вой выстрелов, лопающихся снарядов, батального огня, свист пуль, стук

орудия... все смешалось в один невыразимый рев, называемый „военным шумом“ битвы, в котором слышался, однако, и исполнялся командный крик начальника, сигнальная труба, дробь барабана».

Так описывает в своих записках один из участников в отбитии штурма второго бастиона.

Про этот же «военный шум», которым вызывают отвратительное опьянение варварством, старик, отставной матрос, ковылявший после войны по улице разоренного Севастополя на деревяшке вместо правой ноги, — так однажды говорил мне, рассказывая про штурм:

— И не приведи бог что было, вашескобродие!

— А что?

— Известно, что... Никаким убийством не брезговали, ровно звери...

И старик, между прочим, рассказал, как в этот штурм он задушил двух французов.

— Такие чистые были из себя и аккуратные... И пардону просили... Царство им небесное! — заключил старик свой рассказ.

И перекрестившись, прибавил:

— Звери и были в то утро. И мы и французы...

Еще два раза выходили из траншей уже два раза отбитые французы и бросались на второй бастион. Но снова возвращались назад, не пробегая и половины расстояния...

Неудачны были приступы и другой французской колонны на Малахов курган.

В первый раз колонна отступила, когда до него оставалось сто шагов.

И начальник Малахова кургана, капитан первого ранга Керн, недаром сказал:

— Теперь я спокоен. Неприятель ничего не сделает с нами!

И действительно, второй приступ был отбит.

Зато батарея Жерве была взята, но затем вновь отнята. И отряд смельчаков французов ворвался в Корабельную слободку. Их пришлось выбивать из хат и домишек, из которых французы стреляли.

Озверелые и французы и русские долго сражались в Корабельной слободке.

Поджидая подкреплений, французы дра-

лись отчаянно. Каждый домик, каждую развалину приходилось брать приступом. Пощады французам не было. Да они не просили ее.

И солдаты разносили дома, уничтожали людей, бывших в них. Многие влезали на крыши, разрушали их и совали пуки зажженной соломы, чтобы сжечь неприятеля. В одной хате, где французы не соглашались сдаться, их передушили всех до единого.

Неудачен был и штурм третьего бастиона.

Англичанам пришлось пройти от траншей до третьего бастиона под градом ядер, бомб, картечи и пуль значительное расстояние — около ста сажен. Но английские цепи шли вперед с смелым упорством и хладнокровием.

И только когда передние ряды были перебиты, задние поколебались и легли на землю, отстреливаясь. Еще одна попытка разобрать засеки и броситься на бастион не удалась, и англичане отступили в свои траншеи.

К семи часам утра штурм был отбит на всех пунктах.

Союзники не ожидали такого исхода. Они не сомневались, что Севастополь будет взят.

Англичане запаслись разными закусками, чтобы позавтракать в Севастополе; раненый и взятый в плен французский офицер просил, чтобы его не перевязывали, так как через полчаса Севастополь будет в руках его соотечественников и тогда его перевяжут.

«Один французский капрал, — сообщает историк Севастопольской обороны, — ворвавшийся в числе прочих на батарею Жерве (около Малахова кургана), бросив ружье, пошел далее на Корабельную сторону и, дойдя до церкви Белостокского полка, преспокойно сел на паперть. В пылу горячего боя его никто не заметил, но потом один из офицеров спросил, что он здесь делает?

— Жду своих! — ответил он спокойно. — Через четверть часа наши возьмут Севастополь!»

Как только что штурм был отражен, снова началась бомбардировка.

Только на другой день можно было севастопольцам передохнуть.

По просьбе двух союзных главнокомандующих, объявлено было перемирие с четырех часов дня и до вечера, для уборки тел.

Все пространство между неприятельскими траншеями и нашими атакованными укреплениями было полно телами. В некоторых местах они лежали кучами в сажень вышины.

Потери были велики с обеих сторон. За два дня мы потеряли около шести тысяч. Столько же погибло людей и у союзников во время штурма[24].

Во время перемирия побежал смотреть «француза» вблизи и Маркушка. Сам батарейный отпустил.

Французские солдаты укладывали на носилки погибших товарищей. Многие любопытные с обеих сторон сбежались поглазеть на врагов. И французские и русские солдаты, разумеется, не понимали слов, которыми обменивались, подкрепляя их минами, но оставались довольны друг другом. Казалось, эти же самые, еще вчера озверелые, французы и русские были совсем другими людьми, которым вовсе не хочется убивать друг друга.

Маркушка во все глаза смотрел на «француза» и, по-видимому, удивлялся, что они все не «подлецы», не «черти» и не «нехристи», какими воображал, стараясь как можно

убить их из своей мортирки.

И мальчик совсем изумился, когда один француз, с добрым, веселым, молодым лицом, потрепал Маркушку по плечу, сказал несколько ласковых слов и, указывая на его рубашку, на которой висели медаль и полученный на днях георгиевский крест, спросил: «Неужели он, такой маленький, и солдат? Разве в России берут таких солдат?»

— Что он, дьявол, лопочет? — нарочно стараясь небрежно говорить, спросил сконфуженный Маркушка у ближайших солдат.

Солдаты только засмеялись. Кто-то сказал: «Верно, тебя похваливает. Мол, мальчишка, а с георгием!»

Стоявший вблизи наш молодой офицер кое-как объяснил, что Маркушка не солдат, а по своей воле пошел на бастион и храбростью заслужил медаль и крест.

Француз пришел в восторг. Он вдруг сунул Маркушке «на память» красивую маленькую жестянку с монпансье и проговорил, обращаясь к офицеру:

— Скажите ему, что он герой... Но только зачем он на бастионе?.. Я не пустил бы сюда

такого маленького...

Француз сказал подошедшим товарищам о диковинном мальчике с четвертого бастиона, с медалью и крестом за храбрость.

Они подходили к мальчику с четвертого бастиона, жали ему руку, говорили хорошие слова, которые он чувствовал, не понимая. Им восхищались. Его жалели. Он такой маленький, и сирота, и на бастионе. Кто-то сунул ему булку и показывал на жестянку, словно бы рекомендуя есть то, что в ней.

— Это из Парижа! Ты, мальчик, понимаешь, из Парижа?

Маркушка еще более конфузился и оттого, что «француз» так ласков с ним, когда он, верно, убил не одного такого же француза, и оттого, что на него обращено внимание...

И Маркушка испытывал чувство стесненности и виноватости. Они должны знать, что он хотел побольше их убить, а теперь... ему жалко этих веселых и ласковых людей.

Но он только снял шапку, сказал: «Адью, француз», — и убежал.

Дорогой Маркушка похрустывал на зубах французские леденцы, закусывал булкой и

шел к четвертому бастиону, отворачиваясь от носилок, на которых лежали кучи мертвых...

Возвратившись на четвертый бастион, он сказал Кащуку, только что проснувшемуся и сидевшему у орудия за чаем:

— Вот... Попробуй их булки, дяденька.

— Неси кружку да обсказывай, что видел...

Маркушка принес кружку, которую хранил у мортирки, и после того, как выпил целых две, обливаясь потом, раздумчиво проговорил:

— Тоже и они, как наши, дяденька?

— А ты думал как? Только другой веры, а как наши.

— А зачем пришли? Зачем полезли на драку? — произнес Маркушка, словно бы желая найти причины, по которым «француз» должен быть неправым против русских.

— Погнали их из своей стороны, и пришли... Тоже и у них свой император — и свое начальство...

— Небось теперь, как угостили, не пойдут на штурму... Страсть сколько мы их убили вчера... И трех генералов...

— Прикажут, опять на штурму пойдут. Из-

за Севастополя целых девять месяцев бьются и нас бьют... Тоже, братец ты мой, и француз подначальный народ. Может, ему и не лестно в чужую сторону да на смерть идти... а идут... И самим в охотку скорее взять Севастополь да замирился... Силы у их много. Их император всю эту расстройку и завел... В том-то и загвоздка... А люди и пропадают... Пей, что ли, Маркушка...

Было жарко. Петух, прозванный «Пелисеевым» в честь Пелисье\*, лениво выкрикивал свое кукареку, разгуливая по площадке бастиона около нескольких куриц. Матросы отсыпались после суток бомбардировки. Почти все офицеры, обрадовавшись перемирию, переправились на Северную сторону.

Теперь там, за северным укреплением, вырос целый городок из барачных, балаганов, шалашей и палаток. Только там были женщины и дети, которым уж месяц тому назад велено было оставить Южную сторону. Туда все оставшиеся жители переселились из города, где уже не было безопасного места. Бомбы убивали даже людей, скрывающихся во время бомбардировки в подвалах и погребах.

Слишком уж близко к нашим укреплениям и к городу придвинулся ряд осадных батарей союзников.

Штабные, чиновники, интенданты, отдохавшие и легкобольные офицеры, приезжие аферисты и предприниматели, торговцы, базарные торговки, солдатки, матроски, ремесленники, отставные артиллеристы и матросы, маркитанты — словом, весь люд, остававшийся в Севастополе, ютился на Северной стороне.

В палатках маркитантов устроили трактиры, куда сходилась офицерство. Рискуя нарваться на бомбу и пулю по дороге, так же как и на бастионах или позициях, офицеры уходили в отпуск с бастионов часа на два, на три, чтобы пожить хоть короткое время в иной обстановке, встретиться с приятелями и знакомыми, съесть порцию чего-нибудь вкуснее, чем «дома», выпить в компании бутылку вина, узнать «штабные» новости о предположениях главнокомандующего и, разумеется, посудачить об его нерешительности, быстрых переменах приказаний и рассеянности, служившей материалом для анекдотов. Нечего и

говорить, что немало критиковали и бездействие полевой армии, не попробовавшей напасть на союзников и освободить Севастополь. Вышучивали и начальника штаба. Ко многим кличкам, вроде «бумажного генерала» и «старшего писаря», в последнее время прибавилась еще кличка «генерала как прикажете» и «ганц-акурата». Но уж в эти дни не было прежней уверенности, что Севастополь отстоят. Об этом не говорили, но это чувствовалось... Каждый знал, что в последнее время осады — идет бойня, и сознавал, что не попал еще «в расход» только по особенному счастью...

На Северную сторону часто приезжали адъютанты, ординарцы и казаки с донесениями с оборонительной линии к начальнику штаба, который иногда допускал «вестников» к князю, всегда занятому. Приезжали и генералы с докладами самому главнокомандующему.

Сюда же приезжали с бастионов и за покупками, и для заказов, и для того, чтобы вымыться в бане и хоть сколько-нибудь очиститься от грязи и зуда тела, изъеденного на-

секомыми, кишашими в блиндажах бастионов.

Здесь — вдали от оборонительной линии с ее постоянным треском и грохотом снарядов, гулом выстрелов и зрелищем смерти — было все, что было нужно человеку, хотя бы и не уверенному, что будет жив через час. Были мануфактурные, галантерейные и бакалейные лавки, портные, сапожники, часовщики, цирюльники, фруктовщики, «человечки», дающие деньги под проценты, и, разумеется, гробовые мастера для тех убитых и умерших от ран или от тифа, которые были в офицерских и высших чинах.

Главнокомандующий еще вчера, тотчас же после отбитого штурма, обрадованный и умиленный отчаянной стойкостью защитников, послал телеграфическое донесение императору Александру Николаевичу, начинающееся следующими словами:

«Самоотвержение, с коим все чины севастопольского гарнизона, от генерала до солдата, стремились исполнить свой долг, превосходит всякую похвалу».

Но, разумеется, главнокомандующий не

утешал себя мыслью, что многострадальный Севастополь будет спасен и после нового штурма. Отбитый вчера штурм принес только отсрочку и новые жертвы бомбардировки.

И старый князь мечтал только о возможности с честью оставить Севастополь и торопил постройку моста через бухту.

## VI

Отсрочка была продолжительная.

Прошло два с половиною месяца после отбитого штурма. Смертельно был ранен Нахимов. Под Черной были разбиты наши войска\*, делавшие чудеса храбрости. Но отсутствие умного военачальника и путаница не могли не привести к поражению.

«Вступая в бой, главнокомандующий обязан был дать толковые и определенные указания, познакомить начальников толком с предстоящею задачей, со своими намерениями и задачами и затем предоставить им свободу действий. Ничего этого мы не видим в распоряжениях князя Горчакова», — пишет историк Севастопольской обороны...

На другой день после поражения наших войск союзники снова начали жесточайшую

бомбардировку, продолжавшуюся двадцать дней. Бастионы разрушались. Ежедневно убывало по тысяче защитников.

Последние дни Севастополя подходили... К двадцать четвертому августа неприятель продвинулся так близко, что находился в семнадцати саженьях от Малахова кургана и в двадцати от второго бастиона.

Штурм был несомненен. С разных сторон видно было, как стягивались войска союзников. Об этом сообщали в главный штаб армии. Но главный штаб не принимал никаких мер к усилению гарнизона на время штурма и даже не предупреждал гарнизона.

Генерал Липранди несколько раз посылал сказать начальнику штаба, генералу Коцебу, что неприятель готовится к штурму, а начальник штаба ответил, что Липранди греется во сне штурм. Когда командир одной батареи послал начальнику штаба казака с запиской, что французские колонны тянутся к Севастополю, — генерал Коцебу не обратил на это ни малейшего внимания.

Казак вернулся и доложил начальнику батареи, что отдал записку в руки «Коцебе», и

объяснил, что они изволили прохаживаться около квартиры главнокомандующего.

— Что ж, он пошел к князю, прочитавши записку? — спросил моряк.

— Никак нет-с! Они сунули ее в карман, а мне приказали отправиться на место!

Так рассказывал потом в своих записках адмирал Барановский, который сам посылал казака с запиской к начальнику штаба.

Последний общий штурм двадцать седьмого августа был днем гибели Севастополя...

Отбитый почти везде, он не мог быть отбит малочисленными охранителями Малахова кургана... Туда были направлены огромные силы французов. Почти все защитники этого «ключа» нашей защиты были убиты или ранены. Немногие остались в живых... Четыре бесстрашных матроски во время штурма подавали воду храбрецам Малахова кургана...

В восьмом часу на Малаховом кургане взвился французский флаг, а в четыре часа все начальники войск и бастионов получили приказание очистить Южную сторону и перейти на Северную.

Поздним вечером началась переправа войск через мост и продолжалась всю ночь.

А в это время в оставленном Севастополе, погруженном в мрак, раздавались взрывы. Их производили охотники, саперы и матросы. Взрывы, от которых рушились стены полуразрушенного уже города. Пожар охватывал всю оборонительную линию...

Уходившие из Севастополя крестились, оборачиваясь на город...

— А ты, Маркушка, теперь будешь при мне, — говорил Николай Николаевич Бельцов мальчику, стоявшему рядом с ним на мосту, который сильно качался от волнения.

В восемь часов утра все войска были на Северной стороне.

Рейд был пуст. Все корабли затоплены. Мост был уничтожен.

Утро было прелестное.

Маркушка, отлично выспавшийся под буркой, данной ему Бельцовым, был счастлив и оттого, что жив, и оттого, что не на бастионе, и оттого, что заманчивая новизна будущего застилала от него ужасы прошлого, и, главное, оттого, что ему было двенадцать лет.

# Событие\*

## I

В шестом часу дня к подъезду большого дома на Песках подъехал один из его жильцов — господин Варенцов. Это был блондин среднего роста, лет тридцати, одетый скромно, без претензий на щегольство и моду. Но все на нем было аккуратно и чистенько: и пальто, и фетр, и темно-серые перчатки.

В этот теплый августовский день Варенцов вернулся со службы не в обычном настроении проголодавшегося чиновника. Оно было приподнятое, возбужденное и слегка торжественное.

Варенцов соскочил с дрожек, вынул из портмоне две монетки, внимательно осмотрел их — те ли — и, вручая их извозчику из «ванек», не без довольной значительности в скрипучем голосе сказал:

— Я, братец, прибавил!

«Чувствуешь?» — казалось, говорили серо-голубые глаза.

Извозчик «почувствовал», но не очень от прибавки пяточка. И, снимая шапку, сделал

льстивое лицо и проговорил:

— Ехал, слава богу, на совесть! Еще бы прибавили пяточок, барин хороший!

— Прибавил, а ты клянчишь! Стыдно, братец! — возмущенным и строгим тоном произнес Варенцов и вошел в подъезд.

Пожилой, худой и грязноватый швейцар Афиноген, судя по истрепанной ливрее и замаранной фуражке, нисколько не заботившийся о своей представительности, встретил Варенцова сдержанно, тая в душе серьезное неудовольствие против жильца.

Еще бы! Платит только рубль в месяц жалованья, на рождество и пасху дает по рублю, на чай хоть бы раз гривенник, никуда не посылает и не поощряет попыток на разговор.

Афиноген, жадный на деньги и объяснявший, что копит их единственно на «предмет женитьбы», хотя и не думавший о ней, вел упорную усмирительную войну против Варенцова и его жены.

Дверная ручка их квартиры не чистилась. Письма и газеты дня по два вылеживались в швейцарской. Непокорных жильцов, возвращавшихся домой после полуночи, Афиноген

не без злорадства выдерживал на морозе у подъезда минут по пяти. Гостям Варенцовых, спрашивавших: «Дома ли?» — он врал ради педагогического воздействия, по вдохновению. Ничего не действовало.

Имевший определенные и довольно мрачные воззрения на супружескую верность и семейное благополучие жильцов, Афиноген старался найти какой-нибудь козырь против Варенцовых. Но все его тайные разведки были напрасны.

И обманутый скептик и скопидом решил, что восьмой номер «очень аккуратен вокруг себя». Однако оружия не сложил, надеясь, что какая-нибудь «штука» да должна обозначиться. Тогда эти единственные непокорные жильцы в доме «войдут в понятие» и будут платить швейцару по-настоящему.

— Есть что? — спросил Варенцов.

— Почтальон только что подал! — официально-сухо ответил швейцар, подавая Варенцову повестку на заседание какого-то благотворительного общества.

— Писем нет?

— Подал бы...

Варенцов все-таки открыл ящик столика, у которого всегда дремал или читал газету швейцар. Затем взглянул на почтовый штемпель полученного конверта и, аккуратно положив в карман повестку, стал подниматься наверх.

Виктор Николаевич Варенцов жил в пятом этаже почти два года и никогда не находил, что высоко. Напротив, говорил, что наверху воздух лучше и подъемы полезны. Здоровый, с хорошо развитой грудью, он поднимался свободно, легко и ровно дыша. Но сегодня Варенцов подумал вслух: «Высоковато...»

Для кого — так и не досказал.

Он отворил двери своим ключом, бережно повесил пальто, смахнув с него паутину, положил шляпу на подзеркальный стол, сперва смахнув с него пыль, и перед зеркалом оправил свои густые, коротко остриженные, светло-русые волосы, волнистую бородку и мягкие небольшие усы.

Зеркало отразило чистенькое, пригожее лицо, свежее и румяное, дышавшее здоровьем. И весь он был чистенький в скромном пиджачке, с пестрым галстуком на высоком

воротничке, стройный, крепкий и сухощавый, с белыми руками и обручальным кольцом на безымянном пальце.

Виктор Николаевич бросил взгляд на маленькую прихожую, потянул воздух красивым прямым носом и поморщился.

«Кухней пахнет, да и прихожая мала!» — решил Варенцов.

Проходя ровной неспешной походкой через гостиную, Варенцов и ее оглядел. И, словно бы заметив, что обстановка плохонькая и мебель потертая, подумал: «Не мешало бы обновить. Лина мечтает об этом!»

С этой мыслью Варенцов вошел в «уголок» Лины, как называла она часть большой спальни за драпировкой, — с мягкой, обитой светлым кретоном\* мебелью, зеркальным шкафом, этажеркой с книгами и несколькими фотографиями писателей на простенке над простеньким письменным столом, на котором стояли в хорошеньких рамах фотографии мужа, детей и родных.

## II

На пестрой тахте сидела, поджавши ноги, с журналом в руке молодая женщина лет под

тридцать в полосатой юбке и яркой блузке.

Она была очень интересна, свежая и недурная собой, с неправильными чертами оживленного и умного лица, с роскошными, отливавшими рыжиной, каштановыми волосами, собранными на темени в пучок тяжелых кос, с красивым пышным бюстом, тонкой талией и полными сочными губами, из-под которых блестели ровные, мелкие и острые, как у мышонка, зубы.

Варенцов особенно крепко и значительно поцеловал маленькую, холеную руку с несколькими кольцами на мизинце и одиноким обручальным на безымянном.

Не поднимая с книги глаз с крупными веками и длинными ресницами, Лина слегка и небрежно потрепала щеку Варенцова и сказала:

— Иди мой руки. Сейчас велю подавать!

Ее властный, повелительный голос с красивыми низкими нотами не был особенно ласков. Молодая женщина поднялась с тахты и приятельски-равнодушно взглянула на мужа. Но в то же мгновение пристальный и острый взгляд ее блестящих и выразительных

красивых глаз впился в глаза мужа. И она спросила:

— Надеюсь, никаких неприятностей, Вики?

Уже сама возбужденная необычным выражением лица Вики, не выждав его ответа, молодая женщина нетерпеливо прибавила:

— По твоим глазам вижу, что что-то случилось... Говори, Вики.

— Именно случилось, Лина... И нечто неожиданное...

— Ну... Что ж молчал?..

— Только что хотел, Линочка... Без тебя не решил... Как ты на это взглянешь... После обеда мы основательно переговорим... обсудим... А теперь в двух словах...

— Да говори же!.. Говори эти два слова! Вот мямля! — раздраженно крикнула Лина.

И в ее загоревшихся глазах блеснуло что-то высокомерное, презрительное и насмешливое.

— Дай же договорить мне, Лина. Ты не даешь... И не кричи, ради бога, на весь дом.

— Государственная тайна!?

— А все-таки пока не проболтайся.

— Разумеется... Да говори же, Вики!

Понижая голос, Варенцов несколько торжественно и в то же время смущенно проговорил, как обыкновенно говорят чистенькие люди, впервые совершающие что-то очень важное для личного своего счастья и благополучия и в то же время понимающие и еще чувствующие, что они делают и что-то предосудительное.

— Сегодня Козлов вызвал меня и предложил перейти к нему...

— К нему?.. — изумленно уронила Лина, не зная еще, радоваться или нет...

Но на всякий случай прибавила:

— Он, кажется, человек недурной.

— Да... с правилами, Лина. Ты понимаешь, как был я огорошен неожиданным предложением... Очень значительное и самостоятельное место и... приличное... Шесть тысяч жалованья и тысяча наградных... Впереди, Лина, может быть, блестящее положение... И власть и крупное содержание... Я обещал завтра утром дать Козлову ответ... Что ты думаешь, моя умница?

«Умница» вспыхнула, охваченная радостью.

«Кто бы мог ожидать?.. И такое место!» — подумала в первую минуту Лина.

Но в следующее мгновение Вики уже вырос в ее глазах и словно бы сделался героем. Ее любовь к нему как будто осветилась в новом сиянии нежного и поэтического ореола, и Лина почувствовала, что раньше недостаточно ценила и его и его любовь до обожания. Но зато какая она безупречная жена. Не то что другие.

Лина не без горделивой радости вспомнила, что за семь лет супружества она не только ни разу не изменила Вики, но у нее нет на совести даже серьезного флирта... А случаи были, когда Вики уезжал на два месяца.

И молодая женщина чувствует себя в эту минуту счастливой. И оттого, что она такая хорошая женщина, и оттого, что Вики — маленькая звезда и будет большой, и все еще такой влюбленный красавец муж, слушающий ее советы, и оттого, что впереди новая обеспеченная жизнь...

«О, как будет хорошо!» — хотелось ей крик-

нуть. И в ее голове пролетали быстрые, меняющиеся в сочетаниях, как в калейдоскопе, картины новой жизни, без лишений, мелких забот и грошовых расчетов, без писания рассказов ради гонорара и несправедливых и унижительных отказов печатать их в журналах. Изящный комфорт, уют квартиры, поездка за границу, англичанка для мальчиков, элегантные костюмы, эстетические удовольствия, новые впечатления, новые знакомства, капот как у Балетта на сцене, «уголок», в котором напишется новый талантливый рассказ, завистливые лица приятельниц, прелесть мирного очага, влюбленный Вики, батистовые рубашки с кружевными кокетками, деятельное участие в «Защите детей», реферат о нем, общий восторг, знакомство с выдающимися артистами и литераторами, хорошенькая дача, заново отделанная спальня с пушистым ковром во всю комнату, качающимися роскошными кроватями, электричеством и с ванной рядом, прогулки пешком, думы и размышления, чтение серьезных книг, библиотека, хорошие переплеты... «О чем Вики задумывается? Мог бы сегодня дать согласие!»

Но вдруг на радостное лицо Лины набежало облачко... Она вспомнила, что и Вики и она с либеральными взглядами и из недовольных, и Вики, когда был еще гимназистом, пострадал в заключении, как Лина хвастала, называя заключением недельный арест Вики в части. Вики осторожнее, а Лина решительней, но оба порицали беспринципных людей, которые ради земных благ шли на всякие компромиссы. Вики женихом и в первые годы часто и обстоятельно говорил, что реформы необходимы и что закон, какой бы он ни был, должен строго соблюдаться... И Лина повторяла его слова и даже шла дальше, требуя на журфиксах изменения законов, — ведь она была из радикальной семьи: покойный отец был профессор, уволенный за строптивость, а покойная мать сама сделалась строптивой из любви к отцу...

Все это пронеслось в голове Лины, и она подумала, что не даром же Вики называл свою службу «чистенькой» и говорил ей, что все же можно не очень поступаться независимостью «чистенького» человека и не признавать себя пешкой. И Лина, хотя и жаловалась,

что Вики мало получал, и делала ему сцены, но на журфиксах фрондировала вместе с недовольными и гордилась, что Вики принципиальный человек. Оттого такому идеальному работнику и не дают хода... Держат на трех тысячах, а бедный засиживается до поздней ночи...

Но мало ли что говорится? Взгляды меняются. Ницше прав... Надо себя любить. Надо о детях подумать.

Теперь Лине кажется, что многие прежние взгляды были непродуманными.

И она трусит... А что, если Вики...

Но Лина быстро соображает, что Вики не откажется от счастья. Надо только поощрить и успокоить Вики...

Это — долг любящей жены.

#### IV

— Что я думаю, милый?

И голос и глаза Лины ласкали.

— Да, Линочка...

— Я уверена, что ты и на новом месте останешься честным и независимым человеком.

— Надеюсь, Лина. А все-таки...

— Но, Вики! — порывисто воскликнула Ли-

на, перебивая Вики. — Ведь если тебе не понравится... твоя чуткая совесть возбудится, ты можешь уйти...

— Разумеется, ушел бы...

— И без места не останешься... Такого умницу и работника везде примут... Об этом нечего и беспокоиться, Вики...

— Пожалуй, что так...

— И не забудь одного, милый! — проговорила Лина с такой серьезной проникновенностью и горячностью, словно бы то «одно», что скажет Лина, — главный и важнейший аргумент.

— Чего, голубчик?

— Разумеется, милый, твоя княжая воля, как решить. Семья не должна повлиять на твое решение, милый... Разве я не люблю тебя?.. Но если ты откажешься, вместо тебя может попасть какой-нибудь беспринципный человек, вроде: «Чего изволите». Мало ли таких? А ведь ты, Вики... Ты... Сколько можешь сделать добра. Сколькому злу помешать... Ведь правда, милый?

Взволнованная своими же словами, которым, пожалуй, Лина и верила в эту минуту,

она не без трогательной восторженности глядела на человека, которому предстоит такая высокая миссия, и с лживой наивностью «умницы» воскликнула:

— И знаешь ли, милый, что меня особенно радует в этом предложении?

Влюбленный Вики не знал, хотя и догадывался, и сказал:

— Говори, Линочка.

— Разумеется, очень важно, если бы мы были покойнее за будущность наших мальчиков, не знали бы тревог и глупых волнений из-за каких-нибудь десятка рублей и свили бы с тобой, Вики, хорошенькое, уютное гнездышко... Ты ради нас не урезывал бы себя во всем... Шубы даже не можешь сшить... На извозчика стесняешься... Я не могу сшить хотя одного приличного платья... Летом могли бы отдохнуть в Швейцарии... Одним словом... Всем было бы отлично. Но живем же до сих пор... И я серьезно никогда не жаловалась... Я рада, что тебя, Вики, поняли... оценили... Значит, нужны же самостоятельные, независимые люди... Ведь нужны... Умница ты, мой милый! — закончила Лина.

И она порывисто притянула к себе Вики и поцеловала его в губы, что было совсем неожиданно трогательно со стороны молодой женщины.

Вики был умилен. Еще бы! Обыкновенно Алина Дмитриевна горячо целовала и называла Вики «милым» только в свое время. В другое — она была очень сдержанна даже в ласковых кличках и, напротив, расточительна в пренебрежительных и насмешливых и нередко обращалась со своим влюбленным верноподданным небрежно, нетерпеливо и резко, словно деспотическая владычица...

Хоть Варенцов знал, что никакой независимости у него не будет, ему все-таки хотелось не разуверять жену. И тоже хотелось скрыть от жены то, что и она знала и ради чего сама лгала.

И Варенцов сказал:

— Я рад, Лина, что наши мысли сошлись. Мне тоже кажется, что отказываться не следует...

— Умница! — воскликнула Лина.

И, радостная и восторженная, расцеловала голову, щеки и губы Вики.

— Ты права. Если увижу, что не могу ужиться, — немедленно уйду.

— Еще бы!

— И знаешь ли, к какому печальному взгляду я пришел, Лина?.. Ведь, собственно говоря, везде одно и то же. А теперь... Накорми, моя любимая... Я голоден...

— Иду, велю подавать... Обед по твоему вкусу, Вики... После обеда чай здесь... Расскажи, как все это случилось... Вечер дома... И не будем засиживаться... Да, милый?

И, торжествующая и веселая, с высокой и стройной, хорошо сложенной фигурой, с приподнятой головой, Алина Дмитриевна вышла из спальни решительной, энергической походкой, слегка повиливая широкими бедрами, плотно обтянутыми пестрой юбкой.

## V

Минут через пять, вымыв руки и освежив лицо цветочным одеколоном, Варенцов вошел в маленькую столовую и имел какой-то особенный вид не то именинника, не то юбиляра, торжественно-праздничный и наивно-растерянный.

Чистенькое, румяное лицо, казалось, было

налакировано каким-то особенным сиянием. Высокий воротничок, повязанный пестрым галстуком, точно немножко стеснял длинноватую шею и лишал голову более свободных движений. Пиджачок казался как-то параднее, приглаженные волосы — прилизаннее. Словом, все и в Вики и на Вики словно бы говорило — не крикливо, а скромно — о большом событии.

Варенцов особенно продолжительно, значительно и крепко поцеловал Витю и Коку, погодков шести и пяти лет, словно бы приобщал их к своему и к их счастью, и все-таки осмотрел, вымыты ли их руки перед обедом.

Но мальчики, оба здоровые, хорошенькие и курчавые, кажется, были несколько удивлены такой экстраординарной продолжительностью ласки. И Кока уже собирался зареветь, если бы мать не пришла к нему на помощь.

Затем Вики пожал руку молодой круглолицей бонне-курляндке, маленькой, кругленькой девушке с добрым и веселым белобрысым лицом.

Все сели.

Сегодня Лина с большим интересом следи-

ла за Вики, чтобы узнать, с удовольствием ли ест Вики. И даже волновалась.

И Лина была довольна, что Вики с удовольствием съел суп и кусок тетерьки, выбранной женой с особым вниманием, и брусничное варенье.

— Еще кусочек, Вики?

Но Вики отказался.

Он ведь воздержан в пище. Он читал, и врачи говорили, что гораздо гигиеничнее не наедаться.

Лина не настаивала.

Она знала, что Вики с правилами. Ни водки, ни вина не пил. Курил прежде, но бросил. Цветущий и здоровый, он словно бы застраховывал свое здоровье, много гулял, занимался гимнастикой и вообще имел серьезный уход за телом. И Лина только восхищалась силе характера Вики.

Вкусный кусочек она положила себе, положила по куску детям и с милой любезностью предложила бонне ребра, не сомневаясь, конечно, что бонна особенно любит кости, предпочитая их мясу.

Остался доволен Вики и компотом и рас-

сказал Лине о неблагоприятном извозчике.

Как только Вики окончил, Лина торопливо поднялась. По обыкновению, Вики поцеловал руку жене.

— Доволен, милый, обедом?

— Отличный... Ты и хозяйка, Лина!..

— Тебе какого варенья? Любишь персики?

Вики объявил, что персики.

— Аксинья! Чай и банку с персиками ко мне! Фрейлен! В восемь уложите детей. Сегодня я их не буду укладывать.

Лина расцеловала детей и подхватила Вики под руку.

Оба покрасневшие, словно бы охмелевшие от счастья, они пошли через прихожую, коридор и гостиную в уголок Лины.

Дорогой она успела спросить мнения Вики о перемене квартиры, о новой обстановке, англичанке, о белье, приличном костюме и простеньком капоте.

— А то совсем обносила, милый...

— Три месяца будем получать по-старому...

— Займем. Уплатим с рассрочкой...

И, точно Вики вперед знал, что ему не придется поступаться независимостью на новом

месте, он согласился, что надо им подготовиться.

— И тебе необходимы фрак, осеннее пальто, ночные рубашки, Вики...

— Купим, Линочка... Купим все, что нужно, милая.

И в голосе Вики звучала самодовольная нота.

Лина устала от корсета и пошла переодеться в капот.

Через минуту-другую она уселась на тахте около Вики и сказала:

— Ну, так рассказывай, милый!

## VI

В эти минуты Варенцов был в том редком настроении, когда жизнь показалась ему необыкновенно хорошей, приятной и содержательной.

Еще бы! У него неожиданно блестящее положение и материальное благополучие. Впереди — надежда на серьезную карьеру сановника с добрыми намерениями: не отступать от закона и кое-что сделать для отечества. Властная, привыкшая повелевать, любимая жена восторженно признала в муже выдаю-

щиеся способности недюжинного человека. Сдержанная прежде в проявлениях дружбы и сочувствия и порой нетерпеливая и резкая, Лина обнаружила силу привязанности родственной ему души. Отныне он не только желанный муж, но и умница друг.

И Варенцов чувствовал себя счастливым и благодарным победителем...

Убежденный, что теперь Лина уже не станет нетерпеливо слушать и перебивать его, Варенцов не спеша, основательно, подробно и не без самодовольной значительности рассказывал о свидании с Козловым, останавливаясь по временам, чтобы отведать варенья и отхлебнуть чая.

— И ведь всего пять минут этого серьезного свидания. Понимаешь, Лина, пять минут! — заключил рассказ Варенцов.

— Пять!? — восхитилась Лина.

— Ровно пять! Я заметил по часам, когда входил в кабинет и вышел из него. Козлов много работает и произвел на меня впечатление очень умного человека. Репутация его подтвердилась. И так коротко, ясно и категорически: «Нам нужны дельные и способные

работники. Моя программа: закон всегда и везде!»

— А что же о нем говорят как о ретрограде? Ах, Вики, как часто у нас клеветают на людей! — не без сокрушения промолвила Лина и даже вздохнула.

— У нас много врут, особенно на сколько-нибудь заметных людей! — подтвердил и Варенцов.

И с апломбом прибавил:

— Надо сперва войти в положение. Тогда и брани, если только брань даст облегчение... Конечно, есть люди несерьезные, неталантливые и без всякого руководящего плана, но есть и даровитые и небеспринципные. Огульно бранить чиновников несправедливо.

— Именно, надо войти в положение... Это ты прелестно сказал, голубчик! А то все сплетни и сплетни! — негодуяще сказала Лина, забывшая, какая она отличная сплетница.

Варенцов счел нужным повторить — и уж с большей уверенностью в тоне — те же доводы в пользу своего решения, которые перед обедом так убедительно приводила жена. И в третий раз сказал, что, разумеется, уйдет, ес-

ли от него потребуют серьезного компромисса.

— Да разве ты мог бы оставаться, Вики!

«Да и к чему не оставаться!» — подумала жена.

Ни у нее, ни у мужа не хватило, разумеется, храбрости сознаться в том, что обоих заставляло обманывать и себя и друг друга и что привело их в идиллическое настроение.

И Варенцов сказал:

— А разве ты не похвалила бы своего мужа?

— А разве ты не знаешь своей Лины?

— То-то, знаю, какая ты у меня прелесть!

И растроганный Вики не вовремя крепко поцеловал глаза Лины.

Она не нашла, что это «сентиментальности», и подставила губы.

А Вики, не злоупотребляя новыми правами, продолжал:

— Впрочем, новое мое место такое, что не предвидится конфликтов. Да мне и не предложили бы щекотливого положения, Лина!

— Смели бы!

— Для некоторых положений все-таки

нужны люди с очень крепкими нервами и исполнители того, что иногда даже сами считают вредным, бессмысленным и не вполне законным. А я, милая, не буду лишь исполнителем. Я буду в стороне от всякой щекотливой политики... Оттого-то я и принимаю назначение.

— Оттого-то тебе и не придется раскаиваться!

Обрадованная, что можно поговорить о самом главном и интересном, что составляет в новом назначении, Лина заговорила нежным, заботливым и слегка заискивающим тоном женщины, имеющей дело хоть и с влюбленным, но очень экономным мужем.

— И как у нас будет хорошо, Вики!.. Так хорошо, хорошо!.. Так мило, мило!.. Разумеется, просто, но со вкусом... Я буду заботиться, чтобы тебе, голубчику, было покойно, уютно, светло. Вернешься со службы, и дом будет действительно отдыхом. Кормить буду я тебя куда вкуснее. Конечно, кабинет тебе нужен побольше, не такая каморка, как здесь. Отманку, два кресла, библиотечный шкаф... Одним словом, кабинет... Обновим спальню...

Мне кажется, пушистый ковер, новые кровати с волосяными матрацами, а то эти такие жесткие. Сделаем настоящее гнездышко... Не правда ли, милый?.. Мой «уголок» отделим японскими ширмами, а наша кретоновая перегородка — только пыль и негигиенично... И душно нам спать... И новую мебель в гостиную... Старую продадим... Не правда ли, Вики?.. Ведь необходимо?.. Завтра же скажу дворнику, что здесь не остаемся... Через месяц контракт. И начну искать квартиру... И ты решишь, если понравится...

— Да, Лина, надо побольше квартиру. И вообще устроиться... Ты сумеешь все сделать недорого.

— Еще бы. Не бойся, не разорю тебя, голубчика!

Оживленная и счастливая, молодая женщина вошла в подробности о том, как они устроятся и будут «мило» жить... С такими деньгами, какие они будут получать, можно прелестно устроиться. И за границу поедут.

— Ты повезешь, милый? — вкрадчиво-нежно спросила Лина, прижимаясь к мужу, и, заглядывая в его глаза, ласкала своими проси-

тельными глазами.

Варенцов сказал, что повезет Лину, если дадут отпуск, и одобрил все ее планы.

— И будем каждый год немного откладывать, Лина! — прибавил он.

— Само собой разумеется, со второго года, как покроем заем. Ведь мы не будем делать приемов, Вики... К чему?

— Конечно... Зачем приемы?

— Разве только скромные журфиксы, без ужина, без вина. Чай и бутерброды. Правда? Пусть будет один вечер для знакомых.

Варенцов не отвечал.

Его идиллическое настроение подернулось легкой дымкой.

И с необычной порывистостью вдруг сказал:

— Линочка! Одна ты друг... Одна... И понимаешь меня и сочувствуешь...

Варенцов благодарными и умиленными глазами смотрел на жену.

— Милый!..

Лина обняла мужа и сказала:

— Если не хочешь журфиксов... Бог с ними!

— Отчего же... А если некоторые знакомые — друзей у меня нет — станут за глаза бранить. Пусть бранят... Это меня не огорчит.

— Еще бы огорчаться! Плюнуть, и все!

— Не объясняться же!

— И молодец, Вики...

Лиана внезапно загорелась при мысли, что знакомые будут бранить мужа и ее. Наверно, ее. И теперь говорят, что Вики под ее влиянием.

И, негодующая, не без презрения воскликнула:

— Это кто же осмелится тебя бранить, кто?

— Многие, Лиана! И не стоит волноваться...

— Не твои ли сослуживцы: Никольский, Обращевич и Иванов? Если и будут шипеть, то из зависти... Им не предложили. Или толстяк Николаев? Хорош!? Нахватывает из двух правлений пятнадцать тысяч и говорит, что независимый и принципиальный враг казенной службы. Уж не Наумов ли? Еще бы. Этот наверно будет тебя ругать. Нигде не умеет работать. Лентяй. Нигде не уживается и воображает, что страдает из-за независимых взглядов. Пусть и не является... Знает, что ты не

возьмешь его к себе. А то с восторгом пошел бы... Или дура Недлинная, которая воображает, что она талант оттого, что печатают ее глупые повести из-за того, что лебезит перед редакторами. Или кузиночка Вава? Дурища! А тоже: непонятая натура, считает, что обворожительна... Еще бы, как таким нашим знакомым не бранить человека, который умнее их и думает и живет не по шаблону. Разве они понимают тебя? Поверь, Вики, они все будут к нам ездить... И пусть! Пусть злятся, что мы любим друг друга и хорошо живем.

Варенцов знал, что Лина «увлекается», когда говорит про знакомых. Теперь ему было очень приятно слушать злословие Лины. Ему казалось, что действительно многие знакомые его не понимают...

С презрительным злорадством верной и любящей жены, свято исполняющей долг, Лина стала сплетничать про знакомых дам и приятельниц, обманывающих мужей и имеющих любовников.

Она с таким страстным увлечением рассказывала подробности чужих любовных отношений, словно бы сама присутствовала

при интимных свиданиях любовников и словно бы сама смаковала этими подробностями, созданными ее пылкой фантазией.

«Вот какие жены, и какая я!» — говорило, казалось, все это злословие.

Вики только возмущался, что кузиночки Вава и Лина и все эти знакомые дамы такие бесстыдные и бессовестные и мужья такие слепые или подлые, безмолвно признавшие «menage a trois»[25].

И Варенцов, казалось, еще более ценил свой «menage»[26] и думал:

«Какая Лина чудная, и какой он безукоризненный, любящий муж».

— Да... Мы счастливы, Лина! — почти что умиленно произнес он.

И скоро они пошли в столовую пить чай.

## VII

Когда Лина подала мужу стакан, она сказала:

— Ну, разумеется, твой отец будет недоволен...

— Еще бы!

— Ты извини, Вики. Он просто обозленный, бессердечный циник... Какой он отец!..

Разве ты ему близок? Только иронизирует и хихикает раз в неделю, когда обедает. Он ведь воображает, что только он умен и все понимает... Наверное, скажет мне какую-нибудь гадость.

— Тебе-то за что?

— За то, что вообразит, будто ты из-за меня переменяешь службу...

— Нет, Лина... Он знает меня. И сделает мне настоящий бенефис...

— Не обращай внимания. Точно не знаешь своего родителя... На старости юбочник... Бегает за всякой... Воображает, что может иметь успех... Один срам... И еще смеет читать тебе нотации.

— Промотал состояние; в шестьдесят лет ни положения, ни средств. По уши в долгах и проблематические заработки. Легкомысленный и беспутный человек! — не без снисходительного сожаления проговорил Варенцов.

— Но, Вики... Ты не волнуйся и не спорь с ним, если он устроит тебе бенефис. Он — все-таки отец. Не раздражай его. А я куплю к обеду хорошего красного вина. Он и отойдет...

— Разумеется, спорить с ним не буду... Бес-

полезно...

И прибавил:

— Недурное вино можно иметь и за рубль,

Лиана.

Лиана нашла, что за рубль отличное, и спросила:

— Верно, твой отец еще не вернулся?

— Шатается где-нибудь за границей.

— На какие же это деньги?

— Какой-нибудь учебник продал и, конечно, за бесценок... Но, кажется, получил тысячу. А вернется — без гроша.

— Ты, Вики, предложи ему... немного денег... Это его тронет... Так, рублей пятьдесят...

— Не возьмет. И без меня вывернется... Точно не знаешь фатера, Лиана. Верно, мы скоро его увидим и, конечно, в модном сьюте\*, — с улыбкой проговорил Варенцов.

— И опять поселится в какой-нибудь мебелированной комнате... Несчастный!

— Да, Лиана... А ведь мог бы быть попечителем округа... Во всяком случае, получал бы три тысячи пенсии, если бы не легкомыслие — этот эффектный выход из университета!.. И сам виноват. Сам! — сентенциозно, с се-

рзным видом прибавил Варенцов и словно бы аккуратно занумеровал свою беспристрастную, вполне законную резолюцию, приканчивая ею дело о беспутном отце, экспрофессоре[27] Николае Петровиче.

Лина еще строже подтвердила:

— Конечно, сам виноват.

И о беспутном отце больше не говорили.

Варенцов, единственный сын, когда-то очень любимый отцом, все-таки испытывал чувство смущения и трусости при мысли о встрече с «фатером», которого высокомерно считал легкомысленным, а себя — необыкновенно последовательным и основательным человеком.

Но эти неприятные ощущения скоро прошли. Лина снова заговорила о дальнейших предположениях будущего устройства. И снова перечисляла все, что следовало бы купить, без чего нельзя обойтись и что можно пока не покупать.

— Как думаешь, милый? — спрашивала Лина.

Противоречий почти не было. Вики был в щедрым настроении, и Лина старалась им

воспользоваться.

— Пойдем-ка, Вики, и запишем, что нужно купить...

Супруги пошли в «уголок».

Лина распустила свои роскошные волосы, присела к письменному столику и стала набрасывать примерную смету расходов.

Варенцов ходил по комнате и по временам останавливался перед Линой и спрашивал:

— Ну, сколько, Лина?

— Подожди, милый... Подожди...

Когда Лина подвела итог, он так превысил цифру предположенного займа, что Лина не хотела показать этой цифры мужу и должна была уменьшить цены на многие предметы.

Но все-таки тысячи рублей мало.

И Лина озабоченно проговорила:

— Придется многого не покупать или покупать дрянь... А по-моему, порядочные вещи выгоднее. Не правда ли, Вики?..

— Конечно...

— Так я многое исключу... Кабинет тебе необходим... Гостиную переменим... «Гнездышко» оставим, как оно теперь... Белье себе, два платья и капот — не сделаю... Только од-

но простенькое. И в этом капоте похожу. Ведь не очень затаскан, Вики?

Варенцов был тронут деликатностью Лины.

Он горячо протестовал против такого сокращения. Лина должна сделать для себя все, что назначила.

— Лучше повременим с новой гостиной, Лина.

— Так ты хочешь, чтобы тебе больше нравилась порядочно одетая жена? — с шутливым кокетством проговорила Лина. — Изволь, Вики! Сделаю два платья и капот у хорошей портнихи и закажу белье... Я, право, обносила... Какой хочешь капот?.. Красный идет?

— Очень... Тебе идут капоты...

— Так сделаю красный... И прикажешь, чтобы я сделала из нашей спальни хорошенькое гнездышко? Разумеется, устрою. И не будет дорого. А с гостиной подождем? Очень уж она у нас скверная... Впрочем, как хочешь...

Но Лина не хотела об этом и думать.

«Без гостиной какая же будет уютная квартира!» — подумала молодая женщина и про

себя решила, что будет и новая гостиная.

— Ой, ой! Уж двенадцать! — воскликнула Лина, взглянув на свои маленькие часы на письменном столе. — Нам рано вставать. Завтра еще наговоримся, а теперь не угодно ли, Вики, спать...

Она поднялась и потянулась.

— Спать хочется.

И Лина взглянула на Вики значительным, серьезным и словно бы застанным взглядом, прильнула к его губам и, заалевшая, отводя губы, сказала:

— А знаешь ли что, Вики?

— Что, красавица?

— Не зайдем ли лучше две тысячи и сразу устроимся? Дядя Вася даст в долг с рассрочкой... Он любит тебя и не откажет. Я сама его попрошу... Не правда ли, милый? У него ведь есть деньги, хоть он и скрывает. И какое нам дело, откуда они?.. Ну, иди, ложись. А я только завьюсь — и спать!

## VIII

На следующее утро Варенцов поехал во фраке к Козлову, а Лина в черном стареньком платье поехала на Васильевский Остров к дя-

де Васе.

Дядя Вася был второй брат ех-профессора Варенцова, действительный статский советник, член совета министра, получающий очень скромное жалованье. Но он не жаловался на судьбу и обиженным себя не называл, хотя иногда и говорил, что нынче престиж дворянства падает.

Старый холостяк, Василий Петрович Варенцов был, как и любимый им племянник Вики, аккуратный и чистенький, всегда сдержанный, вежливый и любезный. Дядя признавал родственные чувства и очень ценил внимание к себе, особенно тех племянниц и племянников, которые не жаловались ему на свои скверные денежные дела.

Более солидных родственников он изредка навещал и всегда приносил фунт конфет в рубль, дешевые фрукты или скверную бутылку вина и на праздники дарил грошовые сувениры, выражая сожаление, что лучших дать не в состоянии: жалованье у него маленькое.

И дядя Вася по этому поводу любил говорить о долге каждого честного человека жить

по средствам и быть очень аккуратным в денежных делах и затем часто распространялся о благородных чувствах. После обеда даже говорил со «слезой» о несчастном брате Николае и жаловался, что брат точно отшатнулся от него. Никогда не заедет. Точно он чужой.

Хотя дядя Вася и часто подчеркивал, что он едва сводит концы с концами, тем не менее многие подозревали, что у него есть деньги, и не маленькие, и что он, несмотря на свои благородные разговоры, был ростовщик.

По крайней мере многие приезжавшие к дяде Васе рано утром могли видеть Аронсона, молодого еврея с умным лицом, который тотчас же исчезал. Многие знали, что Аронсон давал деньги под проценты, и, конечно, не все догадывались, что он был подставным лицом и за действительного статского советника рисковал ссылкой.

А Лина из верного источника узнала, что у дяди Васи есть деньги. Этим верным источником была Иренья, экономка, жившая у дяди Васи лет десять, еще свежая и пригожая женщина лет за тридцать, опрятная, чисто одетая, с пышной грудью, широкими бедрами и

добрыми ласковыми глазами.

Лиана обворожила Иренью, прежнюю горничную, и приветливостью и маленькими подарками. И однажды, как-то ловко допрошенная Варенцовой, Иренья по секрету сообщила доброй барыне, что у барина наверное есть большой капитал, который он по своей скупости «не оказывает».

— А жид прежде каждое утро ходил, а года два уж не ходит.

«И хорошо, что не приходит!» — подумала Лиана, имевшая понятие о новом законе против ростовщичества. И, словно бы не понимая роли Иреньи, просила ее по-прежнему беречь одинокого дядю Васю.

Дядя Вася, казалось, особенно был расположен к племяннику Виктору и его жене. Они были основательно аккуратные люди, долгов не делали, живут дружно, внимательны к дяде, не имеют скверных подозрений насчет привычки старого человека к экономке и ни разу не просили денег.

## IX

— Можно, дядя? — веселым, ласковым голосом спросила Лиана, постучавши в двери.

И, не выждавши ответа, она вошла в большой, светлый кабинет и, приблизившись к письменному столу, поцеловалась с маленьким, чистеньким, круглолицым и слегка надушенным дядей Васей в коротком пиджачке и с ярким галстуком.

— И какой же ты молодец, дядя! — сказала Лина тот словно бы невольно сорвавшийся искренний комплимент, который так радуется молодящихся стариков второй молодости.

Действительно, дядя Вася казался моложе своих лет, которые он скрывал и говорил, что ему пятьдесят два. Отливавшее румянцем лицо с гладко выбритыми пухлыми щеками и подбородком, с накрашенными маленькими усами над крупными губами и слегка выпученными молодыми глазами. Маленькая фигура крепкая и плотная. Круглая черноволосая с сединой голова, коротко остриженная. Руки холеные с брильянтом на мизинце.

— Садись, очень рад тебя видеть. Ничего, слава богу, не смею жаловаться... Чем угощать дорогую гостью? — слегка певуче и ласково говорил дядя Вася и придавил у стола пуговку электрического звонка.

— Ничем, голубчик-дядя... Ничего не надо!  
Здравствуйте, Иренья! — приветливо ответила Лина на поклон экономки.

— Кофе, шоколаду?.. Иренья отлично варит.

— Знаю... Мастерница!.. Я только что пила, дядя...

И когда экономка ушла, Лина прибавила:

— Какая славная у тебя эта Иренья. Вежливая, аккуратная... Какой у тебя везде порядок...

— Да, Линочка, честная и добросовестная... И преданный человек...

— А я ведь к тебе так рано, дядя, чтобы первому сообщить радостную весть. Вики получил блестящее положение... Семь тысяч...

Дядя Вася был умилен.

— Такое место... И семь тысяч?! — воскликнул Василий Петрович, теряя обычную сдержанность.

И затем спросил:

— Кто это устроил Виктору?.. Чья протекция?

— Ничья!

— Да что ты говоришь, Линочка! Конечно,

Виктор умница и отличный работник... Но разве без протекции возможно получить такое место?.. Ты этого, верно, не знаешь...

— Но право же, дядя... Вики сам удивился... Верно, Козлов узнал от прежнего начальника Вики... И как это неожиданно устроилось, дядя... Сам Козлов вчера позвал по телефону Вики и предложил.

И Лина с увлечением повторила рассказ мужа об его свидании.

Василий Петрович внимал с таким восторгом, как будто сам он внезапно получил блестящее предложение. И изредка восклицал:

— Умница Виктор... Такое место... И впереди...

— Что впереди, дядя?

— Товарищ министра... Непременно...

— Я знала, что ты будешь рад за Вики... Милый дядя!.. Но ты понимаешь, что новое положение обязывает...

— Именно обязывает...

— Нужна новая квартира... Освежить обстановку... Вики нужен кабинет... Мне одеться... Разумеется, никакой роскоши... Но все-таки... Не правда ли, дядя?

— Ты умница, Лина... Умница...

— И как мне неприятно делать долг... А мы с Вики решились на это... Ведь не на пустяки... Хотим занять с рассрочкой и, конечно, за небольшие проценты, чтобы устроиться прилично...

— И много хотите занять?

— Две тысячи, дядя... Меньше не обойтись... мы уж составили смету...

Василий Петрович вдруг стал серьезен, и, казалось, в душе его происходила борьба. Но он вспомнил, что племянник Вики, во всяком случае, получит как его наследник десять тысяч, и такое место... И оба они всегда внимательны и никогда не просили денег.

— Такие деньги и у меня найдутся, Линочка... Недавно на выигрышный билет выиграл... Я сам вам дам их займы...

И, словно бы сам растроганный своим вниманием, прибавил:

— И с рассрочкой, и за самые маленькие проценты... Я рад помочь хорошим людям...

— Дорогой, милый, благодарю...

И Лина поцеловала дядю Васю.

Василий Петрович написал чек, выдал его

Лине и попросил ее написать расписку.

— Скажи, чтобы Виктор подписал... Понимаешь, для памяти... Я завтра же приду поздравить Витю. А тебя, красавицу, позволь поздравить сейчас!

И дядя Вася крепко поцеловал Лину в губы.

## Х

После двух месяцев посещения Варенцовой магазинов и хлопот по устройству новой квартиры в третьем этаже большого дома на Кирочной Лина наконец успокоилась, прикончив все убранство.

Все ей казалось необыкновенно «мило» и не так, как у других.

И Лина с горделивым чувством удовлетворенности любовалась шестью комнатами, особенно гостиной с новой голубой мебелью, трельяжами, цветами, зеркалом и высокой лампой с огромным шелковым абажуром и «гнездышкой» — большой комнатой с пушистым ковром, с хорошеньким письменным столом, новыми рамками фотографий и шелковыми низенькими ширмами, закрывающими роскошные кровати с белыми кружевными покрывками, и с фонариком на середине

потолка, льющим по вечерам томный свет.

Она заглядывала и в светлую, чистую кухню, на полках которой сверкали расставленные медные кастрюли, сковородки и другая нужная посуда.

Новая бонна-англичанка (из петербургских, впрочем, англичанок) казалась Лине вполне приличной и порядочно одевавшейся. Довольна была Варенцова и кухаркой за поvara, и новой горничной, которой было велено ходить в белом чепце и белом фартуке.

И молодая женщина испытывала удовольствие благополучия и обеспеченности и приятной уверенности в том, что долее сохранит свою красоту при средствах и в «красивой рамке». Она считала себя еще более властной и сильной оттого, что стала еще интереснее и привлекательнее и могла дольше поддерживать влюбленность Вики заботой о холе своего тела, всегда хорошо одетая и особенно когда по вечерам наденет свой новый ослепительный красный капот с прозрачной кружевной шемизеткой и с широкими рукавами, из-под которых оголялись красивые полные руки.

Лина показывала мужу убранство квартиры, обращая его внимание на все мелочи, и спрашивала Вики:

— Не правда ли, уютно, Вики? Не правда ли, мило? И, право, мы устроились недорого. Зато сколько я торговалась, сколько я хлопотала, Вики, чтобы обошлось нам дешевле!..

Варенцов находил, что все мило и со вкусом. Разумеется, вошли в долги. Он не любил долгов, но...

— Но долг не должен нас беспокоить... Дядя Вася предложил так мило. Он понял, что в нашем новом положении следовало жить прилично, и всего по сту рублей в месяц... Незаметно уплатим.

Со службы Варенцов приезжал в шесть часов, и уже теперь обед был всегда готов и Лина была дома к обеду, зная, что Вики был бы недоволен, если бы ему пришлось дома дожидаться или обедать без жены.

Возвращался Варенцов довольный и не раз говорил, что на службе все идет хорошо и что Козлов доволен его работой. Но, разумеется, приходится много работать, и он не боится работы.

Хотя Вики теперь и имел в глазах жены большую значительность, чем прежде, и она была более внимательна и ласкова с ним, но, когда все «устроилось», первый порыв радости «события» прошел и Вики, разумеется, и не думал больше говорить о щекотливости компромиссов, — разговоры Вики стали казаться Лине по-прежнему скучноватыми, особенно когда он «тянул», рассказывая о своих служебных делах или философствуя насчет необходимости и бережливости «вообще».

Лина уже не показывала скуки от этих tete-a-tete[28], как и прежде, да и Вики, казалось, понемногу входил в роль равноправного супруга и господина, понимающего, что он создал благополучие, но — звали в театр или на журфикс к знакомым, более подходящим к новому их положению и, если Вики должен был заниматься, — Лина уезжала одна, упрямившая приехать за ней попозже.

Пришлось им познакомиться и с несколькими из новых сослуживцев. Они казались несколько однообразными с их разговорами — преимущественно служебными слухами и сплетнями, более или менее банальным

злословием про другие ведомства и про их начальников и повторением газетных известий о театре и каком-нибудь скандале. И общий тон отзывался большим индифферентизмом к какому-нибудь интересному вопросу или к какому-нибудь явлению, действующему на нервы. Точно все на свете малоинтересно, кроме того, что делается в департаменте, а если в обществе о чем-нибудь и «болтают», — преувеличенно обвиняя правительственных агентов и находя недостаточно современными наши устои, — то этой болтовней занимаются неосновательные люди без положения или молодые люди, которых сбивают разные мерзавцы. Пусть-ка болтуны посмотрят, что делается теперь в Англии.

Все это были максимы, не подлежащие сомнению.

И Варенцовы, еще недавно часто водившие другие разговоры, должны были отмалчиваться или даже и поддакивать.

Посещали Варенцовых и прежние знакомые, поздравляли их не без завистливого чувства к счастливым и, конечно, надеялись, что такой умный и либеральный человек,

как Виктор Николаевич, сделает на новом месте много хорошего.

Однако два-три прежних знакомых перестали заглядывать к Варенцовым, и Лину это злило, хотя она и успокаивала себя тем, что эти господа не ходят из зависти.

«Ну, положим, Наумов и Иванов не могут простить Вике, что он получил блестящее назначение... А Биркин?..»

Ей нравился этот живой и интересный брюнет лет сорока, служивший после многих житейских невзгод в каком-то правлении, который, казалось ей, любил заходить к ним и особенно горячо говорил с нею о литературе, о жгучих злобах, об этике и часто приносил ей подписные листы на какие-нибудь благотворительные дела... Он, по-видимому, неравнодушен к ней, и не был узким прямолинейным ригористом, был умен, казалось, терпим к чужим мнениям и не стеснялся в знакомствах хотя бы и с людьми, как он говорил, иной веры.

И этот Биркин вдруг исчез...

Это особенно злило Лину. Ей хотелось, чтобы он мог ее видеть в ее простеньком домаш-

нем платье или в ослепительном капоте. Биркин был таким близким знакомым, что его можно было бы принять и в капоте, сославшись на нездоровье.

И однажды вечером Лина сказала Вики:

— Биркин, верно, неожиданно уехал из Петербурга куда-нибудь...

Варенцов вдруг вспыхнул.

— Не уезжал, Лина... Я его вчера еще встретил на улице.

— И вы разговаривали?

— Он сделал вид, что не узнал меня...

— Конечно, в самом деле не узнал?

— Конечно, в самом деле отвернулся, Лина... Я думал, что он умней! — прибавил со злобным чувством Варенцов. — Надеюсь, ты не очень жалеешь, что он больше не благоволит к нам?

— Какая скотина! — вспылила Лина.

И тотчас прибавила:

— Точно он не знает тебя, милый!

Варенцов пожал плечами и презрительно промолвил:

— Верно, считает себя солью земли, потому что что-то болтает и чему-то сочувствует.

И снова вспыхнул, вспомнив оскорбительную для него встречу с Биркиным, о которой он не сказал вчера жене и которая напомнила Варенцову, что и он «чему-то» сочувствовал и даже об этом читал реферат.

«А теперь какой реферат!?» — подумал он.

— Я не думала, что Биркин так груб... Разумеется... мы незнакомы... И кузиночка Вава хороша! Вот дура!..

— А что?

— Пришла... Все осматривала. Злилась оттого, что она не может так жить... Ее-то друг, — я знаю, какой друг этот приват-доцент, с которым она всюду! — проповедует акриды и мед, и она, как попугай, за ним... «Ах, Лина, какая ты стала буржуазка... Ты совсем изменилась... Вместе со своим Вики вы, говорит, изменили своим честным взглядам»... Ну, я без церемоний и назвала ее душой... Надеюсь, она больше ни ногой.

— Потеря невелика! — усмехнулся Варенцов.

— Еще бы! Я прежде думала, что она хоть и дура, но все-таки добрая... А выходит — и злая и... развратная... Удивляюсь, какой осел ее

муж... Кажется, доволен своим менажем а trois... Воображаю, что станет она врать на нас...

Варенцов задумался и через минуту проговорил:

— Знаешь ли что я тебе скажу, Лина?

— Что, милый?

— Надо нам вообще быть осторожнее в знакомствах... Все-таки положение! Не следует компрометировать себя человеку, который... — ты понимаешь, Лина? — который может быть со временем государственным человеком и сделать что-нибудь хорошее для России!.. — не без апломба проговорил Варенцов.

— Умница! — восторженно проговорила Лина.

В эту минуту горничная подала Варенцову письмо.

Он взглянул на почерк и сказал:

— От отца.

— Откуда?

— Городское...

— Отчего же он не пришел к сыну?.. Хорош отец!

Варенцов прочел письмо и, передавая его

жене, смущенно промолвил:

— Читай, Лина.

Лина прочла необыкновенно грустное письмо ех-профессора... Он писал, между прочим, что не может пока повидаться с ним... а почему?.. Виктор, верно, догадается.

«Я все-таки думаю, — прибавлял отец, — что твоя жена — главная виновница в том, что ты служишь делу, которому не веришь, и будешь равнодушен к правым и виновным».

— Хорош отец!.. — озлобленно проговорила Лина.

— Удивляюсь, что еще не ругается... Он-то что делал и какому именно делу служил?.. — сказал Варенцов.

— Только разорил семью и... давно отшатнулся от тебя, вики...

— Да... Неосновательный и беспутный человек, не понимающий, что у нас иные задачи и мы живем в другие времена! — высокомерно промолвил Варенцов.

— Эгоист твой отец, вот что!.. И смеет думать, что я могу влиять на тебя... Да разве это не вздор, милый?..

И Лина обняла Вики и напомнила, что они

сегодня вечером едут на журфикс к директору департамента.

## Маленькие рассказы

### Господин с «Настроением»\*

#### I

Пожилая эстонка Христина, перевирающая фамилии с таким же апломбом «горничной за лакея», с каким истинно бесшабашный журналист наших дней перевирает географию, историю и даже арифметику, однажды утром вошла в мою комнату, сделала книксен и торжественно доложила:

— Господин Шивости! — и подала карточку, на которой значилось: «Иван Иванович Шилохвостов».

Фамилия ничего не говорила ни уму ни сердцу.

— Очень желает видеть вас...

— Ведь я просил не принимать по утрам. Меня нет дома!

— О, извините! Я сказала, что вы дома. Он такой хороший господин и так благородно одеты!..

И, вероятно, от удовольствия принять та-

кого хорошего господина и получить двугривенный лицо Христины вспыхнуло, и она не без таинственности прибавила:

— Он сказал: «Одна минута по важному делу!»

— Ну, просите!

Через минуту я увидел безбородое красивое лицо плотного брюнета лет за тридцать в безукоризненном рединготе.

Слегка выкаченные темные глаза не лишены были кокетливой наглости татарина-проводника в Ялте. Пушистая щетка усов, поднятых кверху, придавала физиономии решительный вид. Из-под толстых сочных губ сверкали ослепительно-белые зубы.

— Великодушно простите, что отнимаю драгоценное время у писателя, который творит... Я прошу пять минут... Только пять... Надеюсь, позволите?

Я знал эти «пять минут» незнакомых посетителей и особенно посетительниц, когда они, при малейшей оплошности, начинают знакомить с избранными местами своих рукописей.

Но, по-видимому, гость не походил на на-

чинающего писателя, — карман сюртука не оттопыривался от рукописи. И был загадочен. Сразу отгадать его профессию было трудно.

Он мог быть и железнодорожным деятелем, и благотворителем, и профессиональным шулером, и директором увеселительного заведения.

И я хотел было «позволить» и просить садиться, как господин Шилохвостов уже протянул большую руку с крупным брильянтом на мизинце, крепко пожал мою, плотно уселся в кресле около стола, поставил на него новый цилиндр, и мягкий баритон гостя звучал еще нежнее, когда он, слегка наклоняя коротко стриженную черноволосую голову, проговорил:

— Приехал бить челом, глубокочтимый... С большою просьбой.

Признаюсь, я недоумевал. С какою просьбой мог обратиться к старому писателю загадочный господин?

А он после паузы, во время которой бросил мечтательный взгляд на скромную обстановку кабинета, не без убедительности в тоне прибавил:

— Ведь вы, господа писатели, сила и большая сила. Вы только не понимаете своей силы...

Я пристально взглянул в глаза гостя, и в голове моей мелькнула мысль: «Не сбежал ли он из больницы для сумасшедших?»

Но, казалось, он был в здравом уме и в твердой памяти.

В его глазах стояла снисходительно-любезная улыбка умного человека, встретившего не совсем понятливого слушателя.

И Шилохвостов сказал:

— Во всяком случае, и у нас пресса может быть значительным коэффициентом благотворительного влияния... Несомненно... Разумеется, если уметь пользоваться им умно, в известных пределах и... Позвольте курить?

— Пожалуйста!

Шилохвостов пыхнул дымком и продолжал:

— И, конечно, имея в виду le gros public[29], а не ограниченный круг читателей, которые по старой привычке еще слушают тихие вздохи о шестидесятих годах и робкие надежды на жареных рябчиков, которые вдруг упадут

В каком-то неизвестном государстве. Эти немногие либеральные старые дятлы выдохлись... Их «тук-тук» стары, бесцельны и глупы... Не те времена, чтобы большая публика слушала монотонную сказку о белом бычке. Старые песни и старые боги основательно забыты. Теперь новые настроения... Надо воспользоваться ими, и тогда, поверьте, господам литераторам будет и почетно и спокойно. Они станут получать такие гонорары, о коих и не снилось.

Я, разумеется, не прерывал господина, обещающего литераторам и почет и Голконду, и не без любопытства ждал, что будет дальше.

— И теперь есть газеты с настроением. Есть! И какие доходы! — восклицал Шилохвостов, и в его голосе звучала нотка завистливого восторга. — Но можно создать газету вчетверо доходнее... Подписчиков будет сто тысяч... Не угодно ли помножить на семь рублей?.. За пересылку я исключаю... Прибавьте доход с объявлений... скажем — двести тысяч... И мы получим девятьсот тысяч. Какова цифра! Цифра-то какова!?? — захлебываясь от восторга, спрашивал Шилохвостов.

И, не дожидаясь ответа, возбужденно говорил:

— Есть и теперь умные журналисты, получающие министерские оклады... Но могут загребать деньжищи... Настроят виллы... Будут ездить на своих рысаках... Авансы a discretion [30]...Пожалуйста... Могут надеяться при чествовании, как в Англии и во Франции, попасть в государственные люди... И можно интервьюировать кого угодно. Двери для журналистов будут открыты. Сделайте одолжение... «Пожалуйста, господин писатель. Садитесь... Спрашивайте, о чем хотите... Не угодно ли сигару, господин представитель печати?..» Вы понимаете, как будет хорошо?

— Как не понять! — подал я реплику.

— Это новые настроения... Не то что прежние, когда даже председатель какого-нибудь железнодорожного правления вместо сигары вдруг предложит журналисту даровой билет до Архангельска...

Шилохвостов весело рассмеялся и прибавил:

— А ведь были такие любители отдаленных экскурсий... Вот подите... Вместо того,

чтобы жить порядочно, они изучают в какой-нибудь трущобе ягоду морошку... А между тем теперь только не зарывайте таланта. Не погашайте духа. Пишите и пишите...

— Как же следует, по вашему мнению, писать?

— Очень просто. С настроением.

— Именно?

— Старые образцы по боку.

— Неужели?

— Обязательно. Ну, кто поинтересуется Шекспиром и прочтет его? Устарел. Скука... И ни одного забытого слова... Неинтересно и старо.

— Какие же слова интересны? — осведомился я.

— Красота... мировая гармония... индивидуальная мечта о душе. Главное — душа и, разумеется, русская. В отвлечении от пошлости в область мечты, а главное — счастье, и только тогда наша самобытность становится ясной, понятной и закономерной. Все несовершенства общежития — войны, недороды, бедность, классовая рознь, все эти подчас не вполне самоотверженные банкиры, чиновни-

ки, урядники и городовые, — собственно говоря, тлен перед душой... Не правда ли, оригинальная точка зрения?

— Вполне.

— И, главное, отвечает нашему национальному характеру. Ведь мы, русские, по преимуществу — мечтатели, особенно наш народ! — решительно воскликнул господин Шилохвостов.

— Откуда такое заключение?

— Плод моих дум еще с университета... и затем наблюдений бывшего земского начальника. Нельзя утверждать, что все пользуются у нас полным благосостоянием. Но тем не менее нельзя не сказать, что мы идем гигантскими шагами к нему, именно в виду нашей выносливости и воистину мудрой умеренности в пище и тогда, когда урожай хорош и недоимки взысканы. А отчего эта умеренность? Оттого, что наш народ более заботится о душе, чем о теле. Была бы душа, а остальное приложится.

— А интеллигенция?

— И она начинает входить во вкус нового настроения и понимать возвышенность меч-

ты... Она уже пропагандируется и в некоторых газетах, и в литературе, и в искусстве, но еще недостаточно проникновенно и убедительно. А между тем, как просто объяснять читателям прелесть такого настроения в передовых грациозных статьях и в фельетонах!..

— Например!?

— Предположим, что я не обедал... Стоит только заморить червячка, призвать мечту, и я в мечтах съел превосходный обед у Донона и вполне сыт... Предположим, что по недоразумению за макао мне переломали ребра, так при новейшем настроении это, собственно говоря, пустяки... В мечтах я могу быть с целыми ребрами и, следовательно, счастлив... Я нарочно привел исключительно редкие примеры. Продолжить более обычные факты жизни до бесконечности, — и какое возвышенное и в то же время умиряющее настроение!

Господин Шилохвостов примолк и смотрел на меня с торжествующим видом продувной шельмы, внезапно открывшей Америку.

Прошла минута.

— Вы, конечно, догадались, что я буду издавать газету с настроением. Еще минута-другая, и я разовью перед вами мой план... Это будет нечто грандиозное... Надеюсь, вы заинтересовались им.

— Очень...

— Ну, еще бы... Вы меня понимаете? От моей газеты публика придет в такое же восторженное ошаление, в какое она приходит нынче от новых идолов — от певцов и певичек... Подписчик повалит как в театр Станиславского или на Вяльцеву... Придется к конторе газеты командировать целый отряд городских, чтобы сдерживать толпу, как только появится объявление... Понимаете? Помятые... истерики... Так уж на другой день подписчик окончательно сойдет с ума и с ночи займет улицу, чтобы поскорее достать билет на получение газеты с настроением... Ведь одно название чего стоит... Думал, думал... И меня словно бы осенило... Русская Душа... Не правда ли, прекрасное название?..

— Чего же лучше!

— Газета с новейшими настроениями... Коротко и заманчиво... С небывалыми бесплат-

ными прибавлениями для годовых подписчиков...

— С повестями и романами с настроением?

— Это в газете... Да и что тут небывалого? А я дам небывалое прибавление. Я знаю, чем в настоящий момент ошарашить публику...

И, после паузы для вящего эффекта, победоносно прибавил:

— Я объявляю, что исключительно для годовых подписчиков во всех городах России, где не менее ста абонентов Русской Души, будут петь божественная Вяльцева и божественные Шаляпин и Собинов. А знаменитый писатель Мережковский будет читать конференции об антихристе, знакомстве с ним, его похождениях и намерениях. Таким образом каждый годовой подписчик получит триста шестьдесят пять номеров газеты с настроением и будет видеть и слушать по разу четырех знаменитостей... Сколько экономии! Не надо ехать в Петербург и Москву, чтобы послушать их. Да и то еще заплати барышникам сто рублей за билет или продежурь ночь и рискуй боками в давке. А подпишись — и даровой билет

без хлопот... Ведь ловко придумано? Какова идея? Разве не гениальная?

Я должен был признаться, что по нынешним временам идея гениальная, но заикнулся о расходах... Певцы в большой цене.

— Расходы, хоть десять тысяч каждому «прибавлению», с лихвой покроются лишней сотней тысяч подписчиков единственно из-за прибавлений. Ведь за восемь рублей кого я даю!? Публика мне сделает оvation и даст круглый доход... Только надо ковать железо, пока горячо...

— Уж вы получили разрешение?

— Нет еще... Но не сомневаюсь.

— А если главное управление сошлетя на вашу же программу...

— То есть как же?

— Предложить вам издавать газету и собирать доходы в мечтах.

— Зачем такой пессимизм... Такая газета вызывается потребностями... Моя Русская Душа одних утешит, других обрадует и всех паразит оригинальностью... И, благожелательная, моя газета нисколько не противоречит устоям... Напротив... Она только будет объ-

единять... настроения... И кроме того Русская Душа возьмет на себя небывалую задачу, имеющую весьма серьезное значение.

— Какую?

— С цинической откровенностью знакомить публику с нашими общественными людьми... Какие таланты и добродетели до сих пор неизвестны читателям!.. В самом деле, разве мы много знаем правды о своих хороших людях?.. Скажите по совести...

Я согласился, что мало.

— Необходимо знать. А то что происходит? Мы судим о многих достойных только по слухам и, конечно, часто недостоверным. Считаем, положим, какого-нибудь статского советника самым обыкновенным начальником отделения, даже повторяем про него ходячие сплетни, будто он, извините за выражение, врет как сивый мерин директору департамента... Газета командирует достойного корреспондента для интервьюирования... И вдруг оказывается, что статский советник именно необыкновенный. Ради блага отечества почти не ест, не пьет и не спит, а скрепляет бумаги. Сам кроме правды не говорит и требует

от столоначальников только правды, одной правды. По совести говоря, на таких людей необходимо указывать... Это имеет громадное воспитательное значение для публики и для тех, по счастью, редких чиновников, которые действительно на службе только спят и даже во сне бредят как сивые мерины... Кроме того и лестно для человека, хоть будь он скромнен, как полевая гвоздика... По крайней мере о нем знает публика... Таким образом благодаря моей газете невероятные слухи и злонамеренные сплетни сами собой исчезнут... Как видите, газета будет иметь громадный успех... Для начала сто тысяч рублей дает одна умная старушка... Кажется, я все изложил?..

— Кажется, все...

— И следовательно, вы не откажете в позволении считать вас своим сотрудником... Знакомить публику с выдающимися людьми... пятьсот рублей в месяц, триста на представительство и по сорока копеек за строчку... Сколько угодно аванса?

Когда я отказался от этой чести, Шилохвостов вытаращил на меня глаза.

И наконец проговорил:

— Но ведь вы, сколько знаю, пишете с настроением.

— Вы, верно, ошиблись...

— Да вы, глубокоуважаемый...

Шилохвостов назвал фамилию.

— У меня другая! — отвечал я и назвал свою. — А тот господин этажом выше...

— Извините... Горничная переврала! — сердито проговорил издатель с настроением и, кивнув головой, торопливо вышел.

**«Главное: не волноваться»\***

## I

Раннее солнечное утро, дышавшее острой свежестью горного воздуха, было прелестное.

В роскошных «храмах» знаменитых карлсбадских источников — «Мюльбрунна» и «Шпруделя» — уже играла музыка. Магазины открыты.

Под колоннадой «Мюльбрунна» и на широкой аллее перед ней тихо двигалась толпа разных племен и наречий. Больше всего немцев.

Больные, особенно представители герман-

ской расы, не просто отпивали целебную воду из стаканов маленькими глотками или размеренно тянули из стеклянных трубочек: серьезные и слегка торжественные, они, казалось, священнодействовали, свято исполняя свои курортные обязанности, то есть с раннего утра до позднего вечера, когда предписывается ложиться спать, думать только о благополучии своих драгоценных особ.

К семи часам толпа увеличивается. Хвост чающих получить мюльбрунн из ловких рук приютских девочек, быстро наполняющих из мраморного водоема стаканы и так же быстро их подающих, растянулся в два ряда. Порядок, разумеется, образцовый, хотя ни одного городского. Лишь иногда какая-нибудь нетерпеливая дама — и чаще всего соотечественница — втискивается не по праву в середину хвоста. Задний господин, если не лечится от печени, уступает место. Только улыбнется. Да разве ближайшие господа иронически оглядят нарушительницу порядка и тихо промолвят:

— Русская!

Хотя мой «урок» — два стакана — окончен,

но до права напиться кофе остается еще полчаса, — я пошел к моему врачу.

В это утро я еще один в зале доктора. Он немедленно вышел, крепко и ласково пожал мне руку и пропустил меня в небольшой кабинет.

После обычных вопросов о здоровье молодой чех основательно и подробно повторил все то, что уже так же основательно и подробно объяснял в первый визит и что не менее добросовестно и подробно прописал в печатном листке под заглавием «Лечебное предписание», выданном мне на три дня вместе с бессрочным листком относительно диеты.

Затем милый доктор, говоривший по-русски, с убедительностью повторил прежний серьезный совет:

— Главное: не волнуйтесь! Покорнейше прошу не волноваться!

— А что делать, доктор, чтобы не волноваться? — спросил я.

— О, я объясню, как это просто, если есть немножко характера. Скажите себе: «не надо волноваться!» И вы будете отгонять всякие неприятные мысли и пригонять приятные.

Аккуратно исполняйте лечебное предписание, больше моциона — и после кюра будете совсем здоровы.

Молодой чех говорил мягко, почти нежно и так уверенно, точно объяснял, что дважды два — четыре.

И, с милым видом искренно наивного жреца науки, он ласково и одобряюще улыбался, показывая зубы, сверкающие из-под сочных крупных губ, по-видимому, не сомневавшийся, что исполнить его совет действительно «очень просто». Стоило только «пригонять приятные мысли».

Сам доктор, казалось, был один из тех редких по нынешним временам, уравновешенных, с крепкими нервами людей, которые благополучно не знают волнений. Такое уж было у него спокойное и упорное лицо, свежее и румяное, с большими ясными глазами. Круглая, крепко посаженная черноволосая голова, остриженная «ежиком». Мясистые выбритые щеки и черная бородка. Хорошо сложенная, плотная фигура.

Ни в лице, ни в словах, ни в манере доктора не было влюбленности в свою особу. Он

только благоволил к ней.

Вдобавок доктор не сомневался, что тихонько, при легальном терпении, Богемия рано или поздно, но все-таки получит все, чтобы каждый чех был таким же «мальчиком в штанах», как немцы и мадьяры.

Я подумал, что добросовестный чех забыл, что я — русский и притом старый писатель, т. е., по распространенному мнению среди умных столоначальников, такой, с позволения сказать, «беспардонный» человек, которому самим господом богом предназначено писать глупости и, по меньшей мере, волноваться.

Но доктор не забыл, потому что спросил:

— Пишете и здесь?

— Пишу.

— Покорно прошу — не пишите пока. И не читайте газет.

— И русских?

— Лучше и русских. Как говорит наука, и радостные волнения вредны. В Карлсбаде отдыхайте.

После этого доктор вписал в новый листок то, что я знал на память, вручил его мне и, провожая, в третий раз проговорил:

— Главное: не надо волноваться!

Через пять минут я уже сидел за одним из столиков под густыми каштанами на Визе, против ресторана «Elephant».

Кельнерши в черных платьях и белых передниках то и дело бегали через улицу взад и вперед между рестораном и столиками и сносили между ними с подносами.

Одна из фрейлейн заметила меня, любезно кивнула головой, и я знал, что скоро получу кофе.

С первого же дня эта фрейлейн Мари, шустрая и деловито-приветливая, оказывала мне протекцию: оставляла мне столик в первом ряду, чтобы глазеть на публику, возвращавшуюся, с пакетиками купленных булочек в руках, с «водопоя» в излюбленные места, где пьют кофе и чай, подавала мне кофе скорее и сразу понимала или делала вид, что понимает мой невозможный немецкий язык.

Заслужил я благоволения кельнерши десятью крейцерами вместо пяти, которые обыкновенно давала «на чай» кельнершам большая часть публики.

Фрейлейн Мари быстро принесла кофе и предупредительно принесла две газеты, недурно произнося русские названия.

— Novoie Vremie und Moskovskia Viedomosti!

И спросила:

— Всегда подавать русские газеты?

— Пожалуйста. Верно, их не требуют. Русских еще мало?

— Мало. Двое кроме вас ходят и требуют русские газеты.

Нечего говорить, что я забыл предписание доктора и после кофе стал пробегать газеты.

— Извините, «Новое Время» свободно? — раздался около меня голос по-русски.

Я поднял голову и увидел перед собою Привальева.

— Вот не ожидал... Как приятно встретиться со старым знакомым! — проговорил Привальев, пожимая мою руку. — Я здесь от печени! А вы?

— От диабета...

— Позвольте присесть около.

— Пожалуйста...

Привальев попросил кельнершу подать

кофе и присел против меня.

## II

Безукоризненно одетый, моложавый, несмотря на свои «под пятьдесят», Привальев был еще красивый мужчина с заседевшей русской бородкой и выхоленными пышными усами. Но в лице он осунулся. Отливавшее желтизной, оно имело серьезное «государственное» выражение, внушительность которого смягчалась застланностью взгляда пронизательных и пытливых глаз.

Он заговорил необыкновенно любезно и даже не без некоторой задушевности тона в мягком теноре.

Признаюсь, это показалось мне несколько странным в человеке, имеющем репутацию умницы и черствого чиновника, который не станет расточать нежных слов с бесполезными для него людьми и особенно с литератором, не дающим в газете статей о государственных людях, да еще хорошо знавшим Привальева в его молодости, когда он не раз выражал желание «пострадать за правду».

Любезность его превосходительства удивила меня еще и потому, что до сих пор так-та-

ки и не подтверждались возникавшие в Петербурге слухи о том, что Привальев будет объявлен государственным человеком, и потому он директор департамента не сегодня — завтра. Уже в нескольких газетах, отвечающих потребностям публики, были набраны приветственные статьи новой «звезде» — замечательному человеку «с планом», строгого ума и доброго сердца. Уже были набраны и «мечтательно-меланхолические» краткие заметки по адресу хотя и благожелательного, но далеко не оправдавшего надежд администратора, оставявшего пост. Уже друзья и добрые знакомые Привальева поздравляли его и трубили по городу, что другого такого, как Иван Иванович Привальев, им не найти, и что завтра будет приказ об его назначении. Уж дамы, — особенно с «настроением» к правде, любви и красоте, — ездили просить у Привальева мест для мужей, друзей и любовников, как в один прекрасный день был объявлен государственным человеком другой и... ах!

Друзья Привальева первые же изумились. Откуда могли выйти такие невероятные слу-

хи? Да где хоть капля государственного ума в Привальеве? Разумеется, никто не мог считать его кандидатом на сколько-нибудь ответственный пост. Просто самый заурядный чиновник. Такими хоть пруд пруди. Надо отдать справедливость: перо и отлично играет в винт, но интриган, умеет свинью подложить и только воображает, что умен...

Привальев, конечно, знал, что о нем говорят теперь. И печень его превосходительства, прощупанная одним неизвестным и двумя известными петербургскими врачами, оказалась настолько увеличенной, раздражительность, безотчетная тоска и бессонница стали настолько частыми, что все единогласно предписали Привальеву безусловный отдых, поездку в Карлсбад, потом морские купанья и, главное — избегать всяких волнений, в особенности не читать «Правительственного Вестника» и не слушать служебных разговоров.

И, несмотря на это, Привальев не раз повторял, что он очень рад встретиться с почтенным писателем на чужбине.

— Дда... Много воды утекло с тех пор! —

мечтательно протянул Привальев.

— С каких именно, Иван Иванович?

Память Привальева и его решительность были вне сомнения.

Но он, как видно, позабыл дату «тех пор» и ответил неопределенно:

— С прежних пор, конечно!.. Да. Много потерянных иллюзий и надежд... По крайней мере для меня... И, надо прибавить, много сделанных глупостей.

Он деликатно не пояснил, кем было сделано много глупостей, но, разумеется, только не им.

И, отхлебнув кофе из небольшой чашки, продолжал:

— Да... С большой будущностью страна... Только бы нам побольше людей с планом... И последовательных... Надо помнить, что мы — русские и нам нужно свое... русское... а не заимствованное. Пора это понять и не играть в жмурки... Раз мы самобытны, так и во всем должны быть самобытны... Я люблю Россию, но не скрываю от себя многого дурного в ней. И вот, подите, отдыхать люблю за границей... И лечить печень предпочитаю в Карлсбаде...

Берут деньги, зато порядок, чистота, комфорт... Кофе отличное... Булочки... И эти фрейлейн все с приличными лицами, аккуратные, приветливые... И везде соблюдается очередь... Обратили внимание, какое уважение здесь к представителям полиции.

— Как же.

— А наша толпа... Наше отношение к полиции... Просят... уговаривают... И никакого внимания, пока... Почему это?

— Вы как думаете, Иван Иванович?

— Нет людей с энергией.

— А разве у нас нет ее?

— Нет... мы точно боимся чего-то... И, повторяю, нет плана... А чего бояться, скажите на милость... Чего и кого? Уж не господ ли писателей?

И после паузы прибавил:

— Я ведь читаю газеты и журналы и не безумец, чтобы считать господ писателей опасными людьми.

— Приятно слышать такие государственные соображения, ваше превосходительство, — заметил я.

— Да... И я имею храбрость полагать, что

почтенные, убеленные сединами нераскаянные грешники — и много ли их теперь? — не только ничему не мешают, а, напротив, являются некоторым украшением прессы... Они, так сказать, диссонанс в общем хоре... в некотором роде оппозиция... И я не испугался бы ее... Нет...

Но его превосходительство, видимо, начал волноваться и, поднимая голос, проговорил:

— Только нужен человек с планом.

— С каким, ваше превосходительство?..

— С каким?.. Во-первых, уничтожить...

В эту минуту неожиданно подошел доктор-чех и, раскланиваясь, мягко и настойчиво сказал:

— Ваше превосходительство! Главное: не волноваться!

Привальев замолчал. Однако, прощаясь со мною, обещал показать свой подробный план осчастливить Россию.

**«Вы не нужны»\***

I

**А**лександра Николаевна Болховская мрачным зимним утром сидела в кабинетике

своей маленькой квартирке на Васильевском острове и усердно заполняла лист бумаги цифрами.

Она служила в контроле сборов одного железнодорожного управления и торопилась окончить работу, чтобы попросить перед праздниками аванс в счет жалованья.

Предстояли экстренные расходы.

— Ну, мамочка, пора мне в гимназию.

И подросток, славная девочка с большими темными глазами, крепко поцеловала мать.

Александра Николаевна любовно взглянула в лицо дочери, внимательно осмотрела ее костюм и сапоги и сказала:

— На днях, моя крошка, мы поедем купить тебе новые сапоги и шубку. В твоём пальтишке холодно. Мороз большой.

— Ничего, мама, гимназия близко. Я бегом! — и заботливо прибавила, — да где ты, мама, денег достанешь? Жалованье мы уже взяли.

— Возьмем вперед, Маруся.

— Да тебе, мамочка, может быть, неприятно? С шубкой подождем.

Александра Николаевна особенно нежно и

порывисто поцеловала девочку и, улыбаясь ласковой материнской улыбкой, ответила, что приятнее всего знать, что Маруся не простудится.

— Ну, пора! Уже без четверти девять.

В прихожей мать осмотрела калоши дочери, надела на нее ватное пальто, еще раз поцеловала гимназистку и закрыла за ней дверь.

«Конечно, Уржумцев разрешит», — успокаивала себя Болховская. Она имеет полное право взять в счет жалованья.

Александра Николаевна служит в правлении пять лет, работает усердно, и начальник не смеет обвинить ее в недобросовестности.

Правда, Уржумцев был ограниченный и влюбленный в себя человек, воображающий, что он гениальный инженер и вдобавок красавец, в которого все женщины влюбляются. Александру Николаевну не пользовалась его расположением. Она не восхищалась им, не проникалась его речами и нередко позволяла себе не соглашаться с его мнениями.

«Но как он ни безнадежно глуп, а не скотина же он, чтобы отказать в авансе», — подум-

мала Болховская.

Перед праздниками ей деньги были особенно нужны. Она рассчитывала на то, что жалованье вперед и наградные позволят ей извернуться. И она еще быстрее подсчитывала цифры и щелкала костями счетов.

Трудно было ей, но она не унывала и работала как вол в своем правлении. Недаром же она получала там высший оклад — семьдесят пять рублей, за вечерние занятия — пятьдесят и, кроме того, давала уроки.

Еще недавно красивая, свежая и оживленная, Александра Николаевна казалась старше своих тридцати шести лет, больной и хилой.

Но в лице этой, по-видимому, усталой женщины было что-то упорное и бодрое. В ее прелестных глазах светились ум и энергия. Видно было, что ее сломать не легко.

Александра Николаевна потянулась, расправляя спину, поморщилась как бы от боли, облегченно вздохнула, взглянув на последние написанные ею цифры, как раздался звонок, и в кабинет вошла кухарка, и, подавая Болховской конверт, сказала:

— «Кульер», Александра Николаевна.

— Дождидается?

— Нет, барыня, ушел.

Александра Николаевна вскрыла конверт, пробежала письмо и, побледневшая, опустилась на кресло как подкошенная.

— Да что же это? — прошептала она в тоске. И, словно бы не доверяя только что прочитанным словам письма, она снова прочитала: — «К сожалению, вынужден сообщить вам, что по приказанию управляющего контролем сборов вы с первого ноября не нужны».

Письмо было подписано правителем дел и хорошим знакомым Александры Николаевны.

## II

Возмущенная Александра Николаевна повторяла:

— Ведь и прислугу так не рассчитывают. Хоть бы предупредили.

Через полчаса она уже была в правлении.

Поднявшись в комнату, где она занималась, Александра Николаевна поздоровалась с несколькими барышнями, сидевшими за столами, и подошла к Стрижову, молодому

белокурому господину с пухлым, несколько рыхловатым лицом и большими голубыми глазами.

Уже при виде его сконфуженного, внезапно отведенного взгляда Александра Николаевна решила, что этот господин замешан в ее увольнении.

— Здравствуйте, Сергей Александрович, — проговорила возбужденно Александра Николаевна, протягивая молодому человеку руку. — Это что значит?

— Что, Александра Николаевна? — словно бы не понимая, о чем спрашивает конторщица, мягким, елейным голосом проговорил блондин, и его голубые красивые глаза внимательно разглядывали лежавшую перед ним бумагу.

Александра Николаевна скорее сразу почувствовала, чем поняла, что этот товарищ лгал.

— Вы ничего не знаете? Я больше не нужна.

— Неужели? Да этого не может быть, Александра Николаевна. Верно, какое-нибудь недоразумение. Самое лучшее, объяснитесь с

Уржумцевым. А то, может быть, председатель правления устроил эту штуку? Он ведь любит новые, молодые женские лица. Пожалуй, пристроил барышню, чтобы обеспечить любовные расходы на казенный счет. А может, и сам Уржумцев подыскал хорошенькую брюнетку. Ах, Александра Николаевна, не особенно приятно здесь служить! — прибавил Стрижов.

— Так вы так и не знаете, за что меня увольняют?

— Честное слово, наверное не знаю. Недаром же Уржумцев — человек настроения и вдобавок... — И, понижая голос до шепота, молодой человек, показав длинным, выхоленным пальцем на свой лоб, сказал: — Знаете, какой фрукт Уржумцев!

— Однако вы, Сергей Александрович, очень ухаживаете за «фруктом», — с нескрываемой насмешливой иронией проговорила Болховская, и в ее глазах мелькнуло презрение.

— Поневоле приходится приноравливаться, как это ни противно. Скорее бы уйти отсюда. А вам, Александра Николаевна, Уржумцев

верно не посмеет не дать другого места; ведь он ценит вас как работницу. Все у нас знают, как вы работаете.

— И тем не менее?..

Александра Николаевна горько усмехнулась, решительно прошла через большую комнату и вошла в кабинет своего непосредственного начальника.

### III

Приземистый, широкоплечий, довольно некрасивый, лысый инженер в тужурке привстал со своего кресла у письменного стола и, протягивая руку, спросил:

— Что прикажете, Александра Николаевна?

— Насчет вот этой бумаги...

— Ах, да, было позабыл. Уж вы не сердитесь, барынька, служба службой, а дружба дружбой. Председатель требует экономии.

— За что же она отразилась на мне?

— Я тут ни при чем. Председатель находит, что вы получаете большое жалованье, и нашел другую барышню на тридцать рублей. Я, конечно, стоял за вас, но вы знаете председателя — он упрям как лошак. Во всяком случае,

вы, Александра Николаевна, не тревожьтесь. Я попрошу председателя, чтобы вам при увольнении выдали жалованье за два месяца, а потом постараюсь устроить вас. Пока оставлю за вами вечерние занятия.

— Это на пятьдесят рублей? На что же я буду жить с дочерью? Подумали вы об этом? — раздраженно бросила Болховская.

— Я, кажется, не легкомысленный человек, и знаете, сколько мне приходится обо всем думать. Вы не должны быть на меня в претензии. Я и без того смотрел сквозь пальцы, когда вы поздно являлись на службу... И уже не раз слышал из-за вас замечания председателя.

— Да ведь я с работой не опаздывала. Работала дома.

— А меня могли обвинить, что я покровительствую вам. Пожалуй, скажут, что пользуюсь особенным вашим благоволением.

— Это каким? — проговорила, рассмеявшись, Александра Николаевна, взглядывая на широкое, сияющее и тупое лицо с лысиной, которое остряки в правлении находили похожим на колено.

— Кажется, понятно. Женщины не лишают меня своего особенного внимания.

И с победоносным видом Уржумцев прибавил:

— Я не виноват, что нравлюсь женщинам и внушаю им мечты, полные чар, неги и блаженства.

При всей подавленности, тревоге и страхе за будущее, Александра Николаевна расхохоталась как сумасшедшая в лицо Уржумцеву.

— Что вы находите смешного? Вы приходите по службе и, кажется, могли бы понимать служебные отношения, — строго и внушительно проговорил Уржумцев.

Болховская расхохоталась еще больше.

— Напрасно вы смеетесь. Я не имею чести вам нравиться? Конечно, дело вкуса... Но я мог бы вам доказать, что имею полное основание нравиться женщинам. Они хорошо меня знают и любят не ради одной только души. Разве вы не понимаете, что такое любовь? Это не одна только душа, а нечто совершенно особенное. Прочтете, Александра Николаевна, я пишу в свободное время серьезную статью о любви.

— Да, вы, кажется, не раз рассказывали об этом интересном предмете барышням правления... С меня довольно.

— Да вы что сердитесь, Александра Николаевна? Я не сержусь, что не нравлюсь вам, и прошу верить, что я должен был послать вам письмо об увольнении без каких-либо особых намерений.

— Еще бы смели! — высоко поднимая голову, проговорила Александра Николаевна и, едва поклонившись, вышла из кабинета.

#### IV

В тот же день Александра Николаевна опять пришла в правление.

Она все еще надеялась, что ее оставят на службе.

Уржумцев мог испугаться протеста сослуживцев. Они могли бы за нее заступиться. Ведь должны же они были возмутиться поведением Уржумцева и могли бы показать ему его несправедливость.

Многие из барышень выражали Александре Николаевне участие, но оно казалось далеко не искренним. Молчали и молодые люди.

Только Ардалион Иванович, старенький помощник бухгалтера, любивший сильно запивать, при встрече с Александрой Николаевной значительно и крепко пожал ей руку и сказал:

— Говорили с Уржумцевым?

— Говорила...

— Одумался?

— Нет, сегодня совсем ухожу.

— Мерзавец! — проговорил старенький помощник бухгалтера и куда-то исчез.

Через пять минут он уже вернулся, значительно раскрасневшийся, и вошел к Уржумцеву.

— Извините, Василий Васильевич... мне два слова.

— Что вам?

— Ведь Александра Николаевна — отличная работница. Другой такой не найдем, и дело хорошо знает, и не из лодарниц-барышень. Нам же будет труднее, если вместо Болховской вы нам дадите какую-нибудь хорошенькую цацу.

— Это не мое дело... Председатель...

— Ну, положим, Василий Васильевич, все

зависит от вас. Скажите председателю, — он и отменит свое решение.

— Да вы что? Влюблены, что ли, в Болховскую? Так вы и похлопочите для нее о другом месте. А у нас не благотворительное учреждение.

— То-то для многих барышень благотворительное... Хотя бы для ваших двух кузин... А порядочную работницу гонят.

— Прошу вас не читать мне нотаций.

— Какие нотации? Просто мы по-свински сделали. И попадем в газеты. И поделом...

Уржумцев очень боялся газет и испуганно спросил:

— Это кто же может написать такую пасквиль?

— Да хоть бы и я? Вы думаете, нечего рассказать? Очень даже много, — вызывающе сказал Ардалион Иванович.

— Вы, верно, закусывали? — с презрительной усмешкой сказал Уржумцев.

— И закусывал и выпил. А мне обидно, хотя я за Александрой Николаевной не ухаживал. Я ведь не так нравлюсь женщинам, как вы.

Уржумцев знал, что Ардалион Иванович был знающий и отличный служака, и им дорожил и председатель правления, и его хорошо знал один из крупных акционеров, имевший большое влияние на правление и особенно на председателя. Все знали, что старенький помощник выпивает, но на это смотрели сквозь пальцы. И Уржумцев, слегка понижая тон, сказал:

— Я попрошу председателя... Только вряд ли... А на газеты мне наплевать... Мало ли врут.

— Так вы, Василий Васильевич, решительно гоните Болховскую?..

— Повторяю, я ни при чем.

— Ну что ж, ловко! Верно, какую-нибудь цацу определите? А я с цацой служить не хочу и пойду объясняться к председателю... Пойду еще закусывать и не побоюсь... И без вашего правления найду место!..

С этими словами старенький помощник бухгалтера вышел из кабинета и в комнате, где сидели барышни, громко воскликнул:

— Барышни, Болховскую выгнали! Довольно подло с ней сделали!

Никто не отвечал. Глаза у всех были опущены. Только одна из самых любопытных спросила:

— Ардалион Иванович, вы, наверное, знаете, кто вместо Болховской?

— Верно, к вам новая барышня... И будет стрелять глазами еще лучше вас.

— И ошиблись, милый Ардалион Иванович, — внезапно сказала только что вошедшая Александра Николаевна.

— А кто?

— Да вот этот самый Стрижов, который так ухаживает за «фруктом». Мне только что касир сказал... Ведь это правда, Сергей Александрович? — обратилась она к молодому человеку с ласковыми глазами.

Тот вспыхнул и обиженно проговорил:

— Я ни при чем, Александра Николаевна.

— Но, однако, вы назначены на мое место?

— Да... Мне только что сказал Уржумцев.

— И знали, что меня выгоняют?

— Хорошо товарищ! — воскликнул старенький помощник бухгалтера, и скулы на его лице задвигались. — А вы, Александра Николаевна, не думайте, что все здесь такие же сви-

нии. Я вот выпил и не хочу быть свиньей. Уйдете вы — и я уйду.

Сконфуженный молодой человек как будто не слышал, что ему сказал выпивший Ардалион Иванович, и, наклонив голову, усердно защелкал счетами.

Несколько минут в комнате царило молчание.

Вскоре в комнате словно затрещала стайка канареек. Барышни бросили работу и стали болтать о том, действительно ли вместо барышни будет назначен Сергей Александрович.

— Верно, дадут больше жалованья, чем нам, — заметила барышня в красной хорошенькой блузке.

— Это бессовестно! Наша комната для барышень.

Но вдруг все барышни притихли. Защелкали костяшки. Вошел Уржумцев. Обратившись к Стрижову, он сказал:

— Пока займите место Болховской. Александра Николаевна уходит от нас.

— И я ухожу, освободится и еще место.

Александра Николаевна протянула обе ру-

ки к Ардалиону Ивановичу и проговорила:

— Не делайте этого, не делайте, Ардалион Иванович. Ведь у вас семья. А разве ваш поступок повлияет на кого-нибудь? Взгляните кругом... Сергей Александрович, пожалуй, назовет вас сумасшедшим.

В эту минуту вошел высокий, худощавый старик и, любезно раскланиваясь, прошел в свой кабинет, на ходу сказав Уржумцеву:

— Василий Васильевич, ко мне на минутку.

## V

— Терпеть я не могу, когда у нас какие-то неприятные истории, — сказал председатель и брезгливо сморщил свое безбородое и безусое лицо. — Уж вы как-нибудь уладьте.

— Оставить Болховскую?

«Кажется, мог бы сам сообразить, а не беспокоить меня. Для чего же он и занимает такое место? А то лезет со всяким пустяком», — подумал председатель и прибавил:

— Ведь Болховская не из аккуратных барышень?

— Да, не из аккуратных.

— Так дайте ей полугодовое жалованье,

она и успокоится. По крайней мере, меня не будут беспокоить. И устройте одну барышню. Явится к вам с моей карточкой. Я ее знаю. Вполне порядочная девушка.

Уржумцев наклонил голову и проговорил:

— Помощник бухгалтера собирается уходить.

— Из-за чего?

— Да из-за этой же неприятности. Сегодня много закусывал и находит, что вы несправедливы к Болховской. Грозит газетами. Конечно, Ардалион Иванович — служащий хороший, но не один же он...

— Газетами?! Такая неблагодарная скотина! Я его взял сюда, ходил тогда без сапог, а теперь «несправедливость»! Можно и его сплавить!.. У меня в виду есть порядочный человек на его место. Скажите, что если ему кажется, что здесь одни несправедливости, то его удерживать не будем. И прошу вас, Василий Васильевич, чтобы никаких историй... Ужасно не люблю я этих историй...

## VI

На другой день в контроле сборов не было Александры Николаевны и помощника бух-

галтера. Место Болховской занял Стрижов. Рядом с ним сидела новенькая — эффектная брюнетка, элегантно одетая, с красивыми кольцами на тонких, длинных, выхоленных пальцах.

Она со всеми познакомилась. Приветливая, с ласково улыбающимися глазами, новенькая всем понравилась. Барышни весело болтали и примолкли, как только вошел Уржумцев.

Барышни обратили внимание, что Уржумцев особенно ласково посмотрел на эффектную брюнетку.

В то же время Болховская нервно ходила по своей квартире. На душе было жутко. Будущее казалось ей безнадежным. И она повторяла:

— Выброшена... Выброшена...

— Ты, мамочка, что же такая грустная? — проговорила девочка, вбегая в комнату, и прижалась к матери.

Мать мучительно-радостно смотрела на девочку и чувствовала, что энергия и бодрость снова приливают к ее сердцу.

И она сказала:

— Я, Маруся, оставила место. Найду другую работу. Не буду уходить из дому. Будем теперь вместе.

И Александра Николаевна стала безумно целовать девочку.

А слезы тихо катились по щекам этой затравленной женщины.

## Мулька\*

### I

**М**улька, — так названный в счастливом детстве одним гимназистом, — молодой дворняга, далеко неказистой наружности, проживал несколько лет тому назад в дровяном подвале большого дома за № 12, по Пятой Рождественской улице на Песках.

В последнее время Мулька был вынужден сам заботиться о себе и — главное — добывать пропитание.

Нельзя сказать, чтобы его репутация была безукоризненна.

Особенно повредил ей хозяин мясной лавки в соседнем доме.

Он рассказывал поварам и кухаркам о том,

какой дерзкий вор этот «подлец» рыжий пес. Бывало, влетал в лавку, когда было много покупателей, схватывал кусок мяса — не разбирая, «мерзавец», какого сорта говядина — и удирал... Поймай-ка разбойника! И только после многих случаев грабежа его наконец так «огрели» поленом, что рыжий Мунька едва унес ноги. Зато с тех пор обегает лавку.

— Зайди только, подлец. Так «огреем», что уж больше не встанешь! Не воруй! — с благородным негодованием прибавлял толстый, краснорожий мясник с маленькими плутоватыми глазами, охотно помогавший кухаркам обсчитывать хозяев.

Рассказывали кое-что о стянутой Мунькой колбасе и в мелочной лавке.

Но зато в доме, где проживал Мунька, он ни в чем предосудительном замечен не был.

Жильцы на него не жаловались Повара и некоторые кухарки даже не без тайного сочувствия к смелости Муньки слушали и мясника и хозяина мелочной лавки о воровских проделках собаки. Но никто из них не приманивал Муньки к кухне, нисколько не облегчая тяжелого его положения. Старший двор-

ник Михайла Иванович, из отставных унтер-офицеров, строго следивший, чтобы в доме не было беспорядка, и не без самомнения уверявший, что видит «наскрозь» не только жильца, но и «животную», смотрел сквозь пальцы на не совсем законное пребывание в доме собаки, никому не принадлежавшей. Однако не особенно дружелюбно посматривал на «беспаспортного», как называл Муньку, и, случалось, «ошарашивал» его пинком, будто бы «для порядка», но, как кажется, главным образом за то, что Мунька, при редких, впрочем, встречах со старшим дворником, — не обнаруживал надлежащего почтения и, по видимому, не получил в детстве хорошего собачьего воспитания. Он не повиливал покорно опущенным хвостом, а, напротив, довольно задорно помахивал им, высоко закрученным в виде кренделька; ласково не оскаливал своей рыжей с белыми пятнами морды и не придавал своим умным и зорким глазам выражения уважения и мечтательности. Все, чем Мунька выражал невольное уважение, заключалось в том, что с независимым видом ни в чем не провинившегося пса отходил по-

дальше от этого высокого, плотного и борода-того брюнета.

Муныка имел основание не питать к нему симпатии и не очень-то доверять не только его соседству, но даже и присутствию на дворе. Вот почему Муныка предусмотрительно старался не попадаться на глаза старшему дворнику, особенно в праздничные дни, когда Муныке казалось, что большие, круглые и слегка выкаченные глаза Михаила Ивановича становились неподвижнее, круглее и страшнее, толстое его лицо походило на алый кирпич, и голос напоминал рев паровой конки, однажды очень испугавшей Муныку во время одной из его дальних прогулок.

В будни Муныка, как оглашенный, бегал и прыгал по двору, заигрывал с двумя приятелями, дворовыми мальчиками, заговаривал с сеттером Джеком и черным пуделем Умным и почтительно посматривал в отдалении на громадного датского дога Милорда, всегда молчаливого, строгого и серьезного, не смея с ним заговорить. На Джипси, показывавшуюся весной на дворе левретку, покрытую щегольской красной попонкой, всегда вздраги-

вавшую и жавшуюся к горничной, Мунька нарочно не обращал внимания, словно Джипси нет здесь. Но умышленно пробегал около, насмешливо скаля зубы и пугая маленькую, стройную собачку с большими и глупыми глазами... Она раз навсегда пролаяла, что с таким грязным дворняжкой знакомиться неприлично, и, когда Мунька все-таки раз подбежал к ней и назвал ее дурой, Джипси вспрыгнула на руки к сопровождавшей ее горничной и не переставала капризно визжать и лаять, жалуясь на Муньку, до тех пор, пока горничная не увела Джипси домой, назвавши прежде Муньку грубым мужиком, кроме того швырнула в него камнем и погрозила старшим дворником.

Мунька только облаял горничную и полетел к мальчишкам, уверенный, что старшего дворника в эти утренние часы нет дома. Потому-то Мунька и был на дворе и вел себя без особых стеснений жизнерадостной молодой собаки, уже закусившей. Появлялся в отважном настроении Мунька на двор и в то время, когда Михайла Иванович обедал и после обеда спал. В другое же время дня Муньку не ви-

дали на дворе или видели мельком и довольно осторожным в проявлении своих чувств.

По очень ранним утрам, когда все в доме крепко спали и дежурный дворник особенно сладко храпел у ворот, Мунька предпринимал свои тайные экскурсии по черным лестницам, где, случалось, попадались ящики с провизией не запертыми, как следует, на замки. Вкусные кусочки бывали не часты. Если Муньке приходилось ими попользоваться, то, разумеется, пропавшие остатки жаркого и другого съестного ставились на счет кошек и крыс, так как Муньку никто не видел на черных лестницах, а кошек и крыс видели и нередко.

После обхода черных лестниц без всякого успеха Мунька добросовестно пускался на поиски чего-нибудь подходящего на голодный желудок в мусорную яму и на дворе. И если поиски ничего существенного не приносили, Мунька решительно выбегал из ворот и направлялся на рынок или в более дальние улицы с мясными лавками, чтобы не связываться с соседом-мясником, одно воспоминание о котором напоминало Муньке о переломлен-

ной задней лапе и возбуждало приятные мечты прокусить своими острыми и крепкими зубами ляжку «злодея» и дать тягу.

Но Мунька, по темпераменту сангвиник, был отходчивый и, кроме того, после первой вспышки умел, не по летам, обсуждать дела рассудительно.

Он, по-видимому, понимал, что, пока живет в близком соседстве со злым мясником, — проучить его небезопасно. Можно быть пойманым и избитым насмерть. А Муньке, несмотря на некоторые серьезные неприятности в жизни, жить хотелось.

## II

Большую часть Мунька возвращался из дальних путешествий в веселом и бодром настроении.

Он появлялся на дворе и первым делом подбегал к Джеку, с которым находился в приятельских отношениях, и не без горделивости самостоятельного молодого дворняги возбужденно сообщал о том, как вкусна грудинка с мягкими ребрышками и хороша печенка, и как много всего соблазнительного в мясных лавках.

— Неглупая собака всегда что-нибудь наскоро выберет не очень крупное, — прибавлял Мунька. — И потом приятно погулять.

— А... приказчики? — спрашивал Джек, у которого уже текли слюни при рассказе приятеля о мясе.

Он дома его не получал и, как охотничья собака, находился на особенной пище.

— Все больше кланяются кухаркам и режут мясо... И торопятся... И, понимаешь, Джек, не очень-то умный народ... Собака будто с кухаркой... Нужно только не зевать...

Джек втайне уже давно завидовал Муньке. Уходит, куда хочет. Лакомится мясом. Хозяйна не знает. А у Джека хозяин был строгий и взыскательный, особенно на охоте.

Джек по временам почти решал убежать от хозяина куда-нибудь за город и самому охотиться за птицей. Но страх неизвестности, опасности, неопределенность положения: ни удобства, ни постоянного теплого помещения, особенно зимой...

И Джек находил, что хотя на свободе и хорошо, но с ней, того и гляди, пропадешь. При хозяине все-таки лучше.

— А прозевай, так что?.. Небось, помнишь полено мясника!? А разве каждый день ешь печенку?.. А каково зимой в дровяном подвале? — не без злорадства спрашивал Джек. — А я по крайней мере завсегда получаю по положению... И в тепле. И не боюсь каждого человека, как ты... Знай только хозяина, — прибавил сеттер.

— А арапник?

— Так что?

— Небось... вкусно?

— Веди себя хорошо. И нет арапника!

— А овсянка... Мясa не дают. И без спроса — никуда...

— А мне и мясa дает кухарка... И хозяйсва любят... И сахаром угощают... И моют... И подстилка есть для спанья... Вот это так жизнь! — проговорил черный пудель Умный.

Старый дог Милорд вытянулся на припеке и прислушивался. Наконец он высокомерно повел мордой и проворчал:

— И что это за дурак... Тоже рассуждает... Родился дворнягой, ну и молчи, пока его не бросили в Неву или не расшибли поленою башки...

— Позвольте узнать, за что? — спросил Мунька.

— С тобой, воришкой, не разговаривают! — строго заметил Милорд.

— Я хоть и не такой важный...

— Надоел! Молчи...

Дог поднял уши и заворчал, и все три собаки поднялись и отбежали подальше.

— Тоже воображает! — проворчал Мунька.

И тихо прибавил, обращаясь к Джеку:

— И силища! Волка загрызет... А сам боится хозяина и не смеет выйти на улицу. Не понимаю этого дурака, — протянул Мунька.

— А я не понимаю, как ты, Мунька, боишься старшего дворника! — не без насмешки промолвил Джек. — Вот он идет...

— Я не боюсь... Не хочу только связываться с ним. Ну его!

С этими словами «Мунька» ушел за сарай и насторожился.

Старший дворник скрылся, и Мунька снова был весел и жизнерадостен.

Но случилось, что Мунька возвращался из города уставший, раздраженный, голодный и иногда с раскровавленной мордой или со

всклоченной шерстью. Тогда он не показывался на двор, а забивался в дровяной подвал, стараясь скорее заснуть, чтобы не думать хоть об обглоданной кости и не бесплодно сердиться за то, что его на улице вздули, и выходил на поиски ночью я под утро, рискуя с голода на самые смелые предприятия...

Зима прошла. Ночи в дровяном подвале не были холодны, как прежде... На дворе теплынь. Есть где побегать и не оставаться одиноким. Мунька глядел вперед без боязни, как вдруг в это чудное весеннее утро он совершенно неожиданно «влопался».

Он был изобличен на черной лестнице в воровстве, да еще со взломом, как правдиво, в числе других неправд, показывала кухарка Аксинья.

### III

На шкафчике не было замка. Кольца были связаны бечевкой. Было очень рано. Вокруг мертвая тишина.

Мунька потянул носом и почуял прелестный запах, вызвавший слюни и радостное нетерпение голодного дворняги, прошедшего вчерашний день в грустном настроении.

Однако Мунька насторожил лохматые уши... Ни звука.

И он стал торопливо грызть бечевку. Она была тонка, словно бы нарочно для соблазна даже и беззубой крысы. Острые зубы Муньки перегрызли бечевку в одну секунду, и в следующую они открыли дверку, и морда была в шкафчике. Он засунул морду в горшок с застывшим жиром наверху и вылакал суп досуха. Потом проглотил несколько кусков вареного мяса и схватил в зубы курицу, чтобы съесть ее дома, на свободе, с большим удовольствием полакомившись косточками.

Как вдруг щелкнул замок, и в дверях — зашпанная кухарка Аксинья.

На круглом лице ее — ужас. И отчаянным голосом, точно ее собирался резать разбойник, закричала:

— Подлец!.. Разбойник!.. Мунька вор!.. Брось курицу!

Но Мунька только крепче затиснул в зубах курицу и побежал вниз, насмешливо оглядываясь на кухарку, которая, шлепая туфлями, гналась за вором, осыпая его бранью.

На дворе Мунька исчез.

Он был уже в деревянном сарае, но не в том уголке, где была постоянная его квартира, а в противоположном.

«Ищи-ка!» — промелькнула у него мысль.

Возбужденный и победоносный, с загоревшимися глазами, ел Мунька курицу и, весь, казалось, поглощенный прелестью неожиданной находки, в эту минуту и не подумал о важности своего преступления и об иступленном виде кухарки. И только когда от курицы не осталось крошки, Мунька, облизываясь, вспомнил, что «влопался», и услышал, что кухарка еще вопит на дворе и ругательски его ругает дежурному дворнику, смех которого приятно щекотал тонкий слух Муньки.

Кухарок Мунька недолюбливал. «Из всего поднимают свары, готовы выцарапать глаза собаке, наговорить на нее. Мало ли врали они про его историю с мясником я в мелочной лавке! Настоящие кошки. То-то кошек любят и угощают, а нет, чтобы когда-нибудь угостить голодную собаку... Наверно эта ругательница поднимет историю на весь двор из-за какой-нибудь маленькой курицы!»

— Ишь ведь, бесхвостая кошка, клянется, что я и сливки выпил, — проворчал Мунька, прислушиваясь.

Снова смех дворника и крик кухарки:

— Как встанет Михайла Иваныч, я ему расскажу, какой это подлец!

И все стихло.

Мунька решил, что лучше не показываться на двор, пока суматоха не пройдет и глупая кухарка не перестанет наконец вопить, словно ее хватили поленом. Разумеется, Мунька не надеялся на полное забвение — не таковские люди! — и не сомневался, что его прибьют, но во всяком случае не поленом и не так жестоко, как бьют злые мясники. Обнадеженный Мунька уже примирился с будущим наказанием и, чтобы покончить это дело, забился поглубже в дрова, свернулся в клубок, собираясь основательно заснуть на сытый желудок.

Перед тем как заснуть, Мунька, уже задремавший, проворчал, словно бы в свое оправдание:

— А ты ящик не заперла... Я нашел... и мое!  
И заснул.

Разумеется, Муньке во сне и не снилось, что ему готовится нечто весьма серьезное.

#### IV

Подняла эту историю, как и предвидел Мунька, кухарка Аксинья.

Быть может, — хотя и сомнительно, — что эта не злая и только необыкновенно болтливая пожилая женщина не орала бы так и на дворе, и на лестнице — соседним кухаркам, и в прачечной — незнакомым прачкам, и не ходила бы в сопровождении двух приятельниц-кухарок жаловаться старшему дворнику на Муньку и потом не наговорила бы так бессовестно на него своим господам, если бы могла предвидеть, чем все это для него кончится.

Михайла Иванович только что допивал в своей низкой, оклеенной веселыми обоями комнате в дворницкой пятый стакан чая. Он был еще в жилете поверх ситцевой сорочки, при часах на цепочке, и находился в благодушном настроении человека, довольного и собой, и уютом, и благополучием, не отравленным какими-нибудь неприятностями по дому, когда отворились двери и в комнату во-

шли: впереди — кухарка Аксинья и сзади — две ее приятельницы.

Старший дворник тотчас же принял серьезный и недовольный, несколько официальный вид, так как по взволнованному и несколько вызывающему лицу Аксиньи догадался, что она пришла с жалобой или претензией. А этого старший дворник не любил.

— К вам, Михайла Иваныч! — почтительно кланяясь, проговорила Аксинья.

Поклонились и другие две.

— Насчет чего?

— Да насчет этого подлеца Муньки, Михайла Иваныч...

И Аксинья застрекотала. Хотя старший дворник и заметил, и довольно внушительно, что надо держать провизию на замке, чтобы не выходило неприятностей, тем не менее был возмущен Мунькой, тем более, что Аксинья и ее приятельницы обвиняли его и во всех прежних пропажах по съестной части, о которых прежде не говорили Михайле Ивановичу.

— Думала на крыс. А это обязательно Мунька! — решительно протрещала Аксинья

и припомнила все воровские его проделки на стороне.

Две кухарки воскликнули:

— Ведь каким прикидывался на дворе!

— По ночам воровать, а теперь скрывается, шельма!

Старший дворник снова повторил насчет верности замка.

— А касательно этого подлеца-вора, так ему будет форменная выучка. После нее не покажется в наш дом! — проговорил Михайла Иванович, вполне уверенный в серьезности выучки. — Вот, как вернусь из участка, я разыщу беспаспортного шельму... От меня, небось, не скроешься! Ну ступайте, мадамы, по своим делам... А мне некогда... Допью чай — и в участок... Уж такая наша трудная «должность»! — прибавил старший дворник.

Господа Артемьевы, у которых жила Акси-нья, только что вышли в столовую пить кофе.

Молодая женщина в красном капоте со взбитыми черными волосами попробовала кофе и сделала гримаску. Поморщился и пожилой господин в форменном сюртуке.

— Что за сливки? Мерзость! — раздражи-

тельно проговорил Артемьев.

— Не понимаю... Не те сливки... Куда они делись?! Ах, что за прислуга! — промолвила со вздохом Артемьева и велела горничной позвать Аксиныю.

Но Аксиныя уже влетела в столовую. Захлебываясь от торопливости, взволнованная, с торжествующим видом подозреваемой жертвы, она затрещала, как сорока, не без драматизма в крикливом голосе.

— Вы, барыня, напрасно на меня обижаетесь за сливки. Там у нас несчастье. Подлая собака все слопала из ящика... И суп, и сливки, и мясо... Курицу унесла на глазах... Я докладывала: замок бы... Вот и вышло... На заре, видно, сам господь меня разбудил, чтобы правда объявилась, кто вор... Встала я, вышла на лестницу, чтобы посмотреть, не скисли ли сливки, как можете себе представить, милая барыня, этот самый Мунька... рыжий пес... Уж какая была крепкая бечевка... перегрыз... Я, дура, бывало, все на крыс... А вы не доверяли, барыня, когда что пропадало... Как, мол, крысы и сливки... А собака, оказывается, все таскала... Просто отчаянная собака... Если не

слопает, то все перепортит... Ничего не боится...

Машка, на вид необыкновенно ласковая, угодливая и пригожая белая кошечка, таскавшаяся по тем кухням, в которых можно встретить хороший прием и лучшее кушанье, явилась с кухаркой и внимательно ее слушала, вытирая лапкой свою мордочку. Машка знала, что Мунька хотя и отчаянный забияка, который не боится даже взъерошенной кошки с выпущенными когтями, и не дурак ловко украсть, но видела, как Аксинья сегодня утром внесла кувшинчик со сливками и наливала их в две большие чашки кофе, которые выпила с большим удовольствием и не дала ни капельки Машке, несмотря на убедительное ее мурлыканье и напоминание о себе деликатным потрогиванием лапкой. Но Машка, словно бы довольная, что Аксинья бессовестно врет, не хуже кошки, одобрительно мурлыкнула. Затем стала нетерпеливо тереться у ног Аксиньи, точно напоминая, что кухарка долго рассказывает, вместо того чтобы идти в мясную и купить кошачьего мяса, которым часто угощает, возвратясь домой.

Молодая хозяйка с капризной гримасой слушала рассказ кухарки. Пожилой чиновник нетерпеливо пожимал плечами и теребил свою бородку.

— Да замолчите наконец, Аксинья! — проговорила Артемьева.

И тихо и деликатно «позудила» Аксинью, как называла последняя барынины замечания.

«Она ни за чем не смотрит, не напомнила о замке — собака крадет, курицы и нет. И какие сливки купила!.. Кажется, могла бы не раздражать больную женщину».

— Сегодня же купите замок, и чтобы впредь этого не было. И вообще... будьте внимательнее к своим обязанностям, Аксинья! — прибавила хозяйка, слегка возвышая свой тихий, «зудящий» голос.

Аксинья и возмутилась и обиделась.

«Она невнимательна? Она ни за чем не смотрит?»

— Из-за подлой собаки я же и виновата? О, господи! Да разрази меня бог!.. Я, кажется, стараюсь для вас... И вы, барыня, меня же обижаете...

Аксинья клялась и плакала, снова клялась и, по-видимому, не собиралась окончить, если бы «сам барин, который не раз хвалил ее кушанье», не охладил ее излияний ироническим вопросом:

— Видно, собака открыла крышку с кувшина?

— Что же, я сливки выпила? Нужны мне господские сливки!.. Этот подлец, Мунька, все жрет и на все способен. Вовсе отчаянный нахал... Чуть на меня не бросился, когда я стала отнимать курицу... И меня же господа позорят... О, господи!

— Пошлите-ка ко мне старшего дворника! — остановил кухарку чиновник.

И когда Аксинья, вытирая слезы, вышла, он прибавил:

— Нечего сказать, порядки в доме... Собака бросается на людей... И за чем только смотрит старший дворник?

— Уж и не говори, Ванечка... Того и гляди, эта собака еще взбесится и перекусает людей! Еще недавно читала в газетах... — испуганно промолвила молодая женщина.

— То-то и есть! — ответил Артемьев. — На-

до узнать, чья собака и почему ее выпускают, да еще по ночам... Надо исследовать и принять меры... Да ты не волнуйся, мой друг. Надо, чтобы дверь в кухню была заперта... Собака не войдет! — успокаивал Артемьев, видимо, разделявший опасения жены.

Он и сам очень побаивался собак.

## V

Минут через пять в столовую вошел старший дворник.

Степенный, с приветливо-почтительным выражением пригожего лица, опущенного расчесанной бородой, он был в черном, наглухо застегнутом пиджаке, в манишке, белешей из-под воротника, и в высоких щегольских сапогах.

Отвесив низкий поклон, Михайла Иванович сделал несколько шагов, остановился и мягким баритоном сказал:

— Изволили требовать, ваше превосходительство?

Хотя дворник и отлично знал, что Артемьев очень далек от генерала, но всегда оказывал почтение жильцу, аккуратно платившему за квартиру, не забываявшему давать по

рублю в месяц и особенно такому, который из  
требовательных и беспокойных.

— Что у вас за безобразие в доме, Михайла?

— Осмелюсь доложить, что, кажется, слава богу, у нас нет «безобразиев», ваше превосходительство!

— Есть! — отчеканил внушительно Артемьев.

— В каких смыслах, ваше превосходительство?

— А собака?

— Так вышла из-за нее неприятность по случаю того, что шкапчик на лестнице без замка...

— А бросается на людей?

— Никак нет, ваше превосходительство!

— А на нашу кухарку? И мало ли на кого-нибудь может броситься? — вставила молодая женщина.

— Не извольте верить кухарке, барыня. Собака в этом не замечена... И не такого характера, чтобы осмелиться...

— Чья она? — спросил Артемьев.

Но Михайла, отвиливая от прямого ответа,

повел речь о прежних хозяевах Муньки.

— Щенком жил в двенадцатом номере... Взял его гимназист и с ним занимался... Полтора года собака вела себя во всем правильном поведении, и гимназист очень был к ней привержен... Но как жильца перевели на службу в провинцию, Муньку препоручили знакомой сродственнице в двадцать восьмом номере... Хорошая была барыня, но только вскорости померла от сердца... А у сыновей собака оставаться не пожелала... Всего месяц жила и убежала, ваше превосходительство!

— Отчего убежала? — спросила молодая женщина.

— По причине, с позволения сказать, озорства жильцов двадцать восьмого номера, когда они стали часто будто в «несвоевременном» виде, по случаю смерти маменьки... Кухарка обсказывала, что два жильца и их гости часто обескураживали собаку...

— Чем же?

— Всячески, барыня.

— Например?

— Подносили собаке нюхать, как пахнет дым цыгарки... Подпаливали спичками

шерсть. Купали под краном, кормили дурным лекарством... Одно слово, с большим воображением ума шутили с собакой. А этого собака не любит... Отдубась ее по всей форме за дело, на это она не должна обидеться, а ежели одна «прокламация», для «игры ума», — обидится... И неосновательные жильцы. За квартиру не платят, ваше превосходительство! — неожиданно прибавил старший дворник.

— Кто они такие?

— Служащие... Из господ. А насчет собаки будьте вполне спокойны, ваше превосходительство... Не извольте беспокоиться, барыня...

И, уверенный, что успокоил «уксусного», как называл старший дворник строгого и требовательного жильца, Михайла Иванович поклонился и хотел было уйти, как Артемьев остановил его.

— Подожди, Михайла. Объясни, чья же теперь эта собака? — настойчиво и серьезно допрашивал основательный господин.

— Теперь ровно бы ничья. Вроде как бы беспаспортная, ваше превосходительство.

— А разве это порядок? Ты потатчик. Заве-

домо держал в доме бродячую собаку.

— Виноват. Точно ошибся, ваше превосходительство, — несколько сконфуженный, промолвил старший дворник.

«Уж будет подлецу Муньке. Из-за него только неприятность!» — подумал он и заискивающе прибавил:

— Сегодня же выдворю собаку, ваше превосходительство!

— Выдворишь? А если она вернется и мало ли что натворит? Да еще вдруг сбесится и, храни бог, кого-нибудь искушает. Ты и ответишь по всей строгости законов. Да еще возьмут с тебя штраф, — не спеша и серьезно-бесстрастно говорил Артемьев, желавший, казалось, окончательно донять старшего дворника.

— Я, ваше превосходительство, так «проутюжу» собаку, что она забудет и адрес нашего дома!

В следующее мгновенье Михайла Иванович уже мысленно назвал себя дураком за то, что проговорился насчет «проутюжения».

— Да как же можно мучить собаку? — воскликнула молодая женщина. — Это нехорошо

с вашей стороны, Михайла! Очень нехорошо. И вы не смеее! — прибавила она и, чтобы не слушать дальше, вышла из столовой.

А муж протянул:

— Не надо быть членом высочайше утвержденного общества покровительства животным, чтобы позвать околоточного, составить протокол, к мировому, и тебе... высидка!

Старший был решительно подавлен и смущен.

— Так как же с собакой, если, примерно, по закону? — растерянно промолвил он.

— Очень просто. Отдай ее фурманщикам — и снимешь с себя всякую ответственность.

Михайла Иванович просветлел.

— А то еще, не дай бог, судиться из-за какой-нибудь собаки! Премного благодарен, что изволили надоумить необразованного человека. Счастливо оставаться, ваше превосходительство!

Перед тем, что идти в участок, Михайла Иванович сказал подручному Василию:

— К вечеру поймай ты Муньку. Он тебя не боится. Привяжи его в дровяном сарае на крепкую веревку, чтобы не сбежал...

— Как же вы хотите, Михайла Иваныч, распорядиться с Мунькой?

— Рано утром сдадим фурманщикам.

— На убой, значит, Муньку? — угрюмо спросил подручный.

— А что делать с этим воров? Из-за него только одни неприятности от жильцов. Да смотри, Василий, помалкивай насчет моей «лезорюции»... А то прослышит какая-нибудь пустая жилища с чувствительностью и... неприятность... Собаку не примут, а мне еще влетит... Запищит: «Как дворник смел»... И нажалуется... Так чтобы шито да крыто. Так-то умственнее. Пропала, мол, собака, и шабаш!

— Как прикажете... Но только «освобоните» меня, Михайла Иваныч!

— Это еще что за дерзкая мода? Я, братец, этого не люблю! — строго сказал Михайла Иванович и изумленно взглянул на обыкновенно тихого и скромного Василия.

— «Освобоните», Михайла Иваныч! — упорно повторил Василий.

— Почему это ты смеешь дерзничать, а? Сказывай.

— Жалко, Михайла Иваныч...

— Кого жалко?

— Самую животную... Муньку.

— Этого вора жалко?.. Очумел ты, что ли?

Разве можно жалеть такую бесстыжую собаку... Другая, которая виноватая, сию же минуту явилась бы с повинной... А этот подлец хоть бы что... Спрятался и думает... отбо-яриться, бродяга. А за него только отвечай!

Василий молчал.

— Совсем, как посмотрю, ты необразованный «обормот». Ну, и черт с тобой. Я сам поймаю Муньку... А ты, Василий, у меня смотри! — вдруг озлобленно крикнул Михайла Иванович.

И, вытаращив на подручного свои загоревшиеся круглые глаза, прибавил:

— Рассчитать тебя, дурака, недолго.

— Как угодно! — покорно промолвил Василий.

— Скажи, пожалуйста, какой собачий заступник!.. Что стоишь, дьявол!.. Жильцы дров ждут, а ты... Экий разбалованный народ!

С этими словами старший дворник вышел за ворота и, возбужденно-сердитый, напра-

вился с портфелем под рукой в участок.

## VI

Мунька не чуял, что он уже приговорен к такому ужасному наказанию, какое только могли выдумать люди и до которого, конечно, никогда не додумываются собаки. Обвиняемый даже не был спрошен — насколько было возможно понять собачий язык, иногда и понятный его выразительностью — и не приведен на очную ставку с обвинительницей, что было бы возможно, если бы следствие производил подручный Василий, умеющий влиять на Муньку. Таким образом обвинение основывалось только на показаниях Аксиньи, как известно, далеко не вполне правдивых. Но что уже совсем плохо рекомендовало и юридические познания и чувство справедливости двух самовольных судей — жильца и старшего дворника, так это то, что первый — из малодушного страха перед собаками, а второй — страха ради иудейска, не подумали и допросить свидетелей, действительно достоверных. Такими были: подручный Василий, иногда дававший Муньке краюху хлеба и ласково потрепывавший собаку и говоривший ей, по-

видимому, добрые сочувственные слова, и несколько дворовых мальчишек и девочек, которые часто игрывали на дворе с Мунькой и очень любили его. Они часто дарили ему кусочки хлеба, проглатывавшиеся Мунькой с невероятной быстротой и жадностью и на лету и с земли, и Мунька не раз благодарно и порывисто лизал детские лица. Наконец могла быть вызвана в свидетельницы и одна почтенная дама, член общества покровительства животным, жилица того же дома, которая встречалась с Мунькой на улице. Она всегда была с ним любезна и давала ему один копеечный розанчик, когда возвращалась из булочной, хотя первая встреча с Мунькой и не располагала к дальнейшему знакомству, так как Мунька однажды выхватил из рук почтенной дамы целый мешок с булками и был таков. Но старая дама была доброй и умной женщиной, понявшей дерзкий поступок дворняги, великодушно простила его и только носила пакеты со съестным с большей осмотрительностью.

Но участь Муньки решена, и старший дворник велел держать свое решение в тай-

не.

В это утро добрая старушка удивилась, что Мунька не встретил ее у булочной за обычной подачкой и для обмена приветствий. Еще более удивились и огорчились два бледные мальчика и одна крошечная девочка, — дети подвальных жильцов, — что на дворе нет их приятеля Муньки, обыкновенно бывавшего в эти часы.

Был одиннадцатый час. Солнце подогрело. Детям после душных и затхлых подвалов весеннее утро казалось прелестным. Но оно было бы еще милее, если бы был с ними Мунька.

И дети подбегали к окну дровяного подвала и кричали:

— Мунька, где ты?

— Приходи, Мунька!

— Иди играть с нами, Мунечка!

— Булочки дам... Миленький! — особенно ласково вытягивала тоненькие нотки маленькая девочка.

Но Мунька, хоть и слышал и вздрагивал от этих ласковых нетерпеливых призывов, знал прелесть теплого утра и ему хотелось бы к

солнцу, к мальчишкам, к веселью и радости, но он не откликался и только чуть слышно визжал, словно бы изливая досаду, обиду и грусть...

Там, на дворе, так светло, а в подвале, за дровами, так темно, сыро, неприветно, и старший дворник верно уже все знает...

И Мунька примолк...

— Да отчего не идет Мунька? — спрашивала девочка мать.

— Боится наказания. Ночью обокрал чиновников.

Все мальчишки узнали, что Мунька обокрал жильцов, и, испуганные за Муньку, спрашивали, что ему будет.

Никто достоверно не знал, пока не вернулась из лавки Аксинья и не сообщила на дворе одной прачке, что Муньку отдают фурманщикам.

И при этом прибавила:

— А все-таки жалко собаки...

Джек узнал на своей кухне, что Мунька попался в скверную историю, хотя и съел целую курицу. Джек собирался в качестве приятеля под видом участия сказать Муньке несколько

неприятных слов именно в то время, когда нужны участие и помощь. Он навестит приятеля в дровяном подвале, чтобы сочувственно удивиться, как мог такой, казалось бы, умный и ловкий пес так глупо «влопаться». Точно не догадался почуять кухарку еще за дверями и улепетнуть вовремя, и снова сказать, как не прав Мунька, соблазняя Джека убежать от хозяина. Теперь он может убедиться, какой дорогою ценой добывается мясная пища. Но когда Джек был отпущен на двор и там услышал, что предстоит приятелю, он — надо отдать ему справедливость — больше уж не думал корить друга в беде. Он пожалел его и первым делом подбежал к окну дровяного подвала, потянул носом и... побоялся немедленно навестить Муньку и предупредить его.

«Еще узнает хозяин — и арапником!» — подумал Джек и решил зайти к Муньке вечером, когда можно незаметно прошмыгнуть в подвал.

Пудель тоже подбегал к подвалу. Но старший дворник уже запирает окна в подвале. Умный недовольно опустил хвост. Однако внимательно следил своими умными глазами

ми за руками дворника и, когда тот окончил, подошел к Джеку.

— Теперь бедному Муньке уж не удрать! Завтра конец! — проговорил Джек и грустно завизжал, словно бы чувствуя укоры совести.

«Мог бы предупредить Муньку, и был бы он теперь далеко!»

Но Умный молчал и, озабоченный, казалось, о чем-то раздумывал, мерно помахивая своим хвостом с красивым пучком на конце.

— Бедный Мунька! — снова визгнул Джек.

— Не скуль! — серьезно воркнул Умный.

И через минуту лаконически пролаял:

— Удерет!..

— Это как же?

Но пудель не хотел пускаться в объяснения и побежал домой.

## VII

Смеркалось, когда Умный поскреб у дверей кухни и был выпущен кухаркой.

Он стремглав спустился с лестницы и, выбежав на двор, огляделся вокруг и побежал прямо к последнему окну дровяного подвала, которое, как заметил пудель, не имело задвижки, и потому дворник только прикрыл

его.

Умный лапой распахнул окно, вскочил и, пробираясь по дровам, тихо окликнул Муньку.

Мунька откликнулся осторожным лаем в другом конце подвала и бросился навстречу.

Скоро обе собаки встретились, обнюхали друг друга и поздоровались.

— Удирай, Мунька... Удирай сию минуту... И не возвращайся сюда!

— За что? Разве из-за какой-нибудь курицы хотят избить поленом... Так им и дался! — уверенно лаял Мунька.

— Если бы поленом... Привяжут на веревку и завтра отдадут фурманщикам. Все окна закрыты... Одно только без задвижки... И я прибежал...

— Фурманщикам!?. — в ужасе мог только взвизгнуть Мунька.

И, благодарно лизнув спасителя, бросился по дровам, и скоро обе собаки благополучно выскочили на двор.

Мунька бросился к воротам. Умный его провожал.

Калитка ворот была заперта. Но, по счастью, у ворот сидел Василий.

— Ай да молодца, Мунька... Оставил в дураках старшего? — весело проговорил подручный и гладил собаку. — Небось... Отопру... Улепетывай подальше... А то что старший наш выдумал...

Мунька кидался к Василию и, взвизгивая от радостного нетерпения, лизал его лицо, словно бы благодарил и торопил.

— Прощай, Мунька! Прощай, беспризорный! — сказал Василий, отворяя калитку.

И голос подручного прозвучал необыкновенной нежностью.

— Прощай, прощай! Берегись фурманщиков! — ласково лаял пудель.

Мунька еще раз благодарно взглянул на Василия и Умного и, задравши хвост, помчался по улице, сам не зная куда.

## «Берег» и море\*

### I

Скверное осеннее утро. В большом, внушительном, строгого стиля кабинете роскошной казенной квартиры адмирала Берендеева медленно и строго пробило одиннадцать.

В эту минуту осторожно, словно бы не смея нарушить торжественной тишины кабинета, вошел пожилой черноволосый лакей, с широким смышленным лицом, обрамленным засевшими бакенбардами, опрятный и довольно представительный в своем черном сюртуке с солдатским Георгием.

Неслышно ступая большими цепкими ногами в мягких козловых башмаках, он приблизился к огромному письменному столу посреди комнаты, за которым сидел, погруженный в чтение какой-то бумаги, с длинным карандашом в маленькой, костлявой и морщинистой руке, низенький, сухощавый, совсем седой старик, с коротко остриженной головой и маленькою бородкой клинышком.

Он был в расстегнутом форменном сюртуке и в белом жилете. Белоснежный, тугой сто-

ячий воротничок сорочки подпирал шею и горло в морщинах. Морщины изрезывали и длинноватое, гладко выбритое, отливавшее желтизною лицо с длинным прямым носом, напоминающим трудолюбивого дятла.

Утонувший в высоком, глубоком кресле, старый адмирал казался совсем маленьким.

Камердинер адмирала Никита, бывший матрос, выждал несколько секунд, взглядывая на адмирала и словно бы определяя степень серьезности его настроения.

Адмирал не поднимал головы и, казалось, не замечал своего камердинера.

Тогда, слегка вытянувшись, по старой привычке, Никита решительно и довольно громко произнес:

— Осмелюсь доложить...

— Дурак! — раздражительно оборвал старый адмирал, приказавший раз навсегда не беспокоить его по утрам, когда он занимается, добросовестно прочитывая доклады и добросовестно подучивая учебник механики, чтобы потом не обнаружить своего незнания на подчиненных людях.

— Дама желает видеть ваше высокопревос-

ходительство.

Адмирал взволновался.

— Дама? Зачем дама? Какая дама?

— Супруга капитана второго ранга Артемьева. Молодая и брюнетистая по личности, ваше высокопревосходительство.

С этими словами Никита положил на письменный стол визитную карточку.

Адмирал, прежний лихой «морской волк», неустрашимый, простой и доступный, недаром после долгой службы на берегу изменился.

Если бы посетительница была с громкой фамилией или супруга человека с серьезным служебным положением, он хоть и выругал бы про себя даму, оторвавшую его от работы, но, разумеется, приказал бы немедленно просить.

«А то к нему, высокопоставленному лицу, работающему до одурения, лезет на квартиру какая-то Артемьева, жена капитана второго ранга... Да еще, дура, передает свою карточку... Очень нужно ему знать, что ее зовут Софьей Николаевной!»

Обозленный и дамой, и Никитой, и сего-

дняшним предстоящим заседанием, где ему придется говорить, защищая свой доклад, адмирал швырнул карточку и проговорил своим скрипучим старческим голосом, звучавшим гневной раздражительностью:

— Скотина! Как ты смел пустить просительницу? Разве не знаешь, что просителей на дому не принимаю. Что курьер смотрел? Где он?

— Услан ее высокопревосходительством.

— Куда?

— В театр и к портнихе.

Адмирал сердито крякнул и сказал:

— Скажи просительнице, что может явиться в министерство... Прием от часа до двух... Понял?

«Ты-то стал меньше понимать на сухой пути!» — подумал Никита, служивший при Берендееве много лет: сперва — капитанским вестовым, а после отставки — камердинером на берегу.

И, вместо того, чтобы «исчезнуть», как исчезал, бывало, из каюты при первом же окрике своего капитана, Никита доложил:

— Я уже все обсказал даме, ваше высоко-

превосходительство.

— Что ж она?

— Не уходит!

— Как не уходит? — изумленно спросил адмирал, казалось, не понимавший такого неповиновения жены моряка.

— «Я, говорит, не могу уйти. Мне, мол, по экстре на пять минут поговорить, вот и всего!» Это сказала во всем своем хладнокровии и шмыг в залу.

— Экая нахалка!.. А ты болван!.. Иди и скажи ей, что я не могу принять. Пусть убирается к черту!

— Есть!

Никита вышел и через минуту вернулся.

— Ушла? — нетерпеливо спросил адмирал.

— Никак нет, ваше высокопревосходительство! Несогласна! — казалось, довольный, сказал Никита.

— Как она смеет? На каком основании?.. — подчеркнул адмирал: «на каком основании» — особенно любимые им слова с тех пор, как из отличного строевого моряка сделался неожиданно для себя государственным человеком.

— На том основании, что «буду, говорит, ждать адмирала. Он, мол, не бессердечный человек, чтобы не найти пяти минут для женщины». Известно, по бабьему своему рассудку, не может войти в понятие насчет спешки при вашей должности! — прибавил Никита с едва уловимую ироническою ноткой в его голосе.

— Это черт знает что такое!.. — бешено крикнул адмирал, поднимаясь с кресла.

И он заходил по кабинету, придумывая и, казалось, не придумавши, как отделаться от этой дамы.

— Какая наглость!.. Наглость какая! — повторил адмирал, похрустывая пальцами.

Адмирал уже представлял себе просительницу дерзкою психопаткой, а то и курсисткой, с которой, чего доброго, нарвешься на скандал и еще попадешь в газеты. Нечего сказать, приятно!

И какое может быть у нее экстренное дело к нему?

Взволнованный адмирал придумывал причины, одна другой несовместимее. Одна из них казалась ему вероятнее. «Верно, при-

летела жаловаться на мужа, что прибил ее. И поделом такой женщине! Верно, и распутная. Иди с жалобой к экипажному командиру, а то лезет в квартиру... И не уходит... Курьера нет... Никишка... рохля!»

«Наглая баба!» — мысленно поносил старик просительницу.

И этот властный старик, который позволяет грубости и не про себя с подчиненными, избалованный их страхом дисциплины и раболепством, теперь чувствует бессилие, и перед кем? Перед какою-то бабой!..

Точно потерявший ум и засушивший на старости лет сердце, он злобствует на просительницу, трусит ее и, растерянный, не знает, на что решиться.

Решительный и сообразительный в море, он прежде знал, что делать при всяких обстоятельствах на командуемых им судах.

А теперь?..

Так прошла минута.

Отступив к двери, Никита взглядывал на беснующегося адмирала и мысленно порицал его.

«Не обезумей из-за своего звания, очень

просто решил бы ты в секунд плевое дело, по рассудку и совести. На том свете уж ему паек идет, а он куражится над подчиненными людьми...»

Сочувствующий просительнице, пообещавший ей попытаться насчет приема адмиралом, он осторожно проговорил:

— Дозвольте доложить, ваше высокопревосходительство?

— Ну... Что еще?

— Просительница не осмелится зря докучать вашему высокопревосходительству.

— Почему?

— Она вовсе не озорного вида.

— А какого?

— Очень даже благородного обращения, ваше высокопревосходительство! Хоть по своей гордости и не оказывает обескураженности, плакать не плачет, а заметно, что в расстройке... Такая тихая, в строгой задумчивости сидит просительница и ждет!

И после паузы Никита значительно и серьезно прибавил, чтобы напугать адмирала:

— Как бы, грехом, с ней чего не случилось от отчаянности, ваше высокопревосходитель-

ство!

— Чего? — испуганно и растерянно спросил адмирал.

— Известно, по женской части. Схватит ее «истерик», и заголосит просительница на всю квартиру! — значительно и таинственно понижая голос, докладывал Никита.

Недаром же он клепал на просительницу с самыми добрыми намерениями человека, еще не забывшего совесть.

Он хорошо знал своего адмирала. Не раз наблюдал, как теряется старик, «давая слабину», когда адмиральша, лет на тридцать моложе мужа, женщина, по словам Никиты, «шельмоватая», «форсистая» и еще «бельфамистая», довольно-таки часто занималась «истериком» и в такие минуты называла мужа «противною старою обезьяной».

Вот почему, пользуясь случаем, Никита «забирал ходу», как называл он смелость своего разговора с адмиралом, и продолжал:

— Одно только будет беспокойство вашему высокопревосходительству, осмелюсь доложить... И ежели бы изволили потребовать просительницу, она живо бы обсказала свою

причину, и... проваливай!

Адмирал снова назвал своего камердинера непечатным словом и прибавил:

— Черт с ней. Зови ее! Только предупреди: пять минут — и ни секунды!

— Есть, ваше высокопревосходительство! — отвечал Никита, не обращая большого внимания на брань и, казалось, очень довольный, скрывая свое горделивое чувство победителя.

«Только зря больше пяти минут куражился. Давно принял бы барыню и сидел бы за своими бумагами!» — подумал Никита.

И почти вприпрыжку «исчез» из кабинета обрадовать просительницу.

А старый адмирал, словно бы боявшийся уронить престиж власти, на который покушается жена капитана второго ранга Артемьева («И как он смел пустить свою дуру к высшему начальству!»), слегка выпялил грудь, нахмурил седые брови и, заложив за спину обе руки, остановился недалеко от дверей в позе нахохлившегося дятла, готовый оборвать «нахалку».

Уже предубежденный против просительницы, адмирал в первую минуту не сообразил, что остановившаяся перед ним, слегка бледная, высокая, стройная женщина, в черном платье и в скромной шляпке, решительно ничем не походила на наглую психопатку, какую рассчитывал встретить его высокопревосходительство.

Не заметил, казалось, адмирал в просительнице и того невольно бросающегося в глаза, что заметил Никита: отпечатка простоты, порядочности и горделивой скромности и строгой одухотворенной красоты ее умного, энергического лица с большими темными, серьезными глазами.

Он только обратил внимание, что она не извинялась и не благодарила за то, что допущена к высокопоставленному лицу, и ее глаза глядели на него прямо, открыто и смело, полные надежды.

Этот взгляд, совсем непохожий на те заискивающие, рассчитанно-кокетливые и притворно-страдальческие взгляды, которыми большая часть просительниц достигала цели, только еще более раздражил уже раздражен-

ного старика.

Какая дерзость!

И он едва кивнул головой на поклон молодой женщины. Вспыливший, он даже не спросил, что ей нужно, а сразу набросился на нее и почти кричал:

— На каком основании, сударыня, вы лезете в мою квартиру?.. Позвольте спросить, сударыня, на каком законном основании?! Должен я, что ли, бросить государственные дела и слушать каждую даму, которой вдруг «приспичит» отрывать серьезного человека от занятий? Казалось бы, что вы, как жена флотского офицера, должны это понимать. Не понимали, — спросили бы мужа... Или... нынче новая мода. С мужьями не советуются. Полная свобода... Жена сама по себе... Очень хорошо! Так спросили бы одного из ваших знакомых мичманов...

Просительница бледнела.

Казалось, она не верила своим ушам.

Изумленная, она еще пристальнее глядела на адмирала.

Презрительное молчание и высокомерный вид просительницы еще более обозлили ста-

рика.

И он кричал точно на мичмана:

— Добрались своего, сударыня. Дурак-лакей впустил, вы воспользовались его глупостью, и я принужден вас принять. Так что же вам от меня нужно? Прошу говорить короче!.. Какое может быть у вас экстренное дело, чтобы ворваться сюда?

Вместо того, чтобы заговорить о деле, Артемьева повернулась и пошла к двери.

Адмирал опешил.

Прошло несколько мгновений. Голос его значительно понизился, когда он проговорил:

— Вернитесь, госпожа Артемьева!..

Она остановилась у дверей и с блестящими слезами на глазах произнесла:

— С меня довольно оскорблений, ваше высокопревосходительство.

По-видимому, только в эту минуту адмирал увидел, какую благородною правдивостью дышит печальное, негодующее и строгое лицо этой бледной брюнетки, изящной и красивой, и, казалось, сообразил, как грубо и оскорбительно кричал на просительницу.

И, приблизившись к ней, проговорил:

— Напрасно вы, сударыня, приняли так близко к сердцу мои слова.

— Напрасно? — изумленно и строго протянула Артемьева. И тихо, стараясь сдерживать себя, продолжала: — Вы, адмирал, верно, не помните, что говорили? Или вам кажется, что вы еще мало кричали и мало говорили оскорбительных слов, чтобы можно было их принять к сердцу... О, разумеется, сама виновата. Ведь я не рассчитывала на такой прием... Я думала...

— Вы могли бы пожаловать в часы приема! — перебил старик, словно бы оправдываясь.

И голос его стал мягче. И сам он не походил на высокомерного, грубого адмирала.

— Знала. Но мне было необходимо говорить с вами не при публике.

— Я принял бы вас отдельно и в министерстве. Поверьте, Софья Николаевна, что я не принимаю у себя на дому...

— Значит, я была введена в заблуждение... Мне говорили, что вы принимаете. Еще на днях графиня Штейгер...

Адмирал, пойманный во лжи, смутился.

Ведь он не отказывал просительницам по-важнее и бывал с ними очень любезен.

И, вместо того, чтобы оборвать обличительницу, он почти виновато произнес:

— В очень редких случаях, Софья Николаевна...

— Так я надеялась на редкий, счастливый случай. Он был важен для меня. Мне с разных сторон говорили, что вы... добрый человек, и я поехала. Конечно, я знала, что вы бываете неразборчивы в выражениях с подчиненными. Вероятно, не сомневаетесь, что ни один из них не примет к сердцу слов человека, от которого зависит судьба... — с нескрываемою злою иронией вставила молодая женщина.

И, отдавшаяся властному чувству поруганного человеческого достоинства, грустная и скромная в смелости, она тихо и значительно, слегка вздрагивающим от сдерживаемого волнения голосом продолжала:

— Но смела ли я думать, что вы, заслуженный адмирал, станете кричать на женщину, как на матроса, и оскорблять ее, как не оскорбляют даже уличных женщин, уверенный, что можно делать все безнаказанно.

Ведь я — жена капитана второго ранга Артемьева. А что если я вдруг урожденная княжна или графиня, ваше высокопревосходительство?

Подавленный, растерянный и словно бы забывший, что он всемогущ, властен и не знает противоречий, адмирал почувствовал словно удары бича в этих, давно неслыханных им, смелых словах.

Оробевший и бессильный перед беспощадною правдой возмущенной и оскорбленной женщины, он не осмеливался остановить ее.

Что мог он сказать в оправдание своей оскорбительной грубости и бешеного крика?

Новым криком: «Убирайтесь вон!»

Но — странное дело! — теперь просительница, бросающая ему в глаза порицание, не только не возбуждает в адмирале большей злобы или мстительности мелкой душонки, а, напротив, вызывает в нем невольное уважение к смелости правдивой души, стыд перед нею и сознание своего позорного поступка.

Казалось, он был подсудимым перед строгим судьей-просительницей.

А она говорила:

— Извините, ваше высокопревосходительство, что осмелилась отнять у вас время. Я наказана за свое заблуждение... Покойный мой отец Нерешимов много помог ему, — он так хорошо вспоминал о своем прежнем капитане на «Кречете»... И я все-таки уверена, что ваш гнев за мои слова не отразится на муже. Вы этого не сделаете! — почти просила Артемьева.

Адмирал еще ниже опустил свою седую голову, словно не решался поднять своих выцветших смущенных глаз.

И молодая женщина почти мягко прибавила:

— Ведь мои слова были вызваны вами... И, быть может, когда ваше раздражение пройдет, вы убедитесь, что не все просительницы так выносливы, как ваши подчиненные. И... и вам будет стыдно.

С этими словами Артемьева хотела уйти.

Адмиралу уже было стыдно.

И стало еще стыднее оттого, что просительница, да еще дочь славного Нерешимова, его приятеля, который вышел в отставку, за-

щищая свое человеческое достоинство, даже не желает говорить о своем деле.

«А ведь у бедняжки, верно, горе... Такие безнадежные глаза. И как похожа она на отца... Такая же... характерная...» — подумал адмирал.

И, взволнованный, испуганно воскликнул:

— Не уходите, Софья Николаевна!..

В голосе адмирала звучала мольба.

И виновато прибавил:

— Простите, если только можете, виноватого старика!..

Молодая женщина не ожидала такого впечатления ее смелых слов. Она не сомневалась, что после них дело ее потеряно и не стоило обращаться к адмиралу с просьбой.

И вдруг такая перемена!

Софья Николаевна была тронута. Она уж была готова если не оправдать грубого деспота-старика, то значительно уменьшить его вину. Теперь ей казалось, что она уж слишком резко обошлась с ним, словно бы забывая, что только благодаря этому адмирал почувствовал свое бессердечие и стыд.

Сама взволнованная и смущенная, моло-

дая женщина промолвила:

— О, благодарю вас, Василий Васильич!

— Не вам благодарить, а мне... Вы проучили старика... Присядьте, Софья Николаевна... Вот сюда, на диван...

Она опустилась на диван. Адмирал сел напротив.

— Что в вами?.. Чем могу быть вам полезен, Софья Николаевна? — спросил он.

Казалось, спрашивал не сухой формалист-адмирал, а ласковый, учтивый, добрый отец, старавшийся загладить вину перед обиженной дочерью.

### III

— У меня к вам большая просьба, Василий Васильевич! — серьезно, значительно и тихо проговорила молодая женщина. И смущенно, краснея, прибавила: — Но только попрошу вас, чтобы она осталась между нами.

— Даю слово, что ни одна душа не узнает, Софья Николаевна.

— Прикажете назначить мужа в дальнейшее плавание. Я знаю, что освобождается место старшего офицера на «Воине». Муж имеет все права на такое назначение... Я прошу не про-

текции, а только напоминаю о праве.

Адмирал изумился.

Он припомнил, что муж просительницы, симпатичный, красивый блондин, еще два месяца тому назад отказался от блестящего назначения на Восток.

— Так, значит, ваш муж раздумал...

— Как раздумал?

— Он ссылался на семейные обстоятельства, когда я предлагал ему отвести миноносец в Тихий океан.

Кровь отлила от лица Артемьевой, и она решительно сказала:

— Он не хочет в плавание... Но ему необходимо идти... для его же пользы...

Адмирал пристально посмотрел на красивую женщину. Она перехватила этот взгляд, казалось ей, подозрительный, и, гордо приподнимая голову, строго промолвила:

— Я люблю мужа и семью... Оттого и прошу вас отправить его в плавание...

— Разве он?.. — сорвалось у адмирала.

— Он благородный, честный, деликатный человек! — с горячею страстностью воскликнула Софья Николаевна, словно бы вперед за-

прещая кому-нибудь сказать о муже что-нибудь дурное.

— Я знаю... Как же... И способный офицер...

— Еще бы!

— С удовольствием исполню вашу просьбу, Софья Николаевна...

— И скоро он уедет?

— А вы как хотите?..

— Как можно скорее.

— Ему будет приказано через три дня уехать к месту назначения.

— Благодарю вас, Василий Васильич!

Лицо Софьи Николаевны немного прояснилось, и она поднялась с дивана.

Адмирал крепко пожал ее руку, проводил молодую женщину до двери и, почтительно кланяясь, сказал:

— Дай вам бог счастья. Не поминайте лихом!

— Добром вспомню, Василий Васильич!

— И если я буду вам нужен... зайдите.

— Непременно. От часу до двух — в министерстве...

— И ко мне прошу.

— Разве в особо важном случае... Иначе не

ворвусь...

В прихожей Никита, подавая просительнице накидку, весело промолвил:

— Вот барыня, и слава богу...

— Вам спасибо, большое спасибо! — сердечно ответила молодая женщина.

Она полезла было в карман, но Никита остановил ее словами:

— Я не к тому, барыня... Не надо... А, значит, «лезорюция» от него вышла?

— Вышла...

— Вот то-то и есть... Только надо с ним, как вы...

— А как?

— Не давать спуску... Я слышал, как вы, барыня, отчитывали... Небось, войдет в рассудок! — довольный, сказал Никита и низко поклонился Артемьевой, провожая за дверь.

Она опустила густую вуаль, словно бы не хотела быть узнанною, торопливо спустилась по широкой лестнице и, очутившись на набережной, прошептала:

— Что ж... По крайней мере дети спасены!

Слезы невольно показались на ее глазах.

Софья Николаевна взглянула на часы. Бы-

до четверть первого.

И она наняла извозчика и попросила его ехать скорее в десятую линию Васильевского острова.

Софья Николаевна не любила, чтобы дети сидели за столом без нее.

#### IV

Два мальчика-погодки — шести и пяти лет, и двухлетняя очаровательная девочка с белокурыми волосами, веселые, ласковые и небоязливые, радостно выбежали к матери в прихожую.

Она невольно полюбовалась своими красавцами-детьми и особенно порывисто и крепко поцеловала их.

И бонна, рыжеволосая, добродушная немка из Северной Германии, и пригожая, приветливая горничная Маша не имели недовольного, надутого или испуганного вида прислуги, не ладившей с хозяевами.

Они встретили Софью Николаевну приветливо-спокойно, без фальшивых улыбок подневольных людей, видимо расположенных к Софье Николаевне, уважающих, не боявшихся ее, хотя она и была требовательная хозяй-

ка, особенно к чистоте в квартире.

Но чувствовалось, что она не смотрит на прислугу, как на рабов, и не считает их чужими.

По вешалке Софья Николаевна узнала, что мужа нет дома.

— Я только переоденусь, и подавайте, Маша, завтракать! — проговорила она обычно спокойно и ласково. — И попросите Катю, чтобы оставила для Александра Петровича цветную капусту. Нам не подавайте!

— Барин только что ушли и сказали, что завтракать не будут...

— Так пусть Катя оставит капусту к обеду.

«Уже с утра стал уходить!» — с больным, тоскливым чувством подумала Софья Николаевна и пошла в спальную.

И гостиная-кабинет с двумя письменными столами, большим библиотечным шкапом, фотографиями писателей, пианино и холеными цветами на окнах и в жардиньерке, и спальная без ширм и портьер, и две комнаты для детей и бонны сверкали чистотою, опрятностью и сразу привлекали, как иногда люди, какую-то симпатичною своеобразием.

В них даже пахло как-то особенно приятно. И воздух был чище. И дышалось легче.

Казалось, это было одно из тех редких, заботливо свитых гнезд, в котором приютился семейный мир.

Ничто в этой очень скромной обстановке не напоминало обязательно-показных гостиных «под роскошь», так называемых «будуаров», с намеками на «негу Востока» из Гостиного двора, темных, тесных детских и грязных углов, где «притыкается» на ночь прислуга.

Видно было, что здесь устроились по-своему, для себя, а не «для людей», как устраиваются «все».

Теперь это гнездо, свитое и оберегаемое любящею женой и матерью, — уже не то милое и родное, которое делало жизнь ее полною и счастливою.

Софья Николаевна переодевается и думает все одну и ту же думу, которая не оставляет ее с тех пор, как гнезду грозит разрушение. Надо спасти мужа и детей, главное — детей.

И ей кажется, что спасет, чего бы ей ни стоило.

Недаром же она решилась на долгую разлуку с человеком, который так дорог ей, которого так безумно и влюбленно любит и — что еще тяжелее — не может, по совести, обвинить его.

Напротив!

Она знает, что он боролся и старается скрыть от нее свое тяжелое настроение, как скрывает свои муки и она.

Разве виноват он, что жена больше не нравится, и ему с ней стало скучно?

Виноват разве он, мягкий и доверчивый, что верит и поддается кокетству и лести Варвары Александровны, той красивой, веселой, блестящей и нарядной женщины, которая влюбляет его в себя и сама влюбляется только потому, что Шура красив и не хочет быть ее любовником.

Он слишком порядочен, чтобы обманывать жену, как не раз обманывала Варвара Александровна своего мужа.

И Софья Николаевна не обвиняла, как большая часть женщин, соперницу, а себя в том, что муж, семь лет любивший ее и, казалось, беспредельно, не на шутку полюбил

другую.

Она слишком серьезна и слишком terre-à-terre для общительного и жизнерадостного Шуры. Она больше сидела дома, занятая детьми и заботами о гнезде.

Она знала свою власть над мужем и напрасно слишком пользовалась его безграничной привязанностью и добротой. Она сделала и его домоседом. Читал с нею, слушал ее впечатления, советовался обо всем, и они изредка ходили в театр и на лекции, всегда вместе.

И муж не раз говорил, что счастлив. Он сознавал, что под влиянием жены, и радовался, что умница Соня, его друг и желанная красавица, сделала его серьезнее, отучила его от прежней пустой жизни и заставила думать о том, о чем прежде он не думал...

И вдруг она почувствовала, что ее счастье — над пропастью.

Софья Николаевна при первом же посещении Варвары Александровны поняла, отчего муж стал хандрить и чаще уходить из дому.

Софья Николаевна таила в душе скорбь и муки ревности и ни словом, ни взглядом не

показала оскорбленной женской гордости. Она ждала, что ослепление мужа пройдет: он поймет эгоистичную, лживую натуру Варвары Александровны, и прежнее вернется.

Но прошло два-три месяца.

Муж худел и, встревоженный и тоскливый, еще более задумывался, сидя за своим письменным столом или в столовой. Еще виноватее, ласково и внимательно говорил он о разных пустяках, словно бы доктор, говорящий с приговоренною к смерти. Он чаще носил Софье Николаевне цветы и конфеты. Еще порывистее ласкал детей и вдруг срывался с места по вечерам, хотя, случалось, и собирался остаться дома.

Он не говорил жене, как прежде, куда уходит. Он молчал, не желая лгать, выдумывая какой-нибудь визит к знакомым.

Не спрашивала, как прежде, и Софья Николаевна.

Она прощалась с мужем, не целуясь, только крепко пожимала его руку, казалось, спокойная, и не глядела на него, чтобы еще более не смутить его смущенного лица.

Софье Николаевне вдруг пришла в голову

мысль, что, захваченный страстью, он может оставить ее и семью.

Недаром же он как-то тоскливо ей сказал: «Какая ты самоотверженная и благородная! Соня! Я тебя не стою!»

И тогда Софья Николаевна пришла в ужас. Решила отправить мужа в плавание, подальше от отравившей его женщины.

Ей казалось, что она думает только о нем и о детях, забывая себя.

Семь лет она была счастлива. Силой любви не вернуть. Но она должна удержать отца детям и спасти любимого человека.

Какое обрушится на него и детей несчастье, если на его шее будет две семьи? Он бесхарактерный, может запутаться и пропасть...

Будь она одна... Она не мешала бы новому его счастью и сказала бы: «Никогда не упрекну тебя. Разве виноват, что разлюбил меня?»

Так говорила себе Софья Николаевна. И в то же время иногда ей хотелось крикнуть: «Люби меня!..»

## V

На следующее утро приехал курьер.

— Зовут в главный штаб к одиннадцати

часам... Не понимаю, Соня, зачем требуют! — проговорил Артемьев приятным, мягким баритоном.

Это был среднего роста, стройный, хорошо сложенный блондин, казавшийся совсем молодым, несмотря на свои тридцать четыре года, с точно выточенными чертами красивого и привлекательного лица, с блестящими зубами и светло-русыми бородкой и пушистыми усами.

Особенно привлекательны были голубые глаза, добрые и ласковые, светившиеся умом.

Приученный женой, он уже с раннего утра, как только что встал, был в тужурке, с белоснежным воротником, повязанным регатом, чистый, опрятный и свежий, с приглаженными, слегка курчавыми светлыми волосами.

Софья Николаевна, тоже с утра одетая в черную юбку и свежую пунцовую блузку, гладко причесанная, побледневшая от бессонной ночи, побледнела еще больше при известии о том, чего вчера сама просила.

Она смотрит на милое, ласковое лицо красавца-мужа, и ей кажется, что она поторопи-

лась... спасти его... Она преувеличила опасность и напрасно ездила к Берендееву.

В разлуке муж скорее отвыкнет от нее. Она останется одна...

И молодая женщина словно бы прозрела, что ее самоотвержение, которым гордилась, было не таким благородным побуждением, каким себя обманывала, а злым, ревнивым чувством и боязнью остаться с детьми без тех средств, которыми пользуется при муже. И ее, казалось ей, необходимая предусмотрительность представилась теперь нелепой. Чувство и страсть влюбленной женщины заставили ее забыть в эту минуту все: и детей, и соперницу, и обиду не близкой жены.

И она со страхом воскликнула:

— А если какое-нибудь назначение в плавание... Ведь ты не примешь, Шура!..

— Постараюсь, Соня! — промолвил Артемьев.

Артемьеву казалось, что бедная, встревоженная Соня и не догадывается, отчего он употребит все средства, чтобы не уйти в дальнейшее плавание.

И, смущенный, он проговорил, целуя руку

жены:

— Не волнуйся заранее. Быть может, требуют по пустякам... Назначат членом в какую-нибудь комиссию...

— Но если не то... Если пошлют... Откажешься, милый?

— Непременно, Соня! — еще смущеннее вымолвил Артемьев, отводя глаза от этого бледного, красивого лица, полного выражения любви.

— И знаешь ли что, Шура...

— Что, Соня?

— Если начальство откажет...

— Тогда что делать? — испуганно воскликнул Артемьев.

— Я поеду к Берендееву и попрошу, чтобы тебя не посылали.

— Ты к Берендееву?.. Нет, не надо, Соня... Неловко, чтобы жена просила за мужа... Ты ведь сама не любишь таких протекций... Не такой ты человек, Соня... Нет, нет, ни за что! — порывисто прибавил Артемьев.

«Этого бы еще не доставало!» — подумал он.

— Хороший мой... Благородный! Ты

прав! — чуть слышно сказала Софья Николаевна. — Так выходи в отставку! — неожиданно прибавила она.

— Не отпустят... И скоро ли получишь место... И на какие деньги будем жить, Соня... Подумай...

— Уедем отсюда в провинцию... Там дешевле жить... Там легче достанешь место... Там... ты повеселеешь... Не будешь хандрить, как в последнее время...

И, деликатно-сдержанная в последнее время в проявлениях ласки, Софья Николаевна обняла мужа и, прижавшись к нему, с тоской шептала:

— Уедем, милый... Уедем!

Артемьев гладил голову жены, жалел ее и в то же время думал о веселой, блестящей и остроумной женщине, которая завладела им какими-то чарами жгучих обещающих глаз и чувственную красоту ее лица, форм и фигуры, от которых ему не избавиться. Он думал, что она полюбила его до того, что готова бросить мужа, если он оставит жену...

И он потерял голову... Он не в силах уйти от... Он называет себя подлецом перед Соней.

Она — святая, благородная женщина. Но отчетливо же она кажется ему уж не прежней чарующею, властною красавицей, и с ней уж не так легко и весело, как с Варварой Александровной? Он привязан к Соне, бесконечно любит и уважает ее. А та не такая умная, святая и честная, как Соня, и между тем... она, одна она кажется ему дорогою, любимую и желанною.

Артемьев еще нежнее стал гладить голову жены и еще ласковее говорил:

— Не волнуйся, Соня... Сейчас узнаем, зачем меня зовут... Пора ехать.

Он осторожно отстранился от объятий жены, поцеловал ее маленькую горячую руку и ушел одеваться.

— Буду ждать тебя к завтраку! — сказала Софья Николаевна, провожая мужа.

Через час он возвратился совсем подавленный. Софья Николаевна была бледна, как смерть.

— Надо уезжать, Соня! Назначен старшим офицером на «Воина».

— А в отставку?..

— Просился. Отказали.

— Хочешь... я поеду к Берендееву.

— Нет... нет. Спасибо, Соня... Это невозможно...

И, целуя особенно нежно руку жены, точно прося в чем-то прощения, вдруг раздумчиво промолвил:

— Быть может, и лучше, что в плаванье!

Через три дня Артемьев уехал в Одессу, чтобы там сесть на пароход Добровольного флота и идти на Дальний Восток.

## VI

На другой день после памятного старому адмиралу визита Софьи Николаевны, Берендеев во втором часу сидел в своем кабинете и, слегка наклонив голову, внимательно и с удовольствием слушал доклад своего любимого помощника и советчика, начальника главного штаба, вице-адмирала Ивана Сергеевича Нельмина.

По обыкновению, он докладывал коротко, обстоятельно и почтительно-настойчиво, казалось, любуясь собой и видимо щеголяя своим деловитым красноречием и умением не раздражать «старого дятла», как называл про себя Нельмин своего начальника.

Это был высокий, плотный и еще очень

видный, совсем заседевший брюнет с молоджавым лицом и молодыми, слегка наглыми глазами, без бороды, с выхоленными усами, щеголевато одетый, благоухающий духами, с крупным брильянтом на мизинце.

Еще не особенно давно известный во флоте ругатель и «дантист», — он тогда словно бы нарочно щеголял грубоватостью и откровенной резкостью прямого «отчаянного моряка», носил фуражку на затылке, свысока смотрел на береговых моряков, признавал тогда только портер и херес, к женщинам относился с циничным высокомерием холостяка, с приподнятым негодованием возмущался «безобразиями» во флоте, бранил за глаза высшее начальство и не раз говорил, что «плюнет на все» и выйдет в отставку. Невмоготу такому человеку!

Однако Нельмин в отставку не выходил.

Несмотря на его негодующие речи, он умел ладить с высшим начальством, которое часто посылало хорошего моряка в плавания, и в то же время пользовался среди мичманов репутацией лихого и независимого капитана, который не выносит ни малейшей подлости и

готов пострадать за правду.

Обворожил Нельмин и двух влиятельных высокопоставленных лиц гражданского ведомства, которые как-то приехали в Кронштадт и посетили броненосец под командой Нельмина. Он показался им настоящим симпатично-грубоватым «*loup de mer*»[31], гостеприимным, прямым и открытым, чуждым хитрости и чиновничьей угодливости. Он любит только море и родной ему флот. А до остального ему нет дела.

И Нельмин, как говорили сообразительные моряки, «не зевал на брасах». Товарищи его, не смевшие и думать о цивических чувствах, тянули служебную ляжку, еще выплачивая ценз на контр-адмиральский чин, а Нельмин уже был вице-адмиралом и вовремя смекнул, что в те времена «морские волки» на берегу далеко не имеют привлекательности.

И Нельмин уже не кричал о «безобразиях», но зато писал, едва справляясь с изложением своих мыслей, записку об истинных задачах флота и лучших типов судов, стал вдруг считать себя очень знающим техником и умным

государственным человеком. Словно бы в пик у Берендееву, Нельмин стал доступен, изысканно вежлив с подчиненными, при случае говорил о русской исконной политике, русском железе, русских заводах, строящих русские крейсера, стал одевать фуражку на лоб, как старый холостяк, обедал часто у Донона с шампанским, бывал на технических заседаниях и с ловкостью и наглым бесстыдством «сухопутного волка» интриговал, где возможно, против старого адмирала.

Многие моряки, знавшие Нельмина раньше, когда он «геройствовал» и «разносил» даже титулованных мичманов, сынков влиятельных отцов, удивлялись перемене прежнего независимого ругателя.

Только более наблюдательные люди и прежний министр, которого особенно бранил Нельмин, хорошо знавшие искренность его благородного негодования и цивических чувств, посмеивались и говорили, что Нельмин хоть и не отличается большим умом, но всегда был большой шельмой и отличным капитаном.

И все думали, что Нельмин скоро посадит

на мель старика, и не ждали ничего хорошего от будущего начальника.

## VII

Берендеев одобрил доклад своего любимца и спросил:

— Артемьева назначили старшим офицером на «Воина»?

— Точно так, ваше высокопревосходительство. Он имеет все права на плавание. Сегодня утром я объявил ему о назначении и предложил, согласно вашему приказанию, уехать через трое суток.

— И что же? Отлынивал?

— Да. Очень просил не посылать в Тихий океан.

— Разнесли его, конечно, Иван Сергеич?

С особенной аффектацией служебной почтительности, скрывавшей и зависть и снисходительное презрение честолюбивого интригана к старому отсталому адмиралу, Нельмин ответил:

— Я выслушал мотивы его просьбы, нашел их неосновательными и объявил ему, что не могу доложить об его просьбе вашему высокопревосходительству... Вы изволили его на-

значить... И, разумеется, не измените своего приказа без особо уважительных причин.

— Конечно, конечно! — поддакнул Берендеев. — И какие мог он привести причины?

— Разумеется, будто бы важные семейные обстоятельства! — И с циничной улыбкой Нельмин прибавил: — Я, ваше высокопревосходительство, догадываюсь, какие это важные семейные обстоятельства, из-за которых этому красивому молодчине не хочется уезжать из Петербурга... Да еще на Восток... Любоваться китаянками и японками или таким «бабцем», как начальница эскадры Тихого океана, при которой адмирал — вроде вестового.

Старый адмирал поморщился.

У него сохранились еще некоторые правила, едва ли знакомые многим чиновным людям того времени, более приспособленным к жизни на берегу и обладающим большими административными талантами, чем Берендеев, пробывший полжизни в море. Он брезгливо останавливал разговоры, имеющие характер сплетни, наговора или злоязычия, про сослуживцев, и особенно гневался, если кто-

нибудь из желающих прислужиться адмиралу начинал передавать ему то, что о нем говорят, или кто его бранит. Тогда старик резко обрывал и негодуя кричал:

— Мне не нужны сыщики. Я адмирал русского флота, а не начальник сыскного отделения!

На этот раз, благодаря визиту Артемьевой и ее странной, непонятной просьбе об отправке мужа, Берендеев сконфуженно спросил:

— О чем же вы догадываетесь, Иван Сергеич?

— Вы ведь не любите, ваше высокопревосходительство, все то, что изволите называть неслужебными разговорами...

— Все-таки... говорите, Иван Сергеич.

«Небось, и „старый дятел“ разрешил себе любопытство!» — насмешливо подумал Нельмин. И, довольный, что может рассказать нечто пикантное в его вкусе, Нельмин весело улыбнулся и, выдержав паузу, спросил:

— Изволили видеть Каурову, ваше высокопревосходительство?

Старик утвердительно кивнул головой. Эта несимпатичная ему дама бывала у его жены.

— Недаром ее прозвали «великолепной Варварой»... Невредная барынька... «Юнонистая», обворожительная и знает, чем довести до ошаления и старого и малого. Ну, и с темпераментом, и без предрассудков. Мужу еще два года плавать на Востоке... Не оставаться же «великолепной Варваре» безутешной вдовой... Артемьев и втюрился... Каурова и обрадовалась отбить такого красавца от жены... Та — очень пикантная брюнетка... Но строга... Своего благоверного только и признает... Он и взбунтовался... «Великолепная Варвара» и сама влюбилась... По крайней мере и прежнего своего обожателя второй молодости не удержала для контенанса и подарков... Уволила по третьему пункту...

Старый адмирал понял странную просьбу Артемьевой и только удивился, как Артемьев мог променять свою жену на Каурову.

Но зато как противен был Берендееву этот игриво-циничный тон своего любимца.

И, прерывая Нельмина, он с упреком проговорил:

— Пакостно вы думаете о женщинах, Иван Сергеич.

«Я не такая фефела, как ты, „старый дятел“, влюбленный в свою продувную адмиральшу!» — мысленно промолвил Нельмин.

И, словно бы извиняясь за свои взгляды на женщин, сказал:

— Старому холостяку это простительно, ваше высокопревосходительство.

— Все-таки... Женщина... Мало ли врут на женщин... Пожалеть надо чужую репутацию...

— Могу уверить, ваше высокопревосходительство, что репутация «великолепной Варвары» прочно установлена. Я хорошо это знаю... — подчеркнул Нельмин, значительно усмехнувшись, словно бы намекая, что был близок с Кауровой.

С этими словами он поднялся с кресла и почтительно-официальным тоном спросил:

— Не будет никаких приказаний, ваше высокопревосходительство?

Старик задумался, словно бы припоминая что-то, что нужно сказать, озабоченно нахмурил брови и забарабанил по столу сморщенными, костлявыми пальцами. И длинный нос его точно нюхал воздух.

— Кажется, ничего! — нерешительно протянул Берендеев, взглядывая на часы.

Он вспомнил, что у него одно очень неприятное решение и что его ждут другие доклады, хотел было отпустить Нельмина, как вдруг спохватился и, довольный, что вспомнил, расправил брови, перестал барабанить и торопливо сказал:

— Ведь в пять часов встреча персидского шаха?

— Точно так, ваше высокопревосходительство. На Варшавском вокзале.

— Так, пожалуйста, поезжайте встретить вместо меня шаха, Иван Сергеич... Вы помоложе... А старику одевать мундир и тащиться на вокзал и утомительно, и жаль тратить время... И то заболтался с вами о пустяках.

— Слушаю-с, ваше высокопревосходительство!

Видимо довольный приказанием, — Нельмин еще не имел брильянтовой звезды «Льва и Солнца» и рад был случаю показаться в блестящем обществе придворных сановников, — он почтительно пожал протянутую руку старика и молодежато, высоко подняв голову,

вышел из кабинета.

## VIII

Берендеев, по обыкновению, сидел в министерстве до шести часов. По утрам и по вечерам он работал дома. Все только удивлялись неугомонности и выносливости семидесятилетнего старика.

С обычной добросовестностью принимал он доклады начальников управлений, рассматривал чертежи техников, выслушивая их объяснения и стараясь уяснить себе, и нередко должен был решать вопросы, которых не понимал вполне и решения которых подсказывались докладчиками. Он читал донесения, записки и просьбы, подписывал, разрешал, отказывал, — одним словом, делал все то разнообразное и многочисленное дело, за которое считал себя ответственным не только перед высшей властью, но и перед своей совестью, и которое старался делать на основании закона и ради пользы любимого им флота.

Берендеев вникал во все — и в важное и крупное, и неважное и мелкое, все хотел понять, всегда старался сэкономить казенную

копейку, писал циркуляры о правильности расходов топлива и материалов. Сам безукоризненно честный, он обещал строго преследовать злоупотребления и очень брезгливо относился к посяганиям на казну под разными, казалось, благовидными предлогами.

Весь отданный работе и заботам, расплываясь в мелочах и желавший все делать сам, он упускал из вида или не имел общего плана, и в его деятельности, полной неутомимой энергии, не чувствовалось объединяющей мысли. Он точно делал Сизифову работу и не представлял себе ее значения.

Когда он был командиром судов и начальником эскадры, он знал, что ему нужно было делать и для чего он делал. Не сомневался в своем умении управлять кораблем и эскадрой и переносить шторм или вести ее в бой, уверенный в матросах и офицерах.

И в море он был и спокоен, и в отличном расположении духа, и не знал ни сомнений в себе, ни раздражительной грубости и подозрительности к подчиненным.

Берендеев любил власть и давал ее чувствовать в море не столько по праву положе-

ния, сколько по праву знания, находчивости и неустрашимости. Но он не знал той влюбленности в свою власть и в то же время той неуверенности в ее нравственной силе, которые явились на берегу в лихом моряке, сделавшемся государственным человеком.

И в редкие минуты, когда Берендеев отрывался от работы, которою он сам себя добросовестно изводил, он испытывал сомнения в плодотворности и даже нужности всего того, что делает, и в такие минуты думал, что вся его работа, которой нет конца, все его старания и усердие, все его циркуляры, выговоры и «разносы» не достигают цели. И старику кажется, что он один в поле не воин, и что положение не по его силам.

Тогда он и сам, казалось, не был вполне уверен в необходимости именно тех многомиллионных броненосцев, которые он разрешает строить по примеру других стран и которые подвергаются по временам критике в печати.

Но какой нужен России флот, какие типы судов лучшие? Берендееву некогда было думать об этом, да он и не мог бы предложить

что-нибудь другое, неуверенный в пользу того, чего сам не знает.

Он видел, что талантливых командиров нет. Более способные думали о собственном благополучии. Служба для них была не целью, а средством для карьеры и добывания возможно большего содержания. Фокусники, как называл Берендеев тех, которые старались выдвинуться чем-нибудь не ради дела, а только для того, чтобы о них кричали, возбуждали в старике презрение, и проект ледокола для плавания к Северному полюсу, представленный ему, казался старику нелепостью и «фокусом» для моряков.

Берендеев часто посещал суда, делал смотры, ходил на несколько дней в плавания и находил, что, благодаря системе ценза, хороших капитанов мало, и способные офицеры бегут из флота. Он со стыдом узнавал, что броненосец потонул среди белого дня оттого, что наскочил на камень. И где же? В Финском заливе, где, казалось, многолетние промеры должны были найти камень и оградить его! Каждое лето он получал телеграммы или рапорты о том, что суда притыкались к не нанесен-

ным на карты камням или просто «напарывались» по беспечности или нераспорядительности самих же моряков. С ужасом узнавал старик о злоупотреблениях командиров и ревизоров в дальних плаваниях и о систематических кражах в каком-нибудь порте...

И Берендеев отдавал виновных под суд, писал более убедительные циркуляры, призывая к чувству долга, снова работал, не покладая рук, и снова сомневался в своей способности управлять флотом, когда на его честную седую голову опять падало известие о каком-нибудь громком злоупотреблении или о какой-нибудь халатности, воистину преступной.

И были минуты, когда он считал обязанностью уйти от власти.

С доблестью прямодушного человека он докладывал правду, считал во всем виноватым себя и свою неспособность и взволнованно просил заменить его более способным и достойным человеком...

— А кем?

Честного старика успокаивали, просили продолжать свою неусыпную, безукоризнен-

ную деятельность, и он оставался, еще более работал, во все вникал, все выслушивал, решал, подписывал, ворчал, пылил и грубо разносил с распущенностью избалованного подбострастием деспота, раздражался и бешено негодовал, как честный человек, чувствующий по временам себя как в лесу и сознающий свое бессилие.

В седьмом часу, совсем уставший, Берендеев вернулся домой, и тотчас же подали обедать.

Он был в духе сегодня. После супа он с боязливой неясностью пошутил с «Милочкой», как звал старик свою жену, Людмилу Ивановну, величественную, с необыкновенно крупными формами даму, еще моложавую для своих сорока лет, с красивым, хорошо подкрашенным лицом и волоокими подведенными глазами.

Сказал несколько слов и племяннице жены, очень молодой вертлявой девушке, невесте гвардейского офицера, уже собиравшегося выйти в отставку и просить у будущего дяди приличного места. По крайней мере «тетушка» обещала устроить. Недаром же старик лю-

бил и побаивался своей супруги — и главное — ее истерик.

После обеда Берендеев, по обыкновению, поцеловал крупную, надушенную руку, унизанную кольцами, и пошел «вздремнуть», как адмиральша вошла за мужем в кабинет и сказала:

— Коля брат был утром. Он, бедняга, обижен... Уж ты устрой его... Я обещала...

— Что обещала, Милочка?

— Что ты назначишь его старшим офицером на «Воина». Он имеет все права, а между тем Нельмин не назначает его... Это ведь свинство...

— Старший офицер уже сегодня назначен. А насчет прав твоего брата велю доложить...

— Так можно отменить, Вася, — с вкрадчивой нежностью сказала адмиральша.

— Не могу, Милочка.

— Но я прошу...

— Право, нельзя.

— Для меня? — удивленно спросила Людмила Ивановна.

— И для тебя... Артемьев назначен на законном основании.

— Скажите, пожалуйста... Верно, Нельмин на тебя повлиял... И ты слушаешь... Отмени распоряжение... Слышишь?

— Не путайся не в свои дела, Милочка...

— Так ты так-то ценишь меня?.. Так любишь?

И адмиральша выбежала.

Через минуту Никита доложил, что у барыни «истерик».

Адмирал, однако, сегодня послал камердинера к черту и лег спать.

Когда через час Берендеев встал, Никита, подавая своему барину стакан чая с лимоном, весело доложил, что «истерик» благополучно прошел, и у барыни гости.

И обрадованный старик прошел в кабинет и сел к письменному столу.

## IX

В погожее декабрьское утро пароход Добровольного флота входил в Нагасаки.

Среди нескольких английских, французских и японских военных судов были и два русских: внушительный и неуклюжий, весь черный гигант-броненосец «Олег», под контр-адмиральским флагом на голой мачте с бое-

вым марсом, и рядом весь белый трехмачтовый красавец-крейсер «Воин», с высоким рангоутом и с двумя слегка наклоненными трубами.

Пароход отдал якорь.

Артемьев простился с капитаном, офицерами и пассажирами-спутниками из Одессы и отправился на «Воина».

Хотя моряк и считался способным офицером, но он поглядывал на изящный и блестящий крейсер без профессионального удовольствия.

Напротив.

Невеселый, он думал о двух годах вдали от «великолепной Варвары», да еще стоянок на японских и китайских рейдах или во Владивостоке — далеко не интересном главном порте нашей окраины.

Артемьев бывал уже здесь.

Еще холостым лейтенантом служил он на броненосце и не забыл, как пошло, глупо и бесцельно проводил он время, стараясь избыть скуку рейдовой службы.

Ему казалось, что морская профессия не имела того смысла и той прелести, о которых

говорили моряки другого поколения, плававшие в шестидесятых годах.

Эти дальние плавания, эта полная опасностей служба закаливали характер и воспитывали тот морской дух, который не имел ничего общего с его безразличным отбыванием служебных обязанностей.

Тогда и на флот повеяло свежим воздухом шестидесятых годов. Моряки словно бы прозрели, что матросы — люди. И многие стыдились того, что еще недавно казалось таким простым, обыкновенным и необходимым: и жестокости, и бессмысленно строгой муштры, и своего невежества обо всем, кроме своего ремесла.

Тогда находились редкие адмиралы и капитаны, которые умели делать службу осмысленною, а не каторгой или тоской, и в то же время заставляли своим влиянием молодых офицеров видеть в чужих странах не одни только рестораны и туземных кокоток.

И где только не пришлось побывать морякам в прежних дальних плаваниях!

И поездки в Лондон и Париж из портов, куда заходили суда, и южная загадочная Индия,

и Калифорния с ее сказочно выросшим «Фриски», и быстро сделавшаяся из страны каторжников свободная и богатая Австралия, и роскошь островов Зондского архипелага и Тихого океана — все это было действительно поучительным отдыхом после длинных иногда и бурных нередко океанских переходов.

Зато они хорошо знакомили русских моряков со штормами и ураганами и поднимали в них чувство хладнокровия, неустрашимости и долга в этой борьбе человека с расшвыряпавшим стариком-океаном, грозившим со стихийною жестокостью смертью.

И берег манил многих моряков иначе, как манил моряков другого поколения. Тем было стыдно не прочесть чего-нибудь о стране, куда шли, не повидать чего-нибудь действительно интересного, не сравнить чужой жизни и обычаев с нашими и подчас не задуматься о том, о чем и не думалось.

И сама прелесть роскошной природы, и этот то бурный, то ласково рокошущий океан, и высокое бирюзовое небо, и восход и закат солнца, и дивные серебристые ночи с бесстрастно-томным месяцем и мириадами лас-

ково мигающих звезд — все, все, казалось, говорило и пело о чем-то приподнятом, умиленном и хорошем более чуткой и проникновенной душе моряка от более частого его общения с природой.

Эти плавания оставались часто прелестными воспоминаниями.

Артемьев мог вспомнить о своем первом дальнем плавании, как и большая часть сослуживцев, как о чем-то тусклом, скучном и неприятном.

Часто чинили машину броненосца. Трусили на переходах. Однообразны, скучны были долгие стоянки на Дальнем Востоке. Плавали редко, ради осторожности капитана, боявшегося и перетратить уголь, и испортить благополучие своих плаваний, и следовательно карьеру.

Неуверенный в умении управлять своим броненосцем, стоящим миллионы, он не любил плавать и недолюбливал моря. Недаром же его называли «цензовым» моряком. Добродушно лукавый, не строгий по службе и даже слегка заискивающий у офицеров, как человек, у которого есть какие-то секретные фами-

льярные отношения к казенным деньгам, он только «выплювывал» ценз, чтобы поскорее быть произведенным в контр-адмиралы с увольнением по семейным обстоятельствам в отставку, — благо честолубия в нем не было и деньжонки припасены. С таким подспорьем к пенсии можно жить скромненько с семьей хотя бы и в Петербурге.

Молодой лейтенант три года на Дальнем Востоке добросовестно служил, исполняя нехитрые обязанности вахтенного офицера и не питая уважения к своему капитану.

Мягкий, добрый по натуре сам, он не наводил страха на матросов, но «умывал руки», когда другие наводили его. Не его дело, хотя и неприятно.

Он не думал, как и большая часть людей, ни о задачах и правилах жизни, ни о том равнодушии ко злу, личному и общественному, которое испытывал и сам и видел в сослуживцах и в товарищах. Он только смутно понимал и чувствовал, что не так благополучна жизнь, и что на морях, как и на всех интеллигентных людях, отражаются общие веяния, понижающие нравственные и общественные

запросы.

Недаром же ему были несимпатичны и неразборчивость средств в погоне за карьерой, положением и деньгами, и те успехи наглости, лицемерия и невежества, которые невольно бросались в глаза и в обществе, и среди моряков, и среди тех корреспондентов, называющих себя литераторами, которые выхваляли «чудеса техники и деятельность высшего морского начальства», и в газете, которую по привычке Артемьев читал и на Дальнем Востоке.

И Артемьев отбывал службу на броненосце и старался избыть скуку на берегу. Там вместе со всеми дулся в карты, покучивал и, после ужинов, обильных вином, «любил» и китаянок, и японок, и заезжих француженок, и англичанок, и русских быстро влюбляющихся окраинных дам.

Он не особенно разбирал достоинства и прелести женщин, но зато и забывал их на следующий день. Только встреча после возвращения в Россию с Софьей Николаевной и любовь к ней, непохожая на прежние авантюры, заставили взглянуть на себя, одуматься

и о многом задуматься... И семь лет пронесли так счастливо!

А теперь?..

«Ужели он такой „подлец“, что не может ни сбросить с себя чар „великолепной Варвары“, ни признаться „святой Софии“, что она нелюбимая, и они должны разойтись?»

Такие мысли пробегали в голове Артемьева, когда ему живо представилось последнее прощание с Варварой Александровной, вдруг сделавшейся «Вавочкой». Словно бы в доказательство своей любви, она вдруг решилась «забыть для него первый раз в жизни долги жены», и горячею лаской еще более отравила доверчиво влюбленного моряка.

## Х

Когда Артемьев подъехал к крейсеру, там пробили две склянки.

Был час дня. После обеда команда отдыхала. Кроме вахтенного офицера и нескольких вахтенных матросов, наверху — ни души.

«Видно, не обрадовались новому старшему офицеру!» — подумал Артемьев, приставая к борту.

Щегольски одетый, в белой тужурке, мич-

ман, в фуражке по прусскому образцу, входящему в моду, безбородый, с закрученными кверху усами, недурной собой, бойкий и не без апломба на вид молодой человек, резким, отрывистым голосом вызвал фалгребных и встретил Артемьева, приложив с официальной напускною серьезностью к козырьку свои выхоленные белые пальцы с несколькими кольцами на мизинце и не без церемонного любопытства рассматривая нового старшего офицера.

О назначении Артемьева на «Воина» уже знали из телеграммы, полученной из Петербурга капитаном.

— Командир дома? — спросил Артемьев, протягивая руку.

— Дома. Только что позавтракал. Верно, еще не спит.

Этот бойковатый, навязывающийся на фамильярность мичман, напомнивший Артемьеву новый во флоте тип «аристократических сынков» и хлыщей, которые рисуются декадентскими взглядами, хорошими манерами, — не понравился Артемьеву, и он с большею сухостью проговорил:

— Велите принять со шлюпки мои вещи и пошлите доложить командиру, что я прошу позволения явиться к нему.

И мичман, уже скорее с почтительным видом подчиненного, промолвил:

— Есть. Прикажете снести в вашу каюту?

— Разве старший офицер уехал?

— Две недели тому назад! Уж мы целый месяц стоим здесь! — прибавил мичман.

И, иронически почему-то усмехнувшись, отдал приказания.

Через минуту сигнальщик доложил:

— Командир просят в каюту!

Артемьев пошел вниз, а мичман Непобедный решил, что новый старший офицер — не из «порядочного общества». Да и фамилия!.. «Что такое Артемьев?» — проговорил мичман.

— Честь имею явиться. Назначен старшим офицером!

Кругленький, толстенный, небольшого роста, упитанный человек лет сорока, в ту-журке, с большою бородой, маленькими живыми глазами, лысый, с маленьким брюшком и добродушным лицом, точно сорвался с ди-

вана и торопливыми, суетливыми шажками приблизился к Артемьеву и протянул пухлую, с ямками, короткую руку.

И, как будто о чем-то вспомнив, он вдруг принял серьезный начальнический вид командира, то есть нахмурил лоб, откинул кверху свою круглую голову, приподнялся на носках, словно бы стараясь казаться выше ростом, и неестественно внушительным тоном, который казался ему необходимым по его положению и который сам казался ему и не к месту и стеснительным, проговорил, слегка понижая свой крикливый голос:

— Получил о вашем назначении телеграмму... Очень рад... Знаю по вашей репутации... Уверен, что приобрету в вас хорошего помощника... И... тому подобное...

Капитан запнулся и несколько раз повторил: «И тому подобное», — слова, которыми несколько злоупотреблял и не всегда кстати.

Но, словно бы убедившись, что играть в начальника и приискивать глупые слова совершенно достаточно, он приветливо растянул рот, открывая блестящие зубы, улыбнулся и глазами и лицом, пригласил садиться и

радушно спросил, завтракал ли Александр Петрович, и, узнав, что Артемьев завтракал, предложил рюмку «мадерцы».

Артемьев отказался и от вина.

— Так стакан чайку... Эй, Никифоров! Чаю! У меня отличный коньяк... Надеюсь, мы поладим и ссориться не будем. Не люблю я, Александр Петрович, ссориться... И без того здесь отчаянная скука... Вот увидите... Так чего еще ссориться! Мне год отзванивать ценз... А вы на сколько лет к нам?

— На три! — недовольно протянул Артемьев.

— Долгонько!

И капитан меланхолически свистнул.

— Ведь и вы, Александр Петрович, женаты. И я имел честь встречать вашу супругу. Конечно, не в разводе?.. — шутливо прибавил Алексей Иванович.

— И не разведен, и трое детей, Алексей Иванович!

— В некотором роде: «бамбук»!

Толстый капитан зажмурил глаза и рассмеялся необыкновенно добродушным, заразительным и приятным смехом.

— Просились сюда? — уверенно спросил он.

— Назначили. И никак не отвертелся, Алексей Иванович, — смеясь, ответил Артемьев.

И подумал:

«Добрый человек этот Тиньков. С ним, конечно, будем ладить!»

— А я, батенька, просился. Пять детей детворы, — я ведь большую часть службы отставался по летам на мониторах в Транзунде! — довольно усмехнулся при этом капитан. — Ну, долги... И тому подобное... Надел мундир и к Берендееву... Понимаете?.. Поневоле попросишься и в эти трущобы...

Вестовой подал чай. Алексей Иваныч подлил *fine champagne*[32] гостю и подлил себе.

Видимо обрадованный, что может поболтать с новым порядочным человеком, да еще с помощником, с которым можно нараспашку посудачить о высшем начальстве, капитан начал расспрашивать о том, что нового в Петербурге и в Кронштадте, остается ли Берендеев на своем месте, или, в самом деле, назначат Нельмина («Порядочный-таки прохвост и

все такое!» — вставил Алексей Иванович), и, узнавши от Артемьева, что Берендеев не уходит, капитан, вероятно, по случаю такого приятного известия, подлил себе еще коньяку и подлил гостю и, отхлебнув чаю, проговорил:

— По крайней мере наш старик — не шарлатан. Честный и справедливый, и работающий. Ему не смеют нашептывать... И тому подобное... Шалишь...

Посудачив с удовольствием о разных начальниках центрального управления, Алексей Иванович познакомил своего старшего офицера и с начальником эскадры, контр-адмиралом Парменом Степановичем Трилистниковым.

— Ничего себе... Не разносит. Любит только, чтобы матросы громко и радостно встречали. А на ученьях не придирчив. И сам небольшой до них охотник... Кажется, только и думает, как бы окончить свои два года и вернуться. Одним словом, был бы спокойным адмиралом, если бы не адмиральша...

— А что?

— Увидите... Она ведь здесь, на «Олеге»... Дама воинственного характера. Вроде Марфы

Посадницы... И все такое... Перед ней адмирал пас... А она всегда с адмиралом будто с бескозырным шлемом в руках. И чтобы подчиненные ее боялись... Очень апломбистая! Всякую смуту заводит на эскадре... Запретили бы в Петербурге начальникам эскадр своих жен... Только наш адмирал краснеет, а выйти из-под начальства адмиральши не смеет... Она и переводит и назначает офицеров. К одним благоволит, других не любит. Понимаете... Все-таки военный флот, и вдруг баба!.. Нехорошо!..

— Совсем гнусно... Уж я слышал.

— И еще, слава богу, эта самая Марфа Посадница, с позволения сказать, — сапог и под пятьдесят... Даже матрос после долгого перехода не влюбится... И все подобное... А что если бы такая начальница да была молодая и обворожительная, вроде «великолепной Варвары»? Что бы вышло?..

— Какой «великолепной Варвары»? — порывисто спросил Артемьев.

— Да вы, Александр Петрович, разве не знаете... Варвару Александровну Каурову?

— Встречал! — ответил Артемьев и густо

покраснел.

— То-то и есть... Я и говорю, что бы вышло... Мне нет дела до ее там конституции с мужем, когда он плавает, а она на берегу. Но знаю, что поклонников у «великолепной Варвары» всех чинов, от мичмана до вице-адмирала, много. И скотина Нельмин еще сам хватал...

— Он лжет! И вообще лгут на нее! Она порядочная женщина! — перебил Артемьев.

— Да вы что кипятитесь, Александр Петрович. Я... И тому подобное... Вовсе и не думал что-нибудь. И очень уважаю человека, как вы, который бережет репутацию женщины... И тому подобное...

Алексей Иванович говорил растерянно и испуганно. Артемьеву стало жаль Алексея Ивановича.

И он сказал:

— Я уверен, что вы, Алексей Иванович, не станете чернить женщину без доказательств. Не такой же вы человек... Меня раздражил Нельмин... Скотина!..

— Отъявленная скотина!..

Капитан, конечно, уже не продолжал речи

о «великолепной Варваре» («Быть может, еще родственница!» — подумал Алексей Иванович, тоже ухаживавший за ней, хотя и безуспешно) и счел своим долгом порекомендовать своему старшему офицеру команду.

— Старательная и исправная. Слава богу, не ссоримся. Крейсер в должном порядке, и до сих пор, ничего себе, все было благополучно. И офицеры исправно служат. В кают-компании нет ссор. Ну, разумеется, на берегу покучивают, развлекаются и все подобное... Что тут делать!? Только об одном прошу вас, Александр Петрович! — прибавил капитан.

— Чего прикажете, Алексей Иванович?

— Подтяните вы мичмана Непобедного и еще некоторых... Уж я делал им выговоры, грозил отдать под суд. И... черт их знает!.. Видно, не очень-то боятся меня! — сконфуженно проговорил капитан.

— А чем вы ими недовольны, Алексей Иванович?..

— Раздражают и оскорбляют матросов... Жестоко бьют... И выдумывают новые наказания... И все подобное... Против закона... И вообще... воображают... Особенно мичман Непо-

бедный... Хлыщ и нахал!..

— Слушаю-с...

И Артемьев поднялся.

— Не забудьте сейчас достать мундир и явиться к адмиралу и адмиральше. Может быть, узнаете, пошлют ли нас в отдельное плавание на Север... Адмирал собирался...

— Все-таки лучше, чем стоять в здешних дырах!

— Зато спокойнее... Я ведь привык к спокойным стоянкам, — краснея, промолвил капитан. — Обедать прошу ко мне, Александр Петрович.

И вдруг побежал к письменному столу и принес Артемьеву два письма: одно толстое, другое потоньше.

Алексей Иванович извинился, что чуть было не запамятовал порадовать Александра Петровича вестями с родины.

Письма были получены две недели тому назад с английскою почтой.

Артемьев взглянул на два конверта и, обрадованный, сунул их в карман и прошел в кают-компанию.

Он представился всем бывшим там: двум

лейтенантам, механику, доктору и иеромонаху, обменялся рукопожатиями и приказал вестовому прежнего старшего офицера открыть сундуки и достать мундир, трехуголку, эполеты и саблю.

И пошел в свою просторную, светлую каюту читать письма.

Он сперва жадно проглотил небольшое душистое письмо, полное коротких, размашистых фраз, таких же волнующих, чувственно-кокетливых, какими была вся она, и полное восклицательных знаков, словно бы усиливающих силу первого увлечения «великолепной Варвары».

Она писала о последнем прощании, когда пожертвовала всем ради его любви, и надеялась, что жертва ее не забудется милым, безумно любимым. Только он заставил ее понять настоящую любовь и отвращение к мужу... И она обещала при первой же возможности приехать в Нагасаки... Она «переговорит обо всем с мужем», вымолит развод, и тогда...

Следовал ряд восклицательных знаков и подпись: «Твоя».

Потом Артемьев, еще не успокоившийся от

волнения, стал читать большое, сдержанно-любящее, дружеское и умное письмо Софьи Николаевны.

Ни одного восклицательного знака. Ни одного упрека. Ни одного звука об ее отчаянии, любви и влюбленности.

В письме Софья Николаевна больше писала о детях и умела схватить и передать их характерные черты. Извещала, что дети здоровы, часто вспоминают и говорят об отце, описывала их обычную жизнь и затем сообщала о новостях общественного характера, о новой интересной книге.

В пост-скрипtum Софья Николаевна сообщила, что в последний ее обычный вечер в опере она видела двоюродного брата Вики, только что вернувшегося из Японии с молодой, очень милой женой англичанкой, «обещали быть у меня», — да встретила в фойе Каурову, по обыкновению, элегантную, блестящую и очаровательную, и с ней Нельмина.

Кстати об этом несимпатичном карьеристе. Вики рассказывал, будто Нельмина назначает товарищем Берендеева. Это — как бы преддверие... Неужели Берендеев не раскусил

этого интригана?..

Письмо жены Артемьев прочел с интересом, со спокойною радостью за близких и с каким-то невольным чувством виноватости и в то же время некоторой враждебности, именно потому, что он не мог не сознавать, какая его жена хорошая и чудная женщина.

Но, когда он прочитал пост-скрипtum, это чувство враждебности и виноватости усилилось.

Артемьев снова схватил письмо «великолепной Варвары» и стал его перечитывать.

Каждая строка, казалось, дышавшая страстью, вызывала в нем и чары ее красоты и острое, жгучее, ревнивое чувство мужчины. И он приходил теперь в бешенство при мысли о Нельмине, которого встречал у Кауровой, и напрасно гнал он от себя мысль о том, что Каурова не могла быть чьей-нибудь любовницей кроме него.

К чему тогда это письмо?.. Это признание?

— Одежда готова, вашескобродие, — доложил вестовой, входя в каюту.

— Скажи на вахте, чтобы приготовили вельбот.

— Есть!

Через четверть часа Артемьев входил в адмиральскую каюту на броненосце и, к изумлению своему, увидел только одну адмиральшу.

## XI

«Однако!?» — мысленно воскликнул Артемьев при виде «начальницы» эскадры Тихого океана.

И стал мрачнее.

Он поклонился и, сделав несколько шагов, остановился у круглого стола, посредине роскошной адмиральской приемной, в почтительном отдалении от адмиральши.

Она сидела, строгая и высокомерная, в кресле у балкона, из раскрытых широких иллюминаторов которого, словно из рамок, выглядывали и сверкавший под солнцем, рябивший рейд, и голубое небо, и зеленеющий берег.

В ожидании адмирала, Артемьев нетерпеливо взглядывал на боковую дверь каюты.

Среди мертвой тишины из-за дверей вдруг донесся тихий, меланхолический храп.

«Зачем же приняли? Ведь не к адмираль-

ше пришел являться старший офицер?» — подумал раздраженно молодой моряк.

Да он и не имеет ни малейшего желания знакомиться с этой, едва ему кивнувшей своими взбитыми кудерками, маленькой и коренастой «волшебницей Наиной» с огромными, «выкаченными», как у лягушки, глазами, неподвижно-строго устремленными на него, с крупной бородавкой на широком, слегка приплюснутом носу и с редкими черными усиками на укороченной «заячьей» губе, открывающей такие ослепительно белые, сплошь безукоризненные зубы, что, казалось, они не могли быть не вставными.

Затянутая в корсет до того, что хорошенькая блузка из небеленого полотна напоминала моряку напирющий брамсель, готовый под напором засвежевшего ветра разорваться в клочки, красная, как вареный рак, — адмиральша Елизавета Григорьевна Трилистникова, рожденная княжна Печенегова, по мнению Артемьева, носила слишком снисходительную кличку «сапога».

Прошла минута-другая.

Храп из соседней комнаты переходил в ма-

жорный тон.

Адмиральша, казалось, строже и любопытнее «выпучила» глаза на офицера, словно бы изумленная, что он, невежа, не подходит представиться ей и скорей разрешить жадное, злостное любопытство строгой и несомненно верной всю жизнь супруги.

Пикантные слухи об Артемьеве уже опередили его приезд.

Молодой офицер между тем выругал про себя, и довольно энергично, храпевшего адмирала.

Он и «скотина» за то, что женился на адмиральше, — разумеется, она и лет тридцать тому назад была такая же «противная жаба», — хотя бы у нее было и большое состояние и все сокровища мира. Он и «осел», не сумевший избавиться от адмиральши хоть бы на время плавания. Он и «позорный трус», который только срамит и себя и службу, позволяя «бабе» командовать русской эскадрой.

«Ишь пялит на меня глаза!» — подумал старший офицер, взглянув на адмиральшу.

И, поклонившись ей, — все же дама! — повернулся и направился к выходу, чтоб ехать

на «Воина».

— Попрошу вас пожаловать ко мне! — остановил Артемьева низкий и густой, слегка нетерпеливый контральто, часто бывающий у честолюбивых и очень некрасивых дам.

Молодой моряк подавил вздох и, приблизившись к адмиральше, снова наклонил голову.

С видом чуть ли не королевы адмиральша протянула надушенную руку с короткими пальцами, унизанными кольцами, поднявши ее кверху, с обычным жестом для *baisemain* [33].

Артемьев еще не забыл красивых, тонких рук «великолепной Варвары», и выхоленная, пухлая и некрасивая рука адмиральши показала ему еще противнее и словно бы «наглее» оттого, что на ней сверкали крупные брильянты, рубины и изумруды бесчисленных колец.

Он особенно деликатно пожал ее и отступил несколько шагов.

В глазах адмиральши промелькнуло изумление от такой дерзости.

Она, впрочем, не показала ни гневного

чувства «начальницы эскадры» к дерзкому подчиненному, ни обычного озлобления уродливой женщины к красивому человеку и любезно попросила садиться.

— Познакомимся. Можете курить! — мило- стиво прибавила она.

Артемьев присел. Но не закурил.

— Кажется, имею удовольствие видеть гос- подина Артемьева, нового старшего офицера крейсера «Воин»?

«Отлично знаешь, кто я такой, из доклада с вахты. Но, верно, допрос по порядку?» — подумал молодой человек и ответил утвердительно.

— Ваше имя и отчество?

— Александр Петрович.

— А меня зовут Елизаветой Григорьевной. Сегодня пришли на «Добровольце»?

— Час тому назад.

Прошла пауза. Адмиральша помахала веером, подровняла на обеих руках кольца и не без иронически-шутливого упрека сказала:

— А я думала, что вы, Александр Петрович, удостоите представиться жене начальника эскадры и расскажете что-нибудь интересное

с родины... А вы было бежать... Это нелюбезно, молодой человек.

«Начинается разнос?» — усмехнулся про себя Артемьев и сказал:

— Я не смею беспокоить вас, Елизавета Григорьевна.

— Вот как! — не то удовлетворенно, не то недоверчиво протянула адмиральша.

— Я по службе, Елизавета Григорьевна... Явиться к его превосходительству.

— Пармен Степаныч отдыхает. Я ему скажу, что вы являлись. Передать ему что-нибудь надо?..

— Очень вам благодарен. Решительно ничего.

— Ведь вы, Александр Петрович, назначены сюда, конечно, Нельминым?

При имени Нельмина и слове «конечно» молодой моряк густо покраснел и с какой-то особенной силой уверенности, которою хотят обмануть себя не уверенные в чем-нибудь люди, ответил:

— Я назначен по распоряжению министра!

— И Василий Васильич лично приказал вам уехать из Петербурга через три дня?

«И это уж известно!»

— Нет-с. Начальник главного штаба сообщил мне приказание министра.

— Но отчего такая спешность, Александр Петрович? — казалось, с самым искренним участием спросила адмиральша.

Об этом напрасно раздумывал и Артемьев и до сих пор ни до чего не додумался.

— Воля начальства! — сказал он.

— Я решительно не понимаю Василия Васильевича. Он ведь добрый старик. Входит в семейное положение офицера... Сам женатый. Я еще поняла бы такие распоряжения Нельмина... Холостяк... Любит щеголять энергией. В три дня! По правде сказать, я — не большая поклонница нового товарища министра. Несколько предосудителен этот дон-Жуан под шестьдесят...

Артемьева уже грызло подозрение.

— А ведь вы, Александр Петрович, очень не хотели к нам?

— Очень! — горячо воскликнул Артемьев.

— Ну еще бы, это так понятно. Я слышала, какая у вас прелестная и преданная жена и — без комплиментов! — какой вы, Александр

Петрович, образцовый муж и отец...

«Куда это ты гнешь, ведьма? — подумал Артемьев и взглянул на нее — совсем любезно улыбается теперь лягушечьими глазами. А все-таки скорей бы треснул брамсель, — и она бы ушла!» — неделикатно пожелал молодой человек, взволнованно ожидавший от адмиральши какой-нибудь любезной «пакости».

— Такие дружные, согласные пары ныне, к сожалению, редкость, — продолжала адмиральша, по-видимому, оживившаяся матримонильной темой. — Не правда ли, Александр Петрович?

«Правда, что ты одна из отвратительнейших особ для пары! Вот это правда!» — хотелось бы сказать гостю, но вместо этого он, подавая реплику, уклончиво промолвил:

— Говорят...

— К несчастью, в этом «говорят» много правды... Или муж увлечется чужой женой... или жена — чужим мужем. Да еще, пожалуй, и каким-нибудь холостяком второй молодости в придачу, особенно если законный муж — большой философ... Никакого чувства долга... Никаких нравственных принципов...

И куда мы придем!?

Но в эту минуту, щегольски одетый во все белое и в белых парусинных башмаках, молодой матрос, благообразный, чисто выбритый, с опрятными руками, видимо, с повадкой хорошо выдрессированного адмиральского вестового, остановился в нескольких шагах от адмиральши и, глядя на нее напряженными, слегка испуганными глазами, тихим и почтительным голосом доложил:

— Капитан просит позволения видеть ваше превосходительство!

— Проси!

И, обращаясь к Артемьеву, прибавила, любовно и конфиденциально понижая голос:

— *A la bonne heure*[34]! Сейчас увидите большого философа-мужа.

— Да Князьков и не женат.

— Какой Князьков?.. Я говорю про милейшего Ивана Николаича... Вы знаете Каурова? Муж недавно перевел его командиром с «Верного» на «Олега», а Князькова на «Верный».

В вошедшем видном брюнете с красивыми крупными чертами моложавого, румяного и жизнерадостного лица, с пушистыми усами

и окладистой черной бородой, решительно нельзя было увидеть ни малейшей неловкости или затруднительности мужа «великолепной Варвары».

Он молодецовато и как-то приятно и легко нес свою крупную, полноватую фигуру в белом кителе, белых штанах и желтых башмаках, слегка почтительно наклонив коротко стриженную, крепко посаженную, круглую, черноволосую голову с жирным загорелым затылком.

Кауров крепко поцеловал руку адмиральши и с аффектацией почтительного подчиненного спросил:

— Как прикажете, ваше превосходительство... Будить адмирала?

— А что?

— Ученье... Адмирал хоть посмотрит.

— Какое в два часа?

— Минное, ваше превосходительство.

— Не беспокойте Пармена Степаныча. Делайте без него.

— Слушаю-с, ваше превосходительство!

Кауров с каким-то удовольствием и как-то «вкусно» сыпал «превосходительством».

Адмиральша указала на стоявшего Артемьева.

— Вот и новенький к нам. Знакомы?

Кауров так крепко пожал руку Артемьева и так ласково, добродушно и, казалось, чуть-чуть посмеиваясь глазами, улыбался всем лицом, что влюбленный любовник его жены невольно смутился и, казалось, готов был сейчас же извиниться перед мужем и просить, чтобы он на него не сердился. Он сам понимает, как обворожительна его жена.

— Молодой человек не хотел к нам... И на меня — ни малейшего внимания. Не удостоил подойти сам. Верно, расстроен. Хандрит... По семье, конечно, — ядовито прибавила адмиральша.

Артемьев презрительно усмехнулся.

— Привыкнет, ваше превосходительство!.. Только немножко подтянуть себя... Нервы и стихнут, Александр Петрович... И я привык на положение соломенного вдовца... Вавочка обрадовала было осенью. Телеграфировала, что приедет... А на днях: «не приеду»... Ну что Вавочка? Она писала, что вы — спасибо, голубчик! — навешали ее... Здорова? Не скуча-

ет?

— Здорова... Не скучает, кажется...

— И молодец Вавочка. Честь имею кланяться, ваше превосходительство!

И Кауров снова чмокнул руку адмиральши.

Поклонился и Артемьев, собираясь уходить.

— Так и не удостоите, молодой человек, чем-нибудь интересным из Петербурга? — с насмешливой усмешкой высокомерно спросила адмиральша.

— Ничего интересного нет, Елизавета Григорьевна... А петербургские и кронштадтские сплетни, вероятно, вам хорошо известны, гораздо лучше, чем мне.

Адмиральша едва кивнула и не протянула руки.

## XII

Только что Артемьев вернулся на крейсер и стал переодеваться, как капитанский вестовой Максим, такой же добродушный, веселый и суетливый, как и капитан, уже просил старшего офицера пожаловать в капитанскую каюту.

— В большом они нетерпении, ваше ваше-скобродие!

Через несколько минут Артемьев был у капитана.

— Ну, садитесь и рассказывайте, Александр Петрович! Как принял адмирал и тому подобное? О чем так долго беседовали, если не секрет? Идем мы на Север и тому подобное? — полный любопытства, нетерпеливо и озабоченно спрашивал Алексей Иванович, то и дело вытирая капли пота с лысины.

— Адмирал никак не принял. Храпел.

— Любит всхрапнуть... Ха-ха-ха! От переутомления... Ха-ха-ха! Бык-быком! А Марфа Посадница?

— Форменная донна Стервоза!

Алексей Иванович захохотал, как ребенок, простодушно и заразительно. И глаза стали детскими.

— Это вы ловко окрестили, Александр Петрович... Именно донна Стервоза! Испанисто «задается»... И сама она, мол, донна и ее дядюшка... Удостоился видеть... Тоже вроде гранда Свинтусино-де-ла-Пройдоха.

Видимо довольный своим дешевым остро-

умием, Алексей Иванович сам же весело смеялся.

— Так что же адмиральша, Александр Петрович?

— Ну и рожа, Алексей Иваныч! Куда хуже сапога... Адмирал храпит, а она у балкона... таращит глаза... Хотел было удрать от нее... Не к ней же являться и прикладываться к ее свиным лапкам в кольцах!.. — раздраженно говорил Артемьев.

Капитан уже не хохотал. Он стал вдруг серьезен.

— Так-таки и не явились к адмиральше?.. И тому подобное?..

— Сама позвала.

— И не подошли к руке, Александр Петрович?.. — спрашивал Алексей Иванович, взглядывая на старшего офицера сконфуженными и в то же время испуганно-укоризненными глазами.

— Не подошел... Пожал руку... Да чего вы волнуетесь, Алексей Иваныч?

— А что она? Ведь все у нас обязательно целуют ее руку. И тому подобное... Нельзя... Так как же прошел этот скандал?.. Чем кончи-

лось? По крайней мере не развели с ней? И тому подобное?.. — совсем уже подавленно спрашивал капитан.

Артемьев рассказал про свое свидание с адмиральшей и прибавил:

— Все кончилось тем, что не подала руки... И с чего вы это так волнуетесь?

— Эх, Александр Петрович!.. — вздохнул капитан. — Не все кончилось... Только началось. И тому подобное. Она злопамятная... И теперь адмирала будет нажигать.

— И черт с ней!.. Пусть ко мне придирается!

— Ко всем, и главное — ко мне... Одни неприятности пойдут... И тому подобное. А то и законопатит нас куда-нибудь в трущобное плавание. И чего вам стоило, голубчик, подойти к ней — все-таки супруга адмирала и в некотором роде, хоть и сапог, а дама! — и приложиться к ее свиным лапам? Потешили бы ее... Мало ли какие подлые руки приходится пожимать. И тому подобное. Пожал и отошел. Так к чему из-за какой-нибудь подлой бабы наживать только беспокойство... Вы не будьте в претензии, Александр Петрович, что

я позволил... И тому подобное...

И, протянув руку, капитан крепко пожал руку Артемьеву, просто и искренно сказав:

— Я — пугливая ворона, Александр Петрович. Всего боюсь. Мне бы только протянуть год — и к семье... Потом опять по летам буду отстаиваться где-нибудь в Финском заливе... А семья на даче около. Приедешь — и хорошо... Жизнь — разве беспокойство, передраги да ссоры? Ну, да, верно, уйдем и донны Стервозы не увидим!.. Как-нибудь пролетит эта история с ней!

Артемьев сказал, что он не в претензии. Ему жаль было сказать Алексею Ивановичу, что так бояться всего — ужасно.

А чем лучше его жизнь? — невольно спросил он себя, когда заперся в своей каюте и вспомнил свою службу. Он всегда «умывал руки», оставаясь «чистеньким», и боялся заступить за «правду», чтобы не рискнуть благополучием и счастьем семейной жизни.

И разве не трус он перед женой?

### XIII

Артемьев написал письмо «великолепной Варваре».

Это был крик страсти, злобы, негодования и обиды влюбленного, ревнивого и самолюбивого животного, которого так неожиданно и скоро обмануло другое лживое, красивое и очаровательное животное, — строки, достаточно глупые для человека в том возрасте, когда отравы и слепота в любви так же обычны, как и в старые годы.

Как обыкновенно бывает, письмо вдруг оканчивалось требованием «всей правды» (да еще по телеграфу), приезда в Нагасаки, как она обещала, клятвами в любви и уверениями, что несчастная и оклеветанная Вава — прелестная женщина и, выйдя за него замуж, станет еще прелестнее.

Артемьев прочитал свое посланье, и ему стало стыдно.

«Разве есть доказательства, что она лжет? Разве слухи, подлые намеки адмиральши и гнусное хвастовство Нельмина непременно правдивы? И наконец какое у меня право — и где такое право? — оскорблять женщину, которая все-таки любила?»

Артемьев разорвал письмо свое на мелкие клочки. Он решил завтра написать, а сегодня

ответить жене.

Но после нескольких строк продолжать письма Артемьев не мог. Не мог написать правды. Стыдно было и лгать.

Но он избежал того и другого, — совесть стоворчива, — написал телеграмму. Напишет «бедной Соне» всю правду потом.

Несколько успокоенный, Артемьев вышел наверх, велел собрать команду во фронт, представился команде и произвел на матросов хорошее впечатление, особенно тем, что очень громко и внятно сказал, что закон не разрешает бить и употреблять какие-нибудь наказания, в законе не указанные.

Еще большее впечатление произвел новый старший офицер на жадно слушавших его матросов тем, что разрешил обращаться к нему с жалобами, если кто-нибудь будет незаконно наказан.

Распустив команду, Артемьев вместе с боцманами осмотрел крейсер и нашел, что старшему офицеру придется много поработать, чтобы крейсер был в порядке.

— Грязновато там, где не на виду! — говорил он боцманам.

— Это точно, ваше благородие! — соглашались оба.

— Так отчего же эта грязь?..

— Не требовал прежний старший офицер!

— А я буду требовать!

В тот же вечер «новый» нечаянно услышал, что оба боцмана посмеивались над ним, уверенные, что он только сначала «хорохорится», и заметил, что в кают-компании с ним все были сдержанны и сухи.

А Непобедный рассказывал о каких-то новых порядках, которые завел на каком-то острове какой-то Дон-Кихот.

«Пробуют», — подумал Артемьев и не обратил ни малейшего внимания.

Часов в девять он съехал на берег. Отправил телеграмму и зашел в ресторан одного из лучших отелей.

Он сел за столик, лениво отхлебывал портер и, мрачный, посматривал на публику, как вдруг к нему подошел в статском платье Кауров. Он был несколько красен, но не пьян.

— Позвольте на минуту подсесть, Александр Петрович?

— Пожалуйста, Иван Николаич!

И Артемьев как-то виновато и ласково улыбнулся. А Кауров, посмеиваясь, рассказывал:

— За обедом Марфа Посадница жаловалась адмиралу на вас. Еще бы! Не прикладывались к ручке... Не титуловали... За ее пакостные намеки называли сплетницей. Хвалю... Она и насчет этого прошлась... да и обо всех ваших поступках «вообще». Гости... А, верно, уж было накаливание а part[35]... Так вы имейте в виду и завтра подтяните крейсер... Приедет адмирал и будет придирааться. Ну, а вам, Александр Петрович, «пофартило». Послезавтра уйдете от адмиральши в крейсерство на Север. Это не наш адмирал придумал... Берендеев приказал из Петербурга.

— Очень вам благодарен, Иван Николаич... Не угодно ли стакан портера?

— Стакан... я уже порядочно выпил этих стаканов... а впрочем...

Кауров пригубил стакан и сказал:

— А я ведь, Александр Петрович, собственно говоря, не для этого предупреждения подсел к вам...

У Артемьева екнуло сердце.

— Моя Вавочка вас того... приоболванила? Втемяшились?

— Да, Иван Николаич!

— И шлем без козырей?

— Вроде этого...

— Вавочка умеет. Без этого скучно... Особенно если сама увлечется... А вы, слава богу... чего лучше мужчина! Разумеется, для вас первого она пожертвовала супружеским долгом и познала настоящую любовь... и, верно, развода хочет с постылым Иваном Николаичем и с вашей Софией Николаевной... одним словом, роман... Но только вы этому не верьте... Когда она вам говорила или писала — она верила. А затем... Много было этих первых жертв... знаете ли, по привычке, как боцмана прежде ругались... Ну, и интереснее каждому любовнику быть первым... Но... на кой черт ей бросать мужа?.. Содержание ничего себе... Вернется, и ему хватит. И не придет она в Нагасаки. И вы, милый человек, не впадайте в меланхолию... Я вот давно привык... Ничего не поделаешь... Есть же такие женщины... большого сердца... Верьте, не придет сюда... И знаете ли почему?

— Почему?

— Вавочка теперь подковывает Нельмина... Того и гляди, еще женит на себе... Ну, будьте здоровы, Александр Петрович.

С этими словами Кауров ушел.

## XIV

— Здорово, молодцы!

Адмирал крикнул свое приветствие громко, отрывисто и щеголевато весело, видимо уверенный, что одно появление его обрадует команду крейсера «Воин», выстроенную во фронт, в это погожее солнечное утро на рейде Нагасаки. Даже и немногие немолодцы немедленно станут молодцами после этого подбадривающего оклика во всю силу густого, зычного голоса.

Он обходил фронт решительной походкой и взглядывал на матросов орлом, приподняв голову в белой фуражке с большим козырьком, к которому по временам прикладывал три пальца своей громадной белой руки.

Огромного роста, атлетического сложения, с крупными чертами моложавого и еще очень красивого, свежего и румяного лица, с большой окладистой русой бородой, Пармен

Степанович Трилистников имел необыкновенно мужественный, молодецкий вид энергичного, властного адмирала.

При виде его никто и не подумал бы, что он находится в позорном повиновении адмиральше, трусит ее и с большим апломбом повторяет ее слова, считая их собственными.

Матросы рывкнули, словно оглашенные, как один: «Здравия желаем, ваше превосходительство», но в энергическом и отрывистом вскрике ста шестидесяти человек только слышалось: «рааар, двааа, ство!»

И напряженно выпученные глаза их так впились в адмиральское лицо, точно действительно хотели съесть его от радости — до того хорошо были выучены матросы «Воина» встречать и провожать начальника эскадры.

Адмирал был доволен от произведенного им впечатления. Недаром же, здороваясь с матросами, он называет их молодцами. Но не на всех судах его эскадры так восторженно вскрикивают.

Адмирал даже забыл в эту минуту, о чем наказывала ему адмиральша; он не хмурил бровей и не делал глубокомысленно-глупых

глаз. И, словно бы желая осчастливить и капитана, который как шарик катался за величественной фигурой его превосходительства, адмирал, полуотвернувшись, сказал капитану на ходу:

— Молодцы у вас, Алексей Иваныч...

— Точно так, ваше превосходительство.

Молодцы!

— Главное: дух, Алексей Иваныч!.. Дух-с!

Сопровождаемый капитаном, старшим офицером и молодым мичманом, адмиральским флаг-офицером, адмирал спустился вниз осматривать крейсер.

Матросам скомандовали разойтись.

Все молодые, приодетые в чистые рубахи и штаны, с новыми фуражками на головах и более тщательно вымытые, подстриженные и побритые по случаю «внезапного» посещения адмирала, обыкновенно узнаваемого на судах эскадры накануне, матросы разбились по кучкам на баке.

По обыкновению, разговоры начали с адмирала, которого уже давно не видали на крейсере и которого матросы на эскадре прозвали фамильярной и, казалось, совсем несо-

ответственной здоровенному и мужественному виду адмирала, кличкой «Пармешеньки».

Придумал эту кличку рулевой Векшин.

Пустивши ее, он объяснил на баке, что услышал кличку на берегу от ребят с «Олега». И никто, конечно, не сомневался.

Это был смирный, тихий и усердный чернявый матросик, худощавый и невзрачный, с едва уловимым лукавством в блеске его сторожких карих глаз и необыкновенно боязливый перед начальством. Вел он себя, как сам говорил: «очень аккуратно, чтобы не вышло каких-нибудь неприятностей».

И в то же время Векшин любил пофилософствовать, и предпочтительно насчет порядков на службе и начальства. Трусил, как заяц, всяких «неприятностей», даже малодушно лебезил — и все-таки предавался мечтаньям и на начальстве изощрял свою выдумку на клички, предоставляя славу авторства кому-то неизвестному. Но зато про себя радовался, что прозвища господ нравятся на баке и разносятся по судам эскадры. И он удовлетвореннее мурлыкал какую-то песенку, вдумчиво поглядывая на бездонное небо.

Только с своим закадычным другом, марсовым Бабушкиным, делился Векшин своими, как он выражался, «загвоздками», которые лезли в его беспокойную душу. Но даже и другу не признавался в выдумке.

И теперь, когда начальство было внизу, Векшин подошел к Бабушкину и, оглядевшись, где боцман, спросил, понижая голос:

— Видел?

— А что?

— Слепые вы все разве?.. Ведь вовсе полагает о себе, быдто и взаправду «орел»... И форц-то какой...

— И диковина, братец ты мой! Обмозгуй-ка.

— Про что, Нил?

— Такой ахтительный бык и позволяет помыкать собой бабе... Хучь бы молодой... А то... «пучеглазая ведьма»!.. Как это понять?

— И очень даже пойми... «Пучеглазая» недаром у нас за адмирала. Она мужчинского характера и с умом и с амбицией... В строгости держит своего «Бык-Быкыча», даром что с лица не лестней акул-рыбы... Чуть что — и по загровку... Не смей бунтовать. Я, мол, княже-

ского рода и богатеющая шла за тебя... А окромя бычьего твоего вида никакой, мол, у тебя амуниции. Адмиральский вестовой обсказывал, как «Пучеглазая» его учит. Я, мол, с большим понятием, а тебе, говорит, милуше, богом отпущено в обрез только, говорит, едва хватит для лейтенантского звания. Ты, говорит, из-за меня и в адмиралы вышел... Показывай себя, какой ты у меня «тамбурмажористый» человек, а говорить не говори... Только похвали или поругай. И кушай, говорит, до отвала, какую хочешь скусную пищу, дуй, говорит, самые дорогие вина, играй в карты, одно слово... Денег, говорит, у меня много, и дом у меня в Петербурге — вроде быдто дворца... Знай пользуйся — и только чтобы находился в постоянном моем повиновении и состоял, говорит, при своей верной супруге в самом полном законе. Чтобы никаких подлостей... И что бы, говорит, вышло без меня из такого статуя?

— Что ж он?

— Что ж ему? Знает, мол, «Пучеглазую», молчит. И какая ему жизнь без нее?.. И какой ему ход?.. И опять: уж зазнался в богатстве,

что вошь в коросте... Как-никак, а все-таки — надо правду сказать, — «добер», если бы не «пучеглазая». То-то и пойми, братец ты мой! — закончил Векшин, завидя подходившего боцмана.

Нечего и говорить, что Векшин, передавая слова адмиральского вестового, пользовался ими как канвой, на которой рисовал узоры своей фантазии. Но как бы то ни было, хотя бы адмиральша в действительности и не «учила» адмирала так, как рассказывал Векшин, но его выдумка не лишена была художественной правды и отвечала потребности возмущенного и трусливого сердца.

Тем временем адмирал заглянул на кубрик, в машинное отделение и в лазаретную каюту. Там адмирал подбодрил чахоточного умирающего матроса тем же окриком: «Здорово, молодец!» и, поднявшись наверх, вошел на мостик и приказал забить артиллерийскую тревогу.

Артиллерийским учением смотр и окончился.

Адмирал поблагодарил капитана за порядок на крейсере, за ученье и за то, что матро-

сы — молодцы.

— С такими молодцами... Вы понимаете, Алексей Иваныч?

Капитан ответил, что вполне понимает.

Тогда адмирал приказал завтра сняться с якоря и не без торжественности прибавил:

— Посылаю вас в крейсерство на Север...

— Слушаю-с, ваше превосходительство! — далеко не весело ответил капитан.

— Цель назначения...

Адмирал, верно, вспомнил наказ адмиральши не особенно много говорить и знал, что инструкция прислана из морского министерства, и надо только переписать ее. И, не dokonчив объяснения, продолжал:

— Прошу пожаловать сегодня ко мне обедать, Алексей Иваныч... Вы получите инструкцию, и я вам объясню, что надо... Верно, надоело отстаиваться на якоре?

Алексей Иваныч должен был сказать, что надоело...

Адмирал заметил, что он и раньше бы послал Алексея Ивановича, но надобно было ждать нового старшего офицера.

С Артемьевым адмирал еще не сказал ни

слова. Он только пожал ему руку при встрече.

И теперь он любопытно взглядывал на него, стоявшего в нескольких шагах на мостике, как распорядителя «аврала», и на лице адмирала, казалось, было что-то смущенное и нерешительное.

Но приказание «адмиральши» разнести Артемьева было категорическое, и добродушие адмирала не смело спорить против привычного послушания.

Вдобавок он вспомнил, что «умница Бетси» высказала весьма основательные причины высшего соображения, требующие строгого выговора начальника эскадры старшему офицеру. Припомнил и несколько раз повторенные адмиральшей слова, которые, верно, «энергичный Парм» (так звала наедине адмиральша Пармена Степановича) захочет сказать Артемьеву...

И брови адмирала вдруг нахмурились, а лицо приняло глубокомысленно-серьезный вид.

Адмирал спустился в капитанскую каюту.

— Прикажите, Алексей Иванович, послать ко мне старшего офицера.

Капитан поднялся наверх и встревоженно шепнул Артемьеву:

— Идите к адмиралу, Александр Петрович. Главное, не перебивайте его и тому подобное...

## XV

Ни в позе, ни в лице Артемьева не было ни преувеличенной почтительности, ни открытого радостного выражения, ни «приятной» боязливости, одним словом, не было того, что особенно нравилось в подчиненном Трилистникову, как и многим начальникам...

В официальной сдержанности и в спокойствии старшего офицера адмиралу, «подвиженному» адмиральшей, уже показалось что-то независимое и даже дерзкое.

«Того и гляди, нарвешься на дерзость», — подумал Пармен Степанович.

Вот почему адмирал не решился «разнести вдребезги» Артемьева, как обещал своей Бетси. Трилистников, хоть и имел вид нахохлившегося петуха, но не особенно повысил голос, когда значительно и серьезно начал:

— До моего сведения дошло, что вы, господин Артемьев, почему-то нашли нужным...

да-с, нашли уместным... обратиться с речью к книжным чинам... Вы особенно старались... именно особенно старались... разъяснить им их права и...

Адмирал на секунду остановился и наморщил лоб, словно припоминая хорошо выученный урок.

— Старший офицер обязан поддерживать дисциплину... возбуждает дух матросов, а не... не восстанавливать их против офицеров. Такие речи...

— Позвольте, ваше превосходительство! — перебил Артемьев, возмущенный таким нелепым обвинением.

— Прошу не перебивать-с! — воскликнул адмирал.

И смолк, точно потерял окончание строгого выговора, подсказанное адмиральшей.

Сконфуженный и, казалось, струсивший, он еще более хмурил брови и старался принять еще более глубокомысленный вид человека, придумывающего что-то умное и значительное.

Так прошла долгая пауза.

Наконец Пармен Степанович, еще более

понижая голос, проговорил свою импровизацию:

— Именно высшие соображения вынуждают меня обратить ваше серьезное внимание на дисциплину. Надо поддерживать наш русский дух. Внушать матросу беспредельное доверие к начальству... А между тем русский моряк — и приказывает нижним чинам жаловаться из-за всякого пустяка... Прошу вас не вводить новых порядков... Прошу и приказываю! Можете теперь дать объяснение...

— Я буду просить ваше превосходительство назначить форменное следствие...

Адмирал не ждал такой реплики.

— Как? Что-с? Зачем-с? — с изумлением и растерянностью спросил он.

— Если обвинения вашего превосходительства подтвердятся, я должен быть предан суду...

— Да что вы, Александр Петрович. Какой суд!.. Я хотел по-отечески, келейно предупредить... Понимаете... Эти сведения...

— Это — просто скверные сплетни, ваше превосходительство... И на основании их ваше превосходительство делаете выговор...

Прошу следствия.

Пармен Степанович сообразил, что сведения, полученные Бетси, в самом деле могут быть неверными. Дойдет до Берендеева... Скандал...

Адмирал совсем струсил. И почти заискивающе сказал:

— Ну, что вы, Александр Петрович. Ну, положим, погорячился... Так прошу, Александр Петрович, извинить...

«А ну тебя к черту!» — подумал Артемьев, взглядывая на испуганное лицо Трилистникова. И тотчас же поймал себя на малодушии и трусливости, когда сказал:

— Извольте. Я не подниму истории, ваше превосходительство!

— И отлично!.. К чему скандал? Прошу, Александр Петрович, забыть выговор... Я был введен в заблуждение... Понимаете ли... Его как бы не было! — говорил Трилистников, протягивая руку.

Он крикнул вестового и велел ему попросить капитана.

— Вот, Алексей Иваныч, и разъяснилось недоразумение с Александром Петровичем.

Он вполне убедил меня, что у вас превосходный старший офицер...

С этими словами все они вышли наверх.

Снова команда и офицеры были во фронте. Снова адмирал «с шиком» благодарил «молодцов», благодарил капитана, старшего офицера и офицеров, и уехал на «Олег».

— Видно, не перебивали адмирала, Александр Петрович? — весело спрашивал капитан.

— Нет... И хороши эти сплетники, которые подслуживаются адмиральшам!

— А что?

Артемьев рассказал о выговоре адмирала.

Возмутился и Алексей Иванович. А все-таки обрадовался, что все так «благополучно окончилось».

— А, конечно, насплетничал Непобедный. Он первый сплетник при Марфе Посаднице. Еще вчера вечером ездил на «Олег». Значит, к адмиральше.

— Не сомневаюсь. Он и аллегория разводил насчет меня в кают-компании. Хорош фрукт! Ну и нравы, Алексей Иваныч! — промолвил Артемьев.

Он чувствовал себя отвратительно.

В то же время адмиральша спрашивала мужа в его кабинете:

— Ну что, Парм?

— Разнес, Бетси.

— А он?

— Он... Он оправдывался. Говорил, что все сплетни...

— А ты?

— Ну, конечно...

— Что конечно?

— Оборвал...

— А он?

— Он... Он, Бетси, кажется, не так виноват...

— Это почему?

— Обиделся... Прошу, говорит, формального следствия...

— Ну?..

— Ну, к чему следствие. Я... я... сказал, что если захочу, то прикажу назначить следствие.

— И ты еще извинился, пожалуй.

— Ничего подобного. И знаешь ли что, Бетси?

— Что?

— Не наврал ли Непобедный про речь?..

— А знаешь, что я тебе скажу, Пармен Степаныч?

— Что, Бетси? — смущенно спросил адмирал, словно бы заранее ожидая неприятности.

— Ты — дурак.

— Вот ты всегда недовольна. И непременно скажешь неприятность.

— Да как же!? — раздраженно воскликнула Елизавета Григорьевна. И, понижая голос, чтобы никто не слышал ее «бенефисов», она продолжала: — Невежа Артемьев преднамеренно оскорбил твою жену, жену своего начальника. Ты знаешь?.. Я не хотела, чтобы ты за это преследовал его. Но его во всяком случае неприличная речь матросам требовала строгого выговора. Ты, кажется, вполне со мною согласился. Непобедный не мог так наврать. И ты даже не сумел сделать выговора. Я-то стараюсь. Облегчаю тебя. А ты?.. Хорошо адмирал!.. Где с ним говорил?..

— В капитанской каюте.

— И дурак!.. Нужно было разнести наверху. Он не осмелился бы отвечать. Ну, скажи, —

ты извинился?.. Струсил?

— Стану я извиняться! — не без отваги отчаяния врал Пармен Степанович.

— Ну, то-то!.. — И, несколько успокоенная, адмиральша проговорила: — По крайней мере Артемьева не будет, уйдет завтра, и мы не будем видеть этого дерзкого невежу. Ну, идем завтракать. Достала консервованных грибов у консула. Привезли из России. Будут жареные в сметане. Ведь любишь?..

Адмирал просветлел и от окончания бенедиктиса и от грибов, и, целуя руку жены, сказал с добродушием довольного человека:

— Умница ты, Бетси... У, какая умница! Тебя бы назначить министром!

## XVI

Через два дня «Воин» вошел в Тихий океан, направляясь в негостеприимное Берингово море, куда посылало высшее морское начальство.

Давно уже американцы и другие иностранцы охотились за морским зверем у наших берегов, нарушая договоры, по которым охота за морским зверем допускалась в десяти милях от побережья наших северных морей

(Охотского и Берингова) и в тридцати от Командорских островов, где особенно было много драгоценных котиков.

Нерегулярно посылались военные суда для охраны берегов. Котики безжалостно уничтожались иностранцами. Драгоценный зверь уменьшался. Изредка появлялись в русских газетах статьи о бессовестном разбойничьем поведении иностранных китобоев и шкун.

И несколько лет до посылки «Воина» в крейсерство появилась военная шкуна у Командорских островов.

Капитан ее наводил страх на капитанов «купцов», занимавшихся ловлей котиков на нашей зоне. Бдительный моряк взял, как призы, две американские шкуны и послал несколько ядер вдогонку убегающему под всеми парусами клиперу, нагруженному драгоценным зверем.

Цена на котиков сильно повысилась на бирже Сан-Франциско и на биржах во многих портах Дальнего Востока.

И вдруг, совершенно случайно, прежний начальник эскадры Тихого океана прочел в английской шанхайской газете нечто неверо-

ятное.

В статье рассказывалось, что на днях пришли две шкуны с полным грузом котика, проданного дешевле рыночной цены. Груз принадлежал по документам какому-то русскому купцу. Но будто в действительности принадлежал капитану того военного судна, которое охраняет ловлю котиков от иностранцев. И затем шли довольно пикантные подробности о том, как ведется торговля, которой занимаются русские агенты, строго оберегающие промысел от иностранцев.

Адмирал, разумеется, не поверил такому позорному обвинению.

Но правдоподобие подробностей всего этого «трюка» заставило адмирала послать вырезку из английской газеты местному начальнику во Владивосток.

Адмирал ответил другому адмиралу конфиденциальным письмом.

Разумеется, англичане и американцы — недаром «торгаши и разбойники». Они из местности оклеветали русских моряков. Если бы было что-нибудь подобное, то, конечно, до адмирала дошли бы слухи.

А между тем во Владивостоке, не стесняясь, говорили в клубе о торговых операциях с котиками, о какой-то «стачке» и называли людей, хорошо заработавших на котиках во время охраны их ловли от иностранцев.

Когда начальник эскадры зашел во Владивосток, местный адмирал снова ничего не слышал, а пришлый в тот же день узнал про баснословные слухи.

И неожиданно пришел на корвете на Командорские острова.

Он велел шкуне вернуться во Владивосток и написал в Петербург такое донесение, что тогдашний морской министр только ахнул.

Он был уверен, что в других ведомствах возможны злоупотребления, но в его — немислимы сколько-нибудь серьезные. Недаром же он все знает, все видит и своевременными мерами уничтожает в начале.

А между тем...

Адмирал-министр только энергично выругался, как боцман старых времен, разрешавший руганью все вопросы, сомнения и неожиданности, приказал произвести строжайшее следствие и конфиденциально напи-

сал, чтобы «ради чести России и флота» делу не придавали огласки и не привлекали к суду лиц, прежде прикосновенных к позорной торговле котиками. Судить только командира и офицеров шкуны.

Они были судимы и сосланы в Сибирь. Некоторым прикосновенным предложили подать в отставку. Местный адмирал получил другое назначение. Все прошло тихо, келейно. Сору из избы вынесено не было, и можно было говорить, что одна паршивая овца может найтись в самом лучшем стаде.

## XVII

Океан с первого же дня встретил «Воина» неприветливо.

Матросы старались коротать вахты разговорами, особенно по холодным северным ночам в океане, когда в своих буршлатах, поверх синих рубах, жались друг к другу, словно лошади в табунке, у своих снастей или на марсах, озябшие и невольно испуганные «погодой».

Упорно сильный и порою порывистый холодный ветер гудел и стонал в снастях, мачтах, по задраенным люкам и закрепленным

по-походному орудиям. Он слегка гнул стеньги и выпирал, словно бы готовый изорвать в лоскутья, марсея в три рифа, с зарифленными фоком и стакселем, под которыми бежал крейсер «Воин» в «бакштаг» узлов по десяти-одиннадцати. Он раскачивался, стремительно ложась на бок и касаясь верхушек волн то одним, то другим лагом, и зарывался носом в пенящуюся воду, чтобы снова подняться высоко, отряхиваясь, словно птица, от водяных струй.

Рокотал и седой океан своими могучими волнами, которые бешено бились одна о другую и нападали на трехмачтовый клипер. Казалось, вот-вот эти водяные горы обрушатся на опустившуюся корму.

Но в ту же секунду уж корма поднималась, гора сзади опускалась, чтобы снова вздуться новой волной-горой.

Многим матросам было жутко.

Но прошел день-другой. «Воин» так же раскачивался и бежал, ускальзывая от волн. Капитан и старший офицер, по очереди стоявшие на мостике вместе с вахтенными офицерами, казалось, не обнаруживали тревоги. Не

был особенно озабочен и старший штурман. По-прежнему был молодчага «мичманенок», как звали матросы любимого ими мичмана Ариаднина.

И, недавно еще оторванные от земли, не любившие моря с его ужасами, особенно страшными для сухопутного человека, матросы покорно смирились, уверенные, что океан только пугает.

Но все-таки старались не смотреть на этот седой, безграничный, ревущий нескончаемым гулом океан, необыкновенно красивый в своем грозном величии мощи и для многих ненавистный.

И в кучках «лясничали», словно бы нарочно выбирая такие темы, которые отвлекали от действительности морской жизни, полной опасности и часто напоминающей о смерти людям, которым жить хочется.

Говорили о «домашности», о своих местах, о Кронштадте, про берег, на котором бывали в Европе и Азии, сравнивали порядки у «них» и у «нас», вызывавшие споры. Ожидавшие отставки рассказывали о своих планах будущей жизни.

Ни один даже из лучших марсовых и не подумал о поступлении на купеческое судно, чтобы идти в море. Только двое поморов решили снова «заниматься рыбой» на Мурмане. Далеко не все думали вернуться к земле. Многие, особенно непьющие и усердные по службе, мечтали вслух о местах швейцара и старшего дворника в Петербурге. Решительно вся «вестовщина» питала надежды на поступление в лакеи в хороший дом и на хорошее жалованье. И старший боцман Адриан Иванович Рыжий, безукоризненный исполнитель, умевший быстро понимать и приспособляться, сдержанный, ровный и мягкий, видимо знающий себе цену, человек лет тридцати, с маленькими быстрыми глазами, светившимися умом, уже заручился обещанием мичмана Непобедного устроить его в Петербурге городovým или жандармом.

Его матросы уважали и слегка побаивались.

Один только рулевой Векшин терпеть не мог боцмана, боялся его больше всего начальства и про себя называл Рыжего за его удлиненное худощавое лицо хорьком. И, словно

бы объясняя, почему он не любит боцмана, Векшин под строгим секретом рассказывал Бабушкину, что Рыжий выгнал из своей квартиры отца, отставного старого боцмана, за то, что отец выпивает, ругается и будто бы только может «оконфузить» сына.

— Хорек и есть! — прибавлял негодующим шепотом Векшин.

## XVIII

Настроение кают-компания «Воина» было невеселое.

Никому не улыбалось после долгих стоянок и развлечений на берегу крейсерство в негостеприимном Беринговом море с беспокойными вахтами, скукой, без писем и газет, без свежей провизии, которой не достанешь в поселках и на островах. Разве только рыбу. Кроме двух-трех человек, никто не любил и не чувствовал моря с его разнообразными и сильными впечатлениями. Служба была неприятной повинностью. Большая часть моряков рвалась в Россию, предпочитая «выплачивать ценз» в течение трех-четырех месяцев стоянок и прогулок в Финском заливе, чем три года подряд в дальнем плавании с океан-

скими переходами и штормами, и делать дело, и притом опасное, которое далеко не по душе и не обещает ни быстрой карьеры, ни денег.

Недовольные собрались к обеду шестнадцать человек офицеров, доктор и батюшка.

Качало сильно, и вестовые, разносившие тарелки с супом, выписывали вензеля. Есть его приходилось со сноровкой.

Когда суп благополучно был съеден, на разных концах стола раздались раздражительные замечания о предстоящем плавании.

— Зато, господа, купим дешево котиков на Командорских островах! — заметил старший механик, аккуратный и расчетливый человек, с приобретательными наклонностями, любивший везде покупать солидные вещи для обстановки и для основательных, как он говорил, подарков для своей положительной супруги.

По этому поводу вспомнили о старой «котиковой» истории.

Большая часть офицеров, обрадованная интересной темой, с большим негодованием бранила осужденных моряков.

Из этих обвинений выходило, что несколько попавшихся моряков были исключительно редкими, бесовестными и дурными людьми во флоте, оттого только и могло явиться такое беспримерно позорное дело. Казалось, что негодующие моряки никогда и не думали об условиях, которые создают и даже поощряют людей быть дурными и нехорошими.

Особенно беспощаден был первый лейтенант Николай Николаевич Буйволлов, добродушный и ленивый человек лет за тридцать, который особенно гордился старой дворянской фамилией «Буйвололовых», ведущих род будто бы от Тохтамыша, и верил в прирожденную дворянскую доблесть так же непоколебимо, как и в то, что выигрывал в Петербурге в макао только тогда, когда его жена перед игрой крестила обе его ладони.

Он находил, что наказание виновных было слишком милостиво.

— Таких мерзавцев следовало бы расстрелять! — пробасил Буйволлов.

— И Сибирь... благодарю, Николай Николаич... — протянул ревизор, пригожий молодой

лейтенант, вполне уверенный, что проценты со счетов поставщиков — обычное право порядочного человека.

— Мог бы, кажется, подумать об ответственности! — основательно промолвил старший механик. И прибавил, скрывая зависть: — Смелость-то какая... В год тридцать тысяч долларов чистоганом! По курсу шестьдесят тысяч!

Непобедный, уже не смевший при новом старшем офицере бить матросов, особенно горячо заговорил о чести мундира.

Старший офицер не вмешивался в разговор. Помалчивали и доктор Федор Федорович, маленький тщедушный доктор, — любитель-художник, восхищавшийся морем и отрицавший медицину, — и пожилой старший штурманский офицер Иван Семенович, осторожно сторонившийся от Непобедного и двух его приятелей, одного мичмана и младшего механика, которые восхищались богатым «аристократическим сынком» и кутили на его счет.

Все трое невольно переглянулись во время речи Непобедного, и в их глазах промелькну-

ли брезгливые улыбки. И они снова уткнули свои лица в тарелки, словно бы не желая слушать эти разговоры.

Но мичман Ариаднин бросил есть и слушал.

Это был долговязый юный брюнет, с близорукими большими глазами, обыкновенно не принимавший участия в разговорах. Он был изобретатель и с упорством маньяка весь отдавался своей *idée-fixe* — о необыкновенной подводной лодке, которая могла бы уничтожать сразу целую эскадру, хотя сам, необыкновенно добрый и не воинственный, считал войны отвратительным варварством. Кроме этого он был страстный игрок и на днях проиграл в Нагасаки все деньги, которые были, и еще жалованье за полгода вперед.

Он вспыхивал и жмурил глаза, точно от боли, взволнованный и, видимо, не решавшийся заговорить.

Вдруг он «дернул» стакан бордо, хотя никогда не пил вина, и, застенчиво краснея, воскликнул:

— Господа!.. Одного, что ли, нужно расстрелять, если только расстрел что-нибудь изме-

нит... Я не согласен на это... Нет! А главное: сами-то мы каковы?.. А ведь «бичуем маленьких воришек для удовольствия больших»!

На секунду воцарилось молчание.

— И выпалил изобретатель! Так и спросили вашего согласия! — заметил ревизор.

— Вы, мичманенок, дичь несете. А дворянская честь!.. Честь мундира! — пробасил Буйвол.

— Скажите, пожалуйста, какой благородный цензор нравов, дующийся в карты! Толстого, что ли, начитались? Или хотите поразить оригинальным пониманием чести мундира? — сказал Непобедный.

Эти слова вывели из себя добродушного «мичманенка», и не потому, что дышали высокомерием и произнесены были наглым, злым тоном, а только потому, что сказал их ему Непобедный, еще смевший говорить о чести мундира.

Ариаднину был несимпатичен Непобедный, и они почти не говорили друг с другом. Но долговязый мичман не мог и подумать, чтобы Непобедный был наушником адмиральши и так подло оклеветал старшего офи-

цера.

Об этом Ариаднин узнал накануне ухода из Нагасаки от флаг-офицера.

Старший офицер уже хотел остановить эти разговоры, принимавшие благодаря возмущенному «мичманенку» резкий характер, как Ариаднин, побелевший как воротничок его сорочки, полный негодования, вызывающе крикнул, обращаясь к Непобедному:

— А наушничество вы считаете честью мундира?

— Прошу прекратить споры, Сергей Алексеич! И вас прошу, Евгений Викторович!

Голос старшего офицера звучал строго, а глаза его так ласково глядели на «мичманенка».

И маленький доктор и старший штурман сочувственно ему улыбнулись.

Непобедный еще выше и высокомерно поднял свою красивую голову. Совсем побелевшие тонкие губы искривились в презрительную улыбку. словно бы не понявший этого вопроса, он удивленно пожал плечами и ничего не ответил.

А сердце в нем упало, как у трусливого че-

ловека, пойманного в подлости.

В кают-компани воцарилась напряженная тишина. Все прислушивались к гулу, доносившемуся сверху через закрытый люк.

После обеда все быстро разошлись по своим каютам.

Непобедный лег в койку и пробовал заснуть, но сна не было. И он упорно смотрел на толстый матовый иллюминатор, который то мгновенно исчезал в воде, то снова выскакивал и летел вверх, обдаваемый кипевшей волной.

В полусвете маленькой каюты и раздирающий скрип переборок, и стремительность размахов, и гул, долетающий сверху, казались в одиночестве Непобедному гораздо страшнее.

Он еще не испытал такой качки и боялся моря.

Когда крейсер валился на бок и на мгновение останавливался, словно бы раздумывая, подниматься или идти ко дну, эти мгновения были для Непобедного бесконечными.

Ужас охватывал его. Он закрывал глаза, крестился, вспоминая бога, и в то же время не

верил, что бог поможет.

И когда крейсер поднимался, чтобы лечь на другой бок, Непобедный в бессильной злости думал:

«Какой я дурак, что не остался по болезни в Нагасаки и не попросил адмиральшу, чтобы мне разрешили вернуться в Россию».

Он непременно выйдет в отставку.

## XIX

Барометр падал. Низкие клочковатые и черные тучи стремительно неслись, облагая небо. Ветер крепчал.

Капитан и старший офицер по очереди стояли наверху, сменяясь друг с другом. Часто поднимался и старший штурман Иван Семенович. Он обглядывал горизонт напряженно и строго, словно бы недовольный океаном и небом, которое уже несколько дней не показывает солнца, и Иван Семенович не уверен в точности места «Воина» по счислению.

Алексей Иванович был в дохе, валенках и меховой шапке.

Чтобы не быть сброшенным в океан, Алексей Иванович вцепился руками в поручни мостика, который стремительно раскачивал-

ся над океаном. Капитан глядел перед собой устало, неуверенный в себе, без подъема духа и той нервной возбужденности, которую испытывают заправские моряки в бурную погоду.

Океан невольно смущал Алексея Ивановича. Он не любил сильных ощущений и хотел, чтобы и в океане, как и на берегу, все было «благополучно», без неприятностей и тому подобного. Он боялся ответственности перед совестью за людей и перед начальством, и не скрывал от себя, что он — не моряк и не такой капитан, какой должен быть. И Алексей Иванович без горделивости смотрел, как дерзко несется, убегая от волн, трехмачтовый крейсер. Он не привязан к нему и не верит ему, как часто привязываются к своим судам и верят им страстные моряки. Напротив! «Воин» кажется Алексею Ивановичу каким-то маленьким, затерянным и жалким среди бушующих водяных гор. И Алексей Иванович слышит, что ветер крепчает, океан грохочет грознее, и понимает, что «Воину» предстоит жесточайший шторм.

«Разумеется, он не покажет перед людьми

ни малодушия, ни страха!»

Так бодрит себя Алексей Иванович и часа по четыре не сходит с мостика, считая долгом честного человека показывать подчиненным пример неустрашимости, спокойствия и решительности, которых не имел.

Заябший на ледяном ветре, уставший, с измотавшимися нервами, взглядывает Алексей Иванович на беснующийся океан, на черный горизонт, на зловещие облака, и в голову его чаще и чаще особенно ярко-тоскливо закрадываются мысли о далеком родном «береге».

Алексей Иванович не вспомнил теперь, как ласково и упорно точила его горделиво-верная и назойливо-добросовестная жена «Нюнюша», особенно после пятнадцати лет супружества. Она зудила за «все», а главное — за то, что они живут совсем не так хорошо, как другие, и бедные дети лишены всего, — нельзя даже иногда купить новые башмаки. О себе она уж не говорят. Пусть себе ходит почти оборванная. Надо подумать о семье. Надо же избавиться от долгов и попроситься командиром в дальнейшее плавание, если началь-

ство забыло. Тогда можно было бы всем вздохнуть.

Хотя Алексей Иванович нередко вздыхал в дальнем плавании, но, разумеется, забыл супружеские шипы. И ему кажется в эти минуты, что его жена, моложавая и, по обыкновению не оборванная, необыкновенно любящая, заботливая, добрая и деликатная Нюнюша, тоскующая в одиночестве, — идеал чудной жены, да еще моряка! Пятеро прелестных детей — и все в крепких башмаках — кажутся ему еще любимее и милее. Квартира в Кронштадте уютнее, теплее и больше. Одним словом, «дом» представляется раем.

К капитану подошел вплотную старший офицер на смену и, схватываясь за поручень, сказал:

— Идите скорее греться, Алексей Иванович.

— А ведь пахнет штормягой и тому подобное! — проговорил капитан таким искусственно бодрым и даже развязным тоном, как будто бы штормяга доставил Алексею Ивановичу лишь одно удовольствие.

— По-видимому... к тому идет! — ответил серьезно Артемьев.

— Готовы к шторму и тому подобное, Александр Петрович?

— Все готово. Везде осмотрел. Штормовые паруса вынесены.

— Пожалуй, сейчас же поставить штормовые...

— Не прикажете ли подождать, Алексей Иваныч?

— Вы думаете, подождать?..

— Ветер еще позволяет нести зарифленные марсели... «Воин» отлично убегает от волны.

— Ладно. Подождем! — согласился Алексей Иванович и прибавил в виде вопроса: — Пожалуй, к вечеру норд-ост и тому подобное... отойдет?

В голосе звучало нетерпение и что-то заискивающее, точно он просил, чтобы и старший офицер надеялся, что шторма не будет.

— Едва ли. Иван Семеныч говорит, что здесь штормы ревут по неделям... Что же, приведем и будем штормовать!.. «Воин» — крепкое судно... Ни малейшей течи...

— И отлично... хорошее судно, да-с. А все-таки наградил Берендеев нас плаванием и тому подобное! — раздраженно сказал Алексей Иванович. — Ну, пойду погреться и попробую соснуть, а уж вы, голубчик... штормовые пораньше... Все спокойнее...

— Не беспокойтесь, Алексей Иваныч... Отдохните хорошенько! — участливо сказал Артемьев.

— Какой тут отдых с этой пакостной погодой!

И, обращаясь к вахтенному офицеру, Алексей Иванович приказал разбудить его, если что случится.

— Да чтобы часовые хорошенько вперед смотрели! — неожиданно строго крикнул он.

— Есть! — уверенно-спокойно ответил Ариаднин. — Будьте спокойны, Алексей Иваныч! — заботливо прибавил «мичманенок», нисколько не обижаясь на свирепый окрик всегда мягкого и деликатного капитана.

Молодой мичман понял, что Алексею Ивановичу хотелось отдать какое-нибудь приказание и показать, что и он может быть строгим капитаном.

Алексей Иванович осторожно двинулся по мостику и приостановился у компаса, где стоял Ариаднин. Словно бы извиняясь за окрик, капитан проговорил совсем ласково:

— А вы, Сергей Васильич, оделись бы теплее, а то замерзнете в своем пальтишке. Пришлю полушубок... Да велите матросам дать по чарке водки за меня... Ишь, дьявольский ветер и тому подобное...

Когда Алексей Иванович спустился в свою натопленную каюту, вестовой Никифоров снял с капитана доху и тотчас подал завернутый в салфетку стакан горячего чая и затем графинчик с коньяком. Алексей Иванович подлил коньяку и велел снести мичману полушубок.

— Да и валенки есть, кажется. Снеси!

После четырех часов наверху Алексей Иванович испытывал необыкновенно приятное ощущение физического удовольствия от тепла и дивана. Он выпил стакан чаю, прилег на диван, но спал несколько минут.

Он вдруг вскочил и присел на диване, прислушиваясь к гулу; он чувствовал, как корма вздрагивает на воздухе и тяжело падает. Од-

ному в каюте уж ему не нужно было «показывать пример», и осунувшееся лицо Алексея Ивановича было встревожено и растерянно.

— Никифоров! Узнай, что наверху!

— В одном положении, вашескобродие! — уныло ответил Никифоров, придерживаясь за косяк двери. И, сам бледный от страха, спросил: — Прикажете уложить какие поценнее вещи, вашескобродие?

— Зачем?

— А на случай, если будем топнуть, вашескобродие.

— С чего ты взял?

— Так я подам чаю, вашескобродие?

— Подай и влей три ложки коньяку.

— Есть!

Подавая стакан, Никифоров проговорил:

— То-то дома-то у нас лучше, вашескобродие...

— Еще бы!

— А кругом вода... Так не укладываться?

— Ты дурак, Никифоров. Где здесь спастись?

— То-то некуда, вашескобродие... Лучше и не думать. Думай не думай, а все от бога. За-

хочет, так и штурмы не будет, а будет — вызо-  
волит.

И Никифоров как будто несколько успоко-  
ился.

Но эта философия не успокоила Алексея Ивановича. Он душевно суетился, как человек, не имеющий под собой никакой почвы и потерявший способность обобщать факты. Снова подняться наверх и посмотреть, что там, ему не хотелось. В каюте тепло, а там... пакость. И Артемьев сумеет распорядиться. И дали бы знать, если бы что-нибудь случилось. И то он отстоял почти четыре часа, спустившись только, чтобы наскоро пообедать.

И Алексей Иванович то рассматривал карту Берингова моря, прикрепленную к столу, и особенно впился маленькими, красными от ветра глазами в широкий вход из океана в море, между грядой Алеутских островов и Командорскими островами, около которых, верно, американские шкуны разбойничают, уничтожая котиков, то думал о Кронштадте, Нью-ньюше и детях, то смотрел на барометр, то вдруг вспоминал, что течение неизвестно, и вдруг «Воин» летит на «Ближние» острова

Алеутской гряды... Крейсер — со всего хода на камень, и всем смерть.

Алексей Иванович благоговейно крестился и падал духом.

— Никифоров!..

Ответа нет. Капитан заорал:

— Спал?

— Точно так... Все не думаешь... Вы, ваше-скобродие, лучше бы отдохнули.

— Попроси старшего штурмана.

Иван Семенович, рыжий человек лет сорока, всегда был серьезен и даже строг, когда не мог делать обычных обсерваций и не мог определить точного астрономического места «Воина», особенно когда был недоволен морем и берега не были в очень далеком расстоянии.

Иван Семенович, только что поднятый с койки, на которой сладко спал, с особенно строгим лицом вошел в капитанскую каюту и спросил:

— Что прикажете, Алексей Иваныч?

Капитан просил Ивана Семеновича пристесть на «минутку» и повел речь о том, что без обсервации «Воин», быть может, и в Бе-

ринговом.

— Течение и тому подобное... Возможно и напороться на Алеутские? Как вы думаете, не привести ли, Иван Семеныч?

Хорошо вышколенный дисциплиной и прощавший Алексею Ивановичу за его доброту его морскую неумелость и суетливость, Иван Семенович не подчеркнул этого и почтительно доложил, что по счислению «Вин» в ста двадцати милях от Берингова, и курс проложен в шестидесяти милях от Алеутских островов.

— Допустим даже, что мы уже в Беринговом. Но днем трудно напороться, Алексей Иваныч. Прикажете к вечеру привести...

Алексей Иванович не настаивал и предложил чаю. Иван Семенович отказался.

— Так рюмочку марсальцы?

— Разве одну, Алексей Иваныч? — строго согласился Иван Семенович.

Иван Семенович выпил две и, желая успокоить Алексея Ивановича, рассказал, что здесь же, лет двадцать тому назад, на «Красавце» с командиром Берендеевым, они дули с попутным штормом...

Разумеется, Алексей Иванович и не подумал о такой дерзости.

— Береженого и бог бережет. Третью рюмку, Иван Семеныч?.. Марсальца отличная!

— Не время, Алексей Иваныч! — серьезно сказал Иван Семенович и встал.

— А ветер как?

— Разыгрывается.

— Ишь ведь подлец! Не затихнет к вечеру. Как полагаете, Иван Семеныч?

— В море не смею предсказывать. Я не бог, Алексей Иваныч. Отштормуем, бог даст, если придется, — прибавил Иван Семенович, словно бы говорил о самой обыкновенной неприятности в море.

С этими словами Иван Семенович, ловко балансируя своими цепкими ногами, вышел из каюты, нисколько не успокоивши капитана.

Снова охваченный чувствами подавленности и тревоги, Алексей Иванович лег на диван, вспомнил вдруг, что сегодня младшая девочка именинница, и наконец забылся в тяжелом сне.

Старший штурман по дороге подошел к

штурвалу под мостиком. Четыре матроса крепко держали обеими руками штурвал и то и дело перекладывали его.

Иван Семенович заглянул в компас и похвалил своего любимца, старшего рулевого Векшина.

— То-то, не давай носу к ветру.

— Насилу сдерживаем. «Клейсер» так и норовит к ветру.

— А ты не пускай. И в разрез большой волны старайся. Ты — умный рулевой!

— Есть! Стараемся, ваше благородие, — ответил Векшин и самолюбиво покраснел.

Поднялся Иван Семенович и на мостик. Внимательно и строго оглядел горизонт.

— Напрасно только разбудил капитан. Тревожится бедняга! — сказал Иван Семенович Артемьеву.

— Суетливый... Ну, и семья, Иван Семеныч!

— И у нас с вами семьи, Александр Петрович!

— Алексей Иваныч не плавал...

— То-то и есть... Хороший, добрый человек, гостеприимный... Марсала у него отличная... А капитан... Не следовало Алексею Ивановичу

чу проситься в дальнейшее плавание... Ну, я пошел спать, Александр Петрович.

Спустившись в свою необыкновенно чисто убранную каюту, где все было принайтено и ничто не качалось, Иван Семенович завернулся в бараний тулуп и лег досыпать свои послеобеденные полтора часа.

## XX

Уже двое суток ревел шторм.

Под штормовыми триселями и бизанью, держась в крутой бейдевинд, «Воин» не поддается ему и мотается, весь вздрагивая и поскрипывая точно от боли.

Океан, весь седой, кипит и ревет, беспощадный и ужасный в своем бешеном, грозном величии.

Беснующиеся волны набрасывались на крейсер со всех сторон, чтобы поглотить его. Они вкатывались на палубу, но наглухо закрытые люки не пускали их вниз, и они бешено перекатывались через палубу, через бак, смыли неосторожного матроса, не удержавшегося за протянутый леер, смыли, как щепки, два катера и окатывали ледяными душами перемерзших людей.

А ветер, казалось, хотел уничтожить крейсер. Он гнул стены и валил его на подветренный борт.

Эти двое суток моряки спускались вниз только погреться и перекусить что-нибудь всухомятку, и снова выходили наверх и сбивались в кучки у грот-мачты, цепляясь за обледеневшие снасти.

Потрясенные, они чувствовали еще сильнее свое ничтожество перед океаном, крестились, роптали и не верили Алексею Ивановичу, когда он кричал в рупор слова одобрения, в которых не было веры. Его осуждали и теперь не стеснялись громко проклинать службу.

Только Артемьев внушал еще доверие. Все видели, что в эти дни и ночи он только на несколько часов уходил вниз. Остальное время был наверху и был настоящим распорядителем. Он не терял духа. Возбужденный, обледеневший, с отмороженным лицом, подходил к матросам, говорил, что «Воин» отлично выдерживает шторм, советовал греться почаще внизу и велел выдавать три раза в день по чарке. Матросы чувствовали, что старший

офицер заботится о них, не жалея, и при нем ропот и проклятия стихали.

— То-то, братцы, и я говорил, что нечего бояться! — заискивающе потом говорил бледный от страха боцман Рыжий. Многие уж его теперь не боялись и называли первым трусом. И боцман скрывался.

Целых двое суток каждое мгновение казалось многим последним.

И все-таки у всех таилась надежда.

Не сомневались, что «Воин» выдержит шторм, и старший офицер, и «мичманенок», и Иван Семенович, и доктор.

— И не так еще доводилось штормовать! — говорил Иван Семенович.

Иван Семенович почти не отходил от штурвала, который держали шесть матросов, и, возбужденно-серьезный, обыкновенно мало говоривший на службе, он часто похваливал Векшина:

— Молодца «Векша»! Маленький, а удаленький! Вот эту большущую волну разрежь. Не гордись, седая... Так ее. Право, больше право, одерживай!

И у Векшина в сердце отходила «загвозд-

ка» насчет смерти.

Он думал только о том, о чем и Иван Семенович: как бы не пускаться на крейсер громадин-волн.

— Что за величие! Какая мощь! Какая красота! — потрясенный от восторга, восклицал маленький доктор, любуясь океаном и, казалось, в эту минуту забывший, что океан — в то же время и стихийный зверь.

— Только держитесь крепче, Федор Федорыч, смует! — окрикнул «мичманенок», тоже восхищенный океаном.

## XXI

На третий день шторм, казалось, усилился.

«Воин» начинал изнемогать в непосильной борьбе.

Волны чаще врывались и дольше застывали на палубе. Заливаемый ими нос тяжелее поднимался. Крейсер плохо слушался руля и безумно метался, словно в агонии.

В девятом часу утра «мичманенок», посланный старшим офицером узнать, как в трюме вода, видимо взволнованный, поднялся на мостик.

Считая ненужным доложить сперва Алек-

сею Ивановичу, который добросовестно мерз на мостике, безмолвно предоставив распоряжаться всем старшему офицеру, Ариаднин сказал Артемьеву, что вода в трюме прибывает.

— На помпы! — в рупор крикнул старший офицер.

Безнадежный ужас охватил всех. Никто не трогался. Смерть, казалось, неминуема.

— На помпы! — повторил Артемьев и бросился вниз.

Его чуть было не смыло. Удержали матросы.

— На помпы, живо! Или не хотите спастись? — бешено крикнул Артемьев.

Ариаднин уж был тут и повел с собою матросов.

Через несколько минут помпы работали.

Артемьев уж был на мостике.

Возбужденный опасностью, он почувствовал в себе необыкновенный подъем духа и стал «рыцарем на час». Он забыл обо всем, все личное казалось ему таким ничтожным и мелким... Он один теперь ответствен перед всеми. Он должен ободрить и спасти людей. И

весь он охвачен одною только мыслью: бороться до последней минуты.

Алексей Иванович уже мысленно простился с близкими и, уверенный в смерти, с бесстрашием покорности смотрел на близкие волны и почему-то сбросил с себя шубу, подхваченную ветром в океан, и думал, что должен исполнить долг до конца: умереть на людях не трусом — командиром.

Последние минуты, казалось, наступали...

«Воин» лег на бок... Волны набросились...

— Руби грот-мачту! Руби, братцы! — гаркнул в рупор Артемьев. И был уж у мачты вместе с доктором, старшим штурманом и несколькими матросами.

Несколько ударов топора, и мачта за бортом...

Крейсер поднялся... Все глаза устремились на Артемьева, как на спасителя.

Помпы работали... Разводили пары...

Отчаяние сменялось надеждой, надежда отчаянием... «Воин» еще метался на волнах.

Шторм затихал... Но положение «Воина» было отчаянное... Несмотря на усиленную работу помп, вода не убывала. Напротив, посте-

пенно прибывала.

Еще четыре часа, и вода зальет крейсер.

Стали стрелять из орудий, извещая о бедствии.

Так прошло два часа. Надежды уже не было ни у кого. Матросы бросили помпы и взобрались на мачты...

— Судно! — вдруг раздался чей-то голос.

По крейсеру раздалось «ура!».

К «Воину» летел под парусами трехмачтовый пузатый китобой под американским флагом.

На «Воине» крестились. Некоторые плакали. Два матросика безумно хохотали.

Через час все погибающие были на китобое. И только что китобой отошел, «Воин» уже исчез в океане.

Спасенных привезли во Владивосток.

Командира, старшего офицера и старшего штурмана предали морскому суду за гибель «Воина».

Все были оправданы. Алексей Иванович, не пожалев своего самолюбия, заявил на суде, что только старшему офицеру люди обязаны спасением.

О панике, бывшей на военном судне, никто не сказал.

После суда капитану и всем офицерам разрешено было вернуться в Петербург.

Артемьев уже узнал, что «великолепная Варвара» выходит замуж за товарища министра Нельмина.

Но море заставило Артемьева другими глазами взглянуть и на себя, и на увлечение «великолепной Варварой», и на ее лживость, и на многое другое. И он возвращался домой, благодарный морю и счастливый, что жив.

## Собака\*

(Из далекого прошлого)

### I

В исходе девятого часа прелестного летнего утра, когда на военном корвете «Могучий» приканчивалась обычная «чистота» и затихло деловое артистическое сквернословие старшего офицера Ивана Ивановича и боцмана Рябова, просвистали:

— На капитанский вельбот!

Через пять минут из каюты вышел высо-

кий, худощавый, рыжеватый капитан, лет сорока, в статском мешковатом платье, с цилиндром на голове и в желтых перчатках. Видимо сердитый, нервно подергивавший рыжую бакенбарду, торопливо прошел он мимо фронта офицеров, обязанных провожать и встречать командира, мимо караула и фалгребных, спустился в свою щегольскую шляпку и уехал на берег — в Сан-Франциско.

В ту же минуту на бак прибежал Никишка.

Так все звали капитанского вестового, шустрого, чернявого матроса, лет за тридцать, с плутоватыми глазами продувной шельмы.

Он вошел в кружок матросов, собравшихся выкурить трубчонку махорки у ведра с водой, не без некоторой важности закурил у фитиля капитанскую «чирутку» и, пыхнув, после двух-трех отчаянных затяжек, дымком сигары, видимо торопившийся «огорошить» интересною новостью, значительно и серьезно проговорил:

— Ну и вовсе взбесился Собака!

Никишка остановился и бросил взгляд бегающих черных глаз на присутствующих —

какова, мол, сила впечатления?

Но «серьезные» матросы, постарше, не обнаружили особенного любопытства. Дескать, Собака и есть собака.

Однако все-таки насторожились. Недаром же Никишка околачивается около капитана и хоть «беспардонная душа», а не всегда врет.

И Никишка загадочно прибавил:

— А по какой такой причине Собака взъерепенился и заспешил на берег, ровно с шилом в спине?..

Никто из матросов не догадывался. Снова старики не считали приличным обнаружить нетерпеливое желание узнать о причине.

Но один матросик-первогодок с любопытством испуга спросил:

— А что, Никишка?

— Вернулся, братцы вы мои, Собака ночью с берега, и не треснумши, а в трезвом понятии! — говорил Никишка, обращаясь не к простоватому матросику, а к «серьезным» матросам. — И как влетел это в каюту: рр-раз-два... три!.. Прямо звезданул в морду!.. Небось ловко! Погляди-ка! — не без оживления и точно хвастаясь, рассказывал Никиш-

ка, показывая на подтек под глазом. — И затем, братцы, пошел: «Собачий ты сын, сукина ты дочь!..» А сегодня проснулся и давай чесать... И как встал, сей секунд: «Позвать, Никишка рассякой, старшего офицера!..»

Никто не спросил, за что «звезданули» Никишку. Все знали, что Собака дрался и зря, да, по-видимому, и не особенно жалели Никишку.

Обиженный таким равнодушием, Никишка внезапно нарочно оборвал рассказ о причине съезда капитана на берег, возбуждивший любопытство, и, рассчитывая на сочувствие, воскликнул не без пафоса:

— Просто сил нет моего терпения. Вот возьму да и сбегу, как в прошлом году сбежал Трофимов...

Слушатели деликатно молчали. На некоторых лицах промелькнули сдержанные, недоверчивые улыбки.

Только Лещиков не промолчал.

Пожилой, коренастый и далеко не казистый фор-марсовой, невоздержанный на язык, особенно после возвращения с берега, когда пьянее пьяного вслух мечтал о таком

«закон-положении», по которому всех капитанов и офицеров «собак» будут гонять «скрозь строй — войди, мол, в понятие», — этот «зано-зистый» матрос, как называла его команда корвета, не без презрительной усмешки, спокойно кинул:

— Скажи, какой обидчистый!.. Так и сбежит?

— Начху на Собаку и сбегу! — хвастливо повторил Никишка, разумеется, и не думавший о побеге.

— Меня и без денег форменно лупцуют, и за дело, и по спопутности, а ты, беспардонная вестовщина, в отместку за бой и лупцовку небось шарить капитанские карманы!.. Сколько вчера нашел монет, Никишка?

В кучке засмеялись.

— А если б и нашел? — с нахальным задором ответил Никишка.

— То-то, прикопливаешь к России.

— Так что же? Я и после берега в полном своем рассудке и по присяге завсегда в вежливом повиновении у Собаки! Можешь это понять, Лещиков, по своей отчаянности?.. А Собака как со мной? И боем донимает, и на бак

гоняет: «для полировки, мол, крови». Ты обмозгуй, что я безотлучен при Собаке и день и ночь. Так ежели он в таком подлом, можно сказать, карактере со своим вестовым, я и не смей тогда упользоваться какой-нибудь мелочишкой?

— Шкуру твою велит снять, ежели поймает тебя, Никишка, в своих карманах!.. Это ты помни! — промолвил Лещиков.

— Меня, Никишку, поймают!

— А ты думал, ни разу не поймал, так не попадешься?

— Это который дурак, тот влопается, а я, слава богу, матрос с рассудком! — самодовольно воскликнул Никишка, видимо уверенный в том, что шкуру с него не снимут...

И после паузы не без апломба продолжал:

— Собака и не знает, сколько у него по карманам мелких денег. В «портамете» считает, а мелочью брезговает. И что ему, Собаке, ежели вестовому перепадет? Небось я портамета евойного не касаюсь... Коснись, тогда форменно украл. А ежели да за свою каторжную жизнь франок, шильник, да много-много пятьдесят центов прибрал — это вроде быдто

нашел... Все равно, обронить мог на берегу Собака!.. Или взял сигарку... Скажи пожалуйста, какая беда!..

Никишка так горячо и возбужденно защищал право деликатных находок в карманах капитана, которого можно звать Собакой, и притом так моргал лукавыми глазами, что едва ли все слушатели поверили его защитительной речи и верно подозревали, что Никишка несравненно шире пользуется забывчивостью капитана, чем говорит.

Все молчали. Даже Лещиков не поднимал спора.

Тогда Никишка проговорил:

— Очень Собака надеется... Пожалуй, и поймает на берегу!

— Да ты про кого это? — нетерпеливо спросил кто-то.

— Про Трофимова... Собака вчера встрел его в городе и сегодня поехал за ним. «Со дна, говорит, достану подлеца!»

## II

Эта новость произвела сильное и тяжелое впечатление. Вся команда любила и жалела беглеца — тщедушного матроса, не стерпев-

шего частых порок и сбежавшего с корвета.

Несколько мгновений стояло молчание.

И наконец Лещиков решительно проговорил:

— Так и поймал!

— То-то и есть! — радостно подтвердил молодой матросик.

— Нет такого закона, чтобы вернуть беглого, ежели он ничего дурного не сделает... Небось, как в прошлом году Трофимов скрылся, его и не ловили... Концырь тогда сказывал, что никак, мол, нельзя!..

Так говорил Лещиков, а в душе трусил за товарища. Просветлели и матросы.

— Вот то-то и есть! Собака из-за самого этого и распалился! — сказал Никишка. — И вчера зверствовал надо мной и сегодня. А старшего офицера призвал и ему обсказал, как это втрел на улице Трофимова. «Идет, говорит, подлец, и ровно господин какой... Форсисто одетый в вольной одеже, в штиблетах и цигарку курит. Можете, говорит, это понять?» Это Собака старшего офицера спрашивает, а сам со злости ажно побелел. Старший офицер молчит, а Собака шипит, точно глотку пере-

хватило: «И ведь смотрит на меня; изменник присяги и, подлец, еще смеет смотреть... Хучь бы не смел показываться... Ну, говорит, я окликнул: такой, мол, сякой... „Ты присягу нарушил и обязан вернуться, ежели не есть подлец!“ А он-то: „Я, говорит, здесь не такой-сякой, а вольный человек и вернуться не согласен. А ты, говорит, проваливай“. И еще шляпу в насмешку приподнял и пошел»... После этого Собака к концырю... да не застал концыря. И сказывал старшему офицеру, что ежели концырь не поймают Трофимова, то дойдет до губернатора и всю полицию грозит поставить, чтобы вернули ему изменника... «Узнает, мол, тогда, как присягу нарушать! Я, говорит, ему шкуру сниму да под суд отдам... Пусть сквозь строй пройдет!»

Никишка не без удовольствия передавал эти подробности. И, словно бы желая возбудить в слушателях мрачные опасения, прибавил:

— Как бы не сцапали Трофимова... Не показывайся Собаке на глаза! Не дерзничай!

Матросские лица омрачились.

И вдруг раздались подавленные голоса:

— Тогда Трофимову крышка!

— Собака-злодей изничтожит!

— И какой душевный матрос был!

— А в гроб вгонит человека!

А Никишка, словно бы подтверждая этот приговор, проговорил:

— Очень даже просто!

— А ты не каркай! — взволнованно и сердито сказал Лещиков. — Ты ведь и врать поперек себя толще!

— Что мне врать?.. Какая такая причина врать!.. Что слышал, то и обсказал...

— Довольно даже подло обсказываешь... Разве не знаешь, что мериканская полиция не может забрать Трофимова... Да он, может, теперь и не Трофимовым прозывается, а мериканцем... Небось у них и пачпортов нет, а не то что прописка... Поймай-ка. Выкуси! Так и поймал со своей Собакой, беспардонная душа!

— Ты что лаешься? Разве я ловить буду?.. А я тоже беру в понятие, что люди говорят... Очень даже хорошо понимаю насчет пачпортов, а небось полиция и без прописки все знает... Разуцет... И российского человека

нетрудно разыскать... Он сейчас себя окажется! — настаивал Никишка не столько из уверенности в поимке беглеца, сколько из злобного чувства к Лещикову.

— И опять врешь... Теперь Трофимов в вольной одежде совсем другой стал на вид человек... Как, мол, найти, что он Трофимов... Всех жителей, что ли, пересмотрит Собака?

— На пристани увидит наш офицер да сейчас городовому: бери, мол!

— Офицер на такую подлость не пойдет... И городской не слушает... Это ты по своей подлой выдумке прешь...

Чем более Лещиков втайне смущался доводами Никишки, тем сильнее горячился и презрительнее взглядывал на Никишку, испытывая желание раскровянить его «продувную морду».

Никишка увидал, что Лещиков «на точке», примолк и снова закурил сигару.

### III

В это время в кружок вошел баталер Иванов.

— Вы это о чем? — небрежно спросил он, закуривая трубку.

— Да вот насчет Трофимова, Петрович! — взволнованно проговорил Лещиков, питая к старому унтер-офицеру некоторую слабость, как к заведующему раздачей водки, который иногда позволял Лещикову выпить две чарки вместо положенной одной, если Лещиков покупал вторую чарку у кого-нибудь из непьющих.

— Относительно какого, примерно сказать, обстоятельства? — задал вопрос баталер, любивший в качестве бывшего писаря выражаться, как он говорил, «по-благородному».

— Да вот шельма Никишка брешет, что Трофимова обязательно поймают... для этого и Собака на берег уехал — ловить!

— Ни в жисть. Это одно «благоухание»! — авторитетно произнес баталер.

Он любил это слово и употреблял его в разных, им же придуманных смыслах, когда хотел выразить что-нибудь невозможное или не стоящее внимания.

И нередко, когда кто-нибудь просил Петровича разрешить вторую чарку, он отвечал:

— Проваливай! Это одно благоухание!

— Так не поймают, Петрович? — обрадо-

ванно спросил Лещиков.

— Никто и ловить не станет, хоть десять концырев проси у всех губернаторов...

— Ну? — недоверчиво протянул Никишка.

— То-то «ну». А ты не нукай, беспардонная Никишка, коли тебе объясняют, чего ты понять не в силе своего рассудка... Тоже о себе много полагаешь!..

— Диковинно что-то, по моему рассудку, Иван Петрович! — заискивающе промолвил Никишка.

— Нет ничего диковинного для образованного человека! Обмозгуй, ежели в малом понятии, Никишка! Ничего концырь не поделает, как ни постарайся для твоей Собаки! Он скажет здешнему начальству: «Пожалуйста мне беглого российского матроса первой статьи Федора Трофимова, сделайте такое одолжение, господа сенаторы!» А сенаторы ему в ответ: «По какой такой причине? Чем виноват мистер Троф?» Это американцы, наверно, так уж обозвали по-своему Трофимова, чтоб не копать! — вставил баталер и продолжал за сенаторов: — «Убил ли Троф, или украл? Ежели, мол, дадите доказательство, мы будем

ловить Трофа и судить по своим закон-положениям. А ежели доказательства нет, то какие мы имеем права ловить и судить человека?.. У нас вольная сторона... Живи кто хочет».

На лицах матросов светились удовлетворенные улыбки.

Матросик радостно промолвил:

— Небошь Петрович зря не скажет. Он все знает!

— Ну что, вестовщина, слышал? — насмешливо спросил Лещиков.

— Уши-то есть... Только и Собаку слышал... Он в уверенности поехал на берег! — заметил Никишка.

— Сдурел от бешенства и в уверенности. Вроде быдто под хвост перцу Собаке подсыпали... А как вернется, небошь поймет образование! — категорически промолвил баталер.

И прибавил:

— Вот новый адмирал приедет из России, так Собаку утихомирят... Нынче другие пойдут права... Адмирал не любит, чтобы безо всякого образования тиранили матроса...

Матросы жадно слушали баталера.

— Скоро ли приедет?.. — раздалась многие голоса.

— Слышно, скоро! — отвечал баталер.

И кто-то спросил:

— Пожалуй, адмирал ослобонит нас от Собаки? Как ты полагаешь, Петрович?

— Адмирал с большим рассудком. Нижнего чина не считает вроде арестанта. Небось не станет держать на эскадре такую Собаку! Обязательно отрешит и отправит в Россию! — уверенно проговорил баталер.

Все, по-видимому, были в большой радости от адмиральского рассудка. Только Лещиков, казалось, не удовлетворился им.

— Ежели адмирал с большим рассудком, то по-настоящему следовало бы Собаку скрозь строй! — сказал Лещиков.

Это замечание вызвало веселый сочувственный смех.

— Как полагаешь, Петрович? Не вышло такого закон-положения? — прибавил Лещиков.

— То-то не вышло! — засмеялся баталер.

— Довольно-таки жалко, что не вышло! А в здешней стороне есть такой закон-положение?

— Сквозь строя нет...

— И у мериканцев, значит, нет строгости для начальства? — допрашивал Лещиков.

— Очень даже строго... Ежели ты здесь хоть начальник да начхал на закон, не похвалят... Отдадут под суд и в тюрьму... А то и повесят!.. Одно благоухание! — прибавил Петрович, придавая любимому своему слову положительный смысл.

— Это правильно... Ловко с «собаками»! Небось не смеют, идолы!.. А наши-то, которые шкуры снимают, ничего не боятся! — проговорил Лещиков.

— Вот новые права дадут — побоятся... Скоро шабаш порке! — сказал баталер. — Придет адмирал, выйдет объявка! А уж Собаку беспременно уберут.

— Еще когда уберут, а он задаст сегодня благоухание! — не без злорадства бросил Никишка.

С этими словами он захихикал и вышел из круга курильщиков.

#### IV

Капитанский вельбот пристал к берегу во втором часу.

Вахтенный мичман Загорский встретил капитана у входа на палубу в официально-почтительной позе, приложив руку к козырьку белой фуражки, и юное жизнерадостное лицо мичмана слегка улыбалось.

Капитан остановил на нем тяжелый холодный взгляд и в то же мгновение почувствовал злобу к мичману именно за то, что он улыбался. Капитану казалось, что мичман радуется оттого, что капитан «оскандалился», потерпев полную неудачу на берегу.

И он резко кинул:

— Брам-штаг не вытянут. Полюбуйтесь!

Загорский тогда догадался, откуда «разнос», и взглянул на озлобленное худое лицо капитана.

«Опрохвостился, опрохвостился, опрохвостился!» — говорили, казалось, веселые, улыбающиеся глаза мичмана.

Лицо капитана позеленело.

Он отвел глаза и быстро прошел, ни на кого не глядя, в свою каюту.

— Видно, не выгорело. Не запрет Трофимова! — шепнул мичман, обращаясь к старшему штурману.

— Еще бы. Мы ведь в Америке!..

Через пять минут Никишка, только что по-  
давший капитану форменное платье, вбежал  
в кают-компанию и доложил старшему офи-  
церу:

— Капитан просят, ваше благородие!

Никишка вернулся из кают-компании и  
сказал:

— Сей секунд придут, вашескобродие!

С этими словами Никишка скрылся в сво-  
ей крохотной каютке за дверью капитанской  
каюты и стал обшаривать карманы штанов и  
жилетки статского платья. Он с большею сво-  
бодой, чем обыкновенно, выбирал мелкие  
деньги и прятал их в карман своих штанов.

«Теперь хоть всю мелочь обирай!» — весе-  
ло думал Никишка, хорошо знавший, что за-  
бывчивость Собаки прямо пропорциональна  
его гневному настроению.

Однако Никишка деликатно отложил две  
десятицентные монетки и принес их в капи-  
танскую каюту.

— В штанах, вашескобродие! — доложил  
он и положил две монетки на стол.

— Вон! — крикнул капитан.

И, когда Никишка исчез, капитан, обращаясь к Ивану Ивановичу, присевшему на кресло, заговорил:

— Нечего сказать, хорош русский консул. Никакого содействия. Скотина этакая!

И в бессильной злости продолжал:

— Я напишу управляющему министерством. Я буду жаловаться на консула. Так нельзя... Я к нему приезжаю, объясняю, а он еще смеется... Отказался даже съездить к губернатору. Говорит: бесполезно. И это консул!.. Ну и страна тоже подлейшая. Укрывают беглых. Но, если они не желают вернуть мне беглого, я сам распоряжусь...

— Как, Петр Александрович? — осторожно спросил старший офицер.

— А так, как должен поступить русский капитан... Надо схватить Трофимова и привезти на корвет. Этот мерзавец, наверно, придет на пристань, чтобы подговаривать других.

— Как бы чего не вышло, Петр Александрович! — заметил Иван Иванович.

— А что может выйти? Разве я не могу взять своего матроса?

— Он в чужом государстве, Петр Алексан-

дрович.

— А наплевать мне. Он мой матрос! — упрямо говорил капитан, очевидно имевший довольно смутные понятия о международном праве.

Старший офицер дипломатически молчал.

— И я попрошу вас, — продолжал капитан, — объявить унтер-офицерам, что если они доставят на корвет беглеца, получают награду.

Это приказание покорило старшего офицера.

Иван Иванович считал капитана слишком крутым, убежденным поклонником жестоких мер и притом неумным человеком, который не понимал новых веяний шестидесятых годов и во флоте.

Но, вышколенный строгой морской дисциплиной и рассчитывавший на скорое командирство, Иван Иванович не смел и подумать о неисполнении приказа капитана, как оно ни безнравственно, и ответил:

— Слушаю-с, Петр Александрович!

Однако все-таки после паузы прибавил:

— Боюсь только, Петр Александрович, что

унтер-офицеры не исполняют приказания.

Капитан угрюмо молчал. Казалось, он и сам мало на это надеялся.

— Вы думаете? — спросил он.

— Почти уверен.

— Кто поедет с первой вахтой на берег?

— Мичман Неверин.

— Пошлите его ко мне... И все-таки отдайте мое приказание!

— Есть! — проговорил старший офицер официально-недовольным тоном.

Через минуту явился мичман Неверин.

Когда капитан приказал ему схватить Трофимова, если он будет на пристани, мичман вспыхнул и, негодующий, ответил, что не может исполнить такого приказания.

На мгновение капитан опешил.

— Под арест! — крикнул он и этим, казалось, разрешил вопрос о своем капитанском престиже.

## V

— Первая вахта, собирайся на берег! — весело прокричал боцман Рябов после того, как проделал руладу на свистке.

И боцман хотел было спуститься на куб-

рик, чтобы приодеться на берег, где рассчитывал основательно попробовать виски, о которой рассказывали шлюпочные, как с вахты крикнули:

— Подшкипер, баталер, боцман и унтер-офицеры первой вахты, на ют!

Они тотчас же явились к старшему офицеру, недоумевающие, что их позвали не на бак, где обыкновенно объяснялся старший офицер по служебным делам.

Перед этими «баковыми аристократами», которых Иван Иванович, случилось, без малейшего стеснения, в минуты служебного гнева, и бил и наказывал линьками, в настоящую минуту чувствовал себя сконфуженным, словно бы виноватым и заслуживающим больше чем неодобрения. Но, чтобы скрыть свое смущение, он представился сердитым и старался таращить свои круглые, далеко не злые глаза, когда умышленно строгим тоном сообщил, что будет выдана денежная награда тем из собравшихся, которые доставят на корвет изменника, нарушившего царскую присягу, — беглеца Трофимова.

И, словно чтобы показать, что не он отдает

это приказание, Иван Иванович еще суровее добавил:

— Капитан приказал мне передать это вам... Слышали?

Несколько секунд длилось молчание.

И боцман Рябов первый проговорил, опуская глаза:

— Слушаю, ваше благородие, но только никак невозможно, ни за какие деньги... Вовсе обидно боцману, ваше благородие! Я, кажется, не замечен...

— И где его найти, ваше благородие! — добавил более дипломатичный подшкипер.

— Осмелюсь доложить, ваше благородие: нет такого закон-положения, чтобы ловить людей в Америке!.. За это тебя ж обвиняют американцы... И не дадут ихнего Трофа! — промолвил баталер.

— Какого там Трофа? — спросил старший офицер.

— Да самого Трофимова, ваше благородие... Он теперь во всей форме быдто американец!

Другие молчали. Но их подавленные лица явно показывали, что приказание капитана

не будет исполнено.

— Я вам передал приказание... Живо соби-  
райся на берег! — вдруг свирепо крикнул  
старший офицер.

Но, несмотря на этот тон, все понимали,  
что Иван Иванович не сочувствует приказа-  
нию капитана.

Весть о приказании капитана вызвала сре-  
ди матросов чувство негодования.

— Чем выдумал облещивать Собака! — го-  
ворил, одевая чистую рубаху, Лещиков. — По-  
лагает, найдутся Иуды...

И, увидав одного унтер-офицера, на кото-  
рого не надеялся, Лещиков громко прибавил:

— Посмей кто тронуть Трофимова, искро-  
вяним до смерти! Ты это помни, шилохво-  
стый унтерцер!

— А ты что зря лаешься, Лещиков! — всту-  
пился, подходя, боцман. — Небось не найдет-  
ся бессовестной души на конверте, чтобы за-  
манить беглого... Так и стали ловить!.. Пусть  
Собака зря посылает.

Матросы первой вахты, приодетые, стали  
выходить на палубу, как вдруг сигнальщик  
крикнул вахтенному мичману:

— Конверт под адмиральским флагом идет, ваше благородие!

Мичман Загорский взглянул в бинокль в даль рейда.

Действительно, из-за острова показался русский корвет, который полным ходом шел на рейд, слегка попыхивая дымком из белой горластой трубы.

— Позывные! — весело скомандовал мичман.

На крьюс-брам-стеннге взвились позывные: «Могучий». На адмиральском корвете ответили своими позывными: «Коршун».

— К салюту! Дать знать капитану и старшему офицеру! — сделал распоряжение Загорский.

Все глаза жадно устремились на приближавшийся корвет под флагом адмирала с «большим рассудком», и лица матросов светились надеждой.

Съезд на берег был отставлен. Баркасные подали баркас на бакштов и поднялись на палубу.

— К салюту приготовиться! — крикнул выбежавший наверх капитан.

Но в ту же минуту на адмиральском корвете был поднят сигнал: «Не салютовать».

Корвет приближался. Капитан спустился и через две-три минуты поднялся на мостик в мундире, треуголке, при сабле на боку, готовый ехать к адмиралу с рапортом, как только «Коршун» бросит якорь.

Капитан был чуть-чуть бледен.

— Небось боится адмирала! — шептали матросы.

Уж «Коршун» был близко и несся прямо на корму «Могучего».

— Команду во фронт!

Матросы выстроились по обеим сторонам шкафута. Офицеры — на шканцах. Капитан, старший штурман и старший офицер, повернувшись лицами к приближающемуся корвету, стояли на мостике и могли разглядеть «нового» начальника эскадры, который зорко оглядывал «Могучий».

Стояла мертвая тишина. Слышно было, как на «Коршуне» скомандовали:

— Малый ход!

«Коршун» «резал» корму «Могучего».

Все офицеры на «Могучем» держали руки у

козырьков. Приложил руку к козырьку и адмирал, но, казалось, не взглянул на капитана.

Пройдя почти вплотную около «Могучего», адмиральский корвет круто повернул и пошел по борту «Могучего».

— Здорово, ребята! — раздался громкий и приятный голос адмирала.

— Здравия желаем, ваше-ство! — раздался ответный крик полутораста матросов.

«Коршун» обошел «Могучего» и бросил якорь.

В ту же минуту капитан отвалил от борта и направился к адмиралу.

Матросов распустили из фронта.

Между ними шли разговоры об адмирале. Все находили, что, судя по лицу, он с большим рассудком. Даже по голосу его нашли признаки того, что он, верно, «добер».

Еще бы! Им так хотелось, чтобы он был «добер» и освободил наконец от Собаки.

Капитан что-то долго не возвращался.

Наконец вельбот пристал.

— Была, значит, выволочка! — шепнул боцман.

Действительно, капитан взошел на палубу, видимо расстроенный.

Что-то растерянное, жалкое и недоумевающее было в его осунувшемся и словно постаревшем лице.

Он вошел в каюту, беспомощно опустился в кресло и задумался.

Наконец он переоделся и велел Никишке позвать старшего офицера.

— Не приказывайте унтер-офицерам ловить этого подлеца... Оказывается, нельзя! — с кислой усмешкой проговорил Нерешимов.

— Я уже передал ваше приказание, Петр Александрович!

— Отменить.

— Есть!

— Мичмана Неверина выпустить из-под ареста.

— Слушаю-с.

— И... и новый адмирал недоволен мною... Я, видите ли, бесцельно жесток с командой... Очень недоволен... И показал мне газеты... Нынче и газеты принимаются во внимание... Как же-с.

— Какие газеты?

— Прошлогодние, американские... когда мы были в Сан-Франциско...

— Что ж там, Петр Александрович?

— Адмирал нашел, что в газетах писали позорные обо мне вещи... Что на рейде раздавались крики наказываемых людей... Видно, не надо было пороть в чужом городе да еще у подлецов, которые всякие пустяки печатают в газетах... Это, конечно, ошибка с моей стороны... Надо было пороть в море... И адмирал — он ведь нынче против строгих наказаний, а давно ли отлично перепарывал всех марсовых, если работали на минуту позже? — так он спрашивал: правда ли хоть часть того, что описано в газетах... Я, конечно, не врал ему... Мне нечего было стыдиться... Я сказал, что действительно строго наказывал матросов и считал себя вправе наказывать, чтобы корвет был в исправном виде, как следует военному судну... И не скрыл, что хотел поймать беглеца, если консул не хотел мне поймать негодя... И доложил, что если я и строг, то ради пользы службы... Зато у меня и работают!.. Марсея в пять минут меняют... Но... адмирал нашел, что будто бы всего этого можно

достичь и без порки... Новые, видите ли, веяния, а я не умею приспособляться, как его превосходительство... Вчера дантист, а сегодня пишет против телесных наказаний... Читали статью адмирала в «Морском сборнике»?..

— Читал.

— Сказал, что назначит следствие, а пока... пока...

Челюсти капитана затряслись.

— А пока адмирал отрешил меня от командирства... Завтра съеду на берег и уеду в Россию... Советует подать в отставку... Новые, говорит, порядки... Телесные наказания отменены... Требования от капитанов иные... А я-то чем виноват! — прибавил капитан.

Он, видимо, не понимал, за что должен подавать в отставку. До сих пор его считали образцовым капитаном и вдруг...

— Больше не будет приказаний, Петр Александрович?

— Отпустить команду на берег и сегодня же примите от меня корвет...

Старший офицер ушел.

На корвете скоро узнали о новости, и кор-

вет точно ожил. Обрадованные матросы благословляли адмирала. Многие крестились, что избавились от Собаки.

— Одно благоухание! — говорил, заплетая языком, баталер, возвратившись вечером с берега.

— Собаке бы сквозь строй! — кричал Лещиков, поднятый с баркаса на гордешке.

Собака слышал эти слова и не приказал «снять» шкуру с Лещикова.

Капитан долго ходил в эту ночь взад и вперед по шканцам и о чем-то думал и, казалось, чего-то не понимал.

С берега, горевшего огнями ярко освещенных домов, доносились звуки музыки. А усеянное звездами небо было так красиво. И ночь была тепла и обаятельна.

Но капитан ничего этого не чувствовал.

Ему жаль было расставаться с «Могучим», которым командовал пять лет.

Ему тяжело было оставлять морскую службу, которую любил и с которой свыкся.

И он ходил по палубе, и по временам его вздрагивающие губы шептали:

— За что? За что?

# Тоска\*

*Посвящается М.И. Полованец*

## I

Перед рождественскими праздниками клипер «Нырок» стоял на неаполитанском рейде.

Было холодно и неприветно. Хлестал дождь.

По временам налетали шквалы, и «Нырок» изрядно клевал носом. Солнце изредка показывалось, пригревало и снова скрывалось за серыми облаками.

На клипере только что пообедали, как в кают-компанию вошел черномазый, красивый молодой неаполитанец Пепино.

Вздрагивая от холода в своем довольно легкомысленном пальтишке, Пепино стал просить, умолять, наконец требовать, чтобы офицеры купили у него превосходные кораллы, камеи, кольца и брошки, которые он показывал, открывая своей сухой, довольно грязной рукой небольшой ящик, полный соблазнами.

Никто не покупал.

Только два мичмана заглянули в ящик.

Но, вероятно, вспомнив, что в карманах у них ни «чентезима», они нашли, что кораллы неважные и не настоящие, и даже не спросили о цене.

Итальянец возмутился.

— Это не настоящие! — воскликнул он.

И он клялся, что таких кораллов нет нигде на свете.

И, истощив свое красноречие, он быстро «отошел» и уже добродушно и быстро затараторил о том, что не купить чего-нибудь для «belle signore»[36], как русские, было просто безумием со стороны офицеров.

— Не то, — возбужденно кричал он, — бедные синьоры проплачут свои глазки на своем дальнем севере оттого, что они так бессовестно забыты своими друзьями, — подчеркнул он, лукаво и весело подмигивая черным глазом.

Однако его угрозы не действовали даже на пожилых соломенных мужей-моряков.

Тогда Пепино, полный уверенности, воскликнул, что русские синьорины, конечно,

разлюбят офицеров, если они не привезут какого-нибудь сувенира из Неаполя.

Мичмана только расхохотались.

Зато старший офицер и старший механик не смеялись, но любопытнее заглядывали в ящик итальянца и, казалось, при публике не хотели покупать.

Тогда итальянец, видимо потерявший терпение при виде такой глупости русских, бешено крикнул что-то, вероятно, не особенно лестное для моряков и, негодуя, выбежал из кают-компания на верхнюю палубу соблазнять матросов.

## II

Матросы добродушно и ласково потрепывали по спине итальянца, говорили ему: «бон» и больше мимикой, чем словами, объясняли, выворачивая карманы, что денег нет.

— Аржану-но. Понимаешь, черномазый?

Пепино добродушно смеялся, тоже ласково трепал по спинам матросов, показал маленькую серебряную монету и старался пояснить, что довольно и этой монетки, чтобы купить какую угодно вещь. Нечего и говорить, что эти торопливые слова подкреплялись

необыкновенно выразительными пантомимами и жестикуляцией Пепино.

Пожилой, рыжеватый боцман Антонов подошел к итальянцу и несколько застенчиво стал спрашивать цену маленького кольца.

Пепино запросил двадцать франков, показав два раза свои грязные пятерни.

В ответ боцман обругал непечатным словом итальянца и показал свои два просмоленных корявых пальца.

Подвижное лицо итальянца выразило изумление.

— Только для «russo» продам за десять! — воскликнул итальянец.

И Пепино решительно сунул кольцо в карман штанов боцмана.

Взвизгивая, чуть не умоляя, он частью словами, частью жестами старался объяснить, что у него дети, и что он еще не обедал.

— Манжаре, это значит черномазый на счет еды! — не без апломба проговорил подошедший курчавый, черноволосый фельдшер.

Кончилось тем, что итальянец отдал кольцо за два франка.

— Еще итальянцы, а жулики, — прогово-

рил фельдшер.

— Наших, что ли, мало! — раздраженно бросил боцман. И строго прибавил: — Везде, братец ты мой, манжарить нужно. Или тебе это невдомек, фершалу? А еще тоже образованный.

И, стараясь скрыть довольную улыбку от покупки, боцман завернул кольцо в конец шейного платка.

— Это вы для кого, Арсентий Иванович?

— Для тебя, умника, — резко оборвал боцман, — тоже тебе, хорьку, все пронюхать надо, — прибавил боцман.

— Я по своему рассудку сам могу понять, для кого купили супирчик! — конфиденциально произнес фельдшер и прищурил свои плутоватые, быстрые и несколько наглые глаза.

— Ты зря не виляй хвостом. Так-то лучше, Абрамка; от твоего любопытства чутье пропадает... Еще помрешь, — усмехнулся боцман.

— Не бойтесь, Арсентий Иваныч, я знаю, про что знаю. Слава богу, тут-то у меня есть, — указал фельдшер на свой лоб.

— И знай, пока морда цела! — вдруг окры-

сился боцман.

— То-то и видно ваше необразование, а тут да же супирчики! — не без снисходительного презрения произнес фельдшер и однако благоразумно улизнул.

— Сволочь! — кинул вслед ему боцман.

### III

В эту самую минуту мелкими шажками приблизился среднего роста довольно видный, полноватый человек, свежий, румяный, гладко выбритый, с пушистыми, приподнятыми кверху усами. На толстом мизинце сверкал маленький брильянт. Это был Петр Иванович Приселков, старший судовой врач на «Нырке».

— А ты что же, Антонов, не явился ко мне показаться?

— Запоматовал, вашескобродие.

— Скажите, пожалуйста, отчего же это ты мог запоматовать, а сам же жаловался. Ступай сейчас в лазарет, осмотрю.

И они спустились вниз на кубрик, в маленькую каютку, где был лазарет.

— На что же именно ты, братец, жалуешься? — мягко и искусственно ласково спросил

Петр Иванович, слегка вытягивая грудь и принимая серьезный вид авгура.

— Внутре ничего не оказывает, вашескобродие.

— Да где же «оказывает»?

— Нигде, вашескобродие. Тоской болен.

— Тоской? — удивленно спросил доктор, — отчего же ты тоскуешь?

— Смею доложить, вашескобродие, ото всего.

— Как от всего? Например? Рассказывай.

— Самые, можно сказать, нудные мысли лезут в голову, так ее и сверлят.

— Гм... — глубокомысленно протянул Петр Иванович. — Так сверлят?

— Точно так, вашескобродие. Ровно бурав в башке.

— Ты говоришь — бурав? И часто?

— Чаще по ночам, вашескобродие.

— Д-а-а. Ложись, я тебя осмотрю.

Но, прежде чем лечь, боцман возбужденно и быстро стал говорить какую-то чепуху, среди которой вырывались и самые здравые речи. Подавленный боцман быстро лег на койку и несколько испуганно взглянул на доктора

возбужденными глазами. Казалось, больной испугался доктора главным образом оттого, что Приселков заговорит боцмана.

Недаром же Петра Ивановича матросы называли «стрекозиным старостой» и не без основания считали, что он «очень о себе полагает», так как был уверен, что он самый башковатый человек на свете.

— Ну, рассказывай, Антонов.

— Насчет чего, вашескобродие?

— И глупый же ты, Антонов; по порядку рассказывай, где и как у тебя болит.

— Я уже обсказывал вашему скобродию, что форменно ничего не болит, только в башке сверлит.

— Когда же это началась?

— Еще в Кронштадте; все беспокойная дума донимает.

— Насчет чего?

— А насчет всего; одна тоска, и никуда от нее не уйдешь. Даже перестал настояще заниматься службой. И прежнего форца нет, и форменно матрозню не привожу в чувство, даже ругаюсь без всякого старания. А, кажется, знают боцмана: в струнке держал, а те-

перь — одна скука.

— Так ведь это, Антонов, хорошо, что ты перестал быть идиолом, по крайней мере перестал быть грозой.

— Хорошего-то мало, вашескобродие, когда заболел тоской. Особенно по ночам тяжело, и такая-то глупость лезет в голову, что и не об-сказать. И все будто и перед людьми виноват и других виноватишь. Будто вовсе люди бро-сили без всякого внимания. Обижают своего же брата. Отчего это без обиды никак не про-живешь?

— Да кто же тебя притесняет? — удивился доктор.

Боцман чуть было не сказал: «Да твоя же глупость», но вместо этого с страдальческой улыбкой проронил:

— Никто, вашескобродие.

«А то заговоришь», — решительно подумал боцман и прибавил:

— Так извольте осматривать, вашескобро-дие.

— А ты, братец ты мой, не учи меня, я и сам знаю, на то я и доктор, а ты матрос.

— Слушаю, вашескобродие, — промолвил

боцман, и в его глазах промелькнула лукавая усмешка.

Петр Иванович заметил это и озлился.

— Ноги подыми.

И с этими словами Петр Иванович присел на койку, выслушал сердце и грудь, потрогал живот и, поднявшись, сказал:

— У тебя все в порядке. Скоро поправишься. Тебе надо отдохнуть, и всякая тоска пройдет.

— И чудные мысли пройдут, вашескобродие? — возбужденно спросил больной.

— Разумеется. Главное — будь спокоен и ни о чем не думай.

— Уж пропишите лекарство насчет того, чтобы ни о чем не думать, вашескобродие.

— Пропишу. А пока я отправлю тебя на берег, в Неаполь. Там тепло и солнце. В итальянском госпитале тебе будет хорошо, покойно; людей, которые тебя так раздражают на клипере, не будет. Ты отлежишься там месяца два и выйдешь таким же отличным, старательным боцманом, как и был.

— Слушаю, вашескобродие. Только не лучше ли будет поправка, ежели прикажете меня

отправить в Кронштадт; по крайности свои люди присмотрят.

— Вишь ты какой, больной, а воображаешь, что можешь учить. Говорю, ни о чем не думай.

Боцман внезапно раздражился и, видимо сдерживаясь, почти крикнул:

— И умные же вы, господа, наскрозь понимаете, а вот был Вячеслав Оксентич, наш старший врач, царство ему небесное, так он всякого больного понимал, а главная причина — добер был, да и ума был большого, а не гордился.

Петр Иванович сделал вид, что не слышал этих слов, и, обращаясь к вошедшему фельдшеру, приказал:

— Дать ему порошки, которые прописал, да смотрите, чтобы боцман больше лежал на койке, и вечером доложите мне.

С этими словами Петр Иванович пошел к капитану и доложил ему, что боцман прихворнул и его надо отправить отдохнуть на берег.

#### IV

— Да чем он болен? — спросил капитан. —

Кажется, здоровый человек.

— У него маленькое переутомление, Александр Александрович, «neurastenia cerebri» [37].

— Какое еще переутомление у матроса?

— В коротких словах это значит, что нервы, функционирующие на органы речи...

И Петр Иванович с необыкновенным апломбом стал было продолжать длинную лекцию, но капитан сказал, что ему нужно сию минуту ехать на берег.

— Да я все равно нехорошо пойму то, что вы, доктор, мне расскажете. А по-моему, разнести бы боцмана, он бы и поправился, а то нынче все нервы, даже и у матросов.

— Такие времена, Александр Александрович. Наука говорит, что таких людей нужно лечить. По моему мнению, боцман на берегу скоро поправится. Главное — спокойствие. Он просится в Кронштадт, но едва ли Италия не будет для него полезнее. Во всяком случае проживет месяц-другой в госпитале в Неаполе.

Капитан знал, что Петр Иванович был довольно ограниченный человек, влюбленный в себя. И, что всего ужаснее, считал себя

необыкновенно умным и знающим и нередко раздражал своими словами даже не нервных людей.

— А не лучше ли отправить его в Кронштадт, доктор?

— Как угодно, Александр Александрович.

— Да я спрашиваю, не как мне угодно, а как лучше, — раздраженно воскликнул капитан.

— Я уже доложил вам свое мнение, кажется. Как доктор, занимавшийся много лет, знаю, что лучше и что хуже. Вот почему я и говорю вам, что боцмана надо отправить на берег.

— Ну что же, отправляйте. Не пропадет ли он там?

— Я буду навещать его, Александр Александрович, пока мы будем здесь стоять, да и можно будет пускать к нему кого-нибудь из приятелей. Только у него их, кажется, немного на клипере. Беспокойный и не особенно приятный человек.

Когда доктор вошел в кают-компанию и сказал старшему офицеру о болезни боцмана, Иван Иванович, приземистый брюнет лет со-

рока с сердитым, некрасивым, раздраженным лицом педанта старшего офицера, по-видимому, особенно близко принявший к сердцу положение боцмана, возбужденно воскликнул:

— Да за что же вы присудили, доктор?

— Как присудил?

— Да хуже чем к одиночному заключению. Разве человека не понимаете? Ведь он с тоски и в самом деле свихнется. Один, один, да еще среди чужих людей! И это вы называете споконствием! Помилосердствуйте, доктор! Пусть боцман пока останется в лазарете на клипере, а если не поправится, отправим его в Кронштадт.

Доктор слушал старшего офицера с снисходительной усмешкой.

— Удивительное дело, ведь я не смею говорить о морском деле, которого не понимаю. Я не говорю ни об астрономии, ни о механике, ни о теории ураганов. А нет человека, который бы не говорил о медицине, особенно бабы, не считал бы себя вправе критиковать лечение врачей и не ругал бы их. Я, слава богу, учился и много работал, и, кажется, знаю, что делаю.

И, словно бы желая еще больше сорвать сердце на возмущающее его нахальство публики, еще безапелляционнее и докторальнее произнес то, что едва ли бы сказал, не встретивши противоречия со стороны профана.

— Вы, Иван Иванович, думайте с капитаном как вам угодно, а я считаю долгом сказать, что не отвечаю за выздоровление больного, если он не будет немедленно же отправлен на берег.

— Будто бы? — раздался с конца стола насмешливый голос мичмана Коврайского.

— А вы врач, что ли?

— Считаю себя только не влюбленным в себя авгуром и только мичманом.

— И надо об этом помнить.

— И помню.

— Как видно, забываете. Впрочем, это общее правило: каждый безусый мичман думает, что он все знает. Это — в порядке вещей.

— Как и в порядке, что жрец считает себя непогрешимым.

Уже спор готов был разгореться, как старший офицер приказал Коврайскому немедленно приготовить баркас и отправляться на

нем с больным на берег.

— Да как же, Иван Иваныч. Доктор, сми-луйтесь!.. Тоже у меня был дядя с переутомле-нием, и тоже его отправляли из Петербурга для отдыха в Италию. Нарвался на врача, ко-торый был глуп как сапог. Хорошо, что дядя пробыл в Италии только три месяца. Там со-всем пропадал без шельмы-тетеньки и без обычной обстановки и догадался удрать.

Старший офицер беспокожно заерзал пле-чами.

— Надо уметь исполнять приказания, что-бы заставить слушаться. Пожалуйста, отпра-вляйтесь с больным, — строго прибавил Иван Иванович.

Таким образом, благодаря самолюбиям доктора и старшего офицера, боцман через два часа был в неаполитанском госпитале.

## V

Когда боцмана привезли в госпиталь, он как-то страдальчески взглянул на мичмана и сказал:

— Спасибо, ваше благородие. Хотят меня доконать. Нечего сказать — умники!

А мичман, словно бы виноватый, сказал

боцману:

— Да ведь я, голубчик, не виноват.

— Никто не виноват, ваше благородие. Оказывается, виноватый один я, и по своей же глупости.

— По какой глупости?

— Да тоже полагал, что есть такие, как Вячеслав Оксентич, а главная причина — очень уж полагают о себе глупые люди; оттого им и самый полный ход. Навестите когда, ваше благородие.

С этими словами боцман вошел в небольшую, очень чистую комнату.

Из открытого окна врывались снопы яркого солнца.

К больному подошла высокая, белокурая немка и нежным, слегка аффектированным голосом проговорила по-французски, указывая на кровать:

— Вот ваше место. Сейчас же ложитесь. Доктор сию минуту придет осмотреть вас. Вы здесь скоро поправитесь.

— Что она лопочет, ваше благородие, эта долговязая?

— Она успокаивает тебя, говорит, что здесь

поправишься. Видишь, как здесь чисто.

— В тюрьме еще чище, ваше благородие.

Боцман, едва сдерживая себя, проговорил:

— Я их, подлецов, больше просить не буду.

И без них улепетну... Крышки не желаю... — и внезапно заплакал.

Мичман стал было успокаивать больного, но он внезапно раздражился и сказал:

— Бросьте, ваше благородие, прежде ума припасите.

## VI

Особенно тяжела была для больного ночь.

Сон не приходил, и больной в полутьме электричества возбужденно оглядывал комнату.

Из окна доносился гул бушующего моря.

Боцману казалось, что он один и никуда отсюда не выйдет, и его забыли, и в голове его пробегали мысли о прошлой жизни.

Был он матросом форменным, но все-таки не было ему никакой задачи. Вместо службы была одна тоска. То попадался мордобой-капитан, то ревизор неправильно кормил матросов, то с углем выходили зазорные дела, то старший офицер зудил зря.

Антонов не раз толковал об этом на баке и раза два подавал претензии адмиралам. За все это боцмана считали беспокойным человеком и наказывали.

Он понимал, что все-таки держали его боцманом только потому, что он был усердный и хороший боцман, и придраться к нему было нельзя.

Особенно тосковал больной в эту ночь по Кронштадту. Там, — думал он, — было бы так хорошо ему, уютно в своей комнате, которую нанимал у сестры.

Там жила и Степанида Андреевна, прачка. Они вместе с сестрой держали прачечное заведение, а боцман помогал им: разносил белье по давальцам и писал счета.

И сестра и Степанида вспоминались ему, как необыкновенно добрые и приветные женщины. Он, напротив, считал себя грубым и вздорным и вспоминал, как, возвращаясь нередко не в своем виде, обижал и сестру и Степаниду.

И больному все эти несправедливости представлялись несравненно сильнее, и себя он считал безмерно виноватым. «Сам же я и

есть скот настоящий», — думал он и просил бога, чтобы он избавил его от тоски.

— Хоть бы доктор дал лекарство от нее! — громко говорил он и в то же время сознавал, что никакой доктор от тоски его не избавит.

## VII

В маленькой комнатке становилось темней.

В голове больного точно сидел гвоздь, и он вскрикивал:

— Уберите меня, уберите!

Предметы в комнате представлялись больному какими-то странными, и он испытывал ужас одиночества.

Казалось ему, что и сестра, и Степанида, и закадычный его приятель Ипатка, старый баковый матрос с «Нырка», позабыли о нем.

Он забыт всеми, и один, один, постоянно один.

А давно ли они вместе с этим Ипаткой балакали и по праздникам после чаю распивали не один полуштоф?

В такие минуты друзья его казались больному большими обидчиками; он раздражался и называл обидчиков свиньями.

— А еще называли своим добрым приятелем! Кто их тянул за языки?

Но проходило мгновение, больной одумывался и снова раздумчиво и внимательно вглядывался в полутьму.

Тоска охватывала его все сильнее и сильнее.

«Черти вы и есть», — уже совершенно здраво подумал боцман, вспоминая и доктора, и капитана, и многих офицеров, и сестру, и Степаниду.

— Вот поправлюсь, явлюсь на «Нырок», отслужу на клипере свой срок — и в отставку.

И ему представлялось, что в отставке, на берегу, жизнь будет совсем другая, чем на судне. И он будет при деле, и люди будут лучше.

И не надо обижать, а главное — не врать.

— Небось, сестра всегда оказывала своему брату приверженность. Ты, мол, один мой верный сродственник... И Степанида называла добрым человеком. А как этот самый верный сродственник и добрый человек — один как перст и без всякого призора, так хоть бы весточку прислали. Форменные бабы и оказались. Небось, сестра давится деньгами от да-

вальцев.

А точно гвоздь так и сверлил его голову.

Наконец больной заснул. Но сон его был прерывистый и необыкновенно чуткий.

## VIII

— Братцы, спасите! — раздался из соседней комнаты тихий голос.

Боцман присел на койке и стал прислушиваться.

— Братцы, помогите! — громче сказал кто-то.

В соседней комнате раздались мягкие шаги, послышался тихий женский голос, и крики стихли.

— Верно, милосердная... только как наш русский понимает ее?

И боцман, обрадованный, что рядом с ним русский, направился к двери; но в эту минуту вошла белокурая немка и своим слегка гнусавым, искусственно ласковым голосом проговорила, указав на койку:

— Спите, спите, вам лучше будет.

Но голос сестры, вместо того, чтобы успокоить больного, только раздражил его.

И он насмешливо промолвил довольно

громко:

— Чего ты зудишь, белобрысая? Лучше по-малкивай. Дрыхни сама.

Сестра Анна еще настойчивее повторила:

— Dormez, dormez![38]

— Форменная ты дура и есть. Дрыхни сама.

Немка погладила боцмана по голове.

Он резко отдернул голову и сказал:

— Проваливай, проваливай. Я и без тебя дорми; только бы бог дал сна.

Сестра стала успокаивать по-французски боцмана.

Но он сердито махнул рукой и отвернулся от нее.

— Братцы, голубчики! — снова слышался голос из соседней комнаты.

И сестра исчезла.

«Тоже поправку выдумали; доктора законопатили. Надо проведать соседа. Верно, утром пустят, а не пустят, я без спроса пойду. По крайности будем не одни здесь русские».

Наступила тишина. Сосед смолк.

Скоро заснул и боцман, но ненадолго.

Пришла немка и, увидавши, что он лежит в платье, разбудила боцмана и показала ему,

что надо раздеться и лечь.

— Опять зазудила. Тоже вроде нашего доктора.

Однако боцман, приученный долгой флотской службой к дисциплине, тотчас же разделся и лег в постель.

Сестра затушила электричество, и в комнате воцарилась темнота.

А боцман чувствовал себя еще беспомощнее, и ему казалось, что теперь он окончательно всеми забыт.

Сон не приходил. И в голове боцмана пробегали мысли о том, как хорошо быть в Кронштадте и побалакать с умной Степанидой насчет того, как правильно жить на свете и почему в мире так много зла.

Из окна сильнее доносился гул моря.

— Небось, в море погода. Видно, «зарифимшись» «Нырок».

И прежний лихой боцман представлял себе, что, верно, на «Нырке» взяты рифы, и он дуэт под тремя рифами, и подвахтенные уже спят в койках.

И боцман, уже во сне, рассыпал артистическую ругань, вызывая подвахтенных наверх

брать четвертый риф.

На другое утро, когда слабый свет проник в комнату, боцман проснулся и, увидав себя в непривычной обстановке, сообразил, где он, и воскликнул:

— Крышка!

«Сегодня же надо утекать отсюда», — подумал он и, открыв окно, жадно вдыхал свежий, острый воздух раннего утра.

Солнце только что поднялось из-за Везувия, и верхушки гор были в золотистой дымке.

Напротив слегка вырисовывался в тумане остров Капри. Раздавался тихий перезвон в церквах.

В госпитале было еще тихо.

— Ишь ведь, дьяволы, дрыхнут. Поди, не скоро дадут горяченького.

И боцман, словно зверь в клетке, шагал по комнате взад и вперед, и в голове его пробежали мысли о том, как он уйдет из госпиталя и явится на «Нырок».

Там же, может быть, он узнает от ребят насчет того, как живут в Кронштадте сестра его Иренья и Степанида, как справляются они без

него с бельем.

«Не вышла ли Степанида замуж?» — подумал боцман, и жгучее озлобление почему-то охватило его.

— Бестолково бабье ведомство... Обязательно перепутают. Еще Степанида побашковатее, а сестра — вовсе дура. Воображает, что умна, все сама может. А главная причина — очень льстится на мужчин, — с раздражением проговорил боцман.

— Это ты про что, земляк?

С этими словами к нему вошел пожилой, чернявый, коротко остриженный русский матрос.

— Ты с какого судна?

— Боцман с «Нырка». А ты?

— Рулевой с конверта «Грозящий».

— Как тебя звать?

— Иван Поярков.

— Садись, — сказал боцман.

И земляки пожали друг другу руки.

— Ты чем же болен? — спросил боцман.

Лицо матроса было худое и землистое. Все черты были заострены.

В глазах горел лихорадочный блеск. Голос

его был глухой.

— Грудью. Знобит все. Да здесь в тепле полегчает. Дохтур обещает, что выправит, — уверенно и радостно проговорил матрос.

— Конечно, выправишься. Я служил на конверте с одним фор-марсовым; так он тоже был болен грудью и страсть как поправился, когда конверт вошел в теплые места. Теперь словно бык.

Матрос жадно слушал боцмана и видимо обрадовался.

— А как тебя звать?

— Арсентий-Иванычем зовут ребята.

— А ты по какой причине в госпитале?

— Зря. По чужой глупости. Ничего не болит, только тоска, а меня сюда законопатили. Скорей бы поправка мне вышла в Кронштадте, а вот дохтур не пущает.

И боцман, обрадованный, что может поговорить с земляком, да еще с матросом, как с ним «довольно глупо» поступили, и при этом дал не особенно лестные характеристики о докторе, капитане и многих офицерах.

— А у вас на конверте как?

Матрос сказал, что пожаловаться на на-

чальство грешно. Капитан добер. Вовсе не наказывает линьками. И старший офицер не очень допекает, только любит чистить по морде. Да только рука у него нетяжелая, и бьет без пыли.

— А как же он смеет, ежели такого положения нет? И сами вы дураки и есть, — вдруг прибавил боцман.

Матрос удивленно взглянул на боцмана.

— Нешто и ты, Арсентий Иваныч, не учишь нашего брата?

— То-то я и был мордобоем; да, спасибо, нашелся человек. И ведь поди, с виду совсем плюгавый был, — шканечный, а вовсе осрамил, как из-за меня попал в лазарет. Совсем не мог вынести бою. А он же меня и спас, когда я упал за борт. Этим самым меня он и оконфузил.

— Ишь ты! — промолвил, вздохнув, матрос.

Земляки долго разговаривали.

Рулевой часто задыхался и, полный надежды, рассказывал, как он поправится и вернется в Кронштадт. Там его ждет супруга. Еще недавно прислала весточку. Ждет не дождет-

ся. Без тебя, мол, болезного, места не найти.

— Можешь ли, Арсентий Иванович, понять, какая у меня молодчага матроска? Не то что какие облыжные: на словах одно, а чуть ушел из Кронштадта — и сейчас, шельма, льстится на другого. А моя, братец ты мой, форменно приверженная.

И лицо матроса дышало восторженностью, и в глазах его стояли умиленные слезы.

А боцман слушал, и почему-то этот восторженный матрос возбуждал в нем и обиду и зависть.

«Сердцем добер, так и верит другому сердцу. Брешет, верно, его матроска», — подумал боцман.

Но ему не хотелось нарушить веры матроса, и он, не решаясь перед серьезно больным высказать свои взгляды на силу бабьей привязанности, осторожно спросил:

— Небось, зовет тебя в Кронштадт?

— Звала, даже очень звала. Приезжай, мол, я за тобой как нянька буду смотреть. Да потом спохватилась. Тебе, мол, тепло нужно. Вот если бы перевестись в черноморский флот, так она бы обязательно приехала в Се-

вастополь.

«Ладно, придет к тебе», — подумал боцман и спросил:

— Насчет этого отписывал ей?

— Отписывал.

— Что же она? — возбужденно и жадно спросил боцман.

— Рада, очень рада, да сомневается, как бы уж вышел перевод. Ну и опасается бросить Кронштадт. А ведь она там торговкой на рынке.

В эту минуту боцман вспомнил, что и его звали в Кронштадт, и точно так, как и Пояркову, советовали скоро не возвращаться.

«Брешет», — озлобленно подумал боцман и с особенным участием стал подбадривать рулевого. Он говорил, что больной скоро пойдет на поправку, его переведут в Севастополь, и жена тотчас же придет к нему.

— Всего ведь восемь рублей переехать. Небось, найдет.

Больной любовно смотрел на боцмана и предложил ему, коли нужно, написать весточку в Кронштадт.

— Некому, — резко ответил боцман.

— Разве, Арсентий Иванович, ты одинокий?

— Одинокий.

— Трудно, должно быть, одинокому, Арсентий Иванович. То-то ты и не подаешь претензии на доктора. А то должны отправить. Нынче ведь права.

— Там видно будет. И давно ты женатый?

— Шесть лет, Арсентий Иванович.

— Давно. По нынешним временам и вовсе много. А ты ишь какой благополучный.

И в голосе боцмана звучала завистливая нотка.

— Пофартило, Арсентий Иванович. Да и чего, ежели по правде говорить, меня обманывать? Не привержена, так прямо и скажи. Больно, да зато сразу. По крайней мере совесть есть.

— Тут, братец ты мой, совесть совестью, а есть и другая загвоздка. Есть и такая баба, которая по совести виляет хвостом, и привержена, мол, а затем: простите, мол, ошиблась, очень, мол, душе больно. И духу в ей не хватает, что так, мол, и так — кум есть. А понять не может, как обидно, что она замечает хвосты. Да еще и тебя обвиноватит; ты, мол, зря

обнадежен, не понимаешь, мол, какая я распронесчастная баба. И взаправду беда ей.

## IX

Прошло три дня.

Боцману стало лучше. По ночам он тосковал по-прежнему, но галлюцинаций не было. Доктор «Нырка» раз посетил боцмана и сказал ему, что он глядит совсем молодцом. Скоро будет здоров вполне.

«Так и ври, зуда. От себя не убежишь».

И, обратившись к доктору, сказал:

— Дозвольте явиться на «Нырок».

— Как, что, почему? — засуетился доктор. — Ведь я тебе говорил, что здесь лучше. Разве здесь нехорошо?

— Дозвольте явиться на «Нырок», — снова и уже настойчиво проговорил боцман.

— Нельзя, хуже будет.

— Дозвольте, вашескобродие.

— Никак не могу.

— Я тоже, вашескобродие, не могу. По моему малому рассудку без вашего дозволения уйду. Явлюсь к старшему офицеру и отлепортую.

Доктор внимательно взглянул в глаза боц-

мана, и, казалось, в глазах больного не было ничего такого, что могло бы грозить больному еще сильнейшим расстройством нервов. И доктор наконец сказал:

— Ну и черт с тобой. Но помни, если кому-нибудь сдерзничает, с тебя строго взыщут. Это — не берег.

— Очень хорошо понимаю, вашескобродие.

— И в Кронштадт тебя не отправят. Буду лечить тебя на клипере.

Часа через два за больным приехал мичман Коврайский.

Боцман обрадовался.

А Коврайский тоже радостно сказал:

— А я, Антонов, уже говорил и старшему офицеру и капитану насчет отправки тебя в Кронштадт. «Грозящий» уходит через два дня в Россию.

Но, к удивлению мичмана, боцман не только не обрадовался, но стал угрюмее и мрачнее.

— Много вам благодарен, ваше благородие, но только, может, я в Кронштадт и не желаю.

— Не желаешь? — изумился мичман, уже кое-что прослышавший от фельдшера, почему именно так тянет боцмана в Кронштадт. — Да ведь ты просился?

— А теперь не желаю, ваше благородие.

— Ну, как знаешь. Только смотри, голубчик, не надрывайся на клипере; все-таки отдохни, в лазарете отлежись.

— Нет уж, ваше благородие, лучше при деле буду, а то доктор заговорит, ваше благородие.

— Ну, как знаешь, а если хочешь, тебя флагманский доктор посмотрит. На днях адмирал будет в Неаполе.

— Что смотреть, никакой доктор не поможет от тоски, — проговорил боцман, и голос его звучал такой тоской, что мичман не смел больше ни о чем его спрашивать.

## Х

Матросы боцмана встретили приветливо.

Старший офицер приказал ему все-таки отдохнуть и лечь в лазарет. Но боцман решительно просил править свою должность.

— А то, вашескобродие, без дела опять заболеешь.

— А что, доктор позволил?

— Никак нет, вашескобродие, обсказал: ложись в лазарет.

— Так как же я отменю распоряжение доктора?

— Дозвольте, вашескобродие.

— Ну, подожди. Я прежде переговорю с доктором, а в госпитале тебе, конечно, было скверно.

— Еще бы, вашескобродие.

— Я постараюсь отправить тебя на родину.

— Нет, вашескобродие. Пока что до отправки останусь.

— Не тянет?

— Везде одна тоска, вашескобродие.

Старший офицер участливо взглянул на боцмана и спросил:

— Ты ведь, кажется, не женат?

— Точно так, вашескобродие.

— Оно и лучше, братец ты мой.

И как-то грустно прибавил:

— Тоже не всегда и женатому хорошо.

— Точно так, вашескобродие. Видел в Кронштадте, как живут семейные люди. Одна пакость. Обманывают друг друга в самом луч-

шем виде. По-собачьи живут.

— А ты думаешь, почему?

— Облыжности много, вашескобродие. Больше по своей мужчинской подлости и почитают бабу. Оттого между ими ничего кроме этой самой подлости и нет.

И боцман, словно бы решая какой-то занимающий его больной вопрос, спросил:

— Осмелюсь спросить, вашескобродие, верно, у господ семейные люди живут не по-собачьи?

— Ишь ты какой любопытный. А ты как думаешь?

— Полагаю, что всякие и между господ, вашескобродие.

— Правильно. Часто люди зря женятся... — задумчиво промолвил старший офицер, семейная жизнь которого была далеко не из сладких.

— И нет друг о друге настоящего понятия. А главное — ни за что друг друга обижают!.. Так дозвольте не идти в лазарет?

— Ну ладно. Знаешь, что я тебе скажу, Антонов, лучше и ты не сделай глупости, — полусерьезно сказал старший офи-

цер.

— Какой, вашескобродие?

— Не женись. Очень уж у тебя обидчивый и подозрительный характер.

Боцман вспыхнул.

— Какая дура польстится на старого человека, вашескобродие?

— Зато старые сами льстятся.

— Дураки и есть, вашескобродие. Зато их и обчекрыживают. И поделом, а главная причина — понимай, кто ты такой есть, и ушей не развешивай.

Старший офицер, который сам очень развешивал уши, когда его молодая, пригожая жена, провожая в дальнее плавание, особенно горячо уверяла в своей любви и вскоре по уходе мужа написала ему письмо, в котором в довольно туманных выражениях намекала, что она, к сожалению, не так сильно любит его, и уверяла в своей безграничной дружбе, — старший офицер, словно бы понимавший, что и боцман находится в том же положении, как и он, проговорил, напуская на себя решительный вид:

— Вот и молодчага, так с бабами и надо

действовать. Если она тебя «обчекрыжила», ты и наплюй.

«Ты-то плюнул... Вовсе вроде как бы подвахтенный у своей женки; она ему пишет-пишет, а он верит и ей отписывает письма; из каждого порта депешу да депешу, и супруга депешу, и оба не по-настоящему. И отчего это люди так врут?» — подумал боцман и доложил старшему офицеру, принимая официальный вид:

— Прикажете, вашескобродие, ванты тянуть? Дали ослабку.

— Да уж ты пока оставь, я прикажу Иванову. Ну, ступай; чуть станет тебе хуже, скажи мне.

— Есть, вашескобродие.

И боцман вышел из каюты старшего офицера.

А Иван Иванович присел у письменного стола, любовно взглянул на большую фотографию, висевшую над койкой, потом прочитал несколько писем жены и произнес:

— Вот почему теперь о дружбе. Верно, новое увлечение. В этом вся и разгадка.

И Иван Иванович задумался.

## XI

Должно быть, боцман сильно понадеялся на свои силы, распоряжаясь работами, потому что к вечеру почувствовал себя усталым, и главное — в уме его мысли как будто путались и зрение мутилось.

Приехавший с адмиралом флагманский врач вместе с Приселковым осмотрел боцмана.

К вечеру к боцману зашел старший офицер и сказал:

— Ну, братец ты мой, они решили, что тебе на клипере оставаться нельзя. Лучше тебе снова на берег, в госпиталь.

Боцман опешил. Несколько секунд он молчал и только подозрительно пристально смотрел на старшего офицера.

И, внезапно охваченный бешенством, он, стараясь сдержаться, воскликнул:

— Это по каким же правам, вашескобродие? Бабыи штуки, что ли? Так я на это не согласен, вашескобродие! Вы с ими заодно? Думаете, я — нижний чин, так можете тиранствовать человека. Я права найду! — и почти бешено крикнул: — Вон!

И прибавил непечатное слово.

На кубрике и на палубе ахнули.

В ту же минуту сверху прибежал унтер-офицер и сказал старшему офицеру:

— Адмирал требует.

А на мостике низенький, худощавый и строгий адмирал раздраженно и резко говорил капитану:

— Это у вас что за безобразие? Вот до чего распущена команда! Такая неслыханная дерзость. Немедленно его в карцер и отдать под суд. Вы на что тут старший офицер? — крикнул адмирал подошедшему Ивану Ивановичу.

— Он — сумасшедший, ваше превосходительство, — почтительно ответил старший офицер.

И в ту же минуту вспомнил письмо жены и подумал, что он сам, как и боцман, может сойти с ума.

— Пусть доктора осмотрят. Если он сумасшедший, то почему вы его держали на клипуре? — обратился адмирал к подошедшему доктору.

— Он — не сумасшедший.

— Так, значит, бунт?

Старший офицер взглянул на доктора, и презрение стояло в глазах моряка. «Ученая скотина», — подумал он и доложил адмиралу:

— Разрешите, ваше превосходительство, до нового осмотра докторов не садить боцмана в карцер. Я его хорошо знаю. Он не позволил бы себе такой выходки, если бы был здоров.

— Это черт знает что такое! На военном судне — и такое вопиющее нарушение дисциплины.

И, после секунды раздумья, адмирал прибавил:

— Конечно, я был бы очень рад, если бы вы, доктор, ошиблись, и боцман оказался бы сумасшедшим. Пусть его сейчас осмотрят. — И с этими словами адмирал спустился.

— Ведь иначе бедняге пришлось бы подвергнуться жестокому наказанию. По закону — смертная казнь, — проговорил капитан.

Мичман Коврайский восторженно взглянул на уходящего адмирала и, взволнованный, умоляюще прошептал доктору:

— Что вы хотите делать? Ведь адмирал

вам подсказывает: найдите больного сумасшедшим.

— Это уж не мое дело. Я высказал мое мнение, как велит мне наука.

— А совести у вас нет? — чуть слышно, возбужденно прибавил мичман и бросился к старшему офицеру.

— Иван Иванович, спасите человека.

Старший офицер ласково взглянул на мичмана и строго сказал ему:

— Скажите боцману, что его сейчас осмотрят. — И тихо прибавил: — Успокойте беднягу, он ведь к вам, кажется, расположен.

## XII

Через час в лазарете собрался консилиум. При освидетельствовании боцмана были адмирал, капитан, старший офицер и мичман Коврайский.

На все вопросы флагманского врача о здоровье боцмана, тот отвечал вполне здраво, только несколько возбужденно.

— Я уже докладывал вам, Александр Александрович, — не без апломба проговорил Приселков, обращаясь к капитану.

Все молчали.

Только адмирал недовольно пожал плечами и сказал:

— Во всяком случае пока не сажайте его в карцер.

И, обратившись к флагманскому доктору, по-французски сказал:

— По-моему, он сумасшедший.

— И я так думаю, ваше превосходительство, — поспешил поддакнуть старший флагманский врач.

### XIII

В тот же день боцмана допрашивала следственная комиссия. Большинство членов ее признало, что преступление было совершено в припадке умопомешательства.

— Вы видите, милый мичман, спасли человека, — сказал потом в кают-компании старший офицер.

— Спасли ли только? Ведь от тоски он все-таки не избавится.

— Да и в Кронштадте ему не радостная жизнь. Бедняга! — угрюмо прибавил старший офицер.

## Оба хороши\*

*Посвящается Н.Н. Фирсову (Л. Рускину)*

### I

**Ш**торм ревел целую неделю.

Обледеневшие пароходы и парусные суда прятались от бури в закрытых рейдах и бухтах Черноморского побережья или отстаивались в море, стремительно раскачиваясь на вытравленных канатах своих якорей.

Моряки, напряженно-серьезные, зябли на ледяном норд-осте и чаще вспоминали бога, берег и близких.

### II

В этот ледяной шторм в большой, холодной комнате дома, у самого моря, близ Алупки, ходил взад и вперед высокий, крепкий, слегка сутуловатый старик с длинной седой бородой. Он то и дело выходил на террасу и взглядывал своими острыми, небольшими, загоравшимися злым блеском глазами на бушующее море.

Прибойные волны как бешеные вздымались на высоту, и их седые верхушки залива-

ли берег и обкатывали окна нижнего этажа.

Водяная пыль обдавала худое морщинистое лицо старика, но он, казалось, не обращал на это никакого внимания.

Он снова прислушивался к гулу бури, снова взглядывал в седые беснующиеся волны, возвращался в залу и снова шагал взад и вперед, опустив свою седую голову. Из груди по временам вырывались тяжелые вздохи. По временам старик встряхивал свою голову, словно бы отгоняя тяжелые мысли, приникал к окну и задумывался.

Вот уж три года как живет в этом небольшом доме у моря Алексей Иванович Долинин.

Он живет одиноко, почти никто его не навещает.

Нелюдимый, и он никуда не ходит. Днями он шагает по комнате и с террасы любуется морем, а по долгим бесконечным вечерам, когда нередко завывает ветер в трубах и раздастся визг ставней и дверей, он сидит в кресле за книгой. Но часто он отрывается от нее и думает какую-то долгую думу.

Все в этой местности знают, что Алексей Иванович Долинин — из Петербурга.

Благодаря нелюдимости Алексея Ивановича его прозвали хмурым барином. Про хмурого барина сложились целые легенды.

Одни говорили, что он — бывший сановник; другие, что он — просто профессор-чудак, имевший какие-то семейные неприятности и потому живший одиноко в Крыму; третьи наконец считали Долинина тронутым. Но все решили, что он беспокойный и неприятный человек, избегавший знакомств с соседями и друживший только с татарами.

### III

Сегодня хмурый барин был особенно мрачен и раздражителен. Он то и дело дотрагивался до электрического звонка.

Когда входил, ловко и мягко ступая по комнате, старый, низенький, сухощавый, поджарый татарин Абдул, живший у Долинина несколько лет, старик резко спрашивал:

— Почтальона не было?

— Не было, бачка, — неизменно отвечал татарин.

— А почта не проезжала?

— Сейчас проехала.

И, заметив, что Долинин омрачился, тата-

рин ласково прибавил:

— Еще, может, тяжелая почта подойдет, тебе и будет письмо, а ты дурные мысли брось. Аллах все переменит. Твой аллах такой же, как и наш. Захочет накажет, захочет простит. А хочешь, Абдулка отнесет на станцию телеграмму, и ответ получишь. Только напрасно монеты бросаешь.

— Не надо, — ответил Долинин.

— И хорошо. Монеты даром не уйдут. А пора тебе, бачка, есть, уже первый час, а ты не евши.

— Не хочу.

— Так хочешь я сбегаю в Байдары. Твоего знакомого барина позову?

— Спасибо. Не надо.

— «Не надо, не надо»... так один и остаешься. Вовсе заскучаешь. Ты послушай Абдулку: как человек один, всякая дурная мысль и пойдет в башку. Даже и коза и баран не любят одни.

Алексей Иванович улыбнулся и почти нежно проговорил:

— И чего ты со мной, Абдул, остаешься? Жалованье получаешь маленькое, подарков

не делаю, а ты вот ходишь за мной как нянька... Уходи, и я, брат, не буду сердиться... Я знаю тебя. В Симеизе тебе предлагают место садовника, там и больше карбованцев... и жить там на большой даче лучше... И народ... А здесь, с хмурым барином, эка веселье... Оставляй меня лучше.

— Тебе хорошо и мне хорошо. Даром что Алла строгий к чужой вере. Помню, что ты коня мне купил и дочку вылечил. Добро-то я помню.

— И дурак ты, Абдулка, что помнишь, — резко сказал Долинин. — Лучше не помнить. И тебе веселее будет. И карбованцев больше.

— И худо ты Абдулку понимаешь. А еще ученый человек и говорил, что ваш аллах добрый... Так сбегать?

— По этакому-то холоду?

— Оделся в тулуп и айда!

— Не нужно, не ходи.

Хмурое лицо Долинина осветилось мягкой улыбкой. Он порывисто пожал руку татарина и отвернул от него взволнованное лицо.

Раздался сильный стук за дверями. Татарин выбежал.

## IV

Через минуту в комнату вошел молодой человек в полушубке, с покрасневшимся от холода лицом, и быстрыми шагами направился к Долинину.

Перед ним был его сын Николай.

Словно бы нарочно, старик стал еще хмурее.

— Пожаловал? — сдержанно и, казалось, недовольно спросил старик.

А у самого сердце билось от радости.

Он протянул свою маленькую, белую барскую руку, отстраняясь от поцелуев сына, и спросил:

— Верно, едешь в Севастополь?

— Нарочно приехал проведать, слышал, что ты болен.

— Что ж, спасибо. Очень рад. Абдул, поскорей самовар! Да скажи Марфе, чтобы живо закусить. Я, братец, обедаю в три, а ты, может быть, проголодался... Преуспеваешь, конечно? — с иронической ноткой произнес старик.

— Ничего себе. По-прежнему доцентом.

— А я, как видишь, не преуспеваю. Кури,

брат. Что ж, Абдулка, не дают! Да скорей!

И нетерпеливый старик выбежал из комнаты распорядиться.

## V

Курчавый и красивый брюнет, лет под тридцать, снял с себя полушубок и остался в щеголеватой дорожной австрийской куртке на меху.

Он внимательно оглядел плохо прибранную комнату с большим письменным столом посередине, на котором стояла большая фотография какой-то красивой молодой женщины и в беспорядке лежали книги и журналы. Везде валялись окурки папирос, везде был пепел и много пыли. Все в этой комнате напоминало о заброшенности старика.

В голове молодого человека невольно пробегали мысли о прошлом времени, когда еще он мальчиком-гимназистом был другом отца и любил его безгранично. Отец тогда, казалось, любил без памяти сына, не раз разговаривал с ним и советовался, как с равным. Нередко он вместе с ним готовил уроки, ездил с ним на шлюпке под парусами, рассказывая сказки и интересные истории. Тогда

они были неразлучны...

А потом...

У молодого человека уже не было той любовной жалости, которая прежде по временам загоралась в сердце мальчика, когда отец, бывало, тосковал и прихварывал. Но зато теперь молодой человек стал серьезнее и гораздо проще и трезвее смотреть на отца. Он видит его не в прежнем идеальном свете. Ореол уже исчез.

«А все еще хорохорится и считает себя умнее других!»

Так подумал сын, и ему было и досадно и обидно, что отец принял его так сухо.

«Эгоистом он стал!» — решил Николай.

То же самое думал о сыне и отец, когда, вернувшись в комнату, глядел в жизнерадостное, спокойное лицо сына.

«Самодоволен... конечно, считает себя безупречным... И благополучен... А я!?»

И старик напустил на себя еще большую бесстрастность, когда спросил:

— По-прежнему у вас нынче каждый за себя, а бог за всех?

— Вроде того, отец. А ты все еще не угомо-

нился?

— Как видишь, Коля, — ответил старик и прибавил: — Пей лучше чай и закусывай... Я нарочно заказал для тебя битки в сметане. Ты любишь, кушай, а то поругаемся.

— Действительно я голоден.

После закуски Николай осведомился о делах отца.

Отец поморщился, точно от зубной боли, и ничего не ответил.

— Может быть, тебе нужны деньги? Так я могу.

У старика закипела злость. Он вспомнил, что ради этого сына, когда тот был мальчиком и заболел, он закладывал последние вещи и потом для него готов был снять рубашку, а Николай теперь вместо того, чтобы прислать отцу денег, спрашивает, нужны ли они ему.

— Спасибо! Мне денег не нужно... — промолвил Долинин. — Бывали плохие дни, так у меня банкир есть.

— Банкир? Где ты и здесь отыскал банкира? — не без улыбки спросил Николай.

— А вот этот самый Абдулка где-то достает.

И смотри, какой дурак этот татарин, — иронически усмехнулся старик, — не спрашивает, нужны ли деньги, а приносит до пенсии. Ну, а твои как дела, Николай?

— Я, отец, по одежке протягиваю ножки, — ответил Николай.

— Молодец! Рад, что ты не в меня. Надеюсь, долгов у тебя нет?

— Ни гроша! — не без горделивости ответил Николай.

— Ну, а я, — произнес старик, — бываю легкомыслен. Долги есть и порядочные.

Прошло несколько мгновений в молчании.

Но старик, по обыкновению, не удержался, чтобы не сказать насмешливым тоном:

— Ты, конечно, в восторге от новейших гениев?

— Еще бы! Они открыли новые пути. Они описывают те ощущения и ту правду, до которой не осмеливались дойти ваши старые корифеи, те только показывали частицу правды, а не всю... А у наших писателей и смелость и сила. Они ни перед чем не испугаются.

— Действительно они ничего не боятся и показывают себя во всем самодовольном блеске невежества, — презрительно перебил старик. — Вместе с твоими любимцами ты, верно, беззаботен относительно старой литературы?.. Идей в искусстве не нужно? Одни настроения? Разумеется, и модная певичка для вас предмет поклонения?

— Отчего ж, если талант.

— Вот от таких-то талантов во всех видах вы и приходите в телячий восторг. Они для вас и учителя жизни. От каждого невежественного и необразованного гения, незнамого даже ни с каким учебником истории, вы ждете ответа на те жгучие вопросы, над которыми работали гениальные люди во все века... Впрочем, что же мудреного? Ведь всегда найдутся десять болванов, которые произведут одиннадцатого в гении... Да, у вас позорное понижение литературного вкуса. Толстой для вас уже устарел. Вы даже не понимаете всей силы гениального писателя. Ну, скажи по правде, ты читал Шекспира? Читал Гоголя? Слышал о Добролюбове и Чернышевском? Читал ли когда-нибудь о том, как устроилась

жизнь людская и почему она для большинства невозможна? Заговорила ли когда-нибудь в тебе потребность искания правды? Возмутила ли тебя несправедливость? Нет! Я видел только трезвенное отношение... трусливость животного, боящегося за свою шкуру, — трусливость, которую вы прикрываете рассуждениями, основанными, разумеется, на настроениях и якобы на науке... И еще мало унижает тебя твой патрон. С вами все можно! — раздраженно воскликнул Долинин. — Конечно, он другим, по-твоему, быть не может, такой темперамент и такова неумолимая сила инстинктов домашнего прирученного животного. Подобные объяснения вдобавок крайне удобны и могут все объяснить... Даже предательство Иуды...

— Отец, ты опять ругаешься... Верно, печень? Или ты получил какое-нибудь интересное письмо? — ядовито прибавил Николай. — Лучше не будем говорить.

— Ты прав. Не будем.

И старик почувствовал, что сын — почти чужой ему. Прежней беззаветной любви, которая была у отца раньше, когда Коля был

мальчиком, теперь не было. Между ними была какая-то пропасть, и она не могла заполниться привязанностью отца.

Николай, казалось, не оскорбился и начал рассказывать о своих работах, о знакомых, о музыке, но о литературе как будто боялся говорить, чтобы не раздражать отца. Обходил и другие вопросы, на которых они могли разойтись.

Виноватый и болезненный вид старика, казалось, тронул сына. Он видимо жалел, хотя внутренне и слегка презирал его.

## VI

А чуткий старик еще более раздражался и тоже, как и сын, старался сдерживаться.

Но все-таки не мог не искривить своих губ, когда спросил:

— Ну, а что подельывает твой двоюродный братец и друг Вася?

— Он в Италии.

— Болен?

— Нет, здоров.

— Поехал туда как художник? Работать?

— Нет, не работает.

— Что же он там делает?

— Нюхает розы и лилии... Смотрит на море. Любуется облаками.

— В том и все его занятие?

— Вася любит природу.

— А люди его не интересуют?

— Разве он виноват, что интересуется его одно, а не другое.

— И болван! — внезапно закипая гневом, воскликнул Долинин. И, окидывая сына презрительным холодным взглядом, прибавил:

— Конечно, и ты одобряешь занятия двоюродного братца?

— Я не одобряю и не порицаю.

— Безразличие? Да разве ты не отличаешь черного от белого?

— Кажется, умею, как и ты. Но мы можем иметь разные фокусы зрения.

— А когда бьют человека? У тебя тоже разные фокусы зрения?

— Все зависит от нашего настроения и обстоятельств.

— Конечно, ты будешь, Николай, счастливее. А если еще со временем поглупеешь, то окончательно будешь счастлив, как Иванушка-дурачок... Сказка справедлива... Особенно

по нынешним временам... Ум не в авантаже, если вдобавок при нем есть совесть. Впрочем, это слово упразднено. Только настроения и физиология. Молодцы вы стали! Главное, ума у вас мало. Впрочем, «это от бога».

— Значит, ты и неудачник оттого, что слишком умен? — спросил, раздражаясь, Николай.

— А ты как думаешь?

— Думаю, что каждый человек пожинает то, что посеял. Иначе говоря, поступки являются результатом темперамента и натуры.

— Шопенгауэра начитался? А принципов и внешних обстоятельств не признаешь?

— Кажется, ум и заключается в том, чтобы человек мог бороться с обстоятельствами именно в то время, когда эта борьба возможна. Если не умеешь плавать и бросишься в воду, неминуемо погибнешь. Кажется, это ясно, как дважды-два — четыре... А ты хочешь от нас...

— От кого от вас? — нетерпеливо и озлобленно перебил Долинин.

— Хотя бы от меня, — ответил Николай. — И, прости, отец, меня удивляет твое высоко-

мерие. Теперь точно в моде говорить о молодежи с презрением.

— Неправда! Не о всякой молодежи. Есть славная молодежь. Она доказала и на голоде и на холере. Я говорю о новейших настроениях у некоторой части молодежи и особенно у молодых «сверхчеловеков».

Николай не слушал отца и, оскорбленный, продолжал:

— Мы, мол, в героев, а вы пошляки. Право, отец, это неубедительно и даже старо. Положим, что мы в герои не лезем, не принимаем на веру никаких красивых фраз... Мы поняли, что они ни к черту... Мы верим только науке и настроениям своей души. Жизнь — равнодействующая всевозможных естественных сочетаний во времени и пространстве. Все должно иметь причины. Я чувствую в своей душе своего бога, и мое мировоззрение не похоже на твое.

— Ну, еще бы!

— Ты, конечно, уверен, что вы нашли истину. А мы знаем, что только ее ищем. И если наши искания тебе не нравятся, то почему ваши должны нравиться нам?.. И почему они

лучше? А главное, чего вы достигли? Ни людям, ни себе. А уменье заботиться о себе, в то же время заботясь о других? Скажи, на каком основании со своей истиной ты так озлоблен и один? Даже тот, которого ты считаешь единственным другом, как кажется, только пишет ласковые письма.

Старика передернуло, особенно от напоминания сына об «единственном друге». Скулы на его лице задергались, глаза блеснули злым блеском, и он сдавленным голосом, полным злости, проговорил:

— Я вижу, что в твоей переоценке я заслуживаю приговора.

— Мы не приговариваем, отец. Мы только констатируем. Приговариваете вы, и как жестоко. Мы живем, как велит жизнь. Кто силен, здоров и умеет бороться, тот и достигает намеченной цели. Довольно нам возвышенных стремлений, когда нужно жить! Мы — не ангелы, но стремимся к божеству, живущему в нас, как и во всяком существе и растении. И что же ты сделал, чтобы мы были иными? — спросил Николай.

Старик призадумался.

«В самом деле, что же я сделал?» — подумал отец.

А между тем сын продолжал:

— Ты правды не любишь. Любишь говорить свою правду только другим, а мы или восторгайся вами, или не смей говорить то, что думаешь. Всю жизнь говорите о свободе мнений, а только что откроешь рот — дурак. И ведь многих уверили, что соль земли — вы, оттого только, что прогулялись в отдаленные места или бросили профессуру по независящим обстоятельствам. Вы думаете, что решаете социальную проблему, хвалитесь тем, что можете питаться медом и акридами, и в то же время в душе мечтаете о богатстве, о прелестях роскошной жизни, о женщинах... ты...

— Ну что ж, ты, слава богу, умник — говори. Правды не побоюсь. Даже прошу, — остановил сына отец.

— К чему же? Тебя не убедишь.

— Попробуй. Очень рад буду наконец понять, что ты хочешь от жизни, и, главное, узнать, чем мы виноваты перед вами? Разве только тем, что мы не готовили вас к разумной жизни. Ты прав. Виноваты мы. Мы дума-

ли, что вы поймете наше несчастное поколение, при котором все-таки было освобождение крестьян. Начало сделано. Вам теперь докончить его, чтобы крестьяне были действительно освобождены. А вы разве о народе думаете? Вы думаете только о собственном благополучии. Мы хоть надеялись... сомневались. А вы? Даже нет ни надежд, ни сомнений... Лучше видоизмененный вид современного, влюбленного в себя животного... Только непонятное лепетание об изгибах души, о праве свободы впечатлений и совершенное отрицание нравственного закона. Никакой задержки нет... Ну, приговаривай меня! Что ж ты молчишь? Говори же! — вдруг бешено крикнул старик.

— Ты, конечно, сам знаешь, отчего ты одинок и отчего в последнее время особенно волнуешься и злишься, и негодуешь, что семья тебе мешает, к чему же мне говорить.

— Говори! — бешено крикнул отец.

— Изволь, только прошу постараться не браниться.

— Постараюсь, — иронически ответил отец, — кстати и закурю сигару. По крайней

мере подсудимому будет легче перенести судебный приговор.

## VII

Молодой человек прихлебнул кофе, закурил сигару и начал:

— Ты сам заставил меня не быть идеалистом. И слава богу, по крайней мере не гонюсь за призраками. Я признаю то, что чувствую, и из внешнего мира то, что отражается в моей душе... А ты живешь не в действительности, а в мечтах, ласкающих только твое гигантское самолюбие. Скажи по правде, разве ты мною много интересовался? Хотел проникнуть в мою душу? Понял ее искания? Ты баловал, ласкал меня, заботился, чтобы мне было материально хорошо, и все-таки я был любимым, но совсем чужой для тебя мальчик... Да ты, вероятно, и думал: «Ребенок, что он может понимать и чувствовать». А я все более и более замыкался в себе и был брошенным, и понимал и думал про себя. Подавал ли ты сам пример того, о чем ты так горячо говорил?.. Особенно дамам, да еще красивым и которые тебя слушали, с тобою кокетничали, и ты за ними ухаживал, забывая, что

вторая молодость смешна, как запоздалая страсть, и ставит тебя в глупое положение, — ядовито прибавил Николай.

— Ну, дальше, — сказал отец, когда сын примолк, прищурил свои красивые глаза и наморщил лоб, словно бы обдумывая свою дальнейшую речь.

— Так я продолжаю. Ты любишь говорить о нравственном законе и смеешься над правом человека отдаваться своим настроениям и впечатлениям. А у тебя какой же этот нравственный закон, или так называемая совесть?

Отец невольно опустил голову.

## VIII

А сын, словно бы не замечая страдальческого и озлобленного лица отца, сознающего правоту обвинения, говорил:

— Тебя в семье сперва любили, потом тебя боялись. Ты всегда бывал раздражен. Не могли же дети знать о твоих всяких, — подчеркнул сын, — неудачах, но ведь ты свои личные раздражения переносил на близких. А ведь ты думаешь, что ты любишь близких, что ты добр. Положим, твой характер и темперамент

от тебя не зависят, но детям-то какое дело, что у тебя такой характер и такой темперамент? От этого сознания нам было не легче. Эти резкие переходы от грубости к ласке заставляли нас сторониться, и я рано уже понял, что слова — одно, а жизнь другое. В гимназии, разумеется, я еще яснее видел разницу между тем, что говорили некоторые учителя и что делали... Мало-помалу во мне явилось то равнодушие к великим старикам, о которых ты любишь говорить, и к тебе. Везде говорили и хвалили исполнение долга, самоотвержение, любовь к ближнему, верность слову. Короче, все то, на что ловится каждое молодое сердце... А между тем ты сам был такой?

— Нет, — глухо ответил отец. — И за это наказан, — прибавил он.

— Кто наказывает? И совсем не за то. Ты не лучше, не хуже других людей своего поколения. Твой «нравственный закон» не мог удержать тебя от впечатлений. Ты такой же человек. Я не судья твой, повторяю, я хочу только выяснить, что ты не прав относительно меня.

— Спасибо, спасибо. Продолжай... Я на-

учусь уму-разуму.

— Не иронизируй, отец. Ты требовал мнения, так слушай...

— Слушаю...

И молодой человек еще более докторальным тоном продолжал:

— Ты не стоишь на той точке зрения, на какой стою я.

— Это та, что мы — улучшенный вид животного?

— Наша и его цель одна — жить. И каждый приспособляется к жизни так, как для него удобнее и лучше. Подумай, разве не то же самое проделывают люди? И ты, воображающий себя на каких-то высях, в то же время, не сердись, поступал, как самое обыкновенное животное, с низменными, как вы же говорите, инстинктами. А они, заметь, не могут быть ни высокими, ни низменными, а просто — естественными. Побороть их, конечно, случается, но ты делал это только на словах. Ты был хороший муж? Разве ты не мучил женщину, которая тебя любила, когда увлекался другими? Снова говорю, что, с моей точки зрения, твои увлечения естественны, но

зачем же говорить о какой-то безнравственности, когда жена оставляет мужа и сходится с другим.

— Не о том говорят! — бешено крикнул Долинин. — Не в том дело, что жена разлюбила мужа. Любовь свободна, безнравственна ложь.

— Что такое нравственность, это еще вопрос. Муж и жена такие же животные, так что ж ты требуешь от них того, чего не исполняешь сам. Или исполнял? Ответь.

— Не исполнял, но я по крайней мере не лгал и одновременно никогда не был мужем двух женщин, — прибавил Долинин, словно бы стараясь оправдаться перед сыном.

И странное дело: чем более Долинин считал себя словно бы виноватым перед сыном, тем более молодой судья начинал смягчаться и сам в душе старался оправдать отца, с своей точки зрения, и относиться к нему уже не с прежнею строгостью.

Долинин, напротив, злился на сына еще более за то, что Николай снисходит к отцу и в то же время говорит ему, и так безжалостно, очень тяжелые для него вещи. Особенно на-

мекает на его дружбу, которая возмутила семью.

И для отца словно бы являлось откровением, что сын проповедует уверенно и спокойно то, что отец считает возмутительным.

«Невменяем он, что ли?» — подумал старик. И лицо его стало мрачным.

— Так ты думаешь, что в любви один только чувственный пыл? — воскликнул отец.

— Почти что так. Да и ты, кажется, отец, любил женщин не только ради их прекрасных душ?

— Врешь! И о душе думал. Ты, верно, еще не любил?

— Конечно, любил. По крайней мере, когда я целую женщину, я не говорю ей о социальных проблемах, как делаете вы. Хотите тела и, чтобы добиться его, соблазните женщину исправлением мира. Это что же, по вашему старому стилю лучше, чем по новому?

— А вы в это время смакуете тонину любовного настроения? И после разойдетесь, как две собаки?

— По крайней мере без обмана.

— Да. Ты прав! Вы без обмана, — презри-

тельно усмехнулся старик.

И внезапно бешено крикнул:

— Нам больше разговаривать нечего. Иди, иди, оставь меня одного!

Сын пожал плечами и вышел.

Старик снова заходил по кабинету.

Безотрадные мысли проходили в его голове. Он вспомнил всю свою прошлую жизнь. И чем более вспоминал, тем тяжелее становилось на его душе. Он чувствовал себя бесконечно виноватым перед сыном и навсегда одиноким.

— Оба мы хороши! — с тоской прошептал старик.

## IX

Через два дня отец с сыном расстались холодно. Оба были как будто довольны, что расстаются.

# М.П. Еремин. К.М. Станюкович. Очерк литературной деятельности

**М**ы начинаем читать какую-нибудь книгу чаще всего вовсе не потому, что она, по нашим предположениям, обязательно должна быть лучше всех уже знакомых нам книг; но от любой из них мы всегда ожидаем чего-то нового, чего-то такого, чего мы сами выведать у жизни не сумели и чего еще не встречали в других книгах. «В сущности, когда мы читаем, или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: „Ну-ка, что ты за человек? И чем отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?..“ Если же это старый, уже знакомый писатель, то вопрос уже не в том, кто ты такой, а „ну-ка, что можешь ты сказать мне еще нового? с какой новой стороны теперь ты осветишь мне жизнь?“».

Тут необходимо одно попутное замечание: только что приведенные вопросы сформулированы Львом Толстым; этим и предопределена их особая, можно сказать, безусловная категоричность: писателю естественно думать, что участь его произведений, а стало быть, и его идей в конечном счете определяется читательским судом. Но только в конечном счете! Глубоко заблуждался бы тот читатель, который в простоте душевной возомнил бы, что он способен сразу и безошибочно определить все достоинства и недостатки прочитанных им произведений, и который, рассуждая о писателях, встал бы в позу строгого и всеведущего экзаменатора. К счастью, такие читатели встречаются сравнительно редко; все остальные, то есть подавляющее большинство, читают и перечитывают художественные произведения не ради того, чтобы вершить суд над их автором, а чтобы приобщиться к запечатленному в них новому.

Но художественное произведение потому и называется произведением, что содержащееся в нем новое не просто сообщено, а создано, сотворено — почему и работу писателя-ху-

дожника принято называть творчеством. Вероятно, по этой причине наш интерес к художественному произведению весьма сложен по своему составу: новое, конечно, занимает нас само по себе — именно как новое; но вместе с тем мы хотим знать, как оно добыто, как извлечено из глубин жизни; и, пожалуй, больше всего нас интересуется факт сотворенности этого нового, секрет, или, лучше сказать, тайна его сотворения. Естественно, что в поисках ответов на все эти вопросы мы обращаемся к личности писателя, к обстоятельствам его жизни и его литературной деятельности, то есть задаем как раз этот вопрос: «Что ты за человек?»

## 1

Судьба как будто бы особо позаботилась, чтобы крупнейший русский писатель «по морской части» с самого раннего детства видел и слышал море и близко познакомился с теми, чья жизнь так или иначе связана с морем.

Константин Михайлович Станюкович родился 18 марта (ст. стиля) 1843 года в г. Севастополе; его отец — адмирал Михаил Никола-

евич Станюкович — был в это время командиром севастопольского порта и севастопольским военным губернатором; а его мать Любовь Федотовна была дочерью военного моряка — капитан-лейтенанта Митькова. К. М. Станюковичу довелось быть очевидцем начала героической севастопольской обороны и даже принять в ней участие — вместе со взрослыми он приготавливал корпию и носил ее на перевязочные пункты.

Впечатления детства сыграли в писательской жизни Станюковича огромную роль; позднее он и сам признавал это. Но тогда, по-видимому, никто из его близких не заметил его особой одаренности. Отец избрал для своего младшего сына военную карьеру. В 1856 году Станюкович был зачислен кандидатом в Пажеский корпус, а в ноябре 1857 года его перевели в морской кадетский корпус. О причинах этого перевода в донесении великому князю Константину Николаевичу сказано так: «Адмирал Станюкович, имевший несчастье потерять служившего во флоте капитан-лейтенанта сына своего, желая сохранить во флоте свое имя, испросил соизволения ва-

шего императорского высочества о переводе другого сына его, Константина, из кандидатов Пажеского корпуса в Морской».[40]

По господствовавшим в той среде обычаям так бы оно и могло пойти: из морского корпуса — на корабль, с годами повышались бы чины, звания и должности, и к концу жизни дослужился бы К. М. Станюкович, как и его отец, до полного адмирала. Но так не случилось. Что отклонило К. М. Станюковича от этой проторенной не одним поколением русских моряков дороги? Причин, конечно, было много; некоторые из них, очевидно, и нельзя определить, как, например, нельзя определить происхождение одаренности; а другие — и весьма существенные — можно характеризовать, хотя бы в самых общих чертах. И прежде всего следует принять во внимание личные склонности, которые обнаруживаются очень рано и которые предопределяются именно врожденным даром.

Как сказано, в детские годы Станюковичу довелось видеть весь цвет российского военного флота, но ни парадный блеск, ни то, что в наше время принято называть романтикой

дальних морских странствий, все это, по-видимому, не привлекало тогда его воображения и не оказало сколько-нибудь заметного влияния на его умственное и душевное развитие. Из всех известных ему в те годы взрослых людей он всю жизнь с благодарностью вспоминал одного учителя — Ипполита Матвеевича Дебу. «Он как-то умел заставлять учиться, — писал К. М. Станюкович в автобиографической повести „Маленькие моряки“, — и уроки его были для меня положительно удовольствием. Довольно было сказать И. М. Дебу одно лишь слово: „стыдно“, чтобы заставить меня горько сокрушаться о неприготовленном уроке и просить его не сердиться. Я не только любил, но был, так сказать, влюблен в своего учителя».

Разумеется, такое чувство мог вызвать только человек необычайного обаяния, которое на десятилетнего мальчика производило особое впечатление, может быть, еще и потому, что этот учитель был солдат. Что И. М. Дебу за участие в кружке М. В. Петрашевского был приговорен к смертной казни, замененной — после совершения изуверской проце-

дуры подготовки к расстрелянию — четыре-  
мя годами военно-арестантских рот, об этом  
в те годы К. М. Станюкович, конечно, не мог  
знать, но о том, что этот образованный чело-  
век попал в солдаты не по рекрутскому набо-  
ру и уж, конечно, не по доброй воле, а отбыва-  
ет наказание, он мог догадываться уже и то-  
гда. Чем мог провиниться такой прекрасный  
человек? И перед кем? Детская любовь цель-  
на и последовательна, и, разумеется, в созна-  
нии влюбленного ученика были виноваты те,  
кто наказал его учителя, а вместе с ними и те,  
кого он, учитель, хоть и не открыто, осужда-  
ет. Социалист, почитатель Фурье и последова-  
тель его учения, И. М. Дебу считал дворянское  
общество, к которому до своего ареста при-  
надлежал и сам, неприличным обществом и  
подтверждал это свое мнение или реминис-  
ценциями или прямыми ссылками на произ-  
ведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова. На  
своих уроках Дебу речи о Фурье, наверно, не  
запускал, а о Пушкине, о Гоголе, о Лермонтове  
и, может быть, даже о Достоевском — своем  
товарище по делу петрашевцев — он, по-ви-  
димому, просто не мог не говорить.

Мы не знаем, насколько подробны были эти разговоры, но в памяти ученика они оставили неизгладимый след. Когда через несколько лет юному Станюковичу приходилось слушать, как невежественный корпусной словесник доказывал, будто чтение «Мертвых душ» «только развращает молодого читателя и не дает пищи ни для ума, ни для сердца», он уже был в какой-то степени подготовлен, чтобы оценить эти жалкие потуги по достоинству. Правда, к тому времени он уже успел убедиться, что этот преподаватель занимал место в корпусе вовсе не по недосмотру начальства.

По давней традиции, еще больше укрепившейся в годы царствования Николая I, в военно-учебных заведениях гуманитарные дисциплины принято было считать не то что второстепенными, но даже почти посторонними, без чего вполне можно обойтись: хоть и не официально, но настойчиво кадетам внушалась мысль, что быть хорошим моряком можно и без Ломоносова. В годы учения Станюковича в корпусе появлялись словесники, знающие и любящие свое дело, но от них стара-

лись поскорее «освободиться»: один из них — Ф. А. Дозе — скоро был уволен и куда-то сослан по доносам коллеги — того самого, который ратовал против чтения «Мертвых душ»; а другой — профессор, будущий академик М. И. Сухомлинов, по-видимому, вынужден был отказаться от преподавания в корпусе, как говорится, по собственному желанию.

Корпусное начальство больше всего заботилось о внешнем благополучии, о строевой выправке и поэтому особенно старательно занималось шагистикой. Однако в эти годы казарменный формализм уже не давал того эффекта, на который рассчитывали его защитники и насадители: времена менялись.

## 2

Россия уже несколько десятилетий жила в напряженном ожидании перемен к лучшему. Когда-то необходимость таких перемен во всем ходе русской жизни — общественной и политической — осознавали лишь немногие русские люди, среди которых наиболее выдающимся был А. Н. Радищев. Позднее, в особенности после Отечественной войны 1812 года, таких людей стало больше; самые решитель-

ные и самоотверженные из них сумели объединиться и попытались взять инициативу преобразования общественно-политического строя в России в свои руки. Восстание декабристов было подавлено, но мысль о преобразовании и улучшениях жизни постепенно, но неуклонно становилась достоянием передового общественного сознания.

Правящие верхи понимали это и всеми средствами стремились подавить даже малейшие признаки недовольства существующим положением вещей. Николай I строжайше запретил своим подданным какое бы то ни было публичное обсуждение экономических, правовых или политических вопросов и оставил им лишь одно право — беспрекословно исполнять предписания и распоряжения вышестоящего начальства, не забывая при этом восхищаться — вслух и печатно — мудростью правительства и прежде всего, конечно, самого царя. А главным и наиболее внушительным плодом этой мудрости предписано было считать военное могущество России; о чем бы доброхотные и платные хвалители ни рассуждали, они никогда не забывали по-

говорить о дипломатическом и стратегическом гении Николая и о непобедимости его доблестной армии, его флота. В подтверждение такого рода славословий обыкновенно рассказывалось о бесчисленных парадах и смотрах как в столицах, так и в крупных провинциальных гарнизонах.

Больше двадцати пяти лет эта успокаивающая и располагающая к зазнайству убежденность не подвергалась сколько-нибудь серьезному испытанию, но в конце концов оно все-таки пришло. Таким испытанием явилась Крымская война 1853–1856 годов. В начале войны операции русских войск шли успешно, особенно выдающейся была победа черноморской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецким флотом в Синопской бухте. Но вскоре после того, как в войну — на стороне Турции — вступили Франция и Англия, стала обнаруживаться неподготовленность русской армии — и в технической оснащенности (стрелковое оружие было еще гладкоствольным, флот — в основном парусным), и в стратегии (достаточно сказать, что командование действующей в Крыму армией Нико-

лай I поручил своему любимцу, самодовольному и бездарному А. С. Меншикову), и в особенности в организации тыла, где царили полная неразбериха и открытое воровство.

В дни героической севастопольской обороны русские солдаты, матросы, офицеры, руководимые и вдохновляемые такими талантливыми и самоотверженными командующими, как В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен, проявили чудеса храбрости и стойкости, навеки запечатленные потом одним из участников обороны — Львом Николаевичем Толстым; но предотвратить общее поражение русской армии было уже невозможно. Севастополь был оставлен.

Исход войны показал воочию внутреннюю несостоятельность всего самодержавно-крепостнического строя. Банкротство системы совпало с концом царствования: 18 февраля 1855 года Николай I умер.

Эта смерть была воспринята передовыми людьми того времени как конец кошмара. Разумеется, и тогда многие понимали, что причины военных неудач коренились не только в дипломатических и стратегических ошибках

ках царя; но он сам был убежден и других старался убедить, что в русской армии все совершалось по его предначертаниям; и его сочли главным, если не единственным, виновником поражения. Наиболее проницательные люди тех лет догадывались, что режим жандармских провокаций и военно-полицейских расправ утвердился в стране не только по злой воле Николая; но ради торжества исповедуемых им принципов абсолютного самодержавия он считал необходимым, чтобы все перед ним трепетали. И в нем видели олицетворение этого режима, его боялись.

Когда Николая не стало, всем показалось, что теперь леденящее «не рассуждать!» рявкнуть уже некому. «Это было удивительное время, — вспоминает один из замечательных деятелей той эпохи, Н. В. Шелгунов, — время, когда всякий хотел думать, читать и учиться и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко».[41]

Наступила эпоха гласности. Правительство Александра II не могло не понять, что после крымской катастрофы управлять страной по николаевским шаблонам уже нельзя и

некоторые уступки общественному мнению неизбежны. А так как общественное мнение выражалось прежде всего в печати, то власти сами пытались руководить им, позволяя, а то и прямо «советуя» казенным и официозным изданиям выступления в «либеральном» духе. Теперь даже взлелеянная Булгариным и Гречем «Северная пчела» не могла ограничиваться одними только славословиями, а должна была время от времени вдаваться в рассуждения о государственных нуждах и недугах и отваживалась «обличать» злоупотребления чиновников — хотя бы на уровне квартального надзирателя.

Конечно, для неказенных журналов и газет система цензурных ограничений, запретов и, сверх того, жандармской слежки и полицейских расправ сохранялась и действовала, но уже не с такой неотвратимой жестокостью, как при Николае I. Этим не замедлили воспользоваться прогрессивные журналы; «Современник», во главе которого стояли Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов, «Искра», «Русское слово», направление которого полнее всего выражалось в статьях Д. И. Писаре-

ва. Под прозрачным покровом разнообразных форм эзоповской речи сотрудники этих журналов — беллетристы, критики, публицисты — возбуждали в сознании своих читателей протест против всего, что тормозило развитие жизни русского общества. В освободительном движении тех лет особое значение имел «Колокол» Герцена и Огарева. Здесь открыто, без оглядок на цензуру самодержавно-крепостнический строй характеризовался как строй бесправия и угнетения, а его защитники — от городничих и губернаторов до министров и членов царской фамилии — назывались по именам.

Но крупнейшие деятели освободительного движения тех лет не ограничивались критикой и обличением существовавшего социального зла. Они воспитывали в своих читателях, в особенности в молодых

*...доверенность великую  
К бескорыстному труду.*

И эта их проповедь получила широчайший отклик. Тот же Н. В. Шелгунов пишет об этом так: «Внизу освобождались крестьяне от

крепостного права, вверху освобождалась интеллигенция от служилого государства... Идея свободы, охватившая всех, проникала повсюду, и совершалось действительно что-то небывалое и невиданное. Офицеры выходили в отставку, чтобы завести лавочку или магазин белья, чтобы открыть книжную торговлю, заняться издательством или основать журнал». Далее мемуарист приводит характернейший диалог между петербургским генерал-губернатором А. А. Суворовым (это был внук генералиссимуса А. В. Суворова) и Н. А. Серно-Соловьевичем, пришедшим к этому либеральному сановнику по делам своего книжного магазина:

«— Кто вы? — спрашивает Суворов.

— Купец первой гильдии Серно-Соловьевич.

Суворов любил заговаривать на иностранных языках. Увидев пристойного и благовидного купца, Суворов заговорил с ним по-французски. Серно-Соловьевич ответил. Суворов заговорил по-немецки. Серно-Соловьевич ответил.

— Кто же вы такой? — повторил свой во-

прос немного изумленный Суворов.

— Купец первой гильдии Серно-Соловьевич.

Суворов начал по-английски, Серно-Соловьевич ответил; Суворов делает ему вопрос по-итальянски и получает ответ итальянский.

— Фу ты! — говорит озадаченный Суворов. — Да кто же вы такой?

— Купец первой гильдии Серно-Соловьевич.

— Где вы учились?

— В лицее.

— Служили вы где-нибудь?

— Служил.

— Где?

— В государственном совете.

Суворов вышел из себя от изумления: ничего подобного он не мог себе представить».

[42]

Нам в наше время трудно понять, почему был так озадачен сановник. На самом деле, разве купец первой гильдии не мог быть столь же пристоеен и благовиден, как и тогдашний дворянин? И что мешало такому

купцу, то есть человеку богатому или по крайней мере состоятельному, знать основные европейские языки? Мало ли было образованнейших, культурнейших купцов? Братья Третьяковы, Савва Мамонтов, К. С. Станиславский — все они, как и многие другие деятели русской культуры, были купцы. Однако следует иметь в виду, что все эти люди жили в другое время — почти полвека спустя. А тогда, в шестидесятые годы, купцы, как бы кто из них богат ни был, и по «одежке» и по уровню образованности мало отличались от купцов А. Н. Островского или от щедринского Дерунова. Конечно, мог и в те годы встретиться европейски образованный молодой купец — хотя бы в качестве того самого исключения, которое только подтверждает правило, но «соль» ситуации заключалась в том, что перед Суворовым оказался дворянин, перешедший в купечество: ведь лицей был одним из самых привилегированных учебных заведений в России, и туда принимали только дворянских детей. С мольеровских времен европейский мещанин — а русский был несколько не «хуже» и не «лучше» — рвался во дворян-

не, а вот теперь дворянин пошел в купцы, в мещане!

М. Е. Салтыков-Щедрин, сам в свое время окончивший лицей, назвал его заведением «для государственных младенцев»: лицеистов готовили к тому, чтобы они впоследствии заняли в правительственном аппарате самые высокие посты. За немногими исключениями так оно и происходило; достаточно сказать, что тогдашний министр иностранных дел князь А. М. Горчаков был лицеистом первого, пушкинского, выпуска. А. А. Суворову не трудно было догадаться, что русский дворянин Николай Александрович Серно-Соловьевич отказался от блестящей, по понятиям дворянской среды, карьеры, от традиционных привилегий и почестей и перешел в купечество вовсе не ради того, чтобы нажить капитал: в те годы и «настоящие»-то купцы на книжной торговле чаще терпели убытки, а то и разорялись, чем богатели. Но для чего же?

Примерно через год-полтора Суворов узнал, что его странный посетитель — революционер, вместе с Герценом и Огаревым создавший тайное общество «Земля и воля», и

его магазин был чем-то вроде клуба, где собирались люди передовых убеждений, среди которых он и его товарищи по тайному обществу искали возможных соратников.

Конечно, это был случай особый, но вместе с тем и типичный для шестидесятых годов. Большая часть людей, отказавшихся от чиновничьей или военной карьеры и занявшихся той или иной частной, неказенной деятельностью, к числу революционеров не принадлежала и свое поведение прямо и непосредственно с политической борьбой не связывала. Они преследовали чисто просветительские цели. Между ними было распространено убеждение, что люди, принадлежащие к так называемому образованному обществу — дворяне ли они, разночинцы ли, — обязаны «вернуть долг народу», то есть нести народу знания и таким образом помочь ему преодолеть вековую бедность и нищету. Они заводили издательства, чтобы выпускать книги для народа; их усилиями во многих городах России была создана целая сеть воскресных школ, в которых профессора университетов, преподаватели гимназий, студенты,

литераторы, офицеры по воскресеньям бесплатно обучали всех желающих и прежде всего, конечно, тех, кто по бедности не мог учиться в казенных учебных заведениях. Но эта просветительная по своему характеру деятельность была неотъемлемой частью всего освободительного движения шестидесятых годов: осознавая и цenia собственное человеческое достоинство, эти люди хотели донести принципы свободы и гуманности до народа.

### 3

К. М. Станюкович, рассказывая в повести «Беспокойный адмирал» о благородном мичмане Леонтьеве, заметил, что тот вступал в жизнь «с самыми светлыми надеждами вскормленника шестидесятых годов». С не меньшими основаниями это можно сказать и о самом писателе. В корпусе он был постоянным читателем «Современника», писал стихи в духе Некрасова и некоторые из них даже печатал. Неизвестно, какие сочинения Герцена довелось ему читать в те годы, но едва ли можно сомневаться в том, что он многое знал о его деятельности и, как большая часть молодых людей того времени, был восторжен-

НЫМ ЕГО ПОЧИТАТЕЛЕМ.

Само собой разумеется, что чем больше и непосредственнее отдавался он освободительным идеям и настроениям, тем решительнее отвергал те казарменные идеалы, которыми вдохновлялись старые — еще николаевских времен — корпусные наставники и начальники, и тем нестерпимее становились строевые премудрости, хотя давались они ему без особенного труда и среди своих однокурсников он считался одним из первых. Назревала необходимость выбора — почти по Некрасову:

*В нас под кровлею отеческой  
Не запало ни одно  
Жизни чистой, человеческой  
Плодотворное зерно.*

*Будь счастливей! Силу новую  
Благородных юных дней  
В форму старую, готовую  
Необдуманно не лей!*

*Жизни вольным впечатлениям  
Душу вольную отдай,  
Человеческим стремлениям*

*В ней проснуться не мешай.*

И выбор был сделан. За несколько месяцев до выпуска из корпуса К. М. Станюкович объявил отцу о своем решении отказаться от карьеры военного моряка и поступить в университет. Драматические подробности этого объяснения, по-видимому, весьма достоверно воспроизведены в повести «Грозный адмирал». Старый николаевский служака в глубине души, видно, не очень верил в твердость намерений своего младшего сына; он добился назначения кадета Станюковича в кругосветное плавание, по-видимому, полагая, что за годы плавания «блажь» рассеется и все встанет на свое место. Сын уступил и согласился отправиться в эту длительную экспедицию, потому что у него были свои расчеты: получить мичмана и, уже не спрашивая разрешения отца, сразу же выйти в отставку, чтобы жить так, как он сам хочет.

В конце концов действительно все, хоть и в разные сроки, встало на свое место. Только итоговые результаты складывались несколько не так, как рассчитывали участники этого спора «двух веков». Мечта отца осуществи-

лась: имя Станюковичей навсегда запечатлелось в истории русского флота. Долго ли бы помнили русские военные моряки адмирала Михаила Николаевича Станюковича, как известно, не отличавшегося выдающимися боевыми подвигами, если бы его младший сын — вопреки своей воле! — не совершил бы этого трехлетнего кругосветного плавания, давшего ему столько впечатлений, что их «хватило» почти на все написанные им впоследствии морские рассказы и повести.

Планы юного спорщика тоже осуществились. В октябре 1860 года, когда корвет «Калевала» уходил с кронштадтского рейда, кадет Станюкович, наверно, не думал о том, что бескрайние океанские просторы, встреча с которыми ему предстояла, так сказать, ждут его слова и что сочинения о море и о моряках навеки утвердят его имя в русской литературе. Во все три года плавания он исправно нес нелегкое бремя морской службы, успешно сдал гардемаринские экзамены; матросы его считали «добрым барином», у начальников он был на хорошем счету, и скоро его заметил сам командующий тихоокеанской эскадры

адмирал А. А. Попов.

Последнее обстоятельство имело в жизни Станюковича важное значение. Сподвижник В. А. Корнилова и П. С. Нахимова, Андрей Александрович Попов был богато одаренным, широко образованным человеком, в характере которого благородная прямота и доброжелательность причудливо сочетались с приступами неудержимой гневливости. Он знал будущего писателя еще ребенком, но теперь особое на него внимание обратил, конечно, не только поэтому: гардемарин Станюкович выделялся среди своих сверстников начитанностью, любознательностью и тем обостренным чувством собственного достоинства, которое было так свойственно лучшим из молодых шестидесятников. А.А.Попов относился к нему с большим доверием, поручая ответственные задания, требовавшие умения самостоятельно ориентироваться в самых сложных и неожиданных обстоятельствах.

Позднее Станюкович представит отношение к себе адмирала Попова как отношение старшего друга, чуткого наставника, достойного самой искренней благодарности. А тогда

он больше всего боялся оказаться в положении покровительствуемого. «...Попов советует еще с ним остаться, — писал он сестре. — Не думаю этого сделать! Он человек деятельный, добросовестный, любит меня очень, да мне-то не по нутру состоять при нем... Обидно предпочтение перед другими... Что все скажут... Правда, еще ничего дурного не говорят, потому что я держу себя с ним свободно и хорошо. Да все же адмирал... вот что!»[43].

Пребывание Станюковича на кораблях тихоокеанской эскадры закончилось досрочно: по распоряжению того же А. А. Попова двадцатилетний гардемарин должен был срочно доставить в морское министерство важные служебные документы. Отправился он 4 августа 1863 года, ехал сухим путем через Китай и Сибирь и уже 28 сентября был в Петербурге.

Обыкновенно такого рода поручения, кроме своей непосредственно деловой цели, имели и еще одну, вслух не называемую, но вполне определенную цель: обратить на исполнителя внимание высших начальников и таким образом ускорить его «движение по службе». Адмирал Попов, конечно, знал об этой тради-

ции и вряд ли сомневался в том, что и на этот раз она не будет нарушена. Сам Станюкович о такой «счастливой» возможности не хотел и думать: чин мичмана он действительно получил очень скоро, но на этом и счел свои отношения с военным флотом поконченными, по-видимому, сразу же начав хлопоты об отставке. Однако оказалось, что и теперь нужно было обратиться к отцу. Вот что рассказывает о дальнейшем ходе дела П. В. Быков — один из первых биографов Станюковича — вероятно, с его собственных слов. «Задумав выйти в отставку, Станюкович просил разрешения у отца, так как начальство не соглашалось уволить молодого моряка. Отец оставил письмо сына без всякого ответа. Тогда Станюкович, унаследовавший от отца настойчивость, твердость и энергию, вторично написал „грозному адмиралу“, что если он не даст разрешения, то Станюкович устроит так, что его исключат из службы. И непреклонная воля сына заставила „грозного адмирала“ уступить. Он писал ему: „Позора не желаю и против ветра плыть не могу... Выходи в отставку и забудь отныне, что ты мой сын!“ И мичман

11 флотского экипажа Константин Станюкович был уволен от службы с производством в чин лейтенанта».[44]

#### 4

Намерение стать писателем возникло у Станюковича, вероятно, еще в годы учения в морском корпусе, но окончательно укрепилось уже в кругосветном плавании. И можно с большой долей уверенности думать, что это решение predetermined не столько «морскими» впечатлениями, сколько неизменным и все возраставшим интересом к освободительному преобразовательному движению тех лет. В плавании Станюкович старался не пропустить ни малейшей возможности, чтобы узнать, что происходит на родине. В письмах к родным он просил присылать ему журналы, новые книги, сообщать подробности политической и литературной борьбы в стране; он систематически просматривал иностранные газеты, прежде всего обращая внимание на сообщения о русских делах.

Некоторые из произведений, написанных им в те годы, по своим жанровым признакам непосредственно примыкают к публицисти-

ке, и затрагивает он в них преимущественно такие темы, которые особенно оживленно обсуждались в русской печати того времени. Характерна в этом отношении его статья «Мысли по поводу глуповцев г. Щедрина», напечатанная в 11-м номере «Морского сборника». Судя по заглавию, можно подумать, что это рецензия на опубликованные в «Современнике» сатирические очерки Щедрина. Но о собственно литературных достоинствах этих произведений в статье почти ничего не говорится, речь в ней идет главным образом о проблемах воспитания, в частности и в военно-учебных заведениях.

Выйдя в отставку, Станюкович начал жизнь профессионального литератора. И большая часть всего написанного им в первые годы его писательства тоже прямо или косвенно связана с публицистикой. Но в его тогдашней литературной деятельности обращает внимание и несколькостораживает одна, на первый взгляд как будто бы и не очень существенная, подробность: свои многочисленные очерки, рассказы, фельетоны, статьи, рецензии он печатал в журналах и га-

зетах, которые нельзя было отнести к одному и тому же общественному направлению, а некоторые из них, как, например, близкий к «Современнику» журнал «Искра» и журнал братьев Достоевских «Эпоха», вели между собой почти постоянную полемику. Непосредственно эта «невыдержанность» вызывалась, вероятно, прежде всего тем, что литературная его репутация тогда еще не установилась и получаемые им гонорары были крайне скудными, так что сотрудничество в каком-нибудь одном журнале не могло ему дать даже самых необходимых средств к жизни. Но, разумеется, были и другие причины. Одна из них, по-видимому, состояла в том, что Станюкович еще не сумел тогда точно определить свое место в общественной борьбе.

Пока он находился в плавании, Россия пережила важнейшие события. Вслед за отменой крепостного права были утверждены основные положения судебной реформы, шли споры о земстве, выдвигались даже конституционные проекты. Общественно-политическая борьба в стране крайне обострилась. Революционные демократы и их сторонники

осудили половинчатость крестьянской реформы и готовились к ниспровержению самодержавного строя. Угроза революции напугала не только откровенных крепостников, но и либералов. Началась полоса реакции. В 1862 году были арестованы, а затем и осуждены Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, Н. А. Серно-Соловьевич и другие передовые деятели; выход «Современника» и «Русского слова» был приостановлен, и за всей печатью учрежден усиленный цензурный надзор. Все это, естественно, не могло не сказаться на общем уровне журналистики.

Можно полагать, что в этой напряженной обстановке Станюкович пережил, как и многие люди его поколения, что-то вроде растерянности. Он вышел из этого положения на первый взгляд неожиданно, но вполне в духе той бурной эпохи: в ноябре 1865 года он уехал в село Чаадаево Владимирской губернии и стал там школьным учителем. Тогдашняя радикально настроенная молодежь, воспитанная на идеях Герцена и Некрасова, Чернышевского и Добролюбова, была убеждена, что главными вопросами всего русского общества

являются вопросы народной, крестьянской жизни. Стало быть, думали они, надо прежде всего узнать народ и потрудиться на ниве его просвещения.

Почти через тридцать лет Станюкович в одном из своих писем об этом эпизоде рассказывал так: «Адмиральский сын, только что оставивший службу, сулившую ему блестящую карьеру, несмотря на советы великого князя Константина Николаевича остаться моряком, — хлопочет вслед за отставкой о назначении его сельским учителем в одну из школ министерства государственных имуществ (других школ тогда не было).

Тогдашний министр Зеленый, хорошо знакомый с отцом, пришел в большое изумление, когда я обратился к нему с такой просьбой...

На месте изумление было еще большее, когда сельские власти прознали мой указ об отставке, из которого узнали, что я бывший паж, отставной лейтенант, был три года в кругосветном плавании и послан из Сингапура курьером к генерал-адмиралу. Не меньшую сенсацию произвело мое появление и на

окрестных помещиков...».[45]

Учительствовал Станюкович всего одну зиму. В очерке «Из воспоминаний сельского учителя» он рассказывал (насколько это позволяли тогдашние цензурные условия), как жила нищая послереформенная деревня, по-прежнему покорно переносившая произвол помещика и сельских властей. Именно они — помещик и сельские власти при усердной поддержке сельского духовенства — постарались сделать все для того, чтобы молодой учитель в конце концов оставил свои просветительские попытки и уехал в Петербург.

Опыт «хождения в народ» не удался (как, впрочем, не удался он и десятью годами позднее, когда не единицы, как в шестидесятых годах, а сотни самоотверженных молодых людей пробовали просветить и революционизировать русского мужика); очерк «Из воспоминаний сельского учителя» не привлек общественного внимания, публицистическая работа шла тоже без сколько-нибудь заметного успеха.

Но ведь у него была еще и «морская» тема. Станюкович, детство проживший на самом

берегу Черного моря, а юность — на берегу Финского залива, к встрече с бесконечностью океанских далей был в известной мере подготовлен; но все-таки жизнь на малом — по сравнению с этой бесконечностью, в сущности, микроскопически малом — сооружении, неделями и месяцами противостоящем свое-нравию стихий, была полна таких сильных переживаний, что молодой человек, решивший стать писателем, не мог не пытаться запечатлеть их в слове. В плавании и в первые годы после возвращения Станюкович написал и частью напечатал целый ряд очерков и рассказов о море, о моряках и заморских странах. В начале 1867 года он их издал отдельной книгой, которую так и озаглавил: «Из кругосветного плавания. Очерки морского быта».

Русская литература не слишком изобило-вала книгами о море и о «морском быте». Повести Марлинского к этому времени были уже забыты, а после него о море и о моряках писали главным образом профессиональные моряки, художественных задач перед собой не ставившие. Только в пятидесятых годах появилась книга И. А. Гончарова «Фрегат

„Паллада“», а несколько позднее — «Корабль „Ретвизан“» Д. В. Григоровича. Книга Станюковича, хоть в ней и дает себя знать недостаточная литературная опытность ее автора, по богатству и разнообразию воспроизведенного жизненного материала не уступает книгам Гончарова и Григоровича, а по свежести и непосредственности передачи впечатлений, может быть, даже и превосходит их. Но ни критики, ни читатели ее, в сущности, не заметили; видно, пришлась она, как говорится, не ко времени. И не была ли эта неудача одной из причин того, что Станюкович тогда устранился — и надолго! — от темы, предназначенной ему самой судьбой?

Пришлось заново решать, что делать дальше, чем заняться. И теперь уже не за одного себя. Летом 1867 года Станюкович женился (на Любови Николаевне Арцеуловой), а через год у них родилась первая дочка — Наташа. Прозаическую нужду, то есть такую, какая заставляет каждый день думать о хлебе насущном на завтра, он и сам, когда жил один, переносил далеко не стойчески, а теперь нужно было оберечь от нее семью. Выход был, по-ви-

димому, только один — служить. Летом 1869 года он поступает на службу в управление Курско-Харьковско-Азовской железной дороги и, оставив семью в Петербурге, уезжает в Курск.

Так началось еще одно — и опять вынужденное — «плавание» Станюковича, длившееся больше семи лет: около полутора лет он служил на железной дороге, затем три года — в петербургском обществе взаимного поземельного кредита и, наконец, два с половиной года — управляющим пароходством по реке Дону и Азовскому морю. В эти годы Станюкович ведет почти полукочевой образ жизни: живет то в Курске, то в Харькове, то в Таганроге, то снова в Курске; потом в Петербурге и, наконец, в Ростове-на-Дону. Служба в эти годы занимала почти все его время. Но, само собой разумеется, Станюкович не отказался — да и не мог отказаться — от писательства.

## 5

Резкий поворот в собственной жизни Станюкович не мог воспринять как что-то случайное, сугубо личное: он видел, что нечто

похожее произошло и с многими его сверстниками — «вскормленниками шестидесятих годов»; да и не только с ними, но и со всеми людьми того времени; больше того, ясно было, что изменилось само время, его характер, его цвет. В чем был смысл этой перемены и каковы ее причины? Это были главные вопросы всего русского общественного сознания тех лет и, естественно, всей русской литературы. Наиболее проницательные люди догадывались, что это был исторически неизбежный поворот. Но куда она, история, клонила, было еще совсем непонятно, и это вносило в сознание всех мыслящих людей беспокойство и тревогу.

Новая деятельность ввела Станюковича в такую сферу жизни, которая раньше была ему мало знакома. Впечатления, наблюдения и переживания уже в первые месяцы этого «плавания» были так сильны, неожиданны и значительны, что они завладели всем его творческим сознанием, оттеснив на второй план многие его замыслы, совсем недавно казавшиеся неотложными. В те годы Станюкович изъездил весь Юг России и почти всю

Украину, то есть как раз те районы, где шло тогда наиболее бурное промышленное и железнодорожное строительство. И видел он его, это строительство, не со стороны, не в качестве наблюдателя с записной книжкой (в наше время сказали бы — с блокнотом), а изнутри, как участник. Вот как он рассказывал об этом узнавании в одном из писем жене: «Завтра еду... на ст. Амвросиевка. Посылают меня для расследования, мошенничает ли там начальник дистанции и подрядчики. Поручение не особенно веселое, тем более, что я наверно знаю, что придется обнаружить большую массу грязи и что меня опять будут тшиться подкупить... На линии, т. е. На Амвросиевке, буду дописывать комедию. Писать хочется, руки чешутся».[46]

В последних двух фразах, как говорится, весь Станюкович. Его горячая заинтересованность в жизни всего общества помогала ему быстро распознавать общественное значение всего, что происходит вокруг него — сегодня, сейчас, и заставляла немедленно же браться за перо публициста, чтобы защитить то, что он считал достойным защиты, и выставить

на публичное осуждение то, что противоречило его идеалам и мешало их утверждению. Публицистическое воодушевление не оставляло его и тогда, когда он писал художественные произведения — рассказы, повести, романы или комедии. Только что цитированное письмо написано в июне 1870 года, то есть всего через год после поступления Станюковича на службу, но к этому времени он подготовил к печати сатирический очерк «Русские американцы» — как раз о подрядчиках и субподрядчиках, нагло обсчитывавших рабочих и обворовывавших казну, то есть в конце-то концов все тот же народ, заканчивал комедию «На то и щука в море, чтоб карась не дремал» — тоже о хищниках, но масштабом покрупнее — и писал роман, в сюжете которого впечатления и наблюдения этого года играют весьма заметную роль («Без исхода»).

Особенно характерной в этом отношении является комедия «На то и щука в море, чтоб карась не дремал». Это пословичное заглавие само по себе дает возможность предугадывать, к чему сведется драматическое действие пьесы: щуки, как это им и «положено», будут

пожирать карасей, то есть хищники будут торжествовать, а жертвы — страдать и гибнуть. Но Станюкович как будто бы не спешит подтвердить это предположение и не сразу показывает «подвиги» щук. Читая первый акт пьесы, можно подумать, что ее конфликт не социальный и уж во всяком случае далек от публицистической злободневности, как естественнее всего предполагать, судя по заглавию, а семейно-бытовой. Здесь вырисовывается, по-видимому, чисто любовная завязка: провинциальная помещица Елизавета Петровна Василькова уговаривает свою внучку — хорошенькую, добрую и жизнерадостную Лидию — принять предложение местного прокурора Карла Карловича фон Шрека, а та наотрез отказывается от этой чести и признается бабушке, что любит другого — Алексея, сына миллионера Николая Антоновича Авакумова. Вскоре выясняется, что Алексей любит Лидию уже давно, и первый акт кончается помолвкой.

Но жизнь Лидии в доме Авакумовых сложилась не совсем так, как она ожидала. Еще до помолвки бабушка сказала Лидии, что

Алексей ей не пара: «Что мы ему, петербуржцу, богачу с несколькими миллионами?», — на что Лидия ответила: «Да разве я, бабушка, не стою миллиона?» Прошло немного времени, и Лидия могла убедиться, насколько опрометчивой была ее шутка; честная и чистая жизнь, о которой она мечтала до замужества, и авакумовские миллионы просто несовместимы, ибо за этим богатством — бесчестные проделки и преступная жестокость его обладателя. И, может быть, самым неожиданным для нее открытием было то, что ее любимый муж знал, как действовал его отец, знал и сам был готов последовать его примеру. Любящая и любимая жена Лидия поняла, что она не только пленница этого царства хищников, но и соучастница — хоть и невольная, хоть и косвенная — всего, что творят эти хищники. Ее слабая попытка вырваться из плена кончается ничем, карасям, то есть жертвам, она сочувствует, но разделить их участь не в силах.

Но отношения Лидии и Алексея — при всей их фабульной «закругленности» — образуют лишь второй план драматического действия, ведь Лидия многого просто не знала, а

о самом страшном и жестоком даже и не догадывалась; Алексей еще не успел «развернуться», его самостоятельное хозяйничанье еще впереди, за границами сюжета. Главной пружиной драматического действия пьесы, смысловым ее центром являются взаимоотношения двух персонажей: миллионера Николая Антоновича Авакумова и его главного приказчика Потапа Потаповича Чабанова. Эти взаимоотношения начались в свое время грабежом — Авакумов ограбил брата Потапа Потаповича — и завершаются грабежом: Потап Потапович Чабанов на глазах умирающего патрона, не обращая внимания на его увещивания, взял и присвоил сто тысяч наличными, чтобы уж самому стать хозяином. Сама по себе эта ситуация не новая: в сущности, почти так же сложились, например, отношения между Самсоном Силычем Большовым и его приказчиком Лазарем Елизарычем Подхалюзиным в пьесе А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся».

Впрочем, такого рода параллелей много и в русской и в мировой литературе. Жажда обогащения во что бы то ни стало почти все-

гда ведет к хищничеству, а хищники, если их интересы и вожделения сталкиваются, не щадят друг друга; средства и приемы взаимного ограбления могли быть самыми разнообразными, а «видовая» сущность хищничества оставалась неизменной. Но хищники хорошо знают, что любое богатство, в том числе и то, которое вырвано из рук сплеховавшего соперника, имеет одно и то же происхождение: оно награблено у тех, кто не принадлежит к касте хищников, у тех, кто работает ради куска хлеба. Там-то и раскидывают они свои сети, чутко улавливая появление новых возможностей захвата и грабежа.

Русский буржуй дореформенной эпохи — такой, каким он запечатлелся в ранних пьесах того же А. Н. Островского, — при любом богатстве в глазах всего общества и даже по своей собственной самооценке был еще алтынник, аршинник, орудовавший где-то в средних этажах социальной иерархии; для него и квартальный, Держиморда какой-нибудь, и то уже был важный начальник, а, допустим, о министрах, не говоря уж о царе, он думал как о небожителях. После отмены кре-

постного права на первый план стала выдвигаться новая разновидность хищника. Это уже были воротилы, предприниматели, финансисты, которые вели свои дела с самим правительством. Среди них особенно выделялись крупные железнодорожные подрядчики или, как их называли в те годы, концессионеры.

В крепостную эпоху строительство железных дорог осуществлялось непосредственно правительственными органами, то есть было отдано на произвол бюрократической камарильи. Под эгидой чиновников, управлявших строительством, разворачивались тогда такие вакханалии казнокрадства, что даже при нищенской оплате рабочей силы каждая верста железной дороги обходилась государству в несколько раз дороже реальной стоимости. Учитывая этот печальный опыт, правительство Александра II решило привлечь к строительству дорог частную инициативу; подрядчики представляли правительству смету расходов по строительству и в случае ее утверждения царем получали подряд (концессию) на производство всех работ, а вслед за тем и

соответствующие льготные кредиты из казны. При этих порядках размер наживы определялся «качествами» сметы: в большинстве случаев удавалось добиться утверждения таких цен за строительство, которые превышали реальную его стоимость в два-три раза. Таким образом концессионеры одним махом присваивали миллионные куши. Правда, дутые сметы могли быть доведены до утверждения лишь в том случае, если у подрядчика находились влиятельные — и, конечно, небескорыстные! — ходатаи и покровители.

Станюкович одним из первых в русской литературе воспроизвел эту новейшую по тем временам механику ограбления народа. Николай Антонович Авакумов — концессионер, и обладателем миллионов он стал только благодаря концессиям; в пьесе очень точно и подробно показано, как Авакумов поддерживает связь с теми высшими сферами, где решаются судьбы смет и концессий: князю Липецкому 10000 — «взаймы» без отдачи, «его сиятельство отощали...»; красавице баронессе Шперлинг, имеющей успех, а стало быть и влияние в столичном свете — 6000 тоже

«взаймы» и тоже, разумеется, без отдачи; для чиновников, принимающих наспех и кое-как построенную дорогу, — обильное пиршество и — соответственно чину и влиянию — «подарки». Легко понять, почему высшая власть запретила пьесу для представления на сцене. Только через десять лет удалось добиться отмены этого запрета. Правда, в тогдашнем театральном репертуаре комедия не удержалась, и скорее всего потому, что характеры двух по ее сюжету главных героев — Лидии и Алексея — получились схематичными, иллюстративными. Но для понимания всей дальнейшей литературной деятельности Станюковича комедия имеет важное значение; в ней достаточно четко определился круг тем, к которым он затем возвращался вплоть до последних дней своей жизни. Тут прежде всего следует указать на тему буржуазного хищничества. Подобно своим великим современникам — Некрасову и Щедрина, — Станюкович был убежден, что новейшие буржуа-предприниматели в общественно-политической жизни России играют не менее реакционную роль, чем крепостники-помещики или бюро-

кратическая каста, что эти новые господа также, как и прежние, непримиримо противостоят традициям освободительного движения шестидесятых годов. Это противостояние в пьесе тоже намечено: в Обжигалов (так называется город, где происходит действие пьесы) приехал некто Черепнин, последователь освободительных идей шестидесятых годов, чтобы помочь местным рабочим взыскать обманом удержанные Авакумовым тридцать тысяч рублей; деньги он, конечно, не отхлопотал, а самого его по просьбе Авакумова-сына выслали из города в сопровождении «голубого солдатика», то есть жандарма. Станюкович уже и тогда понимал, что это противостояние является одним из наиболее существенных моментов всей общественной борьбы в России тех лет. Его первый роман — «Без исхода» — и является попыткой осмысления этого момента.

## 6

По своему общему строю этот роман близок к тому типу романа, который в русской литературе утверджен И. С. Тургеневым; одна из особенностей таких романов состоит в

том, что в центре всех событий находится интеллигентный, благородный герой, и по отношению к нему, в соотношении с ним так или иначе освещаются и характеризуются остальные персонажи. В духе этой традиции сюжетным стержнем романа «Без исхода» является биография главного его героя — Глеба Черемисова, а биографии некоторых других персонажей даются фрагментарно — иногда только ради связанности и «закругленности» повествования. Отношением Черемисова к другим персонажам и их реакцией на его суждения, на его поведение, на его деятельность образуются почти вся совокупность действия романа.

Он был сын мелкого провинциального чиновника; ценою крайних лишений мать дала ему возможность закончить гимназию, после чего он уже на собственный страх и риск отправился в Петербург — в университет. «Черемисов усиленно работал, считался надеждой профессоров и в кругу товарищей пользовался репутацией дельного математика». Но карьера ученого его не привлекала, он ставил тогда перед собою иные цели. Пребывание в

университете совпадало с периодом наивысшего подъема освободительного движения шестидесятых годов. «То было время надежд и порываний, — рассказывает писатель, — жилось полней, ждалось веселей. Утром лекции, затем хождение на урок, вечера за работой или в кругу рьяной молодежи за спорами, за решениями всевозможных вопросов... И улыбнулся теперь Глеб, вспоминая эти решения. Часто в них было много юношеского, невыработанного, но все это было честно, искренно. Тогда не было (как теперь) жарких бесед об окладах, начиная с тысячи. Время было не то. Оклады отходили на задний план, а впереди было бескорыстное стремление служить всему честному, хорошему...».

Но пока он учился, общественные обстоятельства резко переменились: началась полоса реакции. Известно, что реакция дает себя знать не только в сфере политической; она сказывается — хотя на первых порах, может быть, и не так устрашающе — и на интеллектуальной и на духовной жизни всего общества. В такие годы проверяется убежденность людей, их совесть, а иногда и элемен-

тарная порядочность. Ведь в периоды подъема освободительного движения многие люди примыкают к нему «по моде», а потом при первой же опасности «образумливаются». Так произошло и на этот раз. «Стремления видоизменились, — с горечью констатировал Станюкович, — более пылкие служители сошли со сцены; более уживчивые успокоились, а большинство поплыло за волной, выкатившей несметное количество концессионеров, судей, журналистов, адвокатов, директоров, сыроваров, обрусителей, словом — всевозможных деятелей, сотворивших себе кумир из золотого тельца или из выеденной скорлупки».[47]

Но Черемисов не относился к числу уживчивого большинства, он был полон решимости действовать в духе своих вольнолюбивых убеждений. Однако теперь, в пору спада освободительного движения, власти осмелели и при любой попытке неудобной им деятельности предпринимали соответствующие меры; за немногие годы Черемисов несколько раз успел побывать в ссылке и в конце концов оказался не только без настоящего дела, но и

без куска хлеба. Тогда-то и явился к нему Николай Николаевич Стрекалов, владелец большого завода в одном из южных городов России — в Грязнополе и предложил место домашнего учителя. Глеб вынужден был согласиться. Там, в Грязнополе, и развернулись основные перипетии романа.

Стрекалов был прирожденный делец и стяжатель, но этой его господствующей страсти сопутствовала еще одна, весьма распространенная среди выскочек страстишка: он в свое время побывал в Англии и теперь старался всех убедить, что он предприниматель европейского, точнее, английского типа, то есть культурный предприниматель. Только вот в России, жаловался Стрекалов, трудно вести дела по-европейски, потому что русские рабочие ленивы, неумелы и склонны к пьянству. Черемисов и решил воспользоваться претензией Стрекалова на культурность; он предложил начать чтения, то есть популярные лекции для рабочих завода и таким образом попытаться отвлечь их от пьянства. На первом чтении были не только рабочие, но и кое-кто из грязно-польской знати. Черемисов оказал-

ся хорошим лектором, успех был полный. Но для «светских» людей это было очередное развлечение, и они скоро к нему охладели; зато среди рабочих лекции Черемисова пользовались все большей и большей популярностью. Это, конечно, не могло не встревожить местное начальство, и Черемисову было предложено немедленно покинуть Грязнополе. Он снова вернулся в Петербург, и снова полугодное существование, завершившееся скоротечной чахоткой.

Среди немногих людей, собравшихся у постели умирающего Черемисова, был его друг и единомышленник Крутовский, в свое время «блестящий офицер генерального штаба», бросивший потом военную службу, чтобы окончить университет и посвятить жизнь честному труду. Он тоже некоторое время жил в Грязнополе и тоже был выслан отсюда за то, что напечатал в столичных газетах несколько статей о делах грязнопольских воротил.

Финал романа как будто бы подтверждает однозначность его заглавия: последние могикане шестидесятых годов оказались не у дел,

и в русском обществе безраздельно властвуют Стрекаловы вместе с их сообщниками и покровителями. Исхода нет. Но такое заключение не совсем точно. Деятельность Черемисова в Грязнополе была все-таки не вовсе безрезультатной. К смертельно больному Черемисову приехала его возлюбленная — Ольга, дочь Стрекалова.

Когда Глеб появился в доме Стрекаловых, он показался ей нелюдимым и странным, но, присматриваясь к его поведению, вдумываясь в смысл его речей, она поняла, что у него не может быть ничего общего с теми людьми, среди которых она жила, что он человек из другого, лучшего мира. Ольга полюбила Черемисова и решила уйти вместе с ним. Черемисов погиб, но Ольга в благополучный, обеспеченный мир своих родителей уже не вернется. Готов уйти из родного дома и ее брат Федя: под влиянием Черемисова этот юноша осудил и дела своего отца и нравы среды, где богатство и чины считаются наивысшими ценностями.

Победа сильных мира сего оказалась неполноценной; не обладающие никакой

внешней властью, гонимые и преследуемые люди навсегда уведут от преуспевающих новых господ их детей — их будущее.

Однако в этом светлом и обнадеживающем мотиве все-таки слышатся и грустные ноты, и поэтому он почти не ослабляет достаточно мрачную тональность всего романа как целого. Ведь Черемисов сделал, в сущности, только половину дела, хотя и очень важную: он помог Ольге и Феде увидеть неправду, царящую в среде, в которой они родились и выросли, и уверовать в новые, благородные, человеческие идеалы; но он не научил их, как жить по-новому — согласно своим новым убеждениям, и, главное, как бороться с господствующим в обществе злом. А не научил потому, что не знал и сам.

Что говорил Черемисов рабочим в своих лекциях — ограничивался ли он общеобразовательными задачами или, когда на лекциях присутствовали одни только рабочие, переходил к прямой революционной пропаганде и призывал их к каким-то активным действиям, к борьбе — в романе не рассказано. И это, конечно, не случайно: тогда и сами непосред-

ственные деятели революционного движения еще не знали, что и как надо говорить рабочим. В конце шестидесятых — начале семидесятых годов членам кружка «чайковцев», например, удалось установить связи с заводскими и фабричными рабочими, однако попытки вести среди них революционную пропаганду успеха не имели.

Но известно, что в периоды спада освободительного движения работа революционной мысли не прекращается, поиски новых средств и форм освободительной борьбы идут в такие периоды с особенным напряжением. Когда создавался первый роман Станюковича (1871–1872 гг.), новое в революционном движении только еще нащупывалось. Несколько позднее оно, это новое, воплотилось в народническом движении. Народники в подавляющем своем большинстве были убежденными последователями идей Герцена, Чернышевского и Добролюбова и считали, что радикальное переустройство жизни русского общества на социалистических началах станет возможным только в результате крестьянской революции. Задача, стало быть, состояла

В том, чтобы возбуждать и поднимать в массах крестьянства дух протеста, готовить их к широкому восстанию, то есть к революции. К этому призывали передовую молодежь и находившиеся в эмиграции вожди русского освободительного движения — П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев.

И вот весной 1874 года сотни молодых революционеров отправились в поволжские и южнорусские деревни — «в народ». Через несколько месяцев выяснилось, что «хождение в народ» потерпело неудачу: осенью того же года большая часть его участников была схвачена полицией, многие сосланы в административном порядке, а самые влиятельные заключены в тюрьмы и преданы суду (знаменитый процесс 193-х). В ряду причин, предопределивших эту неудачу, было и то, что народники просто плохо знали народ; их представления о крестьянской общине были во многом неточными, а предположение, будто именно она станет основой социалистического общества, — насквозь утопичным.

Но «хождение в народ», несмотря на его неудачу, сыграло в жизни русского общества

историческую роль. Правящие верхи России должны были поневоле убедиться, что революционное движение в стране не только не подавлено, но, напротив, приобретает новый размах. С другой стороны, масштабы «хождения в народ», благородство и самоотверженность его участников — все это ободряюще подействовало на настроения в оппозиционных кругах русского общества. Само собой разумеется, это событие оказало свое воздействие и на русскую литературу. В этом смысле особенно характерен роман Станюковича «Два брата».

## 7

Этот роман тоже можно отнести к типу романа-биографии, только в отличие от первого романа Станюковича — «Без исхода» — здесь рассказано о судьбе двух главных героев — братьев Николая и Василия Вязниковых. И социальная коллизия почти такая же: новое, активное социальное зло в романе «Два брата» воплощено в фигуре Кузьмы Петровича Кривошейнова, вчерашнего мельника Кузьки. Различия между ним и Стрекаловым не очень существенны: Стрекалов орудовал в го-

роде — в промышленности и на строительстве железных дорог, а Кривошейнов — в деревне; у того были англоманские замашки, а этот действовал нахрапом, без претензий на культурность. Кривошейнов еще не такой крупный хищник, как, например, щедринский Дерунов, но по своим ухваткам, по неколебимому сознанию своей полной безнаказанности он нисколько ему не уступает: он ведь тоже уверен, что нужен властям, и поэтому всегда найдет у них поддержку.

События в деревне Залесье, несмотря на то, что им в общем объеме романа посвящено всего несколько страниц, потому-то и являются ключевыми, кульминационными, что в них нагляднее всего обнаружилось и живодерство Кузьки и палачество властей. Тут резко выявляется социально-обличительная тенденция романа; вместе с этим здесь отчетливо виден и его художественно-«исследовательский» пафос: в отношении к этим событиям определились не только общественные позиции каждого из братьев, но и главные особенности их характеров.

Сопоставление характеров, жизненных по-

зиций двух братьев не ограничивается задачами обличения «удачливых» отступников вроде Николая и прославления таких самоотверженных подвижников, каким оказался Василий; в нем, в этом сопоставлении, есть не только констатация того, что случилось, но и вопрос: почему так случилось?

Иван Андреевич Вязников в молодости был причастен к оппозиционному движению (скорее всего к кружку петрашевцев), за что его в 1848 году и сослали «в места не столь отдаленные». Он и теперь, в семидесятые годы, не изменил своим молодым убеждениям — недаром губернские и столичные бюрократы называют его «старым нигилистом», а окрестные мужики «праведным барином». Детей своих он воспитал в духе гуманности и высоких преданий русского освободительного движения. И вот на старости лет он вопреки всем своим ожиданиям и надеждам должен был убедиться, что его любимец Николай изменил этим преданиям. Отцу было непонятно, как это могло случиться с его сыном, а перед читателем романа вопрос встает несколько иначе: почему, как говорится, при всех

прочих равных условиях одни люди легко и непринужденно привыкают к порядкам несправедливого общественного строя и становятся уважаемыми членами этого общества, а другие не примиряются и борются за свержение этого строя — борются даже тогда, когда понимают, что победа придет, может быть, только к людям следующих поколений?

Вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Различия между правом и бесправием, справедливостью и несправедливостью, между рабством и свободой, если не осознают, то чувствуют все; а люди образованные или, как их со второй половины XIX века стали называть, интеллигенты имеют возможность осмыслить эти различия в их общем виде, теоретически. И все-таки многие из этого образованного меньшинства, многие интеллигенты сознательно выбирают как раз несправедливый строй. Значит, этот выбор предопределяется не только знанием и пониманием законов разума, законов человечности. «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала», — писал Радищев; и книгу свою он адре-

совал прежде всего тем, «кто состраждет... над бедствиями собратий своей...»[48]. Значит, кроме знания и понимания, нужно еще и сочувствие и сострадание угнетенному человеку.

Правда, бывает свободолюбие и только по рассудку, по логике — то есть свободолюбие чисто теоретическое, книжное; но оно часто оказывается односторонним и неустойчивым, а то и вовсе превращается в нечто противоположное. Книжные свободолюбцы, гуманисты-теоретики и сами человеческие страдания склонны рассматривать «в общем виде», суммарно; данное общество (в России второй половины XIX века речь шла о буржуазно-дворянском обществе), рассуждают они, несовершенно, несправедливо, его нужно радикально перестроить; а когда это будет сделано, то положение страдающих единиц изменится к лучшему само собой. Именно по такой схеме рассуждал Родион Романович Раскольников.

В периоды общественного подъема такие удобопонятные и радикальные теории приобретают особую привлекательность. В шести-

десятые годы толпы Ситниковых и Кукшиных набросились на эти рецепты, как на последний крик моды. А модники ведь всегда спешат, чтобы не только не отстать от моды, а еще и забежать вперед и постараться уверить всех, что они-то и являются законодателями моды, то есть что не Базаровы, не Рахметовы, а именно они, Ситников вместе с Кукшиной, главные-то деятели и есть. Эти новые Репетилковы шумели, суетились, и у некоторых писателей сложилось впечатление, будто и все-то движение революционной молодежи не более как суета и пустопорожный шум; появились так называемые «антинигилистические» романы вроде «Взбаламученного моря» А.Писемского или «Панургова стада» Вс. Крестовского. Но страхи этих писателей оказались сильно преувеличенными: как только «нигилисты» по моде увидели, что за это увлечение приходится расплачиваться ссылкой или даже тюрьмой, они поспешно образумливались и вполне непринужденно возвращались на стезю благопорядочности.

О Николае Вязникове нельзя сказать, что он примкнул к радикальному студенческому

движению лишь из желания не отстать от моды; определенную роль тут, конечно, сыграл и пример отца, хотя этот пример, конечно, не мог иметь решающего значения. Характер у Николая был совсем не такой, как у отца. Он был слишком склонен к самолюбиванию: в студенческих кружках его говорливость и живость обращали на себя внимание, а сам он уже воображал себя великим оратором или знаменитым публицистом; у него была складная фигура и довольно приятное лицо, кокетничающие дамы бросали на него благосклонные взоры, а сам себе он казался неотразимым красавцем. Что бы Николай ни делал, он больше всего заботился о собственном успехе. Когда он обличал Бежецкого за то, что тот «присмирел» и поступил на место с огромным жалованием, когда возмущался, что «бог Ваала стал кумиром» для многих его сверстников, он больше всего заботился о том, достаточно ли восхищены слушатели его благородством и красноречием.

Во взбунтовавшемся Залесье это свойство его характера обнаружилось особенно выпукло. «Теоретически он, пожалуй, и любил на-

род, — замечает Станюкович, — но все эти грубые лица, этот запах земли, навоза и пота были чужды ему, даже неприятны...» Но самое-то для него существенное состояло даже и не в дурных запахах, а в том, «что всем этим мужикам нет до него никакого дела». Он и в этой ситуации хотел быть в центре восхищенного внимания, а раз этого не оказалось, то от «теоретической» любви к народу освободиться было нетрудно, и Николай, естественно, стал искать успеха, славы, богатства в той части общества, которую он «теоретически» же так недавно и так решительно осуждал.

Николая Станюкович писал тщательно, с многими уточняющими подробностями и обстоятельствами; он его сопоставил и с Лаврентьевым и с Прокофьевым-Мирзоевым, пространно рассказал о его отношениях с Леночкой и с Ниной Ратыновой — и все это ради того, чтобы как можно отчетливее прочертить кривую его падения. Но читая роман, все больше и больше убеждаешься, что в этом падении, можно сказать, не хватает катастрофичности — как будто упало нечто не имеющее собственного веса. К Николаю не испы-

тываешь ни настоящей ненависти, хотя он совершил не одну подлость, ни жалости, а ведь пропал, в сущности, неплохой человек.

Совсем иное впечатление производит образ другого брата — Василия. На первых порах можно подумать, что для этого заведомого праведника Станюкович просто не нашел подходящих красок. Вася в отличие от своего старшего брата не умеет показать себя, он, как сказали бы модники наших дней, «не смотрится». Рассказы о том, как он дружит с мужиками, как учится косить, тоже не вносят в эту фигуру чего-то реально-ощутимого, жизненно достоверного. Читатель уже готов заключить, что это наспех олицетворенный тезис о возможности положительного героя. Но вот мы дочитались до эпизода, в котором повествуется о том, как Вася пришел к Кузьме Кривошейнову, чтобы убедить (или упростить) его простить или хотя бы отсрочить залесским мужикам их долг. В его почти бессвязной речи, в крайнем его смущении раскрывается детская наивность и покоряющая искренность; вы чувствуете, что для него страдания тех, за кого он просит, большее и

ужаснее, чем его собственные, — ведь ясно же, что за себя и для себя он просить не пошел бы. Здесь перед нами трепещет девственно чистая душа, для которой, по вещему слову Некрасова, «зрелище бедствий народных невыносимо...». И как раз в этом источник силы личности Василия Вязникова.

Да, проповедь Васи наивна, его протестующий порыв во время экзекуции в Залесье донкихотски бессилен и почти нелеп; его приготовления к более осознанной деятельности оборваны смертью; но было бы ошибочно думать, что жизнь его прошла бесплодно. Именно Вася, его поведение вносят в роман ободряющее светлое начало. Кузька-живодер попробовал разговаривать с ним снисходительно-иронически, но чутье хищника подсказало ему, что этот наивный юнец для него, Кузьки, опаснее всех врагов. Васю ни запугать, ни подкупить, ни совратить соблазнами мира сего нельзя; его можно сослать, заключить в тюремный каземат, но это не заставит его отступить от своих убеждений, потому что они вдохновлены братской любовью к людям.

В идейном замысле романа важное место занимает фигура Прокофьева-Мирзоева — профессионального революционера, искусного конспиратора. С деятельностью таких людей Станюкович справедливо связывал строгую организованность и преемственность в революционном движении. Однако он всем ходом повествования дает понять, что Вася обратился к народу еще до знакомства с Прокофьевым-Мирзоевым, что без таких подвижников любви и самоотвержения, как Вася, Прокофьевы-Мирзоевы остались бы героическими одиночками.

Действие романа начинается летом 1873 года, а его кульминационный эпизод (эзекуция в Залесье) происходит летом 1874 года, то есть как раз в то время, когда совершалась эпопея «хождения в народ». Но в характере Васи Станюковичу удалось запечатлеть некоторые важные черты не только тогдашних народников, но и всей русской революционной молодежи второй половины XIX века — ее бескорыстие, самоотверженность, ее беззаветную преданность идеалам справедливости и свободы.

Печатание романа было начато, когда Станюкович успел закончить всего несколько первых его глав. Деловитый редактор-издатель журнала «Дело» Г. Е. Благосветлов настаивал, чтобы публикация романа шла из номера в номер, — приходилось спешить. Автору казалось, что он портит хороший замысел: «...я сижу с утра до вечера за романом, — писал он жене 13 февраля 1880 года, — рву безжалостно написанное и очень недоволен. А Благосветлов шлет записочки. Им, видишь ли, хочется „братьев“ пустить первыми в книжке. Обещал сдать 18-го. Ты можешь вообразить, следовательно, и мою фигуру в халате и мою раздражительность, пока я не облеку в формы моих лиц романа. Но формы их мне не нравятся. Оттого и раздражительность. В голове так стройно, хорошо вяжется, а на бумаге — не то. Ну и рвешь бумагу»[49]. Но опасения оказались в значительной степени преувеличенными: роман имел несомненный успех у читателей, а передовая критика тех лет с удовлетворением отметила не только его общественную актуальность, но и художественную убедительность. В наши дни, когда

с момента выхода в свет «Двух братьев» прошло почти сто лет, можно сказать с уверенностью, что это один из лучших (если не лучший) романов Станюковича.

## 8

Роман «Два брата» недвусмысленно свидетельствует о том, что Станюкович знал о революционном движении народников не понаслышке; во всем повествовании о деятельности Прокофьева-Мирзоева, например, чувствуется осведомленность в таких подробностях и обстоятельствах, с которыми можно было ознакомиться только из первых рук. Но, сочувствуя борьбе народников, посильно помогая им, Станюкович в то же время не разделял многих положений народнической идеологии и, в частности, народнических воззрений по вопросу о судьбах капитализма в России, о характере и силе его влияния на жизнь русского общества. Тут он стоял на позициях, выработанных Чернышевским и его ближайшими последователями, и с этих позиций стремился осмыслить тот жизненный материал, который в изобилии дала ему семилетняя служба.

Сквозные темы многих его произведений, как беллетристических, так и публицистических, прямо или косвенно связаны с фактом выдвижения на первый план русской жизни нового господина, буржуа, в каком бы облике он ни выставлял себя — в окультуренном, как Стрекалов, или неприбранно-чумазом, как Кузька Кривошейнов. Союз между буржуем-хищником и правящими верхами, где решающее влияние принадлежало еще дворянам, вносил, по убеждению Станюковича, важные изменения не только в экономику и политику, но и в нравственную атмосферу всего русского общества.

Богатство и его детища — комфорт и роскошь и раньше были соблазнительны; но в крепостную эпоху они доставались или по наследству, или по чину, то есть по карьере (так называемые безгрешные доходы на всеобщее обозрение тогда все-таки предпочитали не выставлять). В новых условиях начался процесс быстрого перераспределения богатств. Теперь у всех на виду, внезапно, какими-то темными, но по внешности вполне законными путями обогащались никому не извест-

ные раньше люди. Авантюризм приобрел права гражданства, стал респектабельным. Станюкович с пристальным вниманием следил, как это новое явление сказывалось прежде всего на поведении молодежи. Собираемые неумеренной роскошью новых богачей, многие молодые люди готовы были пойти на любую сделку с совестью: предварительно рассчитав сумму приданого, женились на дочерях новых богачей, как это сделал Борис Кривский из романа «Наши нравы», или прямо действовали по способам червонных валетов — обирали любовниц, близких родственников, а в случаях крайней необходимости не брезговали подлогами и мошенничеством, как Шурка Кривский из того же романа.

Беллетристические произведения Станюковича, посвященные этому кругу тем (повесть «Червонный валет», романы «Наши нравы», «В мутной воде», «В места не столь отдаленные» и др.), неприкрыто публицистичны; порою кажется, что автор еще раз, более пространно и в более, так сказать, «завлекательной» форме пересказывает содер-

жание некоторых своих публицистических выступлений. В значительной степени так оно и было. «Вскормленник шестидесятих годов», Станюкович считал тесное сочетание беллетристики и публицистики вполне естественным и даже необходимым и временами предпочитал работать в публицистическом жанре. Например, с тех пор как он стал постоянным сотрудником журнала «Дело», публицистике он отдавал большую часть своих сил. Начиная с 1877 года Станюкович на страницах этого журнала из номера в номер помещал статьи и фельетоны или во «Внутреннем обозрении», или под рубрикой «Картинки общественной жизни». Особую популярность и большой общественный резонанс получила серия его фельетонов, памфлетов и репортажей, которые он печатал под общим заглавием «Письма знатного иностранца».

Англичанин Джонни Смит, на русской границе выправивший за два фунта стерлингов паспорт на имя лорда Джона Розберри, в поисках легкого заработка путешествует по России и свои наблюдения и замечания сообщает в письмах Дженни — жене своей, остав-

шейся в Англии. Этот с давних пор известный в европейской публицистике прием маскировки давал Станюковичу возможность взглянуть на многие явления русской жизни «глазами иностранца», то есть как бы впервые, и таким образом представить их свежо и впечатляюще. Вот, например, как пишет Джонни о распространившейся в то время по России эпидемии хищений и растрат: «Что ни день, то в здешних газетах извещают о покражах всевозможных предметов, движимых и недвижимых, имеющих какую-либо ценность. Преимущественно опустошаются общественные кассы, но не оставляются без должного внимания и прочие предметы, особенно заготавливаемые в большом количестве, как-то: мука, крупа, овес, сено, сукно и пр. Сперва я был крайне удивлен этим обстоятельством и полагал, что факты покражи составляют единичные явления и производятся специалистами вроде наших лондонских мазуриков высшей школы, но скоро убедился, что эта профессия не имеет в России такого предосудительного характера и что подобные занятия составляют почти повсеместное яв-

ление среди многих русских джентльменов, пользующихся цензом, дающим право на заведение кассой, или на заготовку материалов, или на присмотр за всеми подобными делами.

По понятиям названных выше джентльменов „касса“, „казна“ и т. п. составляют нечто вроде мифической золотой курицы, не пользоваться которой может либо непроходимый дурак, либо совсем ленивый человек, тем более, что пользование это не всегда влечет за собою неприятные последствия, особенно, если при пользовании не обнаруживать слишком большой поспешности и алчности.

Я пробовал уяснить себе причины такой, можно сказать, непримиримой вражды, существующей к кассам, и после тщательных расспросов узнал, что вражда эта восходит к отдаленным временам (не могу сказать, ранее русского царя Гороха или после него) и с особенной силою свирепствует теперь, когда, после отмены крепостного права и с развитием касс, жизнь многих джентльменов стала более или менее в зависимости от собствен-

ной ловкости и умения так очистить кассу, чтобы не подлежать ответственности...».[50]

В своих публицистических произведениях Станюкович неоднократно возвращался к мысли о том, что хищники и воры легко уходят от наказания главным образом потому, что многоступенчатая иерархия администраторов и начальников, призванных охранять интересы государства и общества, сама действует по принципу круговой безответственности. В одном из своих писем Джонни приводит следующий, весьма характерный в этом отношении диалог с чиновником Z: «— Скажите, молодой друг, отчего вы всегда молчаливы? Вы превосходно работаете, вы идеальный исполнитель, но отчего вы молчите?.. Кто вас не знал бы так хорошо, как я, тот подумал бы, что вы готовите донос на своего начальника и друга.

Мистер Z. только улыбнулся.

— Что значит ваша улыбка, сэр?

— Ах, милорд... Я удивляюсь, как вы с вашим умом не объяснили моего молчания.

— Что ж оно означает?

— Преданность, одну преданность и ниче-

го более!..

Однажды я сидел в кабинете мистера Z. Он только что готовился отправить лично составленную им записку к своему патрону по какому-то вопросу, как ему подают записку от патрона. Мистер Z. хладнокровно прочел ее, аккуратно сложил, спрятал к месту и приказал позвать своего секретаря.

— Эта записка, над которою мы работали, не годится. Приказано разобрать этот вопрос в другом направлении, и потому нам придется завтра же этим заняться.

— Но как же... То направление, которое придано этой записке, основано на началах науки.

— Главное, не рассуждайте и делайте, что приказано... Наука?.. Наука должна служить государству, а не государство науке.

Молодой секретарь почтительно поклонился и ушел.

— А какое ваше мнение по этому вопросу? — спросил я.

— У меня, милорд, нет мнения... Я исполняю, что приказывают.

— Но как же однако?

— Очень просто: я не рассуждаю и, признаюсь, считаю нелепостью рассуждать... Я слушаю и более ничего.

— Конечно, это просто, но, с другой стороны, такой индифферентизм может лечь нравственной ответственностью...

— У вас — быть может, а у нас, милорд, нет... Какая ответственность, когда приказание мне дано на бумаге и даже за номером? Я исполнитель — и в этом вся моя роль. Если бы я рассуждал, милорд, то...

Он не досказал и умолк».[51]

Действие происходило в Петербурге, записка была «с направлением», то есть общего, руководящего свойства; по этим признакам читателю нетрудно было догадаться, что «мистер Z» занимает какой-то очень важный пост, а его патрон, вероятнее всего, не меньше, чем министр. Но ведь и те, кому было поручено наблюдать за радикальным журналом, тоже могли догадываться.

Журнал «Дело» с самого возникновения был у властей на особом счету; многие знали, что он является прямым продолжением знаменитого «Русского слова», что подтвержда-

лось, между прочим, и тем, что бывший редактор этого журнала Г. Е. Благосветлов стал фактическим редактором-издателем «Дела». Среди сотрудников журнала некоторое время был только что вышедший из Петропавловской крепости Д. И. Писарев; тайная полиция имела сведения, что «Дело» печатает на своих страницах статьи и корреспонденции видных революционеров-эмигрантов — П. Л. Лаврова, П. Н. Ткачева, С. М. Степняка-Кравчинского. Вполне естественно, что когда Станюкович занял в журнале место ведущего публициста, цензура и тайная полиция стали уделять ему особое внимание. «Уличающих» фактов накопилось за несколько лет наблюдений много, и поэтому, когда после смерти Г. Е. Благосветлова Станюкович возбудил ходатайство о разрешении на право издания «Дела», ему было отказано. Правда, через некоторое время разрешение было все-таки выдано, но, по-видимому, тогда же судьба журнала была предрешена. Тайная полиция теперь имела неоспоримые данные о том, что Станюкович во время своих поездок за границу встречается с П. Л. Лавровым, П. А. Кропотки-

ным, В. И. Засулич, С. М. Степняком-Кравчинским и другими видными революционерами-эмигрантами. Ждали удобного случая, и он подвернулся: 21 апреля 1884 года Станюкович был арестован на пограничной станции Вержболово и доставлен в Петербург. Целый год его держали в Доме предварительного заключения под следствием, а затем в административном порядке сослали на три года в Томск. Он отправился в третье вынужденное путешествие, на этот раз в Сибирь — в те места, через которые он двадцать два года назад возвращался из своего первого путешествия.

Несчастья и невзгоды обрушивались на Станюковича одно за другим. Он тяжело пережил разгром народовольцев и наступление реакции; пока он находился под следствием, умерла его дочь — Любовь Константиновна; арест и ссылка лишили его журнала и средств к существованию. И все-таки Станюкович нашел в себе достаточно сил, чтобы с достоинством, мужественно перенести все эти удары. В ссылке, чтобы как-то сводить концы с концами, он должен был снова на некоторое время поступить на службу. Но главным его де-

лом и здесь была литература. Он стал постоянным сотрудником тамошней «Сибирской газеты» и на ее страницах напечатал ряд статей, фельетонов и роман «Места не столь отдаленные» (окончательное название «В места не столь отдаленные»). Некоторые из написанных им в ссылке произведений — среди них книга путевых очерков «В дальние края» и несколько морских рассказов — были тогда же опубликованы в столичной печати.

## 9

27 июня 1888 года, отбыв срок ссылки, Станюкович, как сообщила «Сибирская газета», «выехал в Россию»[52]. К этому времени Людмила Николаевна получила небольшое наследство, что дало возможность Станюковичу вместе с семьей поехать во Францию, чтобы поправить расшатавшееся здоровье.

В феврале 1889 года он вернулся в Петербург и начал хлопоты по устройству своих литературных дел. Прежде всего он стремился возобновить публицистический диалог с читателем, для чего необходима была прочная связь с одним из тогдашних ведущих прогрессивных журналов. Но эта задача оказалась

трудноразрешимой. Обстановка в журналистике стала еще более тяжелой, чем пять лет назад. На страницах «Русского вестника», «Московских ведомостей», «Нового времени» и других — рангом пониже — реакционных органов велось систематическое глумление над всем, в чем замечалось хотя бы отдаленное подобие освободительных идей. Те газеты и журналы, которые были подозреваемы властями в оппозиционности, подвергались особому цензурному и полицейскому досмотру. Выступления публицистов, все-таки еще претендовавших на то, чтобы в обществе их считали за либералов, отличались незначительностью тем и уклончивостью тона. С журналами и газетами, в которых Станюкович находил возможным сотрудничать, не поступаясь своими взглядами, его отношения складывались двояко: для его беллетристики охотно открывали свои страницы такие влиятельные журналы, как «Русское богатство», «Вестник Европы», «Мир божий», «Журнал для всех», «Нива», «Родник», «Всходы», «Детское чтение», «Юный читатель» и др.; одна из самых распространенных газет — «Русские

ведомости» — печатала беллетристические произведения Станюковича из года в год, из месяца в месяц — вплоть до последних дней его жизни. А к Станюковичу-публицисту руководители тех же самых журналов и газет относились более или менее прохладно, а то и настороженно. Лишь через несколько лет, когда в России наметился новый подъем оппозиционных настроений, журнал «Русская мысль» стал более или менее систематически печатать фельетоны Станюковича под общим заглавием «Картинки современных нравов» (в эту серию входили и новые «Письма знатного иностранца»).

Не имея на протяжении ряда лет постоянной публицистической трибуны, Станюкович, естественно, большую часть своего времени уделял беллетристике. В последние четырнадцать лет жизни Станюкович работал с удивительной интенсивностью. За эти годы он написал подавляющее большинство морских рассказов и повестей, три романа, несколько повестей и больше двадцати рассказов на материале тогдашней общественной жизни.

Романы и «неморские» повести и рассказы этого времени так же, как и большинство произведений Станюковича семидесятых — начала восьмидесятых годов, открыто публицистичны, а в некоторых из них явно проступает памфлетная нацеленность. По общему своему характеру и тематика этих произведений осталась прежней. Станюкович продолжал внимательно присматриваться к одному из самых значительных и зловещих социальных процессов второй половины XIX столетия — к процессу сближения сановного дворянства и высшей бюрократии с новым богачом — буржуа-промышленником и банковским воротилой. Его отношение к обеим этим социальным группам в основном не изменилось, а моменты различия предопределялись самим ходом указанного процесса. С Кузьмой Кривошейновым его вельможные покровители обращались все-таки как с выскочкой, да он и сам смотрел на них еще снизу вверх; в возможность покровительственного отношения к Василию Захаровичу Трифонову (роман «Откровенные») никто из его чиновных и титулованных приятелей и помыслить не мо-

жет; к искателям руки и сердца (то есть миллионного приданого) его дочери Ксении он относится с одинаковым презрением — будь то князь Сицкий, или завтрашний министр Павлицев, или безродный, еще только начинающий делать карьеру Марк Борщев. Станюкович убеждает читателя, что это презрение вполне заслуженно.

Конечно, эти внезапные богатства вчерашних мужиков заключали в себе невольный соблазн, но ведь поддающиеся ему — все эти потомки «Рюриковичей и гедиминовичей», все эти государственные деятели и думать не хотели, чтобы в подлости своей сохранить, по слову Пушкина, хотя бы «осанку благородства». Они были омерзительнее новых богачей. По сравнению с развратным паразитом Козельским, старавшимся выдать свою дочь Тину за молодого Гобзина и таким образом «породниться» с миллионами его отца Прокофия Лукича Гобзина, этот последний выглядит не только крупнее, но даже человечнее: он по крайней мере деятелен и умеет ценить в людях трудолюбие и знания.

Само собой разумеется, к такого рода сопо-

ставлениям Станюкович прибежал не ради того, чтобы возвысить и оправдать новых богачей. В своих произведениях девяностых годов он последовательно развивает ту мысль, что процесс сближения двух этих социальных групп является в то же время и процессом нравственного распада правящих верхов тогдашней России. Одним из симптомов этого распада было и то, что люди, сколько-нибудь порядочные и деятельные (такие, например, как Григорий Александрович Никодимцев из того же романа «Равнодушные»), там, наверху, не уживались.

Тема нравственного разложения правящих верхов важна, конечно, не сама по себе; во второй половине XIX века она привлекала внимание русских писателей, в том числе и М. Е. Салтыкова-Щедрина и Л. Н. Толстого, главным образом потому, что была частью более общей и несравнимо более важной темы — темы судеб России. Ведь тлетворное влияние этого разложения сказывалось на жизни всей страны и, в частности, на нравственном состоянии так называемых образованных слоев общества. Именно об этом на-

писан роман «Жрецы».

Коллизия романа сложна по своему составу. На первый взгляд может показаться, что в романе описана заурядная профессорская склока. На самом деле, не будь скрытой, злобной зависти жреца чистой науки профессора Аристарха Яковлевича Найденова к более молодому, популярному профессору Николаю Сергеевичу Заречному, которого его поклонники и почитатели считали чуть ли не продолжателем традиций самого Грановского, не было бы никаких бед и потрясений: юбилей старика Косицкого прошел бы мирно, потому что доцент Перелесов не осмелился бы написать свою пасквильную статью об этом юбилее и о речи Заречного, а если бы даже и написал, то без содействия Найденова ее едва ли напечатали бы. Но эта склока потому и вызвала такие трагические последствия, что оказалась одним из выражений всей общественной борьбы в России восьмидесятых — девяностых годов.

Профессор Найденов стал заботиться о чистой науке после того, как разуверился в успехе освободительного движения. В начале он,

наверно, надеялся, что общественное мнение, а стало быть, и студенты поймут его и пойдут за ним. Но он ошибся: студенты от него отвернулись, и ему ничего не оставалось делать, как обратиться за поддержкой к реакционнейшей газете. Заречного он подозревал в том, что тот в своих лекциях высказывает радикальные мысли ради того только, чтобы добиться популярности у студентов, не способных отличить подлинное от поддельного. Но старый скептик ошибся опять: несколько студентов, присутствовавших на банкете и слышавших тост Заречного, сразу поняли, что радикализм их любимого профессора не многого стоит; восстановить доверие студенческой аудитории ему уже, наверное, не удастся. Ход событий в этой университетской истории предопределялся в конечном счете противостоянием передового общественного мнения, одним из носителей которого было студенчество, реакционным правящим верхам.

Роман «Жрецы» вышел в свет в 1897 году, а через два года в России началось широкое студенческое движение, всколыхнувшее все русское общество и показавшее, что реакция

не всесильна, что ее торжеству приходит конец.

Новые публицистические выступления Станюковича, его романы, повести и рассказы о современной ему жизни — все это имело общественный резонанс и оценивалось передовой критикой того времени, как говорится, вполне положительно. И все-таки в те годы его место в литературе и в читательском сознании определялось не этими произведениями.

## 10

В 1888 году вышел его сборник «Морские рассказы», и этот факт круто изменил всю его литературную судьбу. До этого он был известным, прогрессивным писателем и публицистом, а теперь он стал знаменитым автором морских рассказов. Все остальные его произведения уважительно, не без интереса читали и одобряли, а новых морских рассказов с нетерпением ждали и требовали. Станюкович вынужден был подчиниться: он стал издавать эти рассказы особыми сборниками: «Моряки», «Среди моряков», «Из жизни моряков», «Рассказы из морской жизни», «Новые

морские рассказы». И почти каждый из этих сборников приходилось издавать по несколько раз.

Успех морских рассказов на первых порах оказался неожиданным для самого Станюковича: тогдашние читатели и критики (не очень большие охотники до историко-литературных изысканий) увидели в этих рассказах что-то новое, даже небывалое, а он-то хорошо знал, что и герои и ситуации, почти такие же, как в его теперешних морских рассказах, появились в русской литературе еще в 1867 году — в его книге «Из кругосветного плавания. Очерки морского быта». Но тогда его моряков не заметили, а теперь, через двадцать один год, встретили восторженно. Почему? В поисках ответа на этот вопрос необходимо принять во внимание различие эпох.

Критики шестидесятых годов прошли мимо «Очерков морского быта» скорее всего потому, что сам этот специфический быт был для них не очень актуален. В книжке рассказывалось о русских матросах и офицерах, то есть о тех же мужиках и дворянах, только в военно-морском обмундировании; социаль-

ные коллизии, волновавшие тогда всю Россию, в своеобразном преломлении существовали и там — на клиперах и корветах, бороздивших океанские просторы; но в центре общественного внимания находился тогда вчерашний крепостной, а в 1867 году временнообязанный мужик, непосредственно пахавший землю, и помещик-крепостник, продолжавший обирать этого временнообязанного.

Следует иметь в виду также и то, что, когда молодой Станюкович писал свои первые очерки морского быта, он был охвачен воодушевлением шестидесятых годов. Общее состояние тогдашней общественной жизни, направление ее развития в годы наивысшего подъема освободительного движения он, как и большинство его сверстников, считал естественным, «нормальным». Ненормальными были только николаевские нравы и порядки — с предписанной жестокостью, мордобоем, линьками и командирской матерщиной, заменявшей воспитательную словесность. Но все это было именно прошлое; ведь телесные наказания были отменены еще в 1863 году. Конечно, старые нравы и порядки глубоко

укоренились во флоте, у них были упорные поклонники и защитники, но по оптимизму современника освободительных свершений молодой Станюкович был уверен, что новые гуманные начала и принципы победят — и скоро. Эта уверенность, разумеется, не могла не сказаться и на тональности его очерков морского быта.

Теперь, в восьмидесятых и девяностых годах, и общественные обстоятельства были другие, и Станюкович в ином свете увидел все то, что видел и пережил тогда, во время своего первого вынужденного плавания. Теперь в новых его морских рассказах тема социальной розни во флоте звучала острее и, как это ни покажется странным, вполне современно и даже злободневно, а старые николаевские порядки представлены так, будто матрос Рябой только вчера получил сотню линьков, а спасший его от нового наказания корабельный парусник Исайка, чтобы избежать порки, бросился в море и утонул — только что, минутой назад.

Конечно, в новых морских рассказах чувствуется рука писателя, умудренного опытом

многолетних литературных трудов. Но дело не только в этом; эти рассказы вобрали в себя еще и многолетний опыт непосредственного участия в общественной борьбе. Как сказано выше, все морские рассказы и повести Станюковича написаны по воспоминаниям о его кругосветном плавании 1860–1863 годов. Поэтому действие большинства из них происходит в те же годы и только в немногих произведениях, как, например, в повести «В море!», уже в новую эпоху, то есть в восьмидесятых — девяностых годах. Но независимо от хронологической приуроченности фабульного времени все они без исключения своим смыслом и пафосом были обращены к общественной борьбе восьмидесятых — девяностых годов.

Станюкович принадлежал к числу тех русских писателей второй половины XIX века, которые и в периоды реакции оставались верны освободительным идеям шестидесятых годов; но, конечно, он уже давно преодолел розоватый оптимизм своей молодости. Возвратившись из ссылки, он убедился, что политическая реакция, наступившая после

того, как народовольцами был убит Александр II, усилилась еще больше. Теперь ее вдохновители во главе с Победоносцевым стояли у самого кормила власти; они открыто проклинали реформы шестидесятых годов и упорно стремились проводить политику контрреформ. Этот одобренный и покровительствуемый самим Александром III поход против всего наследия шестидесятых годов сказался, конечно, и на положении в русском военном флоте.

В соответствии с новыми политическими и идеологическими веяниями и в канцеляриях военно-морского ведомства, и в корабельных кают-компаниях, и в служебных взаимоотношениях тон стали задавать такие офицеры, для которых завещанное шестидесятыми годами гуманное отношение к матросу было ненавистно — и по сословно-кастовым предрассудкам и потому еще, что оно требовало от них неустанного воспитательского труда. Закон об отмене телесных наказаний во флоте теперешние «дантисты» считали как бы несуществующим и палачествовали безнаказанно. Над «либеральными» традициями откры-

то смеялись, а офицеров, верных этим традициям, при первом же удобном случае или принуждали выйти в отставку, как это было сделано с Леонтьевым, или, как Ивкова, отчисляли на том основании, что полицейские власти предписывали им «прокатиться в не столь отдаленные места» («Беспокойный адмирал»). Теперь получили ход жестокие и бесчестные карьеристы вроде Аркадия Дмитриевича Налетова («В море!»).

В своих морских рассказах и повестях Станюкович показал, что правящие верхи в восьмидесятых годах насаждали в военном флоте как раз те губительные порядки и нравы, против которых боролись лучшие люди шестидесятых годов, и что, с другой стороны, выдвинутые этими людьми гуманные принципы необходимы и плодотворны. Именно эта сквозная мысль, может быть, рельефнее всего выявляется при сопоставлении двух его героев: «грозного адмирала» Алексея Петровича Ветлугина и «беспокойного адмирала» Ивана Андреевича Корнева. Ветлугин — это полное воплощение дореформенного строя флотской жизни; энергичный и честолюбивый, он, под-

чиняясь ее жестоким законам, ожесточился сам, растерял лучшие человеческие качества и оказался в конце жизни ни с чем: во флоте он добрых воспоминаний о себе не оставил, в семье — тоже, потому что и здесь он был «грозным адмиралом», то есть жестоким самодуром. Корнев пришел в эпоху реформ как наследник высоких традиций Корнилова и Нахимова. Вспыльчивый, но, по народному выражению, и отходчивый, он всей своей деятельностью утверждал в офицерской среде принципы чести и независимости, верности воинскому долгу в самом широком смысле этого слова и глубокого уважения к матросу. Последнее для Станюковича имело особое значение.

Композиция большей части его морских рассказов и повестей как бы воспроизводит размещение личного состава на корабле: кубрик, то есть матросы, с одной стороны, и кают-компания, то есть все «господа» от гардемарина до капитана — с другой; между этими группами располагаются, тяготея то к одной, то к другой, унтер-офицеры — боцманы, баталеры, писаря и т. п. Соответственно этому

строится и само повествование: офицер, если он даже и не главный герой, почти всегда предстает как самостоятельная фигура — с биографией, особой статью, характером и жизненной позицией; а матросы обыкновенно выступают как сплошная масса; некоторые из них выделяются в повествовании и подробно описываются лишь в тех сравнительно немногочисленных произведениях, где они являются главными героями («Беглец», «Человек за бортом», «Между своими», «Исайка», «Максимка», «Похождения одного матроса»).

Между этими двумя категориями персонажей много различий, но одно из них особенно существенно. В офицерской среде, в кают-компании никогда не бывает полного единодушия; интеллектуальная и нравственная атмосфера здесь то и дело изменяется, прямо отражая те изменения, которые происходили там, в правящих сферах России. Матросская среда, как человеческое сообщество, всегда остается неизменной. И это не было следствием темноты и косности деревенских парней, вырванных из вологодских или архангель-

ских захолуствий; цельность и постоянство в матросской среде предопределялись непреложными нормами народной нравственности.

Человеческое достоинство — и в своем брате-матросе и в офицерах — здесь оценивалось по одним и тем же критериям всегда — что в николаевские времена, что в шестидесятые годы, что в конце века.

После многодневного утомительного перехода сойти на берег и, не жалея скудных сбережений, «отвести душу» — этому давнему обычаю охотно и без каких бы то ни было колебаний следовало большинство матросов; но самым уважаемым и авторитетным в их среде был все-таки трезвый, рассудительный и умелый матрос. Боцманское сквернословие и даже зуботычины воспринимались как неизбежное зло, но когда кто-то из боцманов слишком уж заносился, матросы утихомиривали его собственными силами («Матросский линч»). Отношение к офицерам определялось не только их добротой, но и по делу. Чистота, какой добивался старший офицер Василий Иванович, была для матросов «каторжной чи-

стотой», а самого Василия Ивановича они тем не менее искренне уважали, потому что его любовь к делу не подлежала ни малейшему сомнению. А старшего офицера фон дер Беринга матросы невзлюбили, потому что к чистоте, как и к красоте корвета, он был равнодушен, а добивался только одного — чтобы матросы беспрекословно, «как машина», выполняли его распоряжения («Куцый»).

Конечно, в отношениях между матросами и офицерами социальная рознь сказывалась на каждом шагу, но наряду с ней или, может быть, даже наперекор ей было здесь и нечто другое: весь экипаж по необходимости должен был быть объединен общим сознанием, общим чувством противостояния грозной стихии, всегда чреватой гибелью — гибелью всех, без различия чинов и сословий. Тут особое значение приобретали личные качества людей. Капитана, мастерски управляющего кораблем, да если он еще и справедлив, матросы называли «голубем»; офицер, в самых опасных обстоятельствах сохранявший мужество и распорядительность, пользовался уважением матросов, если он бывал порою даже

и слишком суров.

...Бескрайние просторы Тихого, Атлантического или Индийского океанов, сказочная, «райская» природа далеких южных земель — все это влекло, радовало и удивляло. Особое место занимали встречи с другими, неизвестными дотоле народами; русские моряки присматривались к нравам и обычаям этих народов без тени высокомерия, с непринужденной открытостью и веселым доброжелательством. И как раз во время этих встреч каждый из них отчетливее и пронзительнее чувствовал себя, сознавал себя русским человеком, человеком из великой страны России. В долгом плаваньи воспоминания о родине неизбежно порождали тоску по ней; на корабле тосковали все — и матросы и офицеры. Но образ родины, образ России в матросских мечтах вырисовывается величественнее и поэтичнее; ведь ее песни поют на корабле только матросы, русская речь со всей ее пестротой и размашистостью звучит в матросских разговорах.

В других, «неморских» произведениях Станюковича народ почти всегда за кулисами, и

его речь там раздаётся весьма редко. В морских рассказах и повестях матросское слово несёт на себе главную поэтическую «нагрузку»; стоит только ему зазвучать, как появляется новая, свежая краска, неожиданная, чаще всего веселая интонация, и благодаря этому весь тон повествования приобретает глубину или, как сказали бы в наше время, стереофоничность.

Станюкович в этих произведениях не скрывает ни жестокости, ни дикого разгула страстей, ни равнодушия одних, ни подлости других; но при всем при этом в восьмидесятых и девяностых годах они производили ободряющее впечатление. Литература тех лет в различных вариантах представила фигуру рефлектирующего скептика, готового подвергнуть сомнению не только успех борьбы, но и сам ее смысл; в морских рассказах и повестях Станюковича действовали люди, которым некогда было рассуждать о смысле борьбы; они должны были быть готовы к ней каждую минуту.

\* \* \*

На четвертом десятилетии своей литера-

турной деятельности Станюкович стал знаменитым писателем. Но он так и не сумел стать писателем, более или менее обеспеченным. Как и в прежние годы, ему приходилось много работать. Его крепкий от природы организм слабел, болезни не проходили. Он часто ездил на лечение: то в Крым, то за границу. Во время одной из таких поездок он и умер — 7 мая 1903 года в Неаполе.

# Комментарии

**Дождался\***

Впервые — в журнале «Современный мир», 1901, № 10.

*Коховские палочки* — старое название туберкулезных бактерий, открытых в 1882 году немецким бактериологом Робертом Кохом (1843–1910).

*Шильон* — замок, расположенный на маленьком островке в восточной части Женевского озера. В одном из его подземелий в течение шести лет был заточен швейцарский национальный герой Ф. Бонивар (1493–1570), историю которого Байрон положил в основу своей поэмы «Шильонский узник».

*Если б только наше правительство... не поощряло мильерановских бредней...* — Александр Мильеран (1859–1943) — французский политический деятель. В 1892 году им была организована парламентская группа «радикал-социалистов»; одним из основных требований новой организации было проведение национализации некоторых отраслей круп-

ной промышленности.

*Бэдлам (Бедлам)* — старинный лондонский сумасшедший дом, название которого стало нарицательным.

### **Свадебное путешествие\***

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1902, № 3.

*Пульмановский вагон* — вместительный спальный или товарный вагон. Впервые такие вагоны стали производить заводы Джорджа Пульмана в США.

*...были из «монда»* — т. е. из высшего света (франц.).

*...хотя его высокопревосходительству не было... дела... до его превосходительства...* — согласно введенной Петром I Табели о рангах, к лицам, имевшим чин второго класса (действительным тайным советникам, генералам родов войск, адмиралам), полагалось обращаться «ваше высокопревосходительство»; а чин третьего класса (тайным советникам, генерал-лейтенантам, вице-адмиралам) — «ваше превосходительство».

*Вестон* — пиджак (франц.)

### **Севастопольский мальчик\***

Впервые повесть напечатана в журнале «Юный читатель», 1902, № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22.

В 18-м номере журнала после XII главы сообщалось: «Окончание следует». Однако в 20-м номере, помещая XIII главу, редакция отмечала: «Вследствие болезни автора окончание „Севастопольского мальчика“ откладывается до следующего номера». Печатание повести закончено в ноябре, а в конце 1902 г. писатель уехал за границу, где и умер через несколько месяцев. Таким образом, «Севастопольский мальчик» имеет только одно прижизненное издание.

Тема обороны Севастополя и Крымской войны занимала Станюковича всю жизнь. Мальчиком ему довелось быть не только свидетелем, но и посильным участником Севастопольской обороны. В своем творчестве к темам Крымской войны он обращался неоднократно («Побег», «Кириллыч», «Маленькие моряки» и др.). Наиболее полно и откровенно

высказал Станюкович свои взгляды на Крымскую войну в 73-м публицистическом «Письме знатного иностранца», которое, однако, не было пропущено цензурой. Корректировочные листы этого письма, почти полностью перечеркнутого цензором, хранятся в архиве Института Русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом, ф. 432, № 3). Вот выдержки из него:

«...Я расскажу вам страничку из нашего прошлого... Отрывок из личных воспоминаний того времени, когда под грохот севастьяпольской канонады мы прозрели». «Накануне мы еще верили в силу кремневого ружья (системы) и думали, что все пойдет превосходно.

Я был в то время еще мальчиком, но впечатления живо врезались в моей памяти, и я отлично помню настроение, бывшее в том самом городе, который теперь представляет развалины. Севастополь веселился. Еще накануне самой высадки был бал; большинство решительно не верило в возможность высадки, хотя союзный флот и маневрировал в виду берегов. „Не посмеют! Куда им!“ — повторялось со всех сторон». «...Все ложились спать,

уверенные, что вся эта военная суматоха пройдет... и снова жизнь пойдет своим чередом». Дворяне будут «веселиться по-прежнему, получать доходы с деревень, стричь косы у непокорных горничных, посылать на конюшню дерзких хамов и дрессировать солдат и матросов при помощи палок и линьков». «Культ страха, начинаясь сверху, проходил до низу и казался тогда большинству лучшим средством управления, точно так, как лучшим средством наживы... считалась дойная корова — казна и общий кормилец мужик», который «терпеливо нес ярмо и только по временам на холере (имеются в виду так называемые „холерные бунты“ крестьян, в которых выражался их стихийный протест против самодержавно-крепостнического гнета. — В.В.) вымещал свои невзгоды...»

С известием о начале высадки союзников недалеко от Евпатории, когда дворяне поняли, что понадобится помощь народа — «Тон понизился... Все стали говорить тише и как будто серьезнее... Даже с прислугой стали обращаться лучше те люди, которые до того не знали предела своей помещичьей фантазии...

В барине почувствовался некоторый страх».

«Севастополь опустел. Все войска вышли из города, и в нем остался только флот. Страшная деятельность закипела в городе... Матросы на спинах перевозили с кораблей орудия на бастионы...» Защитники готовились к отпору врагу.

Станюкович резко говорит о неподготовленности властей, о страшных злоупотреблениях, об отсутствии необходимого вооружения, медицинского обеспечения. Он беспощадно обличает бездарных главнокомандующих русской армии, пользовавшихся полным доверием и поддержкой царя. Через все Письмо проходит мысль о том, что Севастополь держался только героическим мужеством народных защитников, которых власти бросили на произвол судьбы. Когда после Альминского сражения солдат «спрашивали о результатах битвы, они сумрачно отвечали, что ружья не стреляют...»

«Наутро я, по обыкновению, отправился со слугой купаться; надо было проходить мимо рынка. Вся площадь была полна ранеными солдатами; кто лежал тут же, кто сидел, кто

протягивал руку, прося милостыню. Яркие лучи солнца заливали эту небольшую площадку, покрытую серыми шинелями и большими фуражками. Народ подавал; торговки перевязывали раны, ходили разговоры, что для раненых не приготовлено было помещения, что они ничего не ели... Я никогда не забуду этой тяжелой картины. Помню: торопливыми шагами я проходил мимо одного старого солдата с перевязанной какой-то грязной тряпкой головой; из-под перевязки сочилась кровь... Вдруг слышу голос: „Барчук!“ Я остановился. Старый солдат как-то нерешительно взглянул на меня большими серыми глазами, улыбнулся робкой улыбкой и тихо попросил „на табачок“.

И многие просили „на табачок“, скрывая под этой просьбой просьбу на хлеб... Среди шума и оживления рынка слышен был ропот... Солдаты рассказывали, как в них стреляли, а они не могли даже отвечать».

Когда Станюковичи переехали в небольшой городок неподалеку от Севастополя, будущий писатель видел, как через город то и дело проходили войска и там же жило много

интендантских чиновников. «То и дело привозили раненых... Положение их было ужасно. О злоупотреблениях начинали говорить громче и громче... Рассказывали чудовищные вещи... В народе ходили рассказы о беспорядочности солдата... Винули „господ“ и говорили, что обманывают „царя“... Передо мной, мальчишкой, не стеснялись... Раненые солдаты рассказывали о том, как с ними обращались и как их кормили, и разносили эти рассказы по деревням... В то же время в нашем маленьком городке шло разливное море. Комиссариат кутил, кутили и офицеры... Кавалеристы, не стесняясь, говорили о заработанных кушах, и, помню я, когда один из молодых офицеров пытался возразить... громкий смех... вырвался в ответ молодому человеку. Выходило, что все „пользуются“... вся Россия крадет чуть только можно...»

Станюкович рассказывает в Письме и об общественном подъеме конца 50-х — начала 60-х годов, непосредственным поводом к которому была Крымская война: «В обществе появились новые веяния... Явились разоблачения чудовищных вещей, творившихся при

мертвом молчании. Ликующая стояла новая Россия у порога нового времени, и радость ожидания окрыляла надежды, когда пронесся слух, что мужики будут не только свободны, но и экономически обеспечены... Тогда переживались счастливые минуты. Впереди предстояла широкая дорога новой жизни, иного счастья, иных песен. Я был на пороге жизни, когда появился известный манифест о крепостных...»

Писатель-демократ сумел не только ярко, увлекательно рассказать о поистине замечательном героизме русского народа, но и вскрыть гнилость крепостнического государства. Правда, вскрыть только объективно, потому что сам Станюкович не мог понять истинных причин поражения России, и, показав вопиющие противоречия крепостнического государства, он сумел сделать лишь совершенно беспомощный и неподходящий к ситуации пацифистский вывод: никакая война не нужна.

В «Севастопольском мальчике» Станюкович неоднократно обращается к работе дворянско-буржуазного историографа Н. Ф. Дуб-

ровина «История Крымской войны и оборона Севастополя» (Спб., 1900, «Общественная польза»). Однако писатель берет из этой книги в основном богатый фактический материал, отказываясь от толкований Дубровина и давая событиям свои трактовки, трактовки писателя-демократа. В цитации этой работы Станюкович весьма неточен.

*...еще не знал, что французы, англичане, турки и итальянцы уже беспрепятственно высадились первого сентября в Евпаторию...*  
— Взять Севастополь с моря оказалось очень трудно: с этой стороны он был хорошо укреплен. Поэтому союзники решили захватить город с суши, где он был весьма уязвим. С этой целью 2–5 сентября 1854 г., предварительно захватив небольшим отрядом 1 сентября Евпаторию, союзники высадили здесь свои войска, общей численностью около 70 тысяч человек, и от Евпатории двинулись по побережью на Севастополь.

*Нахимов Павел Степанович (1802–1855) — выдающийся русский флотоводец, адмирал, сторонник прогрессивного направления в*

русской военно-морской школе. Один из организаторов героической обороны Севастополя. После гибели В. А. Корнилова Нахимов встал во главе обороны. Погиб в Севастополе в конце июня 1855 г.

*Князь Меншик* — так в просторечии именовали князя Меншикова Александра Сергеевича (1787–1869). А. С. Меншиков — русский военный и дипломатический деятель, пользовался покровительством Николая I. Во время Крымской войны, будучи главнокомандующим русскими вооруженными силами в Крыму, показал себя бездарным полководцем: не принял никаких мер к укреплению Севастополя, не воспрепятствовал высадке союзников под Евпаторией, очень неудачно руководил войсками в сражениях на реке Альме, под Балаклавой, под Инкерманом и т. д. Отличаясь крайней пассивностью, Меншиков фактически устранился от дела обороны Севастополя. В начале 1855 г. Николай I вынужден был снять Меншикова с поста главнокомандующего.

*...пробежал мимо каменной стены, окружающей большой сад, около дома командира*

*севастопольского порта...* — В этом доме прошли детские годы писателя. О нем Станюкович часто вспоминает в своих произведениях («Червонный валет», «Побег», «Маленькие моряки» и др.).

Командир порта — отец писателя, адмирал М. Н. Станюкович.

*У француза такие ружья, что за версту бьют...* — Французская и особенно английская армии были вооружены усовершенствованными боевыми винтовками системы Ми-нье.

*Корнилов Владимир Алексеевич* (1806–1854) — выдающийся военно-морской деятель. Следовал прогрессивным традициям русской военно-морской школы. Во время Крымской войны руководил Севастопольской обороной. Погиб 5 октября 1854 г. в Севастополе.

*Штуцер* — нарезное ружье. Русские войска были вооружены уже устаревшими для того времени гладкоствольными ружьями.

*...видел там первого раненого офицера в Альминском сражении.* — Сражение на реке Альме произошло 8 сентября 1854 г. Русские

стремились не допустить неприятеля к Севастополю. Однако исход боя был решен прежде всего военно-техническими преимуществами союзнических армий, их численным превосходством, у русских было 35 тысяч солдат (указанная в повести цифра — 25 тысяч — ошибочна), то есть наполовину меньше армии союзников. Нельзя не отметить также и бездарность русского командования. Русские солдаты не раз ходили в штыковые атаки, своей храбростью изумляя даже врагов. Англо-французские войска понесли большие потери, но победа осталась за ними. Путь на Севастополь оказался открытым.

Маджара (мажара) — длинная телега с решетчатыми боковыми стенками. Распространена на Украине, в Крыму, на Северном Кавказе.

*Диспозиция* — письменный приказ войскам для исполнения боевой задачи, походного марша, маневра.

*Грейг* Самуил Алексеевич (1827–1887) — сын известного русского адмирала Грейга А. С. В 1851–1854 гг. был адъютантом А. С. Меншикова, впоследствии — министр финансов,

член Государственного совета. О посольстве Грейга к Николаю I Станюкович подробно рассказывает в автобиографической повести «Маленькие моряки».

*Реляция* — письменное донесение командования о боевых действиях войск.

*Вот в воинственном азарте...* — куплет из хвастливого стихотворения «На нынешнюю войну», напечатанного по личному указанию Николая I в газете «Северная пчела» (1854, № 37). В газете стихотворение помещено без подписи. Автор его — Алферьев Василий Петрович (1823–1854), малоизвестный поэт.

*Пальмерстон* Генри Джон (1784–1865) — английский реакционный государственный деятель, в 1846–1851 гг. — министр иностранных дел, в 1852–1855 гг. — министр внутренних дел. Считая Россию главным соперником Англии в Азии и на Ближнем Востоке, Пальмерстон был одним из организаторов Крымской войны.

*...союзники... не решатся идти брать Севастополь...* — Наступление союзников было задержано их большими потерями в Альминском сражении.

*...разгром турецкой эскадры в Синопе...* — Синопское сражение произошло 18 ноября 1853 г. Русская эскадра под командованием П. С. Нахимова наголову разбила турецкий флот, что значительно ослабило Турцию и сорвало англо-турецкий план захвата Кавказа. Победа русского флота послужила для Англии и Франции предлогом вступить в войну якобы для «защиты Турции». Позднее к ним присоединилась Сардиния. Так сложился союз держав, противостоящих России в Крымской войне.

*Тотлебен Эдуард Иванович (1818–1884)* — русский военный инженер. Во время Севастопольской обороны руководил фортификационными работами.

*И через пять дней корабли были затоплены.* — С целью преградить доступ флоту противника корабли черноморского флота были затоплены 11 сентября 1854 г., то есть не через пять дней, а через два дня после военного совета.

*Раглан Фицрой Джеймс (1788–1855)* — английский фельдмаршал, с февраля 1854 г. главнокомандующий английскими войсками

в Крыму. Умер под Севастополем от холеры.

*...прославился взятием Анапы...* — В русско-турецкую войну 1828–1829 гг. А. С. Меншиков командовал десантными войсками, которые овладели крепостью Анапа.

*Горчаков Михаил Дмитриевич* (1793–1861) — генерал-адъютант. С февраля по август 1855 г. руководил обороной Севастополя. В военных действиях отличался большой нерешительностью, несамостоятельностью.

*Ретирада* — отступление.

*Рекогносцировка* — разведка местности.

*Сант-Арно* (правильнее Сент-Арно) Арман Жак Леруа (1801–1854) — политический и военный деятель Франции, один из активнейших участников государственного переворота, приведшего к установлению диктатуры Наполеона III. В период Крымской войны был главнокомандующим французскими войсками.

*Канробер Франсуа* (1809–1895) — маршал Франции. После смерти Сент-Арно и до весны 1855 г. — главнокомандующий французскими войсками в Крыму.

*...обкладывал фашинником «щеки» амбра-*

*зурь...* — Фашинник — перевязанные пучки хвороста цилиндрической формы. Служат для укрепления берегов, дорог и т. д. Амбразура — здесь: отверстие в земляном бруствере окопа для стрельбы из орудия.

*Помните, что женщина присоединила Крым к России...* — Крым был присоединен к России в 1783 г. в царствование Екатерины II (1729–1796).

*Истомин* Владимир Иванович (1809–1855) — русский адмирал, один из героев Севастопольской обороны. Погиб в Севастополе 7 марта 1855 г.

*Липранди* Павел Петрович (1796–1864) — русский генерал. В Крымскую войну отличился в сражении при Балаклаве: благодаря предложенному им плану понесла серьезный урон английская кавалерия.

*...со времен Петра Великого под Прутом...* — В 1711 г., во время русско-турецкой войны, Петр I (1672–1725) совершил в очень тяжелых условиях знаменитый Прутский поход.

*Вревский* Павел Александрович (1808–1855) — генерал-адъютант, был прикомандирован к Горчакову с целью вынудить

последнего дать решительный бой противнику, каким и явилось сражение на Черной реке 4 августа 1855 г.

*Хрущев Александр Петрович* (1806–1875) — генерал-адъютант, герой Севастопольской обороны.

*Семякин Константин Романович* (1802–1867) — генерал, герой Севастопольской обороны.

*Хрулев Степан Александрович* (1807–1870) — генерал, один из героев обороны Севастополя.

*...писал в своем «Историческом обзоре действий Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных» знаменитый хирург Пирогов...* — Пирогов Николай Иванович (1810–1881) — великий русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии. Принимал участие в обороне Севастополя, где проявил себя также как отличный организатор; впервые в полевых условиях использовал помощь сестер милосердия.

Точное название работы Пирогова, отрывок из которой приведен в тексте, — «Исторический обзор действий Крестовоздвиженской

общины сестер попечения о раненых и больных в военных госпиталях в Крыму и в Херсонской губернии с 1 декабря 1854 г. по 1 декабря 1855 г.» К. М. Станюкович цитирует ее по книге Дубровина «История Крымской войны и обороны Севастополя». В отличие и от Дубровина и от самого Пирогова, Станюкович «Дворянское собрание» всюду называет «морским собранием».

*Турникет* — инструмент для остановки и предупреждения кровотечений при операциях конечностей.

*Бакунина* Екатерина Михайловна (1812–1894) — дочь сенатора, в период Севастопольской обороны сестра милосердия, одна из ближайших помощниц Н. И. Пирогова.

*Лигатура* — нить, которой во время операции перевязывают кровеносные сосуды.

*Офени-владимирцы...* — Офеня — в дореволюционной России бродячий торговец. Занимались офенской торговлей преимущественно крестьяне Владимирской губернии.

*Флигель-адъютант* — офицер для поручений при особе царя.

*Бродни* — сапоги особого рода, подвязыва-

ются под щиколотками и под коленями.

*Банкет* — насыпь с внутренней стороны бруствера, на которой стоят стрелки.

*Голландия* — бухта и поселок в Севастополе.

*Веллингтон* Артур Уэлсли (1769–1852) — английский реакционный военный и государственный деятель. Английская буржуазная историография безосновательно приписывает ему блестящий талант полководца и политического деятеля.

*...с кавалерией, которая после сражения при Полтаве...* — В 1709 г. в знаменитой Полтавской битве значительную роль сыграла конница, которой командовал А. Д. Меншиков.

*Паскевич* Иван Федорович (1782–1856) — русский военный деятель, реакционер, приближенный Николая I.

*Сакен* (точнее Остен-Сакен) Дмитрий Ерофеевич (1790–1881) — во время обороны Севастополя был начальником гарнизона, трусливый и бездарный генерал.

*Рескрипт* — письмо царя к высокопоставленному лицу.

*И есть мальчики, которые защищают Севастополь!* — В Севастопольской обороне активное участие принимали и дети, участвуя не только во вспомогательных работах, но и непосредственно в боевых действиях. Известны имена юных героев — Николая Пищенко, Кузьмы Горбаньева, Максима Рыбальченко и других.

*Люнет* — открытое с тыла полевое укрепление.

*Мерлон* — толща бруствера между двумя амбразурами.

*Жабокритский* Осип Петрович (1793–1866) — генерал. Поляк по национальности, Жабокритский не сочувствовал войне с французами и был равнодушен к делу обороны Севастополя.

*Начальник штаба... докладывал главнокомандующему...* — Начальником штаба Южной, Дунайской, армии был генерал Коцебу Павел Евстафьевич (1801–1884), человек крайне нерешительный и бездарный.

*Траверс* — насыпь, которая предназначена прикрывать укрепления с фланга и тыла.

*Пелисье* Жан-Жак (1794–1864) — француз-

ский реакционный политический деятель, маршал, третий по счету главнокомандующий французскими войсками в Крымской войне. За взятие союзными войсками Малахова кургана, решившее судьбу Севастополя, Пелисье было присвоено звание герцога Малаховского.

*Под Черной были разбиты наши войска...* — Стремясь предотвратить очередной штурм Севастополя, Горчаков решил дать сражение союзным войскам, которое и произошло 4 августа 1855 г. на Черной речке. Однако неподготовленность русских к наступлению, бездарное командование определили печальный для русских исход боя. После поражения под Черной русские войска вынуждены были оставить Южную сторону, что и решило участь Севастополя. 28 августа 1855 г. Севастополь пал.

### **Событие\***

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1902, №№ 75, 79.

*Кретон* — плотная хлопчато-бумажная

ткань из окрашенной пряжи, часто с набивным рисунком.

*Сьюз* — костюм (англ.).

**Господин с «Настроением»\***

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1902, № 112.

**«Главное: не волноваться»\***

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1902, № 124.

**«Вы не нужны»\***

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1903, № 44.

**Мунька\***

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1902, №№ 143, 147.

**«Берег» и море\***

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1902, №№ 204, 207, 213, 229, 239, 271, 276.

**Собака\***

Первая публикация не установлена. Помещено в сборнике «На „Чайке“ и другие морские рассказы», М., 1902.

### **Тоска\***

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1903, №№ 63, 67.

### **Оба хороши\***

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1903, № 135.

# Примечания

По вагонам! (франц.)

[^^^]

2

Очень хорошо (англ.).

[^^^]

**3**

Желаю успеха! (франц.)

[^^^]

# 4

Непреодолимая сила (франц.).

[^^^]

Заурядная (франц.).

[^^^]

Синего чулка (франц. фигур. — ученой женщины).

[^^^]

# 7

Заменяющий обед (франц.).

[^^^]

Подлец (франц.).

[^^^]

Первый министр в Англии, когда она объявила России войну. (Примеч. автора.)

[^^^]

Некоторые исторические данные взяты мною из «Истории Крымской войны и обороны Севастополя» Н. Ф. Дубровина. (Примеч. автора.)

[^^^]

Подлинные слова. (Примеч. автора.)

[^^^]

Подлинные слова. (Примеч. автора.)

[^^^]

«История Крымской войны». (Примеч. автора.)

[^^^]

*Жизни тот один достоин,  
Кто на смерть всегда готов,  
Православный русский воин,  
Не считая, бьет врагов.  
Что французы, англичане?  
Что турецкий глупый строй?  
Выходите, басурмане,  
Вызываем вас на бой!  
Вызываем вас на бой!*

(Примеч. автора.)

[^^^]

«История обороны Севастополя». (Примеч. автора.)

[^^^]

Посылавшиеся часто не доставлялись и где-нибудь на пути сгнивали. (Примеч. автора.)

[^^^]

Начальник штаба севастопольского гарнизона. (Примеч. автора.)

[^^^]

Нахимов. (Примеч. автора.)

[^^^]

Сюда сносились все безнадежные и тяжелораненные. (Примеч. автора.)

[^^^]

Так называется небольшой бульвар, на котором стоит памятник Казарскому, моряку, отбившемуся в войну 1829 года на своем бриге от трех турецких кораблей. (Примеч. автора.)

[^^^]

«История Севастопольской обороны», т. III, с. 244.

[^^^]

«История Севастопольской обороны», т. III, с. 249. (Примеч. автора.)

[^^^]

«История Севастопольской обороны», т. III, с. 251. (Примеч. автора.)

[^^^]

В два дня было выпущено снарядов: с наших бастионов и батарей девятнадцать тысяч, а с батарей союзников шестьдесят две тысячи снарядов. (Примеч. автора.)

[^^^]

«Сожительство втроем» (франц.).

[^^^]

«Супружескую жизнь» (франц.).

[^^^]

Бывшем (лат.).

[^^^]

Разговор наедине (франц.).

[^^^]

Широкую публику (франц.).

[^^^]

**30**

Сколько угодно (франц.).

[^^^]

«Морским волком» (франц.).

[^^^]

Водка высшего качества (франц.).

[^^^]

Поцелуя (франц.).

[^^^]

Отлично! (франц.).

[^^^]

Усиленное (франц.).

[^^^]

«Прекрасной синьоры» (итал.).

[^^^]

«Неврастения мозга» (лат.).

[^^^]

Спать, спать! (франц.)

[^^^]

Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. (Юбилейное), т. 30, М., 1951, стр. 19.

[^^^]

В. П. Вильчинский. Константин Михайлович Станюкович. Жизнь и творчество. М.-Л., 1963, стр. 12.

[^^^]

Н. В. Шелгунов. Воспоминания, М.-Л., 1923,  
стр. 82.

[^^^]

Н. В. Шелгунов. Воспоминания, стр. 113–114.

[^^^]

Литературный архив, VI, М.-Л., 1961, стр. 458.

[^^^]

К. М. Станюкович. Полн. собр. соч., т. I, СПб, 1906, стр. 10.

[^^^]

К. М. Станюкович. Собр. соч., т. 6, ГИХЛ, М., 1959, стр. 761–762.

[^^^]

К. М. Станюкович. Собр. соч., т. 6, ГИХЛ, М., 1959, стр. 742.

[^^^]

К. М. Станюкович. Собр. соч., т. 4, ГИХЛ, М., 1959, стр. 24–25.

[^^^]

А. Н. Радищев. Полн. собр. соч., т. 1, М.-Л., 1938,  
стр. 227.

[^^^]

К. М. Станюкович. Собр. соч., т. 4, ГИХЛ, М., 1959, стр. 819.

[^^^]

К. М. Станюкович. Полн. собр. соч., т. IX, СПб, 1907, стр. 39.

[^^^]

К. М. Станюкович. Полн. собр. соч., т. IX, СПб, 1907, стр. 96–97.

[^^^]

К. М. Станюкович. Собр. соч... т. 6, ГИХЛ, М., 1959, стр. 755.

[^^^]